



3

СТЕФАН ЦВЕЙГ



# СТЕФАН ЦВЕЙГ

СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В СЕМИ ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА • 1963

Издание выходит  
под общей редакцией  
Б. Л. Сучкова.

Оформление и иллюстрации  
художника С. Г. Бродского.



# ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

*Исторические миниатюры*





*и один художник не бывает художником изо дня в день, все двадцать четыре часа в сутки; все истинное, непреходящее, что ему удастся создать, он создает лишь в немногие и редкие минуты вдохновения. Так и история, в которой мы чтим величайшего поэта и творца всех времен, отнюдь не творит непрерывно. И в этой «таинственной мастерской*

господа бога», как назвал историю Гете, происходит очень много незначительного и заурядного. И здесь, как повсюду в искусстве и в жизни, великие и незабываемые мгновения редки. Чаще всего история с бесстрашием летописца отмечает факт за фактом, прибавляя по звену к гигантской цепи, которая тянется сквозь тысячелетия, ибо каждый шаг эпохи требует подготовки, каждое подлинное событие созревает исподволь. Из миллионов людей, составляющих народ, рождается только один гений, из миллионов впустую протекших часов только один становится подлинно историческим — звездным часом целовечества.

Зато, если в искусстве явится гений, он остается жить в веках; если пробьет звездный час, он предопределяет грядущие годы и столетия, и тогда — как на острие громоотвода скопляется все атмосферное электричество — кратчайший отрезок времени вмещает огромное множество событий. То, что обычно протекает размеренно, одновременно или последовательно, сжимается в это единственное мгновение, которое все устанавливает, все предопределяет: одно-единственное «да» или «нет», одно «слишком рано» или «слишком поздно» предопределяет судьбу сотен поколений, направляет жизнь отдельных людей, целого народа или даже всего человечества.

Такие драматически напряженные, такие знаменательные мгновения, когда поворот событий, от которого зависит не только настоящее, но и будущее, совершается в один день, в один час или даже в одну минуту, редки в жизни человека и редки в ходе истории. О некоторых, взятых из самых разных эпох и стран звездных часах — я назвал их так потому, что, подобно вечным звездам, они неизменно сияют в ночи забвения и тлена, — я попытался здесь напомнить. Нигде я не дерзнул при помощи собственных домыслов приглушить или усилить внутреннюю правду жизненных событий — скрытых или явных. Ибо в мгновения своего наивысшего мастерства история не нуждается в поправках. Там, где она творит, как вдохновенный поэт и драматург, ни один художник не смеет и мечтать превзойти ее.

# ЗАВОЕВАНИЕ ВИЗАНТИИ

(29 мая 1453 года)



## ОПАСНОСТЬ НАДВИГАЕТСЯ

5

февраля 1451 года тайный гонец, посланный в Малую Азию, приносит старшему сыну султана Мурада, Мухаммеду, двадцати одного года, весть о том, что его отец скончался. Не обмолвившись ни словом своим советникам, своим министрам, хитрый и вместе с тем энергичный князь вскакивает на свою лучшую лошадь, нахлестывая великолепного чистокров-

ного коня, мчится без передышки все сто двадцать миль до Босфора и сейчас же переправляется на европейский берег, в Галлиполи. Только там открывает он самым верным своим приближенным, что отец его умер, и, желая сразу пресечь любые покушения на престол, немедленно составляет отборный отряд и ведет его на Адрианополь, где Мухаммеда беспрекословно признают повелителем Оттоманской империи. Первый же правительственный акт султана показывает, как страшна его беспощадная решимость. Чтобы заранее устранить всех возможных соперников одной с ним крови, он приказывает утопить в купальне своего несовершеннолетнего брата, а потом немедленно — что также свидетельствует о его коварной и жестокой предусмотрительности — отправляет на тот свет вслед за убитым и наемного убийцу.

Весть о том, что вместо рассудительного Мурада турецким султаном стал молодой, безудержный и жаждущий славы Мухаммед, вызывает в Византии ужас. Ибо с помощью сотни лазутчиков стало известно, что этот честолюбец поклялся завладеть ее столицей, считавшейся некогда столицей мира, и что он, несмотря на свои молодые годы, проводит дни и ночи, обсуждая стратегию этого главного плана своей жизни; с другой стороны, все слухи единодушно подтверждают выдающиеся военные и дипломатические способности нового падишаха. Мухаммед одновременно благочестив и свиреп, пылок и коварен, он человек ученый и любит искусство, он читает Цезаря и биографии римлян в подлиннике, а вместе с тем он варвар и проливает кровь, как воду. В этом человеке с мечтательным, меланхолическим взором и злым, крючковатым, как у попугая, носом сочетались неутомимый труженик, отважный воин и лицемерный дипломат, и все эти опасные силы действуют концентрически ради одной цели: превзойти деяния его деда Баязета и его отца Мурада, впервые показавших Европе военное превосходство новой турецкой нации. Но его первый удар — это понимают, это чувствуют все — будет направлен на город Византий, последний сверкающий великолепием самоцвет в императорской короне Константина и Юстиана.

Этот самоцвет очень доступен для жадной руки захватчика и совершенно не защищен. Византия, она же

Восточноримская империя, некогда владела миром и простиралась от Персии до Альп и снова до азиатских пустынь, и ее можно было измерить только долгими месяцами пути, а теперь ее спокойно проходят из конца в конец пешком за три часа. От прежнего Византийского государства осталась, увы, только голова без туловища, столица без страны, Константинополь, град Константина, в древности — Византий, и даже в этом Византии, императору, басилевсу, принадлежит только часть, нынешний Стамбул, а Галата уже находится в руках генуэзцев, и вся земля вне городской стены захвачена турками; владения последнего императора теперь величиной с ладонь, это всего-навсего гигантская стена, церкви и дворцы да скопление домов — словом то, что называют Византием. Город, однажды уже разграбленный дотла крестоносцами, наполовину вымерший от чумы, измотанный необходимостью вечно обороняться от нашествий номадов, раздираемый национальными и религиозными распрями, город этот теперь не в состоянии обрести ни солдат, ни мужества, чтобы защищаться собственными силами от врага, который давно уже обхватил его со всех сторон своими щупальцами; пурпур последнего императора Византии Константина Драгаша — это плащ, подбитый ветром, его корона — игральное судыбы. Но именно потому, что Византий, уже окруженный турками, освящен всем западным миром через их общую тысячелетнюю культуру, город этот служит для Европы как бы символом ее чести; только если объединенное христианство защитит этот последний, уже распадающийся оплот на Востоке, сможет Святая София остаться базиликой веры, последним и прекраснейшим собором восточноримского христианства.

Константин сразу же видит опасность. Невзирая на все миролюбивые речи Мухаммеда, он охвачен вполне понятным страхом и шлет гонцов за гонцами в Италию, гонцов в Венецию, гонцов в Геную, прося о присылке галер и солдат. Но Рим колеблется, и Венеция тоже. Ибо между религией Запада и религией Востока все еще зияет прежняя теологическая пропасть. Греческая церковь ненавидит римскую, и ее патриарх отказывается признать в лице папы верховного пастыря. Правда, перед лицом надвигающейся турецкой угрозы на двух со-



борах — в Ферраре и Флоренции — уже давно принято решение о воссоединении обеих церквей, и за это Византии обещана помощь против турок. Но едва опасность перестала быть для нее столь близкой, как греческие синоды не пожелали, чтобы договор вступил в силу; и только теперь, когда Мухаммед становится султаном, нужда пересиливает упорство православного духовенства; вместе с просьбой о помощи, Византия посылает в Рим извещение о том, что готова уступить. И вот на галеры погружают солдат и боеприпасы, но на одном из кораблей плывет и папский легат, он должен торжественно отпраздновать примирение обеих церквей и возвестить миру, что тот, кто посягнет на Византию, бросит вызов всему христианскому человечеству.

### ОБЕДНЯ ПРИМИРЕНИЯ

Этот декабрьский день отмечен величественным зрелищем: в чудесной базилике, с ее мрамором, мозаикой и поблескивающими драгоценностями, — глядя на теперешнюю мечеть, эту былую роскошь даже трудно себе представить — свершается праздник примирения. Окруженный всеми сановниками империи, появляется Константин, базилевс, он и его императорская корона являются как бы верховными свидетелями и поручителями за то, что вечное согласие и мир не будут нарушены. Гигантский храм переполнен, его озаряют тысячи свечей; перед алтарем по-братски служат обедню легат папского престола Исидор и православный патриарх Григорий; впервые в этой церкви имя папы включается в молитвы, впервые плывет волнами к высоким сводам вечного собора благочестивое пение на языках латинском и греческом, в то время как внизу оба примирившиеся причта торжественно проносят мощи святого Спиридона. Восток и Запад, та и другая вера кажутся навеки связанными, и после многих-многих лет преступных раздоров идея Европы, смысл Запада как будто осуществлены.

Но в истории минуты примирения и торжества разума кратки и преходящи. Еще в храме благочестиво сливаются голоса, вознося общую молитву, а за его стенами, в монастырской келье, ученый монах Геннадий уже обличает латинян и предательство истинной веры; эту

связь, едва закрепленную с помощью разума, фанатизм тут же снова разрывает, и если греческое духовенство даже не помышляет об искреннем подчинении, то и друзья на том конце Средиземного моря не вспоминают об обещанной помощи. Правда, послано несколько галер и несколько сотен солдат, но потом город брошен на произвол судьбы.

## ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ

Замышляя войну, деспоты, если они еще не вполне вооружились, охотно разглагольствуют о мире. Так и Мухаммед при своем восшествии на престол, принимая послов императора Константина, расточает именно им самые приветливые и успокоительные слова; он публично и торжественно клянется богом и его пророком, ангелами и кораном, что будет свято соблюдать договоры с базилевсом. И одновременно этот двурушник заключает соглашение о двустороннем нейтралитете с венграми и сербами сроком на три года — именно на те три года, в течение которых он намерен без помех овладеть городом. И только после того, как Мухаммед наговорился о мире и клятвенно наобещал блюсти его, он совершает правонарушение и провоцирует войну.

До сих пор туркам принадлежал лишь азиатский берег Босфора, и поэтому суда могли беспрепятственно ходить из Византии через пролив в Черное море, к своему зернохранилищу. Мухаммед замыкает для них этот путь и, даже не стараясь оправдать свои действия, приказывает построить крепость на европейском побережье, возле Румели Хиссары, притом в самом узком месте, там, где во времена персидских войн отважный Ксеркс перешагнул через пролив. За одну ночь тысячи, десятки тысяч землякопов высаживаются на европейском берегу, который, согласно договору, не может быть укреплен (но какое значение для деспотов имеют договоры?), и они опустошают ради своего пропитания окрестные поля, они сносят не только дома, но издавна прославленную церковь святого Михаила, чтобы добыть камни для крепости; султан самолично, не зная покоя ни днем, ни ночью, руководит работами, а Византия беспомощно взирает, как стараются ее задушить, отрезав ей вопреки

всем правам и договорам выход к Черному морю. Уже суда, которые намеревались пройти по до сих пор свободным водам, подверглись обстрелу, хотя еще никакой войны нет, но после этой первой удачной пробы своей мощи всякое притворство вскоре становится для султана излишним. В августе 1452 года Мухаммед собирает всех своих пашей и ага, открыто заявляет им о своем намерении атаковать Византий и захватить его. За этим извещением следует и насилие; по всей турецкой империи рассылаются глашатаи, они созывают всех мужчин, способных носить оружие, и 5 апреля 1453 года, словно внезапно прорвавшийся штормовой прилив, необозримая оттоманская армия затопляет всю равнину перед Византием, вплоть до самых его стен.

Во главе своих войск в роскошных одеждах едет верхом султан, он намерен разбить свой шатер прямо перед воротами евангелиста Луки. Но прежде чем штандарты его главного штаба будут здесь развеиваться по ветру, он приказывает расстелить на земле молитвенный коврик. Босой становится он на него, обратившись лицом в сторону Мекки, трижды склоняется, касаясь лбом земли, а позади него разворачивается величественное зрелище: тысячи и тысячи солдат также склоняются и в ту же сторону, произносят в таком же ритме ту же молитву, прося аллаха, чтобы он даровал им мощь и победу. Лишь после этого султан встает. Смирный стал снова вызывающим, слуга господен — владыкой и воином, и по всему лагерю спешно расходятся его «теллалы», его глашатаи, чтобы, когда прогремит дробь барабанов и прозвонят фанфары, тут же возвестить: осада города началась.

## СТЕНЫ И ПУШКИ

У Византия есть только стены — в них его сила и спасение; ничего у него не осталось от бывшего всемирного могущества, кроме этого наследия более славных и счастливых времен. Треугольник города защищен тройным панцирем. Ниже каменные стены прикрывают город с флангов, со стороны Мраморного моря и Золотого Рога; и гигантской массой разворачивается бруствер лицом к равнине, это так называемая стена Теодозия. Уже

Константин в предвидении будущих опасностей опоясал Византий плитняком, а Юстиниан продолжал возведение насыпей и укрепил их; но только Теодозий возвел настоящие бастионы со стеной в семь километров, о каменной мощи которой можно еще судить и теперь по обветшавшим плещом развалинам. Украшенная амбразурами и зубцами, защищенная рвами с водой, охраняемая мощными квадратными сторожевыми башнями, она тянется двумя и тремя параллельными рядами, и каждый государь, в течение целого тысячелетия, дополнял и обновлял ее; эта величественная окружная стена считалась в то время символом совершенной неприступности. Как некогда перед лицом неудержимых варварских орд и валивших валом турецких отрядов, так же и сейчас эти квадратные глыбы кажутся неуязвимыми для всех изобретенных до сих пор орудий войны: снаряды всякого рода катапульт и таранов и даже недавно созданных пицалей и мортир бессильно отскакивают от этой отвесной плоскости, ни один европейский город не защищен крепче и надежнее, чем Константинополь своей стеной Теодозия.

Мухаммеду лучше чем кому-либо известна мощь этих стен и их надежность. И во время бессонницы и в сновидениях вот уже долгие месяцы и годы он занят единственной мыслью об этих стенах, о том, как победить непобедимое, как разрушить нерушимое. На его столе непрерывно растет гряда чертежей, изображающих размеры и очертания вражеских укреплений, он знает каждый холмик по ту и по эту сторону стен, каждый склон, каждый водосток, и его инженеры продумали вместе с ним каждую деталь. Но их постигло разочарование: все они высчитали, что при существующих орудиях стену Теодозия разрушить нельзя.

Значит, надо применить новые пушки! Они должны быть длиннее, более дальнобойные, более мощные, чем те, которые до сих пор известны военному искусству! И другие снаряды—из более крепкого камня, тяжелее, мощнее, разрушительнее, чем все применявшееся до сих пор! Для этой неприступной стены нужно изобрести новую артиллерию, иного решения нет, и Мухаммед заявляет, что готов любой ценой создать новые наступательные средства.

Любой ценой — такое заявление уже само по себе пробуждает творческие, движущие силы. И вот вскоре после объявления войны к султану приходит человек, известный как самый опытный и изобретательный пушечный мастер, Урбас или Орбас, венгерец. Правда, он христианин и только что предлагал свои услуги императору Константину; но, справедливо ожидая, что найдет у Мухаммеда и лучшую оплату и более смелые задачи для своего искусства, он заявляет, что готов, если ему предоставят неограниченные средства, отлить такую огромную пушку, какой на земле еще не бывало. Султан, которому, как и всякому одержимому одной-единственной мыслью, никакая цена не кажется слишком дорогой, тотчас дает ему любое число рабочих, и в Адрианополь доставляют тысячи повозок меди. За три месяца пушечник с великими усилиями изготавливает литейную форму в глине, применяя секретные способы закалки, лишь после этого должно начаться волнующее литье раскаленной массы. Выполнить задачу удастся. Гигантский пушечный ствол, самый большой из всех до сих пор известных в мире, выбивается из формы и остуживается, но перед тем, как произвести первый пробный выстрел, Мухаммед рассылает по всему городу глашатаев, чтобы предостеречь беременных женщин. И когда с чудовищным громом, освещенное словно вспышкой молнии жерло выбрасывает мощное каменное ядро и это ядро, этот единственный пробный выстрел разрушает стену, Мухаммед тотчас приказывает создать целую артиллерию из орудий столь же гигантских размеров.

Первая большая «каменеметная машина», как впоследствии назовут эту пушку перепуганные греческие историки, наконец все же создана. Но возникает еще большая трудность: как протащить это чудовище, этого медного дракона через всю Фракию, до самых стен Византия? И начинается ни с чем не сравнимая Одиссея. Ибо целый народ, целая армия в течение двух месяцев волокут вперед упрямое чудовище с непомерно длинной шеей. Впереди мчатся отряды всадников, постоянные патрули, они должны защищать сокровище от всех возможных нападений, за ними следуют многие сотни, а может быть, и тысячи землекопов; они трудятся и возят день и ночь тачки с землей, устраняя все неровности почвы перед

столь тяжелым транспортом, который на многие месяцы вновь разрушает позади себя дороги. В эту крепость на колесах впряжены пятьдесят пар волов, а на оси, как некогда обелиск, путешествовавший из Египта в Рим, уложены громадные стволы пушек, причем их тяжесть тщательно распределена: двести человек неутомимо подпирают справа и слева покачивающуюся от собственного веса громадину, а пятьдесят каретников и столяров то и дело заменяют или смазывают деревянные катки, укрепляют подпорки, наводят мосты; все понимают, что только шаг за шагом, медленной рысцою может этот бесконечный караван передвигаться через горные хребты и степи. Дивясь, собираются в деревнях мужики и крестьяне, глядя на медное чудовище, которого, словно бога войны, несут из одной земли в другую его жрецы и служители; но вскоре уже волокут следом и его братьев, также отлитых из меди и извлеченных из глиняного материнского лона; человеческая воля еще раз сделала невозможное возможным. И вот уже двадцать или тридцать таких же чудовищ ощерили черные круглые пасти, направленные на Византию; тяжелая артиллерия совершила свой въезд в историю войн, и начинается поединок между простоявшей тысячелетия стеной императоров римского Востока и новыми пушками нового султана.

## СНОВА НАДЕЖДА

Медленно, упорно, неотвратно сверкающими укусами перегрызают и перемалывают Мухаммедовы пушки стены Византии. Каждое из орудий может пока производить ежедневно не больше шести-семи выстрелов, но изо дня в день султан устанавливает все новые пушки, и с каждым ударом среди облаков пыли и щебня в осыпающейся каменной кладке открываются все новые бреши. Правда, по ночам осажденные затыкают эти бреши деревянными кольями, хотя кольев становится все меньше, и свернутыми в комок кусками холста, но все-таки они сражаются теперь уже не за прежней неприступной стеной, и с ужасом восемь тысяч осажденных, укрывающихся за насыпями, думают о том решающем часе, когда сто пятьдесят тысяч воинов Мухаммеда пойдут в решающее наступление и набросятся на проды-

рявленные стены. Пора, давно пора христианскому миру вспомнить о данном обещании; толпы женщин с детьми целыми днями стоят на коленях в церквах перед раками с мощами, со всех сторожевых башен день и ночь высматривают солдаты, не появится ли наконец на волнах Мраморного моря, кишящего турецкими судами, обещанный папский или венецианский запасной флот.

Наконец 20 апреля в три часа загорается сигнал. На горизонте замечены паруса. Правда, это не тот мощный христианский флот, о котором грезили осажденные, все же ветер медленно гонит к берегу три больших генуэзских корабля, а позади них еще маленькое византийское судно с зерном, которое окружено этими тремя для защиты. Тотчас весь Константинополь собирается у береговых укреплений, чтобы восторженно приветствовать идущих им на помощь. Но в это же время Мухаммед вскакивает на коня, несется бешеным галопом от своей пурпурной палатки вниз к гавани, где стоит на якоре турецкий флот, и отдает приказ любой ценой помешать судам войти в гавань Византия, в Золотой Рог.

Турецкий флот состоит из ста пятидесяти хотя и меньших судов, и тотчас с моря доносится плеск нескольких тысяч весел. С помощью бордажных крюков, огнеметов и пращей сто пятьдесят каравелл с трудом подходят к четырем галионам, но, подталкиваемые сильным ветром, четыре мощных корабля обгоняют и дают суда турок, с которых доносится гомон, крики и стрельба. Величественно, с надувшимися круглыми парусами, направляются они, презирая нападающих, к надежной гавани Золотого Рога, где знаменитая цепь, протянутая от Стамбула до Галаты, будет им долго служить защитой против атак и наступлений. Четыре галиона уже почти у цели: уже тысячи людей могут с береговых укреплений разглядеть каждое лицо в отдельности, уже мужчины и женщины бросаются на колени, чтобы возблагодарить господу бога и его святых за славное спасение, уже звякает портовая цепь, чтобы пропустить суда, снимающие с города блокаду.

И вдруг совершается нечто ужасное. Ветер неожиданно падает. словно притянутые магнитом, цепенеют



на месте четыре корабля, прямо в море, всего несколько бросков из пращи отделяют их от спасительной гавани, и с дикими торжествующими криками бросается вся свора с весельных судов на четыре застывших корабля, которые неподвижно высятся в заливе, как четыре башни. Подобно охотничьим псам, вцепившимся в оленя, повисают мелкие суда на боках больших, турки рубят их дерево топорами, чтобы они затонули; все новые группы взбираются по якорным цепям, швыряя в паруса факелами и головешками, чтобы их поджечь. Капитан турецкой армады решительно направляет свое адмиральское судно на галион с зерном, намереваясь его протаранить; уже оба судна сцеплены друг с другом, точно кольца. Правда, защищенные высокими бортами и шлемами, генуэзские матросы еще в состоянии обороняться от лезущих сверху турок, они еще отгоняют нападающих крюками, камнями и греческим огнем. Но скоро этой борьбе наступит конец. Силы греков и турок слишком неравные. Генуэзские суда обречены.

Какое ужасное зрелище для тысяч людей, собравшихся на стенах города! Оно так же увлекательно близко, как на арене, когда народ следит за кровавыми поединками, а сейчас так мучительно близко, что он может воочию наблюдать морской бой и, видимо, неизбежную гибель своих защитников, ибо еще самое большее два часа, и все четыре корабля будут побеждены на арене моря нападающим врагом. Напрасен был приход друзей, напрасен! Греки, стоя на константинопольских укреплениях лишь на расстоянии брошенного камня от своих братьев, сжимают кулаки в бесполезной ярости, ибо не в силах помочь своим спасителям. Иные, отчаянно жестикулируя, стараются воодушевить друзей. Другие, вздев руки к небу, призывают Христа, архангела Михаила и всех святых их храмов и монастырей, столько веков охранявших Византию, совершить чудо. Но на противоположном берегу, в Галате, турки тоже ждут, взывают и молятся так же горячо о даровании победы их войску: море стало как бы ареной, морское сражение — состязанием гладиаторов. Сам султан примчался галопом на берег. Окруженный своими пашами, въезжает он так глубоко в воду, что его верхняя одежда становится мокрой, и, приставив к губам руки в виде рупора, гневно выкри-

2. Стефан Цвейг. Т. 3.

кивает своим солдатам команду во что бы то ни стало захватить христианские суда. И всякий раз, когда одну из его галер вынуждают стоять, осыпает он бранью и угрозами своего адмирала, занося над ним кривую саблю: «Если не победишь, живым не возвращайся!»

Четыре христианских корабля все еще держатся, но бой идет к концу; уже метательные снаряды, которыми христиане отгоняют турецкие галеры, на исходе, уже устает у матросов рука после многочасового сражения с превосходящими греков в пятьдесят раз силами противника. День меркнет, солнце садится за горизонт. Еще час, и суда, если даже их до тех пор не возьмут турки на abordаж, будут отнесены течением к занятому неприятелем берегу за Галатой. Они погибли, погибли, погибли!

И вот происходит то, что отчаявшейся, воюющей, взывающей толпе людей из Византия кажется чудом. Вдруг в море начинается легкое волнение, вдруг поднимается ветер. И сразу же надуваются повисшие паруса четырех галионов, становятся округлыми и большими. Ветер, желанный, спасительный ветер снова проснулся! Торжественно поднимается нос галионов, распустив паруса, внезапным рывком обгоняют они и топят, перейдя к нападению, кишашие вокруг них вражеские суда. Они на свободе, они спасены! Под бурю тысячных, многотысячных ликующих толп входит первый корабль, потом второй, потом третий, потом четвертый в безопасную гавань, заградительная цепь, звякая, снова поднимается, а позади остается рассеянная по морю, беспомощная стая турецких каравелл; и еще раз ликование надежды проносится, как пурпурное облако, над угрюмым, впавшим в отчаяние городом.

## ФЛОТ ПЕРЕПРАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГОРУ

Всего одну ночь продолжается безудержная радость осажденных. Но ведь ночь всегда пробуждает в нас фантазию и подмешивает в наши надежды сладостный яд мечтаний. Одну ночь осажденные считают себя уже спасенными и вне опасности. Ведь так же, как эти четыре судна благополучно доставили на берег солдат и про-

виант — мечтают люди в городе, — так же неделя за неделей будут приходить новые; Европа их не забыла, и они, отдавшись преждевременным надеждам, уже видят город свободным от осады, врага — посрамленным и разбитым.

Но и Мухаммед — мечтатель, правда, мечтатель иного рода, явление гораздо более редкое; он из тех, кто умеет благодаря силе воли претворять свои мечты в жизнь. И в то время как галионы, достигнув гавани Золотого Рога, уже мнят себя в безопасности, он создает план, столь фантастически дерзновенный, что в истории войн его можно, поистине не кривя душой, приравнять к отважнейшим деяниям Ганнибала и Наполеона. Византий лежит перед ним, точно золотой плод, но он не может овладеть им: главным препятствием для овладения и для нападения является глубокий морской залив. Золотой Рог — это бухта, похожая на слепую кишку, которая защищает Константинополь с одного фланга. Проникнуть в эту бухту фактически невозможно, ибо у входа в бухту лежит генуэзский город Галата, в отношении которого Мухаммед обязан сохранять нейтралитет, и оттуда тянется железная заградительная цепь через море, до вражеского города. Поэтому его флоту не проникнуть в бухту фронтальным ударом; лишь со стороны внутреннего бассейна, там, где кончается генуэзская территория, можно было бы завладеть христианскими судами. Но как провести флот в эту внутреннюю бухту? Его можно было бы построить, конечно. Но на такое дело нужны месяцы и месяцы, а этот нетерпеливец ждать не может.

И тут Мухаммеда осеняет гениальная мысль: переправить волоком свой флот из внешнего моря, где он стоит без пользы, через полуостров в виде косы во внутреннюю гавань Золотого Рога. Эта смелая, дух захватывающая идея переправиться с сотнями судов через гористый полуостров кажется на первый взгляд столь нелепой и невыполнимой, что и византийцы и генуэзцы в Галате отводят ей так же мало места в своих стратегических расчетах, как римляне, а затем австрийцы стремительному переходу через Альпы Ганнибала и Наполеона. Весь земной опыт говорит о том, что суда могут плыть только по воде, но никогда флот не переплывал че-

рез гору. Однако признаком демонической воли во все времена и является то, что она превращает невозможное в действительность, и военного гения всегда узнают по тому, что во время войны он пренебрегает обычными законами ведения войны и в нужную минуту заменяет испытанные методы творческой импровизацией. И вот начинается кампания, едва ли с чем-нибудь сравнимая в аналах истории. Мухаммед втайне приказывает доставить бесчисленное множество кругляков, плотники делают из них сани, и на них кладут потом суда, словно на подвижной сухой док. Одновременно работают тысячи землекопов, чтобы как можно лучше выровнять для транспорта узкую тропинку, идущую вверх и вниз по краю возвышенности Пера. Чтобы скрыть, однако, от врага столь великое скопление рабочих, султан каждую ночь и каждый день ведет устрашающий обстрел из мортир поверх нейтрального города Галаты; сам по себе обстрел лишен смысла, но цель его одна: отвлечь внимание и скрыть путешествие судов по горам и долинам из одних вод в другие. И пока враги заняты и ожидают атаки только с суши, турки уложили суда на круглые вальки, обильно смазанные маслом и жиром; бесчисленные пары буйволов на полозьях повлекли суда, а матросы поддерживали их сбоку. Турки перетаскивают их с помощью этого гигантского катка одно за другим через гору.

Решающим во всех крупных военных операциях является момент неожиданности. И здесь мы видим потрясающее доказательство своеобразной гениальности Мухаммеда. Никто не подозревает о его намерениях. «Знай хоть один волос в моей бороде о моих замыслах, я вырвал бы его!» — сказал однажды о себе этот гениальный и коварный хитрец. И в то время как пушечные ядра гремят об стены, выполняется его приказ, 22 апреля семьдесят судов переправляются через горы и долины, через виноградники и пашни из одного моря в другое. На следующее утро византийцам кажется, что они все еще видят сон: вражеский флот, словно перенесенный рукою призраков, с вымпелами и матросами плывет посередине их бухты, которую они считали недоступной; они еще протирают глаза, стараясь понять, откуда взялось это чудо, а под их боковой стеной, до сих пор защищенной

бухтой, уже ликують фанфары, цимбалы и барабаны, и весь Золотой Рог, за исключением тесного нейтрального пространства возле Галаты, где изолирован христианский флот, благодаря этому гениальному ходу принадлежит уже султану и его армии. Беспрепятственно может он теперь повести свои войска по понтонному мосту к более слабо укрепленной стене: тем самым поставлен под угрозу и более слабый фланг, а и без того редкие ряды защитников должны теперь еще больше растянуться. Крепче и крепче сжимает железный кулак горло своей жертвы.

## ЕВРОПА, НА ПОМОЩЬ!

Осажденные уже не строят себе иллюзий. Они понимают: пусть даже они сосредоточат свои силы на прованном фланге, они не смогут долго сопротивляться за этими разрушенными бомбардировками стенами, восемь тысяч человек против ста пятидесяти тысяч, если им немедленно не будет оказана помощь. Но разве венецианская синьория торжественно не обещала послать корабли? Разве папа может остаться равнодушным, если Святой Софии, благолепнейшему храму Запада, грозит опасность превратиться в мечеть неверных? Разве Европа не понимает, что хоть и погрязшие в распрях, хоть и разделенные сотнями проявлений низменной зависти, греки все же не представляют собой опасности для культуры Запада? А может быть, утешают себя осажденные, запасной флот давно готов и медлит поднять паруса только от неведения и достаточно было бы довести до их сознания, какая грозная ответственность ложится на них за это убийственное промедление?

Но как подать весть венецианскому флоту? Мраморное море усеяно турецкими судами; двинуть весь флот значило бы обресть его на гибель, и, кроме того, защитники, где на счету каждый человек, лишившись двух-трех сотен солдат, станут еще слабее. Поэтому решают рискнуть одним, совсем маленьким судном с крошечной командой. Всего двенадцать человек — если бы в истории царил справедливость, их имена были бы прослав-

лены не меньше, чем имена аргонавтов, но мы не знаем ни одного из них,—эти двенадцать решаются на героический поступок. На маленькой бригантине поднимают вражеский флаг. Все двенадцать человек переодеваются турками, они в тюрбанах, или «тарбушах», чтобы не привлекать внимания. 3 мая, в полночь, заградительную цепь гавани беззвучно опускают, едва слышится приглушенный плеск весел, и отважная бригантина, пользуясь темнотою, выскальзывает из гавани. И что же — чудо свершается: неузнанным проходит углое суденышко через Дарданеллы в Эгейское море. И, как всегда, безмерность отваги парализует противника. Кажется, все предусмотрел Мухаммед, но не мог себе представить, чтобы на своем одиноком судне двенадцать героев дерзнули проплыть через его флот с мужеством, равным мужеству аргонавтов.

Однако какое трагическое разочарование: в Эгейском море не видно ни одного венецианского паруса. И Венеция и папа — все забыли о Византии, все оставили ее в пренебрежении, занятые мелкой, недалёковидной политикой, почестями да присягами. Все вновь и вновь повторяются в истории эти трагические моменты, когда для защиты европейской культуры необходимо величайшее сосредоточение и объединение всех сил, а власти и государства ни на малую толику не могут пожертвовать мелким соперничеством. Генуе важнее затмить Венецию, а Венеции — Геную, чем, объединившись хотя бы на несколько часов, совместно пойти на общего врага. И вот море пусто. В отчаянии гребут герои в своей ореховой скорлупе от острова к острову. Но повсюду гавани уже заняты врагом, и ни одно дружественное судно не отваживается войти в область военных действий.

Что делать? Кое-кто из двенадцати пал духом, что вполне естественно. Зачем возвращаться в Константинополь и еще раз проделать весь этот опасный путь? Никаких надежд они привезти не могут. Может быть, город уже пал; во всяком случае, если они вернуться, их ожидает плен или смерть. Но как великолепны те герои, которые никому не ведомы! — большинство все же высказывается за возврат в Византий. Им дано поручение, и они должны его выполнить. Их послали за вестями,

и они должны их привезти на родину, как бы тяжелы эти вести ни были. И вот хрупкое суденышко отважно пускается в обратный путь, через Дарданеллы, Мраморное море и между судов враждебного флота. 23 мая, спустя двадцать дней после отплытия — в Константинополе уже давно решили, что бригантина погибла, уже никто не думает о вестях и о возвращении — несколько часовых на стенах вдруг начинают махать флагами, ибо под резкие удары весел маленькое судно устремляется к Золотому Рогу. И когда турки, услышав бурное ликование осажденных, с удивлением замечают, что эта бригантина, которая дерзко прошла под турецким флагом через их воды, на самом деле судно неприятеля, они со всех сторон окружают его своими галионами, чтобы успеть перехватить перед самым входом в безопасную гавань. На мгновение над Византием поднимаются ликующие крики. Люди полны радостной надежды на то, что Европа вспомнила о них и что первые корабли посланы вперед как вестники помощи. Лишь вечером становится известной печальная правда: христианский мир забыл о Византии. Осажденные покинуты, они погибли, если не спасут себя сами.

## НОЧЬ ПЕРЕД ШТУРМОМ

После шести недель почти ежедневных боев султана наконец охватывает нетерпение. Его пушки во многих местах уже разрушили стены, но все атаки, которые он приказывает производить, отбиты с большим кровопролитием. Перед полководцем стоят теперь только две возможности: или отказаться от осады, или после бесчисленных отдельных атак наконец начать большое, решающее наступление. Мухаммед созывает своих пашей на военный совет, и его пылкая воля побеждает все сомнения. Великий решающий штурм назначается на 29 мая. С привычной энергией султан готовится к нему. Назначается день праздника, когда все сто пятьдесят тысяч воинов, от первого до последнего, должны выполнить все праздничные обряды, предписанные исламом, — семь омовений и три раза в день великая молитва. Еще остававшийся порох и снаряды подносят к орудиям для усиленного артиллерийского обстрела, который подгото-



вит штурм города; отдельные отряды размещаются в разных пунктах для атаки. С раннего утра и до поздней ночи Мухаммед не дает себе отдыха ни на час. От Золотого Рога до Мраморного моря, вдоль всего гигантского лагеря едет он от палатки к палатке, всюду лично подбадривает военачальников, воодушевляет солдат. Но, как опытный психолог, он знает, чем можно разжечь до предела боевой пыл его стопятидесяти тысячной армии; и он дает свирепое обещание, которое, к его чести и бесчестию, и выполняет до конца. Это обещание под гром барабанов и звуки фанфар его герольды выкрикивают на все четыре стороны света: «Мухаммед клянется именем аллаха, именем Магомета и четырьмя тысячами пророков, он клянется душой своего отца, султана Мурада, клянется жизнью своих детей и своей саблей, что после взятия города он дарует своим войскам на три дня право неограниченного разграбления. Все, что имеется внутри его стен: утварь и всякое добро, украшения и драгоценности, монеты и сокровища, мужчины, женщины, дети, все это должно принадлежать победоносным воинам, сам он отказывается от какой-либо доли, кроме чести завоевания этого последнего оплота Восточной Римской империи».

Бешеным ликованием встречают солдаты свирепую весть. словно буря, нарастает буйный шум ликования и неистовых криков «аллах-иль-аллах», вырывающихся из тысяч глоток, и долетает до перепуганного города. «Ягма», «Ягма» — «Грабьте!» «Грабьте!» Слово становится боевым кличем, оно в дробь барабанов, оно в реве труб и звоне цимбал, и ночью лагерь превращается в праздничное море света. Содрогаясь, видят осажденные со своих насыпей, как на равнине и на холмах загораются мириады огней и факелов и неприятель под звуки труб, свистелок, барабанов и тамбуринов празднует победу еще до победы; это напоминает зловещую и шумную церемонию языческих жрецов перед принесением жертвы. Но в полночь, по приказу Мухаммеда, гаснут в один миг все огни и резко обрывается тысячеголосый гомон разгоряченных толп. Но этот тяжкий мрак и внезапное безмолвие своей грозной решительностью больше угнетают расстроенных, насторожившихся греков, чем неистовое ликование буйных огней.

## ПОСЛЕДНЯЯ ОБЕДНЯ В СВЯТОЙ СОФИИ

Осажденным не нужны ни дозорные, ни перебежчики, они знают и так, что им предстоит. Они знают, что приказ о штурме крепости отдан, и предчувствие неслыханной ответственности и неслыханных опасностей нависает над городом, как грозовая туча. Население, разьединенное ссорами и религиозными распрями, в эти последние часы вдруг забывает о всех разногласиях. Так обычно только крайняя беда являет нам зрелище несравненного человеческого единения на земле; пусть все знают, какие ценности им предстоит защищать: веру, великое прошлое, общую культуру. Басилевс повелевает совершить волнующую церемонию: по его приказу весь народ,— православные и католики, священники и миряне, дети и старцы выстраиваются в одну процессию. Никто не имеет права, никто не хочет оставаться дома, начиная с самых богатых и кончая беднейшими, все выстраиваются, с благоговением запевая «Kyrie Eleison», и торжественное шествие сначала обходит город, а затем и внешние укрепления. Взятые из церкви иконы и реликвии несут впереди; повсюду, где в стенах пробита брешь, вешают иконы, они лучше, чем земное оружие, отразят штурм неверных. Одновременно император Константин собирает сенаторов, дворян и военачальников, чтобы последним обращением разжечь в них мужество. Правда, он не может, как Мухаммед, обещать им безмерную добычу. Но он живописует честь и славу, которые они добудут для всех христиан и всего западного мира, если они отразят этот последний решающий штурм, и ту опасность, которая грозит всем, если они не устоят перед поджигателями к убийству; и Мухаммед и Константин знают, что этот день определит ход истории на многие века.

Потом начинается заключительная сцена, одна из самых захватывающих в Европе, незабываемый экстаз гибели. В соборе Святой Софии, тогда еще одном из самых великолепных соборов мира, который со дня объединения церквей был покинут и православными и католиками, собираются обреченные на смерть. Вокруг императора столпился весь двор, аристократия, греческое и римское духовенство, генуэзские и венецианские солдаты

и матросы, все в доспехах и при оружии, а позади них стоят, молча и благоговейно преклонив колена, тысячи и тысячи бормочущих теней — молящийся, обуреваемый страхом и заботами народ; и свечи, свет которых едва рассеивает сумрак нависших сводов, озаряют эту в единокорной молитве склонившуюся долу, как единородное тело, толпу. Сама душа Византии молится здесь богу. И вот мощно и призывно раздаётся голос патриарха, ему отвечают хоры, ещё раз звучит в этом соборе священный вечный голос Запада — музыка. Затем один за другим подходят они к алтарю — первым император, — чтобы получить утешение веры, и, отдаваясь от стен огромного храма, до самых сводов гулко и звонко плещет высокий прибор неустанной молитвы. Последняя, зауспокойная обедня Восточной Римской империи началась. Ибо в последний раз живет христианская вера в Юстиниановом соборе.

После этой потрясающей церемонии император только раз ненадолго вернулся в свой дворец, чтобы у всех своих подданных и слуг попросить прощения за всякую обиду, которую им когда-либо нанес. Затем он вскакивает на коня, в точности как Мухаммед, его великий противник, и едет в тот же час вдоль укреплений, чтобы воодушевить солдат. Ни один голос не звучит, ни один меч не звякнет. Но, взволнованные душой, ждут тысячи людей за городскими стенами рассвета и смерти.

## КЕРКАПОРТА, ЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ

В час пополуночи султан отдает сигнал к атаке. Развернут гигантский штандарт, и сотни тысяч людей с криками «аллах, аллах-иль-аллах» бросаются с оружием, лестницами, веревками и крюками на стены, и в то же время выбивают дробь все барабаны, пронзительные звуки труб, цимбал и флейт сливаются с криками людей и громом пушек, образуя сплошной оглушительный ураган звуков. Султан безжалостно бросает на стены неопытные отряды башибузуков, в его планах осады их полунагие тела должны играть роль упоров и предназначены для того, чтобы утомить и ослабить врага. Только после того он введет в дело свои основные силы.

которые и должны нанести решающий удар. Подгоняемые кнутами, бегут башибузуки в темноте вперед, неся сотни лестниц, карабкаются на зубцы, их сбрасывают вниз, они опять кидаются в атаку, все вновь и вновь, ибо пути назад им нет: позади этого предназначенного быть только жертвой и не имеющего ценности человеческого материала уже стоят основные силы, которые беспрерывно гонят его в атаку, на почти верную смерть. Еще защитники берут верх, их кольчуги неуязвимы для бесчисленных камней и стрел неприятеля. Но главная угрожающая им опасность — и тут Мухаммед не ошибся в своих расчетах — это утомление. Осажденные вынуждены беспрерывно сражаться против все новых наступающих, легковооруженных частей, то и дело перебегать с одного угрожаемого места на другое, и скоро оказывается, что в этой навязанной им защите большая часть их сил уже израсходована. И когда затем — после двухчасовых боев начинает светать — второй штурмовой отряд, анатолийцы, идут в атаку, борьба становится уже опасной. Ибо анатолийцы — дисциплинированные воины, они хорошо обучены и тоже защищены кольчугами, кроме того, они многочисленнее и полны сил, тогда как защитникам города приходится оборонять от вторжения нападающих то одно место, то другое. Однако атакующих еще повсюду отбрасывают назад, и султан вынужден ввести в бой свои последние резервы — янычар, кадровые войска, избранный гвардию оттоманской армии. Собственной особой становится он во главе двенадцати тысяч молодых, отборных солдат, лучших, каких знала в те времена Европа; и, издав один согласный крик, они бросаются на измотанного противника. Уже давно пора зазвонить всем городским колоколам и призвать на стены всех хоть сколько-нибудь боеспособных жителей, пора забрать матросов с кораблей, ибо сейчас разгорается действительно решающая битва. На беду защитников, каменное ядро тяжело ранит начальника генуэзских войск, отважного кондотьера Джустиниани, его утаскивают на суда, и от этой неудачи энергия осажденных на миг ослабевает. Но вот уже мчится галопом сам император, чтобы помешать угрожающему византийцам вторжению, и удастся еще раз столкнуть лестницы штурмующих: решимость противопоставлена отчаянной решимо-

сти, и на миг, краткий, как вздох, кажется, что Византий спасен, величайшее бедствие побеждает самое яростное нападение. И вдруг один трагический эпизод, одна из тех загадочных минут, какие порой возникают при неисповедимых решениях истории, как бы одним ударом определяют судьбу Византии.

Произошло нечто совершенно неправдоподобное. Через одну из многочисленных брешей, пробитых во внешней стене, неподалеку от главной точки нападения, проникли несколько турок. Но к внутренней стене они боятся подступиться. А когда они без всякого плана, любопытствуя, бродят между первой и второй городскими стенами, они замечают, что одни ворота, поменьше, так называемые керкапорта, по неспостижимому недосмотру остались открытыми. В сущности, это просто калитка, предназначенная в мирное время для пешеходов, когда главные ворота еще закрыты; именно потому, что эта калитка не имеет никакого стратегического значения, среди всеобщей тревоги этой ночи о ее существовании совсем забыли. И янычары, к своему изумлению, видят среди грозного бастиона эту спокойно раскрытую перед ними дверь. Сначала они подозревают военную хитрость, ибо им кажется просто абсурдом, что здесь по-воскресному мирно открыта калитка керкапорта, ведущая к центру города, тогда как перед каждой брешью, каждым отверстием, каждым воротами крепости громоздятся тысячи трупов, осажденные мечут в осаждающих дробтики и льют на них горящее, шипящее масло. На всякий случай янычары зовут подкрепление, и, не встретив никакого отпора, целый отряд турок врывается во внутренний город и внезапно нападает с тылу на ничего не подозревающих защитников наружных стен. Несколько воинов вдруг видят турок за своей спиной и, на свое несчастье, поднимают тот крик, который рождает ложные слухи: «Город взят!» И все громче его повторяют турки, ликуя: «Город взят!» И этот крик подрывает всякое сопротивление. Отряды наемников, вообразив, что их предали, покидают свои посты, стараясь поскорее достигнуть гавани и спастись на суда. Тщетно Константин с несколькими верными ему людьми бросается навстречу захватчикам, он падает, сраженный в сумятице, и только на другой день его узнают в гряде убитых

по пурпурным, украшенным золотым орлом башмакам и установят, что последний государь Восточной Римской империи доблестно (в римском смысле этого слова) расстался с жизнью и с империей. Так случайная пылинка, керкапорта, забытая дверь, определила ход всемирной истории.

## КРЕСТ НИЗВЕРЖЕН

Порой история играет датами. Ибо ровно через тысячу лет после того, как Рим был столь знаменательно разграблен вандалами, начинается грабеж Византия. Верный своим клятвам, сдержал слово Мухаммед, свирепый победитель. После первой резни он без разбору отдает в руки своих солдат военную добычу: дома и дворцы, монастыри и церкви, мужчин, женщин и детей, и, словно дьяволы преисподней, мчатся турки тысячами по улицам, стараясь опередить друг друга. Первыми атакуются церкви, там сверкают золотые сосуды, искрятся самоцветы, а когда солдаты врываются в какой-нибудь дом, они сейчас же вывешивают на нем свои знамена, чтобы идущие следом знали: здесь добыча уже конфискована; и добыча эта состоит не только из драгоценных камней, тканей, денег и движимого имущества; женщины — это тоже товар, годный для сералей, а мужчины и дети — для невольничьих рынков. Целыми толпами выгоняют победители кнутами тех несчастных, которые искали убежища в церквях, стариков приканчивают, ибо это бесполезные едоки и баласт, не имеющий спроса, а молодых связывают вместе, как скот, и утаскивают прочь, причем наряду с грабежом свирепствует бессмысленное разрушение. Все, что крестоносцы, грабившие, быть может, не менее жестоко, оставили, — часть драгоценных реликвий и произведений искусства, — неистовствующие победители теперь разбирают, разрывают на клочья, распарывают; они уничтожают ценнейшие картины, раскалывают молотками великолепные статуи, книги, в которых заключены мудрость веков, бессмертное сокровище греческой мысли и поэзии и которые должны были сохраняться на веки веков, сжигаются и небрежно выбрасываются. Никогда человечество не узнает до конца, какое бедствие ворвалось в этот роковой час через открытую керкапарту и

сколь многие духовные богатства мира были при разграблении Рима, Александрии и Константинополя утрачены.

Лишь во вторую половину дня, ознаменованного великой победой, когда побоище уже кончилось, свершает Мухаммед свой въезд в завоеванный город. Гордый и серьезный, следует он на своем великолепном скакуне мимо диких сцен грабежа, не глядя в сторону, ибо он остается верен данному слову — не мешать солдатам, добывшим ему победу в их ужасном деле. Но увидеть в первую очередь плоды победы, ибо это полная победа — не его цель, он гордо едет прямо к собору, к этой золотой главе Византии. Больше пятидесяти дней жадно взирал он из своей палатки на поблескивающий недоступный купол Святой Софии; теперь он, победитель, имеет право перешагнуть через порог ее бронзовых дверей. Но Мухаммед еще раз укрощает свое нетерпение: он хочет сначала возблагодарить аллаха, прежде чем навеки посвятить ему этот храм. Султан смиренно спешивается и склоняется до земли в молитве. Затем берет горсть земли и сыплет ею главу, дабы напомнить самому себе, что и сам он смертен и не должен чрезмерно гордиться своим триумфом. Лишь затем, показав богу, как он смиренен, султан резко выпрямляется и вступает — первый слуга аллаха — в храм Юстиниана, в храм священной премудрости, в храм Святой Софии.

С любопытством и волнением разглядывает султан великолепное здание, высокие своды, поблескивающие мрамором и мозаикой, хрупкие арки, вздымающиеся из сумрака к свету; не ему, чувствует он, а его богу должен принадлежать этот благородный дворец молитвы. Тотчас посылает он за имамом, тот восходит на кафедру и оттуда провозглашает магометанский символ веры, а падишах, обратившись лицом к Мекке, читает молитву аллаху, владыке миров; она звучит впервые в этом христианском храме. На следующий же день мастеровые получают приказ убрать из церкви все знаки прежней религии; сносятся алтари, замазываются благочестивые картины из мозаики, и высоко вознесенный крест на Святой Софии, в течение тысячи лет простиравший свои руки, чтобы охватить все земное страдание, с глухим стуком падает наземь.



Громким эхом отдается звук в храме и далеко за его стенами. Ибо от этого падения содрогается весь Запад. Вызывая испуг, отдается горестная весть в Риме, в Генуе, в Венеции, словно предостерегающий гром, докатывается она до Франции, Германии, и Европа, трепеща, осознает, что в результате ее тупого равнодушия через роковую забытую дверь, через керкапорту, ворвалась, подобно судьбе, разрушительная мощь, которая в течение веков будет связывать и сковывать силы Европы. Однако в истории народов, как и в жизни отдельного человека, сожалениями о потерянной минуте ее не возвратишь, и тысячелетию не исправить упущенного за один час.

# ПОБЕГ В БЕССМЕРТИЕ

(Открытие Тихого океана 25 сентября 1513 года)



## КОРАБЛЬ СНАРЯЖАЕТСЯ В ПУТЬ

**К**огда Колумб вернулся в Испанию после открытия Америки, он в своем триумфальном шествии по заполненным народом улицам Севильи и Барселоны выставил напоказ великое множество ценностей и диковинок — краснокожих людей доселе неизвестной расы, невиданных зверей, пестрых, крикливых попугаев, неповоротливых тапиров, удиви-

тельные растения и фрукты, которые вскоре затем привились в Европе, индийское зерно, табак и кокосовые орехи. Ликующая толпа с любопытством глазеет на все это богатство, но внимание королевской четы и ее советников приковано к нескольким ларчикам и корзинкам с золотом. Совсем немного золота привез Колумб из новой Индии — несколько украшений, отнятых или вымененных у туземцев, несколько маленьких слитков, две-три горсти золотых крупинок — скорее золотая пыль, нежели золото, — всей добычи хватило бы разве на чеканку нескольких сотен дукатов. Однако гениальный фантазер Колумб, который всегда слепо верит именно в то, во что он сейчас хочет верить, и который только что со столь великой славой утвердил свою правоту, открыв морской путь в Индию, хвастает, невольно впадая в преувеличение, что все это золото — только первый, ничтожный образец. Он, по его словам, получил достоверные известия о неисчислимых золотых россыпях, имеющих на этих новых островах; в иных местах драгоценный металл лежит под тонким слоем земли почти на поверхности. Золото можно легко выгребать обыкновенной лопатой. Но дальше к югу есть страны, где короли пьют вино из золотых кубков, и золото там ценится дешевле, чем в Испании свинец. Король, вечно нуждающийся в деньгах, как зачарованный слушает рассказы об этом новом, принадлежащем ему золотоносном Офире; еще недостаточно известно высокое безумие Колумба, поэтому никто не сомневается в достоверности его слов. Тотчас же снаряжают большой флот для второго плавания, и на этот раз нет надобности в вербовщиках и глашатаях для найма корабельных команд. Всю Испанию сводит с ума весть о вновь открытом Офире, где золото можно взять голыми руками; люди сотнями, тысячами спешат в Эльдorado, в страну золота.

Но какую мутную волну выплескивает теперь жажда наживы из всех городов, селений и деревень! Свои услуги предлагают не только дворяне, желающие основательно позолотить свой родовой герб, не только отчаянные искатели приключений и храбрые солдаты; волна выносит в порты Палос и Кадис всю грязь и все отбросы Испании. Клейменные воры, разбойники с большой

дороги и грабители, рассчитывающие найти более выгодное дельце в стране золота, должники, спасающиеся от кредиторов, и мужья, удирающие от сварливых жен,— все эти отщепенцы и несчастливцы, преступники, отбывшие каторгу, и преступники, разыскиваемые полицией,— все они нанимаются на корабли; это разношерстная толпа неудачников, решивших одним махом добиться накопленного богатства и готовых на любое насилие, любое преступление. Они так рьяно внушают друг другу веру в бредни Колумба, который утверждал, будто в тех странах достаточно вонзить лопату в землю, и взору тут же откроются сверкающие самородки, что переселенцы побогаче берут с собою слуг и мулов, надеясь сразу отгрузить целые горы драгоценного металла. Тот, кому не удастся попасть в состав экспедиции, пробирается другим путем; не слишком заботясь о королевском разрешении, бесшабашные авантюристы снаряжают корабли на свой страх и риск, чтобы как можно быстрее переправиться через океан и захватить в свои руки золото, золото, золото. Испания одним ударом освободилась от беспокойных людей и самого опасного сброда.

Губернатор Эспаньолы (впоследствии Сан-Доминго, или Гаити) с ужасом наблюдает, как эти незваные гости наводняют вверенный ему остров. Из года в год приходят груженные корабли, поставляя все более разнородных головорезов. Однако и пришельцы горько разочарованы, ибо золото здесь вовсе не валяется на дороге, а из несчастных туземцев, на которых они набросились как звери, нельзя выжать больше ни крупинки. Наводя ужас на злополучных индейцев и страх на губернатора, повсюду бродят и рыщут орды грабителей. Напрасно пытается губернатор превратить их в оседлых колонистов, отводит им земельные участки, наделяет скотом и даже — в немалом количестве — людьми на положении скота, а именно: каждому поселенцу шестьдесят — семьдесят туземцев-рабов. Однако и знатные идалго и бывшие разбойники равно не питают особой склонности к земледелию. Не для того они переселились сюда, чтобы возделывать пшеницу и разводить скот; ничуть не заботясь о посеве и жатве, они истязают злосчастных индейцев — в течение немногих лет будет истреблено все население — или проводят время в притонах. За корот-

кий срок большинство из них до такой степени увязло в долгах, что они вынуждены были продать не только свое имение, но и плащ, шляпу и последнюю рубашку и окончательно попадают в петлю к торговцам и ростовщикам.

Поэтому желанной вестью для всех неудачников на Эспаньоле явилось решение весьма уважаемого на этом острове человека — правоведа, «бакалавра» Мартина Фернандеса де Энсисо снарядить в 1510 году корабль, чтобы с новым отрядом прийти на помощь своей колонии на terra firma<sup>1</sup> — на материке. В 1509 году два знаменитых искателя приключений, Алонсо де Охеда и Диего де Никуеса, получили от короля Фердинанда право основать близ Панамского пролива и побережья Венесуэлы колонию, которую они несколько опрометчиво называли Кастилия дель Оро — «Золотая Кастилия»; Энсисо, законовед, не ведающий жизни, обольщенный звучным названием и обманутый лживыми слухами, вложил все свое состояние в это предприятие. Однако из этой колонии, основанной в Сан-Себастьяне у залива Ураба, приходит не весть о добытом золоте, а вопль о помощи. Половина людей погибла в боях с туземцами, остальные умирают от голода. Чтобы спасти деньги, вложенные в это дело, Энсисо рискует остатками своего состояния и снаряжает спасательную экспедицию. Едва стало известно, что Энсисо нуждается в солдатах, как все головорезы и бездельники на Эспаньоле ухватились за возможность бежать с острова. Только бы убраться отсюда, только бы улизнуть от кредиторов и надзора строгого губернатора! Однако и кредиторы настороже. Увидев, что самые злостные должники хотят с ними навеки распрощаться, они осаждают губернатора, требуя, чтобы он запретил покидать остров без его особого разрешения. Губернатор удовлетворяет эту просьбу. Устанавливается строгое наблюдение; корабль Энсисо вынужден находиться за пределами гавани; вокруг патрулируют правительственные шлюпки, следя за тем, чтобы на борт корабля тайком не пробрался человек, не имеющий на то права. И вот все отщепенцы и головорезы,

---

<sup>1</sup> Твердая земля (лат.); в мореходной терминологии того времени — материк.

боящиеся смерти меньше, чем честной работы или долгой тюрьмы, с безмерной горечью глядят, как корабль Энсисо на всех парусах уходит без них навстречу приключениям.

## ЧЕЛОВЕК В ЯЩИКЕ

На всех парусах несется корабль Энсисо от берегов Эспаньолы к американскому континенту, уже потонули в голубой дали очертания острова; это мирное плавание; сначала ничего примечательного не происходит, разве только то, что громадный пес необычайной силы, отпрыск знаменитой охотничьей собаки Бесерикко и сам вскоре прославившийся под именем Леонсико, беспокойно бегает взад и вперед по палубе, обнюхивая все закоулки. Никто не знает, кому принадлежит это могучее животное и как оно попало на борт корабля. Наконец окружающим бросается в глаза, что собаку нельзя отогнать от очень большого ящика с провиантом, который был доставлен на борт корабля в последний день погрузки. Но что это? Крышка ящика неожиданно приподнимается, оттуда вылезает какой-то человек, лет тридцати пяти, вооруженный мечом и щитом и в шлеме, как Сант-Яго, кастильский святой. Это Васко Нуньес де Бальбоа, который сейчас впервые показывает свою изумительную дерзость и находчивость. Дворянин, родившийся в городе Херес де лос Кабаллерос, он отправился в качестве простого солдата с Родриго де Бастидас в Новый Свет; в конце концов после долгих блужданий его вместе с кораблем прибило к берегам Эспаньолы. Напрасно губернатор пытался сделать из Нуньеса де Бальбоа хорошего колониста; через несколько месяцев тот бросил на произвол судьбы предоставленное ему имение и настолько разорился, что не знал, куда деваться от кредиторов. Но тогда как другим должникам приходится, сжимая кулаки, глядеть с берега на правительственные шлюпки, мешающие им бежать на корабле Энсисо, Нуньес де Бальбоа дерзко обходит кордон Диэго Колумба; он прячется в пустой ящик и поручает своим сообщникам перенести его на борт корабля, где в суеете сборов никто не обнаруживает наглой и хитрой проделки. Только решив, что корабль достаточно далеко от берега и не повернет из-

за него обратно, безбилетный пассажир заявляет о себе. Теперь он добился своего.

Бакалавр Энсисо — знаток права, и ему, как большинству правоведов, романтика не по душе. В качестве алькальда, в качестве начальника полиции в новой колонии он не намерен терпеть там присутствие безнадежных пьяниц и темных личностей. Поэтому он сурово заявляет Нуньесу де Бальбоа, что и не подумает брать его с собой, а высадит на первом же острове, который попадется им на пути, будь то обитаемый или необитаемый остров.

Но до этого дело не дошло. На пути к Кастилии дель Оро встречается парусник, что было чудом в те времена, когда по этим неизвестным морям плавало всего несколько десятков кораблей, — парусник, переполненный людьми, под командой Франсиско Писарро, чье имя вскоре прогремит на весь мир. На борту находятся поселенцы из колонии Сан-Себастьян, принадлежащей Энсисо; сначала их принимают за бунтовщиков, самовольно покинувших свой пост, однако, к ужасу Энсисо, они сообщают: не существует больше колонии Сан-Себастьян; они последние, оставшиеся в живых колонисты; комендант Охеда бежал на корабле, а они располагали только двумя бригантинами, им пришлось ждать, пока часть людей перемерет, потому что только семьдесят человек могли уместиться на двух таких маленьких суденышках. Одна из бригантин потерпела крушение, тридцать четыре человека под командой Писарро — это последние уцелевшие обитатели Кастилии дель Оро. Куда же теперь? После рассказа Писарро солдаты Энсисо не склонны ни подвергать себя опасности, которой грозит смертоносный болотистый климат покинутого поселения, ни подставлять себя под отравленные стрелы туземцев; им кажется, что вернуться на Эспаньолу — единственный выход. В это решающее мгновение неожиданно выступает Васко Нуньес де Бальбоа. По его словам, во время плавания с Родриго де Бастидасом он хорошо узнал все побережье Центральной Америки, и, как ему помнится, они тогда нашли на берегу золотоносной реки место, называющееся Дарьен, где живут мирные туземцы. Именно здесь, а не в том гиблом месте надо основать новое поселение.

Вся команда тотчас же выражает свое согласие с Нуньесом де Бальбоа. По его предложению они направляются к Дарьену на Панамском перешейке, сначала устраивают обычную бойню среди туземцев, а затем, обнаружив в награбленном имуществе золото, головорезы принимают решение основать здесь поселок, после чего благочестиво и благодарно присваивают новому городу название — Санта Мария де ля Антига дель Дарьен.

## ОПАСНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

Вскоре неудачливый колонизатор, бакалавр Энсисо, горько пожалеет о том, что не выбросил в свое время за борт ящик с Нуньесом де Бальбоа, ибо через несколько недель вся власть в колонии оказалась в руках этого смельчака. Законник, воспитанный на понятиях дисциплины и порядка, Энсисо, в качестве *Alcalde mayor*, преемника бесследно исчезнувшего правителя, пытается управлять колонией в интересах испанской короны; в убогой индейской хижине он составляет свои эдикты с такой же аккуратностью и строгостью, как некогда в своей севильской конторе стряпчего. В этих диких краях, еще не тронутых цивилизацией, он запрещает солдатам выменивать золото у туземцев, ибо сие есть привилегия короны; он пытается навязать этой разнузданной орде закон и порядок, но искателям приключений больше по душе человек с мечом, нежели человек с гусиным пером. Вскоре Бальбоа становится подлинным хозяином колонии; Энсисо вынужден бежать, спасая свою жизнь; когда же назначенный королем губернатор *terza figura* Никуеса наконец прибывает, чтобы навести порядок, Бальбоа и вовсе не дает ему высадиться на берег, и несчастный Никуеса, изгнанный из страны, которую пожаловал ему король, погибает во время обратного плавания.

Теперь Нуньес де Бальбоа, человек, явившийся из ящика, возглавляет колонию. Но, несмотря на достигнутый успех, он чувствует себя не очень хорошо. Ведь он открыто восстал против короля, и ему тем более не приходится рассчитывать на прощение, что по его вине погиб назначенный королем губернатор. Бежавший Энси-



со уже на пути в Испанию; значит, рано или поздно по его жалобе Бальбоа будут судить за мятеж. Однако Испания далеко, и пройдет немало времени, пока корабль дважды пересечет океан. Бальбоа столь же умен, сколь и отважен; он находит единственный способ как можно дольше удерживать захваченную власть: он знает, что в нынешние времена успех оправдывает любые преступления и, основательно пополнив золотом королевскую казну, можно замять или затянуть всякое уголовное дело; значит, прежде всего надо добыть золото, ибо золото — это сила! Вместе с Франсиско Писарро он порабощает и грабит соседние туземные племена, и во время обычной кровавой резни на его долю выпадает неожиданная удача. Один из кациков, по имени Карэта, на которого Бальбоа коварно напал, грубо нарушив закон гостеприимства, предлагает ему, уже приговоренный к казни: не лучше ли вместо того, чтобы превращать индейцев в своих врагов, заключить союз с его племенем; а в качестве залога верности Карэта готов отдать ему свою дочь. Нуньес Бальбоа сразу понимает, как важно иметь надежного и сильного друга среди туземцев; он принимает предложение и — что особенно удивительно — до последнего своего часа сохраняет самую нежную привязанность к молодой индианке. Вместе с кациком Карэтой он покоряет все соседние индейские племена и приобретает среди них такое влияние, что в конце концов даже Комагре, самый могущественный индейский вождь, почтительно приглашает его к себе.

Пребывание у Комагре знаменует веку всемирно-исторического значения в жизни Васко Нуньеса де Бальбоа, бывшего доселе просто отщепенцем и дерзким бунтовщиком против короны, которого кастильские судьи неминуче послали бы на плаху. Кацик Комагре принимает Бальбоа в просторном каменном доме, поражающем Васко Нуньеса своей невиданной роскошью; затем кацик преподносит гостю неожиданный подарок — четыре тысячи унций золота. Но теперь пришел черед удивляться кацiku: едва эти сыны неба, эти могучие, богоравные чужеземцы, которых он принимал с таким почетом, увидели золото, как все их горделивое достоинство сразу же улетучилось. Точно собаки, спущенные с цепи, бросаются

они друг на друга, выхватывают мечи, сжимают кулаки, кричат, бешено спорят, и каждый требует свою долю золота. С презрительным удивлением глядит кацик на беснующихся людей; так все дети природы во всех концах земли всегда удивляются цивилизованным людям, которым горсть желтого металла кажется ценнее всех духовных и материальных достижений собственной цивилизации.

Кацик обращается к испанцам с речью, и они, трепеща от алчности, слушают слова толмача. Как странно, говорит Комагре, что вы спорите между собой из-за такой безделицы, что из-за такого обыкновенного металла подвергаете себя тяжелым лишениям и опасностям. За высокой грядой наших гор лежит огромное море, и все реки, впадающие в него, несут с собой золото. А живет там народ, который плавает на кораблях, подобных вашим, с парусами и веслами, и его короли пьют и едят на золоте. Там-то вы и добудете этого желтого металла сколько вашей душе угодно. Но ведет туда опасный путь, ибо вожди племени, наверное, откажутся вас пропустить; зато этот путь продлится лишь несколько дней.

Васко Нуньес де Бальбоа поражен в самом сердце. Наконец он напал на след сказочной страны золота, о которой столь многие мечтали долгие годы; его предшественники искали ее повсюду, на юге и на севере, и вот теперь она совсем близко, всего в нескольких днях пути, если кацик сказал правду. Тогда доказано наконец существование того, другого океана, к которому тщетно искали путь Колумб, Кабот, Кортереал — все великие и славные мореплаватели; значит, тем самым открыт и путь вокруг земного шара. Тот, кто первый увидит это новое море и сделает его достоянием своего отечества, навеки прославит свое имя на земле. И Бальбоа становится ясно, какой подвиг он призван совершить, чтобы искупить свою вину и стяжать неувядаемую славу: он должен первым пересечь перешеек к *Mar del sur* — к Южному морю, ведущему в Индию, и завоевать для испанской короны новый золотonosный Офир. Этот час в доме кацика Комагре решил судьбу Бальбоа. Отныне жизнь заурядного искателя приключений приобрела высокое, непреходящее значение.

## ПОБЕГ В БЕССМЕРТИЕ

Судьба дарует человеку высшее счастье, если в середине жизненного пути, в годы творческой зрелости, он постигнет цель своей жизни. Нуньес де Бальбоа знает, перед каким выбором он поставлен: либо позорная смерть на плахе, либо бессмертие. Прежде всего надо купить примирение с короной, хотя бы задним числом оправдать и узаконить самовольный захват власти! Поэтому вчерашний бунтовщик, а теперь самый ревностный подданный короля, посылает Пасамонте, королевскому казначею на Эспаньоле, не только пятую часть даров Комагре, по закону причитающуюся короне, но, как человек в житейских делах более опытный, чем сухарь-законник Энсисо, к взносу в казну присовокупляет частным образом крупное денежное подношение казначею и просит утвердить его в звании генерал-капитана колонии. На это у казначея Пасамонте нет никаких полномочий, и все же в обмен на полновесное золото он посылает Нуньесу де Бальбоа временный и по существу ничего не стоящий документ. Между тем Бальбоа, стремясь обезопасить себя со всех сторон, направляет в Испанию двух самых доверенных людей, чтобы они рассказали при дворе о его заслугах перед короной и передали важное сообщение, которое ему удалось выманить у казика. Васко Нуньес де Бальбоа велит сказать в Севилье, что ему нужен только отряд в тысячу человек; с этим отрядом он берется совершить для Кастилии подвиги, еще не свершенные ни одним испанцем. Он обязуется открыть новое море и овладеть найденной наконец страной золота, которую Колумб лишь посулил, а он, Бальбоа, завоеует.

Казалось бы, все оборачивается к лучшему для этого пропащего человека, бунтовщика и отщепенца. Однако первый же корабль из Испании привозит дурные вести. Один из соучастников Бальбоа по мятежу, которого он в свое время отправил в Испанию, чтобы опровергнуть при дворе жалобу ограбленного Энсисо, сообщает, что дело приняло для Бальбоа плохой оборот и даже жизнь его в опасности. Обманутый бакалавр добился в испанском суде удовлетворения иска, предъявленного похитителю его власти,— Бальбоа обязан возместить ему

убытки. А весть о том, что Южное море найдено, весть, которая могла бы спасти Бальбоа, еще не получена в Испании; во всяком случае, с ближайшим кораблем должен прибыть судья, чтобы привлечь Бальбоа к ответственности за мятеж и либо осудить его на месте, либо отправить в кандалах обратно в Испанию.

Васко Нуньес де Бальбоа понимает, что погиб. Приговор над ним вынесен до того, как было получено его сообщение о Южном море и золотом берегу. Это известие, разумеется, будет использовано, но тем временем его голова скатится с плеч и кто-нибудь другой совершит его деяние, то самое деяние, о котором он мечтал. Ему уже больше нечего ждать от Испании, там известно, что он обрек на гибель законного королевского губернатора, что он самовольно сместил с должности алькальда; хорошо еще, если присудят только к тюремному заключению и он не поплатится головой за свою дерзость! Не приходится рассчитывать и на влиятельных друзей, потому что сам он больше не располагает властью, а голос его лучшего защитника — золота — звучит еще слишком слабо, чтобы добыть ему прощение. Только одно может спасти его от кары за дерзость — еще большая дерзость! Он спасется, если откроет новое море и новый Офир раньше, чем придут судьи, раньше, чем их подручные схватят его и закуют в цепи. Здесь, на краю обитаемого мира, единственная возможность бежать — это побег в грандиозный подвиг, побег в бессмертие.

И вот Нуньес де Бальбоа решает не ждать прибытия из Испании тысячи человек, испрошенных им для завоевания неизвестного океана, не ждать и прибытия судебных властей. Лучше испытать судьбу вместе с немногими смельчаками! Лучше с честью умереть ради одного из самых дерзновенных приключений всех времен, нежели позорно, со связанными руками быть брошенным на плаху. Нуньес де Бальбоа зовет колонистов; не скрывая трудностей, он объявляет о своем намерении пересечь перешеек и спрашивает, кто желает следовать за ним. Его мужество вселяет мужество в других. Сто девяносто солдат — почти все обитатели колонии, способные носить оружие, — дают согласие; о вооружении колонистов не нужно заботиться, потому что эти люди и без того живут в постоянных битвах. И 1 сентября

1513 года, чтобы избежать виселицы или тюрьмы, Нуньес де Бальбоа, герой и разбойник, искатель приключений и бунтовщик, начинает свой поход в бессмертие.

## НЕПРЕХОДЯЩЕЕ МГНОВЕНИЕ

Переход через Панамский перешеек начинается в провинции Койба, в маленьком владении кацика Карэты, чья дочь — спутница жизни Бальбоа; как обнаружится позднее, Нуньес де Бальбоа выбрал не самое узкое место перешейка и по незнанию местности удлинил на несколько дней опасный переход. Но Бальбоа, очевидно, считал, что, совершая такой смелый прыжок в неизвестное, он прежде всего должен располагать поддержкой дружественного племени индейцев, если придется отступить или понадобится пополнение. В десяти больших каноэ отряд переправляется из Дарьена в Койбу — сто девяносто солдат, вооруженных копьями, мечами, аркебузами и самострелами, в сопровождении большой своры свирепых охотничьих собак. Кацик — союзник Бальбоа — предоставляет ему своих индейцев в качестве вьючных животных и проводников, и уже 6 сентября начинается тот славный поход через перешеек, который потребовал небывалого напряжения воли даже от этих отважных и испытанных искателей приключений. В душном, расслабляющем, жгучем тропическом зное испанцам предстоит сначала пройти через низины; болотистая почва насыщена миазмами лихорадки и спустя столетия погубит многие тысячи людей при постройке Панамского канала. Уже с первых часов нужно пробивать путь в нехоженые места топором и мечом сквозь ядовитые заросли лиан. Слово в огромной зеленой шахте, передние в отряде вырубает штольни в непроходимых дебрях; по узким ходам, солдат за солдатом, бесконечной вереницей шагает армия конкистадоров, всегда с оружием в руках, на чеку днем и ночью, всегда готовая отбить внезапное нападение туземцев. Удушающей становится жара в знойном, влажном сумраке под сводами исполинских деревьев, над которыми пылает беспощадное солнце. Все дальше, преодолевая милю за милей, бредут люди в тяжелых доспехах, покрытые потом, с запекшимися от жажды губами; затем вдруг

низвергаются ураганные ливни, ручейки мгновенно превращаются в стремительные реки, их надо переходить либо вброд, либо по зыбким мосткам, наспех сплетенным индейцами из луба. Все, чем испанцы могут подкрепить силы, — это горсть маиса; измученные бессонницей, голодные, истомленные жаждой, облепленные мириадами жалящих, сосущих кровь насекомых, они пробиваются вперед в изорванной шипами одежде, с израненными ногами; глаза их лихорадочно блестят, лица распухли от укусов moskitov, они не знают ни отдыха днем, ни сна ночью и вскоре окончательно теряют силы. Уже через неделю значительная часть отряда не в состоянии больше выдержать тяготы пути, и Нуньес де Бальбоа приказывает остаться на месте всем истощенным и больным лихорадкой; он знает, что подлинная опасность еще впереди. Лишь с отборными людьми своего отряда отважится он на решающее испытание.

Наконец начинается подъем в гору. Редуют дремучие дебри, которые только в болотистых низинах предстали во всем своем тропическом буйстве. Но теперь, когда тень больше не защищает путников, тяжелые латы нестерпимо накаляются под отвесными жгучими лучами тропического солнца; изнуренные люди способны сейчас лишь медленно и только короткими переходами, преодолевать ступень за ступенью, взбираться по холмам к той горной цепи, к тому твердокаменному хребту, который тянется вдоль узкого промежутка между двумя океанами. Постепенно горизонт становится шире, а воздух прохладнее. После восемнадцатидневных героических усилий самые большие трудности, видимо, позади; перед путниками вздымается гребень горы, с ее вершины, по словам проводников-индейцев, взору откроются оба океана — Атлантический и другой, еще неизвестный и безымянный, Тихий океан. Но именно теперь, когда, казалось бы, окончательно побеждено упорное и коварное сопротивление природы, их встречает новый враг: кацик, правящий областью, расположенной по другую сторону горного хребта, с сотнями своих воинов пытается загородить проход чужеземцам. Но у Нуньеса де Бальбоа уже есть большой опыт борьбы против индейцев. Стоит ему дать залп из аркебузов, и искусственная молния и гром вновь оказывают свое испытанное магическое

действие на туземцев. Они разбегаются, испуская вопли ужаса, преследуемые испанцами и охотничьими собаками. И вместо того, чтобы радоваться легкой победе, Бальбоа, как и все испанские конкистадоры, оскверняет ее низкой жестокостью: он выпускает на безоружных и связанных, еще живых пленников — замена боя быков и игрищ гладиаторов — свору голодных, свирепых псов, которые их грызут, терзают, рвут на куски. Так гнусная бойня позорит последнюю ночь накануне бессмертного дня Нуньеса де Бальбоа.

Неповторимые, необъяснимые противоречия в характере и поведении испанских конкистадоров: на редкость верующие и набожные христиане, они от всего сердца призывают бога и в то же время совершают его именем самые мерзкие, бесчеловечные злодеяния, какие только знала история. Способные на самые великолепные и героические проявления мужества, на самопожертвование, на изумительную стойкость в испытаниях, они борются между собой и бесстыдно обманывают друг друга; и все-таки даже в своем падении они сохраняют ярко выраженное чувство чести и чудесное, поистине достойное восхищения понимание исторического величия своей задачи. Тот самый Нуньес де Бальбоа, который накануне бросил на растерзание кровожадным псам невинных, безоружных и связанных пленников и, может быть, с удовольствием поглаживал еще влажные от свежей человеческой крови песьи морды, — прекрасно понимает значение своего подвига в истории человечества и способен в решающую минуту на такой великолепный жест, который навеки останется в памяти потомков. Бальбоа знает: этот день, 25 сентября, станет всемирно-историческим днем; и с чисто испанским пафосом показывает этот жестокий, ни перед чем не останавливающийся искатель приключений, что он глубоко постиг смысл своей исторической миссии.

Великолепный жест Бальбоа: вечером непосредственно после кровавой бойни один из туземцев указал ему на близкую вершину, сказав, что оттуда уже можно увидеть море, неведомое. *Mar del sur*. Бальбоа тотчас же отдает необходимые распоряжения. Он бросает раненых и обессиленных людей в разоренной деревне и приказывает тем из его отряда, которые еще способны

передвигаться, взойти на гору; из ста девяноста человек, выступивших с ним в поход из Дарьена, осталось только шестьдесят семь. Около десяти часов утра они приближаются к гребню. Еще надо взобраться на небольшую голую вершину, и тогда взору откроется беспредельность.

Бальбоа приказывает отряду остановиться. Никто не должен следовать за ним, ибо он не желает ни с кем делить право бросить первый взгляд на неведомый океан. Он хочет быть и остаться на вечные времена тем единственным первым испанцем, первым европейцем, первым христианином, который, переплыв один огромный океан земного шара, Атлантический, узрел другой, доселе неизвестный, Тихий океан. Медленно, с бьющимся сердцем, глубоко проникнутый сознанием величия этого мига, он подымается вверх, держа знамя в левой руке и меч в правой,— одинокая человеческая фигура в необозримом пространстве. Медленно, не торопясь подымается он на гору, ибо, в сущности, дело уже сделано. Еще только несколько шагов, еще немного, совсем немного. И в самом деле, когда он достигает вершины, перед ним открывается величественная картина. За круто обрывающимися скалами, за лесистыми и отлогими зелеными холмами простирается безбрежная гладь, отливающая металлическим блеском; вот оно, море, новое море, неведомое, до сих пор только грезившееся и никогда не виданное, легендарное, долгие годы Колумбом и всеми его преемниками тщетно разыскиваемое море, волны которого омывают Америку, Индию и Китай. И Васко Нуньес де Бальбоа глядит и глядит, упиваясь гордым и блаженным сознанием, что он первый европейец, в чьих глазах отразилась бескрайняя синева этого моря.

Долго и самозабвенно смотрит вдаль Васко Нуньес де Бальбоа. Лишь после этого он призывает своих товарищей, своих друзей разделить с ним его радость, его гордость. Возбужденные, взволнованные, разгоряченные, задыхаясь, с громкими криками, то ползком, то бегом они взбираются на вершину, смотрят и любуются, восторженно глядят друг на друга. Вдруг сопровождающий их патер Андрес де Вера запеваёт псалом «Te Deum Laudamus»<sup>1</sup>, и тотчас же стихают крики и шум; сильные и гру-

---

<sup>1</sup> «Тебя, боже, хвалим...» — начальные слова молитвы ранних христиан (лат.).



бые голоса всех этих солдат, авантюристов и разбойников сливаются в благочестивом хорале. С изумлением взирают индейцы на то, как по слову священника испанцы рубят дерево, сколачивают крест и вырезают на нем начальные буквы имени испанского короля. И когда этот крест водружен — кажется, будто обе его раскинутые деревянные руки стремятся охватить оба моря — Атлантический и Тихий океан с их необозримыми далями.

В наступившей благоговейной тишине Нуньес де Бальбоа выходит вперед и держит речь перед своими солдатами. Это похвально, говорит он, что они благодарят бога за ниспосланные им честь и милость и призывают божью помощь для завоевания этого моря и всех этих стран. Если они будут так же преданно, как и до сих пор, следовать за ним, они возвратятся из новой Индии самыми богатыми людьми в Испании. Бальбоа торжественно машет знаменем на все четыре стороны, как бы вводя Испанию во владение всеми дальними просторами, над которыми веют четыре ветра земли. Затем он зовет писца Андреса де Вальдеррабано и приказывает составить грамоту, которая закрепила бы на все времена торжественный акт вступления во владение. Андрес де Вальдеррабано разворачивает пергамент, — он пронес его через девственный лес в запертом деревянном ларчике вместе с чернильницей и гусиным пером, — и приглашает всех дворян, рыцарей и солдат, присутствовавших при открытии Южного моря «благородным и высочочтимым сеньором капитаном Васко Нуньесом де Бальбоа, губернатором его величества», засвидетельствовать, что «сей сеньор Васко Нуньес был тем, кто первый узрел новое море и показал его своим спутникам».

Потом шестьдесят семь человек начинают спуск к морю, и с 25 сентября 1513 года человечеству известен последний, дотоле неведомый, океан нашей планеты.

## ЗОЛОТО И ЖЕМЧУГ

Сомнений больше нет. Они видели море. Но теперь надо спуститься вниз к берегу, погрузить руку во влажную стихию, коснуться воды, потрогать ее, отведать ее вкус и захватить добычу на побережье. Спуск длится два дня, и, чтобы впредь знать кратчайший путь, веду-

щий с гор к морю, Нуньес де Бальбоа разбивает свой отряд на несколько групп. Третья из этих групп во главе с Алонсо Мартином первой выходит на взморье; и все, включая простых солдат этого отряда авантюристов, до такой степени охвачены жаждой славы и бессмертия, что даже столь незначительный человек, как Алонсо Мартин, требует, чтобы писец тотчас же засвидетельствовал черным по белому, что он, Алонсо Мартин, первым погрузил ногу и руку в эти еще безыменные воды. И только после того, как он наделил свое маленькое «я» крупицей бессмертия, он извещает Бальбоа, что достиг моря и своею рукой коснулся его волны. Вслед за тем Бальбоа подготавливает новый патетический жест. На следующий день, в праздник архангела Михаила, он появляется на взморье в сопровождении лишь двадцати двух спутников и здесь, в доспехах, опоясанный мечом, как сам архангел Михаил, совершает торжественный обряд и вступает во владение новым морем. Бальбоа не сразу входит в воду, а как ее господин и повелитель, отдыхая под деревом, надменно ждет, пока нарастающий прибой не докатит до него волну и не станет, точно послушная собака, лизать ему ноги. Только тогда Бальбоа встает, забрасывает за плечи щит, сверкающий на солнце, как зеркало, берет в одну руку меч, в другую — знамя Кастилии с изображением божьей матери и входит в воду. Лишь когда волны омывают его уже по пояс и вокруг плещет неведомая, громадная водная стихия, лишь тогда Нуньес де Бальбоа, до сей поры бунтовщик и отщепенец, а ныне триумфатор и верный слуга короля, поднимает знамя, машет им во все стороны, громким голосом провозглашая: «Да здравствуют Фердинанд и Жуана, высокие и могучие владыки Кастилии, Леона и Арагона, именем коих я вступаю в подлинное, непосредственное и постоянное владение и присоединяю к короне кастильских королей все сии моря и земли, берега, и заливы, и острова и клянусь, что ежели какой-либо государь или другой военачальник, будь то христианин или язычник, любой веры и сословия, посягнет на сии земли и моря, я буду защищать их именем королей Кастилии, чьим достоянием они пребудут ныне и присно, пока мир стоит и до самого второго пришествия».

Все испанцы повторяют слова клятвы, и их голоса

на мгновение заглушают мощный шум прибоя. Каждый омочил уста морской водой, и снова писец Андрес де Вальдеррабано составляет акт о вступлении во владение, заключая этот документ следующими словами: «Сии двадцать два человека, а с ними и писец Андрес де Вальдеррабано были первыми христианами, вступившими в воды *Mar del sur*, и все они коснулись воды рукою и омочили уста, дабы узнать, соленая ли здесь вода, как и в том, другом море. И увидев, что сие истинно так, они возблагодарили бога».

Великий подвиг совершен. Теперь нужно извлечь из доблестного деяния земные блага. Испанцы отнимают или выменивают у туземцев немного золота. Но в разгаре торжества открывается новая неожиданность. Индейцы приносят полные пригоршни драгоценных жемчужин — их на ближайших островах несчетное множество, и среди принесенных жемчужин находится та, названная «Пеллегриной», которую воспели Сервантес и Лопе де Вега, ибо эта прекраснейшая из жемчужин украшала корону королей Испании и Англии. Испанцы набивают полные карманы и мешки жемчугом, которым здесь дорожат не больше, чем ракушками и песком морским; когда же они жадно спрашивают о том, что для них важнее всего на земле, — о золоте, один из кациков указывает на юг, туда, где очертания гор мягко расплываются на горизонте. Там, говорит он, лежит страна несметных богатств; правители той страны едят на золоте и драгоценные грузы возят в королевскую сокровищницу на больших четвероногих зверях, — кацик имеет в виду лам. Он произносит слово, обозначающее название страны, которая лежит южнее, за морем и за горами. Это слово звучит, как «Биру», напевно и чуждо.

Васко Нуньес де Бальбоа пристально смотрит по направлению вытянутой руки кацика, туда, где далекие горы, бледнея, теряются в небе. Нежное, прельстительное слово «Биру» тотчас же запало ему в душу. Беспokoйно бьется его сердце. Второй раз в жизни ему неожиданно-негаданно открывается его предназначение. Первый раз, когда Комагре обещал, что море близко, — это сбылось: Бальбоа нашел жемчужный берег и *Mar del sur*; быть может, ему удастся и второе: открыть, завоевать государство инков, страну золота на нашей земле.

Нуньес де Бальбоа все еще со страстной тоской глядит вдаль. Как звон золотого колокола звучит в его душе слово «Биру» — «Перу». Однако, как ни горестно, он вынужден отказаться — он не может сейчас отважиться на новые поиски. Нельзя с двумя-тремя десятками изнуренных людей покорить государство. Итак, назад, в Дарьен; позднее, собравшись с силами, он направится по ныне найденной дороге в новый Офир. Но обратный путь не менее труден. Испанцы снова пробираются сквозь дебри, снова отражают нападения туземцев. И 19 января 1514 года, после четырехмесячных чудовищных испытаний, в Дарьен возвращается уже не военный отряд, а горстка больных лихорадкой и едва передвигающих ноги людей; сам Бальбоа на волосок от смерти, индейцы несут его в гамаке. Но один из величайших подвигов в истории совершен. Бальбоа сдержал слово, — все участники отважного похода в неизвестность разбогатели; солдаты Бальбоа принесли с берега Южного моря такие сокровища, каких никогда не добывал ни Колумб, ни другие конкистадоры; остальные члены колонии также получают свою долю. Пятая часть добычи предоставляется в распоряжение короны, и никто не порицает победителя за то, что он, при оценке заслуг, наравне с другими воинами выделяет долю своему псу Леонсико, очевидно, в награду за то, что он так усердно рвал в клочья тела несчастных туземцев, — и Бальбоа приказывает навьючить на собаку пятьсот золотых песет. Теперь уже никто в колонии больше не оспаривает власть Бальбоа как губернатора. Авантюриста и бунтовщика почитают точно бога, и он может с гордостью утверждать в своем послании на родину, что после Колумба он совершил самый великий подвиг во имя кастильской короны. В своем стремительном восхождении солнце его счастья разогнало тучи, доселе омрачавшие жизнь Бальбоа. Теперь оно — в зените.

Однако счастье Бальбоа длится недолго. Через несколько месяцев, в ослепительный июньский день, жители Дарьена в изумлении толпятся на берегу. Светлый парус маячит на горизонте — поистине чудо в этом затерянном уголке земли! Но что это? Рядом с первым

парусом возникает второй, третий, четвертый, пятый... Вот их уже десять, нет, пятнадцать... нет, двадцать — целая флотилия направляется к гавани. Вскоре все разъясняется: это ответ на послание Нуньеса де Бальбоа, не на весть о его триумфе, — она еще не достигла Испании, — а на первое письмо, в котором он передавал сообщение кацика о близости Южного моря и страны золота и просил дать ему отряд в тысячу человек, чтобы завоевать новые земли. Испанское правительство не замедлило снарядить для этой экспедиции мощный флот, но в Севилье и Барселоне отнюдь не собирались доверить столь важную задачу Васко Нуньесу де Бальбоа, авантюристу и бунтовщику с такой дурной славой. Настоящий губернатор, богатый и знатный шестидесятилетний вельможа Педро Ариас Давилья, обычно именуемый Педрариасом, уполномочен в качестве королевского губернатора навести наконец порядок в колонии, учинить суд и расправу за все до сих пор совершенные преступления, найти Южное море и покорить обетованную страну золота.

Но Педрариас оказывается в щекотливом положении. Во-первых, он уполномочен привлечь к ответственности бунтовщика Нуньеса де Бальбоа, изгнавшего прежнего губернатора, и, буде его вина доказана, заковать Бальбоа в цепи или осудить на месте; во-вторых, Педрариасу поручено открыть Южное море. Однако едва шлюпка губернатора пристала к берегу, он узнает, что именно Нуньес де Бальбоа, которого он должен привлечь к суду, совершил на свой собственный страх и риск великое дело; этот бунтовщик уже успел отпраздновать свой триумф, присвоив лавры, уготованные Педрариасу, и оказал испанской короне величайшую услугу со времени открытия Америки. Разумеется, Педрариас не может такому человеку отрубить голову, как обыкновенному преступнику; он вынужден вежливо его приветствовать и горячо поздравлять. Но с этой минуты Нуньес де Бальбоа обречен. Никогда Педрариас не простит сопернику, что тот самостоятельно совершил открытие, порученное Педрариасу и сулившее ему славу на вечные времена. Впрочем, чтобы не озлоблять преждевременно колонистов, Педрариас должен скрывать свою ненависть к их герою: он откладывает судебное следствие

и устанавливает мнимый мир, для чего объявляет о помолвке Нуньеса де Бальбоа со своей дочерью, оставшейся в Испании. Однако его ненависть и зависть к Бальбоа ничуть не ослабевают, наоборот, они еще усиливаются, когда из Испании, где, наконец, узнали о подвиге Бальбоа, прибывает указ, который присваивает задним числом бывшему бунтовщику подобающий ему титул, и отныне он наравне с Педрариасом именуется губернатором и Педрариасу предписано советоваться с ним по всем важным вопросам. Двум губернаторам тесно в этой стране: один из них должен будет отступить, одному из двух суждено погибнуть. Васко Нуньес де Бальбоа чувствует, что над ним занесен меч, ибо Педрариас держит в руках военную власть и правосудие. Бальбоа вторично замысливает побег, — ведь первый ему так блистательно удался, — побег в бессмертие. Он просит у Педрариаса дозволения снарядить экспедицию, чтобы обследовать берега Южного моря и расширить испанские владения. Однако затаенный замысел закоренелого бунтовщика таков: он хочет на берегу другого моря освободиться от всякого надзора, построить свой флот, стать полновластным правителем собственной провинции, а там, быть может, завоевать легендарное Биру, этот Офир Нового Света. Педрариас коварно дает свое согласие: если Бальбоа погибнет — тем лучше; если же затея увенчается успехом, он всегда успеет избавиться от ненавистного честолюбца.

Итак, Нуньес де Бальбоа снова готовит побег в бессмертие; его второй подвиг, пожалуй, еще грандиознее первого, хотя и не принес ему такую же славу, потому что история всегда прославляет только тех, кто добился успеха. На этот раз Бальбоа пересекает перешеек не только со своим отрядом, но несколько тысяч туземцев тащат на себе через горы строительный лес, доски, тачелаж, паруса, якоря, лебедки для четырех бригагин. Ведь если у него будет флот по ту сторону гор, он овладеет всем побережьем, завоеует жемчужные острова и Перу, легендарное Перу. Однако на этот раз судьба противится замыслам дерзновенного мореплавателя, и он непрестанно наталкивается на все новые и новые препятствия. Так, во время пути сквозь болотистые дебри строительный лес источили черви, доски прибыли на

место прогнившими и негодными к употреблению. Бальбоа не падает духом; он приказывает рубить деревья на побережье Панамского залива и изготовить свежие доски. Его энергия творит подлинные чудеса; все как будто удалось: уже построены бригантины, первые на Тихом океане. Но вдруг налетает ураган — реки, на которых приготовлены бригантины, широко разливаются. Вода срывает с места готовые суда, уносит их в море, где они разбиваются в щепы. Надо начинать в третий раз. И теперь-то, наконец, Бальбоа удастся построить две бригантины. Нужны только хотя бы еще две-три, и он сможет отправиться в путь и покорить страну, о которой мечтает день и ночь, с тех пор как кацик указал ему рукой на юг, с тех пор как впервые для Бальбоа прозвучало прельстительное слово «Биру». Надо добиться, чтобы ему дали еще несколько смелых офицеров, надо как следует пополнить отряд, и тогда он сможет основать свое государство! Еще два-три месяца да немного удачи вдобавок к отваге Бальбоа, и мировая история назвала бы победителем инков, завоевателем Перу не Писарро, а Нуньеса де Бальбоа.

Но судьба не бывает слишком милостивой даже к своим любимцам. Редко даруют боги смертному более одного бессмертного деяния.

## ЗАКАТ

Нуньес де Бальбоа с железной энергией готовил свое великое предприятие. Но именно отвага и удача навлекают на него опасность, потому что встревоженный Педрариас следит подозрительным взором за приготовлениями своего подчиненного. Вероятно, ему стали известны через доносчиков честолюбивые мечты Бальбоа о власти; а может быть, Педрариас просто завидует и боится, как бы неисправимый бунтовщик не добился успеха вторично. Так или иначе, он шлет Бальбоа весьма сердечное письмо, в котором предлагает ему перед походом встретиться в Акле, городе близ Дарьена. Надеясь получить от Педрариаса пополнение своего отряда, Бальбоа тотчас же принимает приглашение. У городских ворот Аклы его встречает небольшой отряд солдат, по-видимому, чтобы оказать ему подходящие по-

чести; Бальбоа радостно спешит обнять их командира, старого товарища по оружию, соратника при открытии Южного моря и верного друга,— Франсиско Писарро.

Но Франсиско Писарро тяжело кладет руку на плечо Бальбоа и объявляет его арестованным. Писарро тоже жаждет бессмертия, и он тоже хочет завоевать страну золота, и, может статься, не прочь устранить смельчака, опередившего его на пути к славе. Губернатор Педрариас возбуждает судебное дело о якобы поднятом Бальбоа мятеже, суд чинят скорый и несправедливый. Через несколько дней Васко Нуньес де Бальбоа вместе с ближайшими соратниками всходит на плаху; сверкнул меч палача, голова скатилась с плеч, и в одно мгновение навеки померкли глаза того, кто впервые в истории человечества увидел оба океана, объемлющие нашу землю.



# ГЕНИЙ ОДНОЙ НОЧИ

*(Марсельеза, 25 апреля 1792 года)*



1792

год. Уже целых два — уже три месяца не может Национальное собрание решить вопрос: мир или война против австрийского императора и прусского короля. Сам Людовик XVI пребывает в нерешительности: он понимает, какую опасность несет ему победа революционных сил, но понимает он и опасность их

поражения. Нет единого мнения и у партий. Жирондисты, желая удержать в своих руках власть, рвутся к войне; якобинцы с Робеспьером, стремясь стать у власти, борются за мир. Напряжение с каждым днем возрастает: газеты вопят, в клубах идут бесконечные споры, все неистовей роятся слухи, и все сильнее и сильнее распаляется благодаря им общественное мнение. И потому, когда 20 апреля король Франции объявляет наконец войну, все невольно испытывают облегчение, как бывает при разрешении любого трудного вопроса.

Все эти бесконечно долгие недели над Парижем тяготела давящая душу грозная атмосфера, но еще напряженнее, еще тягостнее возбуждение, царящее в пограничных городах. Ко всем бивакам уже подтянуты войска, в каждой деревне, в каждом городе снаряжаются добровольческие дружины и отряды Национальной гвардии; повсюду возводятся укрепления, и прежде всего в Эльзасе, где знают, что на долю этого маленького клочка французской земли, как всегда в боях между Францией и Германией, выпадет первое, решающее сражение. Здесь, на берегу Рейна, враг, противник — это не отвлеченное, расплывчатое понятие, не риторическая фигура, как в Париже, а сама осязаемая, зримая действительность; с предместного укрепления — башни собора — можно невооруженным глазом различить приближающиеся прусские полки. По ночам над холодно сверкающей в лунном свете рекой ветер несет с того берега сигналы вражеского горна, бряцанье оружия, грохот пушечных лафетов. И каждый знает: единое слово, один королевский декрет — и жерла прусских орудий извергнут гром и пламя, и возобновится тысячелетняя борьба Германии с Францией, на сей раз во имя новой свободы, с одной стороны, и во имя сохранения старого порядка — с другой.

И потому столь знаменателен день 25 апреля 1792 года, когда военная эстафета доставила из Парижа в Страсбург сообщение о том, что Франция объявила войну. Тотчас же из всех домов и переулков хлынули потоки возбужденных людей; торжественно, полк за полком, проследовал для последнего смотра на главную площадь весь городской гарнизон. Там его ожидает уже мэр Страсбурга Дитрих с трехцветной перевязью

через плечо и трехцветной кокардой на шляпе, которой он размахивает, приветствуя дефилирующие войска. Фанфары и барабанная дробь призывают к тишине, и Дитрих громко зачитывает составленную на французском и немецком языках декларацию, он читает ее на всех площадях. И едва умолкают последние слова, полковой оркестр играет первый из маршей революции — Карманьолу. Это, собственно, даже не марш, а задорная, вызывающе-насмешливая танцевальная песенка, но мерный звякающий шаг придает ей ритм походного марша. Толпа снова растекается по домам и переулкам, повсюду разнося охвативший ее энтузиазм; в кафе, в клубах проносят зажигательные речи и раздают прокламации. «К оружию, граждане! Вперед, сыны отчизны! Мы никогда не склоним выи!» Такими и подобными призывами начинаются все речи и прокламации, и повсюду, во всех речах, во всех газетах, на всех плакатах, устами всех граждан повторяются эти боевые, звучные лозунги: «К оружию, граждане! Дрожите, коронованные тираны! Вперед, свобода дорогая!» И слыша эти пламенные слова, ликующие толпы снова и снова подхватывают их.

При объявлении войны на площадях и улицах всегда ликует толпа; но в эти же часы всеобщего ликования слышны и другие, осторожные голоса; объявление войны пробуждает страх и заботу, которые, однако, притаились в робком молчании либо шепчут чуть слышно по темным углам. Всегда и повсюду есть матери; а не убьют ли чужие солдаты моего сына? — думают они; везде есть крестьяне, которым дороги их домишки, земля, имущество, скот, урожай; так не будут ли их жилища разграблены, а нивы истоптаны озверелыми полчищами? Не будут ли напитаны кровью их пашни? Но мэр города Страсбурга, барон Фридрих Дитрих, хотя он и аристократ, как лучшие представители французской аристократии, всей душою предан делу новой свободы; он желает слышать лишь громкие, уверенно звучащие голоса надежды, и потому он превращает день объявления войны в народный праздник. С трехцветной перевязью через плечо спешит он с собрания на собрание, воодушевляя народ. Он приказывает раздать выступающим в поход солдатам вино и дополнительные пайки, а вечером устраивает в своем просторном особняке на Плас

де Бройльи прощальный вечер для генералов, офицеров и высших административных лиц, и царящее на нем воодушевление заранее превращает его в празднество победы. Генералы, как вообще все генералы на свете, твердо уверены в том, что победят; они играют на этом вечере роль почетных председателей, а молодые офицеры, которые видят в войне весь смысл своей жизни, свободно делятся мнениями, так и подзадоривая друг друга. Они размахивают шпагами, обнимаются, провоглашают тосты и, подогретые добрым вином, произносят все более и более пылкии речи. И в речах этих вновь повторяются зажигательные лозунги газет и прокламаций: «К оружию, граждане! Вперед, плечом к плечу! Пусть дрожат коронованные тираны, пронесем наши знамена над Европой! Священна к родине любовь!» Весь народ, вся страна, сплоченная верой в победу, общим стремлением бороться за свободу, жаждет в такие моменты слиться воедино.

И вот в разгар речей и тостов барон Дитрих обращается к сидящему возле него молоденькому капитану инженерных войск по имени Руже. Он вспомнил, что этот славный — не то чтобы красавец, но весьма симпатичный офицерик — полгода тому назад написал в честь провоглашения конституции неплохой гимн свободе, тогда же переложенный для оркестра полковым музыкантом Плейелем. Вещица оказалась мелодичной; военная хоровая капелла разучила ее, и она была успешно исполнена в сопровождении оркестра на главной площади города. Не устроить ли такое же торжество и по случаю объявления войны и выступления войск в поход? Барон Дитрих небрежным тоном, как обычно просят добрых знакомых о каком-нибудь пустячном одолжении, спрашивает капитана Руже (кстати говоря, этот капитан без каких бы то ни было оснований присвоил дворянский титул и носит фамилию Руже де Лиль), не воспользуется ли он патриотическим подъемом, чтобы сочинить походную песню для Рейнской армии, которая завтра уходит сражаться с врагом.

Руже — маленький, скромный человек: он никогда не мнил себя великим художником — стихи его никто не печатает, а оперы отвергают все театры, но он знает, что стихи на случай ему удаются. Желая угодить высокому должностному лицу и другу, он соглашается. Хорошо,

он попробует. — Браво, Руже! — Сидящий напротив генерал пьет за его здоровье и велит, как только песня будет готова, тотчас же прислать ее на поле сражения — пусть это будет что-нибудь вроде окрыляющего шаг патристического марша. Рейнской армии в самом деле нужна такая песня. Между тем кто-то уже произносит новую речь. Снова тосты, звон бокалов, шум. Могучая волна всеобщего воодушевления поглотила случайный краткий разговор. Все восторженней и громче звучат голоса, все более бурной становится пирушка, и лишь далеко за полночь покидают гости дом мэра.

Глубокая ночь. Кончился столь знаменательный для Страсбурга день 25 апреля, день объявления войны, — вернее, уже наступило 26 апреля. Все дома окутаны мраком, но мрак обманчив — в нем нет ночного покоя, город возбужден. Солдаты в казармах готовятся к походу, а во многих домах с закрытыми ставнями более осторожные из граждан, быть может, уже собирают пожитки, готовясь к бегству. По улицам маршируют взводы пехотинцев; то проскачет, цокая копытами, конный вестовой, то прогрехочут по мостовой пушки, и все время раздается монотонная переключка часовых. Враг слишком близок; слишком взволнована и встревожена душа города, чтобы он мог уснуть в столь решающие мгновения.

Необычайно взволнован и Руже, добравшийся наконец по винтовой лестнице до скромной своей комнатухи в доме 126 на Гранд Рю. Он не забыл обещания поскорей сочинить для Рейнской армии походный марш. Он беспокойно расхаживает из угла в угол по тесной комнате. Как начать? Как начать? В ушах его все еще звучит хаотическая смесь пламенных воззваний, речей, тостов. «К оружию, граждане!.. Вперед, сыны свободы!.. Раздавим черную силу тирании!..» Но вспоминаются ему и другие, подслушанные мимоходом слова: то голоса женщин, дрожащих за жизнь сыновей, голоса крестьян, боящихся, что поля их будут растоптаны вражескими полчищами и политы кровью. Он берет перо и почти бессознательно записывает первые две строки; это лишь отзвук, эхо, повторение слышанных им воззваний:

Вперед, сыны отчизны милой!  
Мгновенье славы настает!

Он перечитывает и сам удивляется: как раз то, что нужно. Начало есть. Теперь подобрать бы подходящий ритм, мелодию. Руже вынимает из шкафа скрипку и проводит смычком по струнам. И — о чудо! — с первых же тактов ему удается найти мотив. Он снова хватается за перо и пишет, увлекаемый все дальше какой-то внезапно овладевшей им неведомой силой. И вдруг все приходит в гармонию: все порожденные этим днем чувства, все слышанные на улице и банкете слова, ненависть к тиранам, тревога за родину, вера в победу, любовь к свободе. Ему даже не приходится сочинять, придумывать, он лишь рифмует, облакает в ритм мелодии, переходившие сегодня, в этот знаменательный день, из уст в уста слова, и он выразил, пропел, рассказал в своей песне все, что переживал в тот день весь французский народ. Не надо ему сочинять и мелодию, сквозь закрытые ставни в комнату проникает ритм улицы, ритм этой тревожной ночи, гневный и вызывающий; его отбивают шаги марширующих солдат, грохот пушечных лафетов. Быть может, и слышит-то его не сам он, Руже, чутким своим слухом, а дух времени, на одну только ночь вселившийся в брентную оболочку человека, ловит этот ритм. Все покорнее подчиняется мелодия ликующему и словно молотом отбиваемому такту, который выстукивает сердце всего французского народа. Словно под чью-то диктовку, поспешнее и поспешнее записывает Руже слова и ноты — он охвачен бурным порывом, какого доселе не ведала его мелкая мещанская душа. Вся экзальтация, все вдохновение, не присущие ему, нет, а лишь чудесно завладевшие его душой, сосредоточились в единой точке и могучим взрывом вознесли жалкого дилетанта на колоссальную высоту над его скромным дарованием, словно яркую, сверкающую ракету метнули до самых звезд. На одну только ночь суждено капитану Руже де Лиллю стать братом бессмертных; первые две строки песни, составленные из готовых фраз, из лозунгов, почерпнутых на улице и в газетах, дают толчок творческой мысли, и вот появляется строфа, слова которой столь же вечны и непреходящи, как и мелодия:

Вперед, плечом к плечу шагая!  
Священна к родине любовь.  
Вперед, свобода дорогая,  
Одушевляй нас вновь и вновь.

Еще несколько строк — и бессмертная песня, рожденная единым порывом вдохновения, в совершенстве сочетающая слова и мелодию, закончена до рассвета. Руже гасит свечу и бросается на постель. Какая-то сила, он и сам не знает какая, вознесла его до неведомых ему высот духовного озарения, а теперь та же сила повергла в тупое изнеможение. Он спит непробудным сном, похожим на смерть. Да так оно и есть: в нем снова умер творец, поэт, гений. Но зато на столе, целиком отделившись от спящего, который создал в порыве истинно святого вдохновения это чудо, лежит законченный труд. Едва ли за всю долгую историю человечества был другой случай, когда бы слова и звуки столь же быстро и одновременно стали песней.

Но вот колокола древнего собора возвещают, как и всегда, наступление утра. Время от времени ветер доносит с того берега Рейна звуки залпов — началась первая перестрелка. Руже просыпается, с трудом выбираясь из глубин мертвого сна. Он смутно чувствует: что-то произошло, произошло с ним, оставив по себе только слабое воспоминание. И вдруг он замечает на столе исписанный листок. Стихи? Но когда же я их сочинил? Музыка? Ноты, набросанные моей рукой? Но когда же я это написал? Ах, да! Обещанная вчера другу Дитриху походная песня для Рейнской армии! Руже пробегает глазами стихи, мычит про себя мотив. Но, как всякий автор только что созданного произведения, чувствует лишь полную неуверенность. Рядом с ним живет его товарищ по полку. Руже спешит показать и спеть ему свою песню. Тому нравится, он предлагает лишь несколько небольших поправок. Эта первая похвала вселяет в Руже уверенность. Сгорая от авторского нетерпения и гордясь, что так быстро выполнил обещанное, он мчится к мэру и застаёт Дитриха на утренней прогулке; расхаживая по саду, он сочиняет новую речь. Как! Уже готово? Ну что ж, послушаем. Оба идут в гостиную; Дитрих садится за клавесин, Руже поет. Привлеченная необычной в столь ранний час музыкой, приходит супруга мэра. Она обещает переписать песенку, размножить ее и, как истая музыкантша, вызывается написать аккомпанемент, чтобы сегодня же вечером можно было исполнить эту новую песню, вместе со многими другими, перед

друзьями дома. Мэр, который гордится своим довольно приятным тенорком, берется выучить ее наизусть; и вот 26 апреля, то есть вечером того же дня, на заре которого были написаны слова и музыка песни, она впервые исполняется в гостиной мэра города Страсбурга перед случайными слушателями.

Вероятно, слушатели дружески аплодировали автору и не скупилась на любезные комплименты. Но, разумеется, ни у кого из гостей особняка на главной площади Страсбурга не мелькнуло даже малейшего предчувствия, что в их бранный мир впорхнула на незримых крылах бессмертная мелодия. Редко случается, чтобы современники великих людей и великих творений сразу же постигали все их значение; примером может служить письмо супруги мэра своему брату, где это свершившееся чудо гениальности низведено до уровня банального эпизода из светской жизни: «Ты же знаешь, мы часто принимаем гостей, и поэтому, чтобы внести разнообразие в наши вечера, вечно приходится что-то придумывать. Вот мужу и пришла мысль заказать песню по случаю объявления войны. Некий Руже де Лиль, капитан инженерного корпуса, славный молодой человек, поэт и композитор, очень быстро сочинил слова и музыку походной песни. Муж, у которого приятный тенор, тут же спел ее, песенка очень мила, в ней есть что-то своеобразное. Это Глюк, только гораздо лучше и живее. Пригодился и мой талант: я сделала оркестровку и написала партитуру для клавира и других инструментов, так что на мою долю выпало немало труда. Вечером песня была исполнена у нас в гостиной к большому удовольствию всех присутствующих».

«К большому удовольствию всех присутствующих» — каким холодом дышат для нас эти слова! Но ведь при первом исполнении Марсельеза и не могла возбудить иных чувств, кроме дружеского сочувствия и одобрения, ибо она не могла еще предстать во всей своей силе. Марсельеза не камерное произведение для приятного тенора и предназначена отнюдь не для того, чтобы исполняться в провинциальной гостиной одним-единственным певцом между какой-нибудь итальянской арией и романсом. Песня, волнующий, упругий и ударный ритм которой рожден призывом: «К оружию, граждане!» — обращение к народу, к толпе, и единственный достойный



ее аккомпанемент — звон оружия, звуки фанфар и поступь марширующих полков. Не для равнодушных, удобно расположившихся гостей создана эта песня, а для единомышленников, для товарищей по борьбе. И петь ее должен не одинокий голос, тенор или сопрано, а тысячи людских голосов, ибо это походный марш, гимн победы, похоронный марш, песнь отчизны, национальный гимн целого народа. Всю эту многообразную, вдохновляющую силу зажжет в песне Руже де Лиль вдохновение, подобное тому, что породило ее. А пока ее слова и мелодия, в их волшебном созвучии, не проникли еще в душу нации; армия не познала еще в ней своего походного марша, песни победы, а революция — бессмертного пеона, гимна своей славы.

Да и сам Руже де Лиль, с которым произошло это чудо, не больше других понимает значение того, что он создал в лунатическом состоянии под чарами некоего изменчивого духа. Этот симпатичный дилетант от души рад аплодисментам и любезным похвалам. С мелким тщеславием маленького человека он стремится до конца использовать свой маленький успех в маленьком провинциальном кругу. Он поет новую песню своим друзьям в кофейнях, заказывает с нее рукописные копии и посылает их генералам Рейнской армии. Тем временем по приказу мэра и рекомендациям военного начальства страсбургский полковой оркестр Национальной гвардии разучивает «Походную песню Рейнской армии», и четыре дня спустя, при выступлении войск, исполняет ее на главной площади города. Патриотически настроенный издатель вызывается напечатать ее, и она выходит с почтительным посвящением Руже де Лиль его начальнику, генералу Люкнеру. Никто из генералов и не думает, однако, вводить у себя при походе новый марш: очевидно, и этой песне Руже де Лиль, подобно всем предшествующим ей произведениям, суждено ограничиться салонным успехом одного вечера, остаться эпизодом провинциальной жизни, обреченным на скорое забвение.

Но никогда живая сила, вложенная в творение мастера, не даст надолго упрятать себя под замок. Творение могут на время забыть, оно может быть запрещено, даже похоронено, и все же стихийная сила, живущая в нем, одержит победу над преходящим. Месяц,

два месяца о «Походной песне Рейнской армии» ни слуху ни духу. Печатные и рукописные экземпляры ее валяются где-нибудь или ходят по рукам равнодушных людей. Но достаточно и того, если вдохновенный труд воодушевит хотя бы одного-единственного человека, ибо подлинное воодушевление всегда плодотворно. 22 июня на противоположном конце Франции, в Марселе, клуб «Друзей конституции» дает банкет в честь выступающих в поход добровольцев. За длинными столами сидят пятьсот пылких юношей в новеньких мундирах Национальной гвардии. Здесь царит то же лихорадочное оживление, что и на пирушке в Страсбурге 25 апреля, но еще более страстное и бурное благодаря южному темпераменту марсельцев и вместе с тем не столь крикливо победоносное, как тогда, в первые часы по объявлении войны. Ибо, вопреки хвастливым заверениям генералов, что французские революционные войска легко переправятся через Рейн и повсюду будут встречены с распростертыми объятиями, этого отнюдь не произошло. Напротив, неприятель глубоко вклинился в пределы Франции, он угрожает ее независимости, свобода в опасности.

В разгар банкета один из юношей — имя его Миррёр, он студент-медик университета в Монпелье — стучит по своему бокалу и встает. Все умолкают и глядят на него, ожидая речи, тоста. Но вместо этого юноша, подняв руку, запекает песню, какую-то совсем новую, неизвестную им и неведомо как попавшую в его руки песню, которая начинается словами: «Вперед, сыны отчизны милой!» И вдруг, словно искра попала в бочку с порохом, вспыхнуло пламя: чувство соприкоснулось с чувством — извечные полюсы человеческой воли. Все эти выступающие завтра в поход юноши жаждут сразиться за дело свободы, готовы умереть за отечество; в словах песни они услышали выражение своих самых заветных желаний, самых сокровенных дум; ее ритм неудержимо захватывает их единым восторженным порывом воодушевления. Каждая строфа сопровождается ликующими возгласами, песня исполняется еще раз, все уже запомнили ее мотив и, повскакав с мест, с поднятыми бокалами громовыми голосами вторят припеву: «К оружию, граждане! Ровный военный строй!» На улице под окнами собрались любопытные, желая послушать, что это здесь поют с та-

ким воодушевлением, и вот они тоже подхватывают припев, а на другой день песню распевают уже десятки тысяч людей. Она печатается новым изданием, и когда 2 июля пятьсот добровольцев покидают Марсель, вместе с ними выходит оттуда и песня. Отныне всякий раз, когда люди устанут шагать по большим дорогам и силы их начнут сдавать, стоит кому-нибудь затянуть новый гимн, и его бодрящий, подхлестывающий ритм придает шагающим новую энергию. Когда они проходят по деревне и отовсюду сбегаются крестьяне поглазеть на солдат, марсельские добровольцы запевают ее дружным хором. Это их песня: не зная, кем и когда она была написана, не зная и того, что она предназначалась для Рейнской армии, они сделали ее гимном своего батальона. Она их боевое знамя, знамя их жизни и смерти, в своем неудержимом стремлении вперед они жаждут пронести ее над миром.

Париж — вот первая победа Марсельезы, ибо так будет вскоре называться гимн, сочиненный Руже де Лилем. 30 июля батальон марсельских добровольцев со своим знаменем и песней шагает по предместьям города. На улицах толпятся тысячи и тысячи парижан, желая окázat солдаткам почетную встречу; и когда пятьсот человек, маршируя по городу, дружно, в один голос поют в такт своим шагам песню, толпа настораживается. Что это за песня? Какая чудесная, окрыляющая шаг мелодия! Какой торжественный, точно звуки фанфар, припев: «К оружию, граждане!» Эти слова, сопровождаемые раскатистой барабанной дробью, проникают во все сердца! Через два-три часа их поют уже во всех концах Парижа. Забыта Карманьола, забыты все истасканные куплеты и старые марши. Революция обрела в Марсельезе свой голос, и революция приняла ее как свой гимн.

Победоносное шествие Марсельезы неудержимо, оно подобно лавине. Ее поют на банкетах, в клубах, в театрах и даже в церквях после Те Деум, а вскоре и вместо этого псалма. Каких-нибудь два-три месяца, и Марсельеза становится гимном целого народа, походной песней всей армии. Серван, первый военный министр французской республики, сумел почувствовать огромную окрыляющую силу этой единственной в своем роде национальной походной песни. Он издает приказ срочно разослать

Б. Стефан Цвейг. Т. 3.

сто тысяч экземпляров Марсельезы по всем музыкантским командам, и два-три дня спустя песня неизвестного автора получает более широкую известность, чем все произведения Расина, Мольера и Вольтера. Ни одно торжество не заканчивается без Марсельезы, ни одна битва не начинается, прежде чем полковой оркестр не проиграет этот марш свободы. В сражениях при Жемаппе и Нервиндене под его звуки строятся для атаки французские войска, и вражеские генералы, подбадривающие своих солдат по старому рецепту двойной порцией водки, с ужасом видят, что им нечего противопоставить всесокрушающей силе этой «страшной» песни, которая, когда ее хором поют тысячи голосов, буйной и гулкой волной бьет по рядам их солдат. Всюду, где сражается Франция, парит Марсельеза, подобно крылатой Nike, богине победы, увлекая на смертный бой бесчисленное множество людей.

А между тем в маленьком гарнизоне Хюнинга сидит никому на свете не известный капитан инженерных войск Руже де Лиль, прилежно вычерчивая планы траншей и укреплений. Быть может, он успел уже и забыть «Походную песню Рейнской армии», созданную им в ту давно минувшую ночь на 26 апреля 1792 года; по крайней мере когда он читает в газетах о новом гимне, о новой походной песне, покорившей Париж, ему и в голову не приходит, что эта победоносная «Песня марсельцев», каждый ее такт, каждое слово ее и есть то самое чудо, которое совершилось в нем, произошло с ним далекой апрельской ночью. Злая насмешка судьбы: эта до небес звучащая, к звездам возносящая мелодия не вздымает на своих крыльях единственного человека — именно того, кто ее создал. Никто в целой Франции и не думает о капитане инженерных войск Руже де Лиле, и вся огромная, небывалая для песни слава достается самой песне: даже слабая тень ее не падает на автора. Имя его не печатается на текстах Марсельезы, и сильные мира сего, верно, так и не вспомнили бы о нем, не возбудил он сам их враждебного к себе внимания. Ибо — и это гениальный парадокс, который может изобрести только история, — автор гимна революции вовсе не революционер; более того: он, как никто другой способствовавший своей бессмертной песней делу революции, готов отдать все свои

силы, чтобы сдержать ее. И когда марсельцы и толпы парижан с его песней на устах громят Тюильри и свергают короля, Руже де Лиль отворачивается от революции. Он отказывается присягнуть Республике и предпочитает выйти в отставку, чем служить якобинцам. Он не желает вкладывать новый смысл в слова своей песни «свобода дорогая»; для него деятели Конвента то же, что коронованные тираны по ту сторону границы. Когда по приказу Комитета общественного спасения ведут на гильотину его друга и крестного отца Марсельезы, мэра Дитриха, генерала Люкнера, которому она посвящена, и всех офицеров-дворян, бывших первыми ее слушателями, Руже дает волю своему озлоблению; и вот — ирония судьбы! — певца революции бросают в тюрьму как контрреволюционера, судят его за измену родине. И только 9 термидора, когда с падением Робеспьера распахнулись двери темниц, спасло французскую революцию от нелепости — отправить под «национальную бритву»<sup>1</sup> творца своей бессмертной песни.

И все же то была бы героическая смерть, а не прозябание в полной безвестности, на которое он обречен отныне. Больше чем на сорок лет, на тысячи и тысячи долгих дней суждено злополучному Руже пережить свой единственный в жизни подлинно творческий час. У него отняли мундир, лишили его пенсии; стихи, оперы, пьесы, которые он пишет, никто не печатает, их нигде не ставят. Судьба не прощает дилетанту его вторжения в ряды бессмертных; мелкому человеку приходится поддерживать свое мелкое существование всякого рода мелкими и далеко не всегда чистыми делишками. Карно и позднее Бонапарт пытаются из сострадания помочь ему. Однако с той злосчастной ночи что-то безнадежно надломилось в его душе; она отравлена чудовищной жестокостью случая, дозволившего ему три часа пробить гением, богом, а затем с презрением отшвырнувшего его к прежнему ничтожеству. Руже ссорится со всеми властями: Бонапарту, который хотел ему помочь, он пишет дерзкие патетические письма и во всеуслышание хвастает, что голосовал против него. Запутавшись в делах, Руже пускается на подозрительные спекуляции, попадает да-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду гильотина.

же в долговую тюрьму Сент-Пелажи за неуплату по векселю. Всем досадивший, осаждаемый кредиторами, выслеживаемый полицией, он забирается под конец куда-то в провинциальную глушь и оттуда, точно из могилы, всеми покинутый и забытый, наблюдает за судьбой своей бессмертной песни. Ему довелось еще быть свидетелем того, как Марсельеза вместе с победоносными войсками Наполеона вихрем промчалась по всем странам Европы, после чего Наполеон, едва став императором, вычеркнул эту песню, как слишком революционную, из программ всех официальных торжеств, а после Реставрации Бурбоны и совсем запретили ее. И когда по прошествии целого человеческого века, в июльскую революцию 1830 года, слова и мелодия песни со всей былой силой вновь прозвучали на баррикадах Парижа и король-буржуа Луи-Филипп пожаловал ее автору крохотную пенсию, озлобленный старик не испытывает уже ничего, кроме удивления. Заброшенному в своем одиночестве человеку кажется чудом, что о нем кто-то вдруг вспомнил; но и эта память недолговечна, и когда в 1836 году семидесятишестилетний старец умер в Шуази-ле-Руа, никто уже не помнил его имени.

И лишь во время мировой войны, когда Марсельеза, давно уже ставшая государственным гимном, вновь воинственно гремела на всех фронтах Франции, последовал приказ перенести прах маленького капитана Руже де Лиля в Дом Инвалидов и похоронить его рядом с прахом маленького капрала Бонапарта; наконец-то неведомый миру творец бессмертной песни мог отдохнуть в усыпальнице славы своей родины от горького разочарования, что лишь единственную ночь довелось ему быть поэтом.

# НЕВОЗВРАТИМОЕ МГНОВЕНИЕ

*(Ватерлоо, 18 июня 1815 года.)*



удьбу влечет к могущественным и властным. Годами она рабски покорствуется своему избраннику — Цезарю, Александру, Наполеону, ибо она любит природы стихийные, подобные ей самой — непостижимой стихии.

Но иногда — хотя во все эпохи лишь изредка — она вдруг по странной прихоти бросается в объятия посредственности. Иногда —

и это самые поразительные мгновения в мировой истории — нить судьбы на одну-единственную трепетную минуту попадает в руки ничтожества. И эти люди обычно испытывают не радость, а страх перед ответственностью, вовлекающей их в героику мировой игры, и почти всегда они выпускают из дрожащих рук нечаянно доставшуюся им судьбу. Мало кому из них дано схватиться за счастливый случай и возвеличить себя вместе с ним. Ибо лишь на миг великое снисходит до ничтожества, и кто упустит этот миг, для того он потерян безвозвратно.

## ГРУШИ

В разгар балов, любовных интриг, козней и препирательств Венского конгресса словно пушечный выстрел грянула весть о том, что Наполеон — плененный лев — вырвался из своей клетки на Эльбе; и уже летит эстафета за эстафетой: он занял Лион, изгнал короля, полки с развернутыми знаменами переходят на его сторону, он в Париже, в Тюильри — напрасна была победа под Лейпцигом, напрасны двадцать лет кровавой войны. Точно схваченные чьей-то когтистой лапой, сбиваются в кучу только что пререкавшиеся и ссорившиеся министры; спешно стягиваются английские, прусские, австрийские, русские войска, дабы вторично и окончательно сокрушить узурпатора; никогда еще Европа наследственных королей и императоров не была так единодушна, как в этот час смертельного испуга. С севера на Францию двинулся Веллингтон, ему на помощь идет прусская армия под предводительством Блюхера, на Рейне готовится к наступлению Шварценберг, и в качестве резерва медленно и тяжко шагают через Германию русские полки.

Наполеон единым взглядом охватывает грозящую ему опасность. Он знает, что нельзя ждать, пока соберется вся свора. Он должен их разъединить, должен напасть на каждого в отдельности — на пруссаков, англичан, австрийцев — раньше, чем они станут европейской армией и разгромят его империю. Он должен спешить, пока не поднялся ропот внутри страны; должен добиться победы раньше, чем республиканцы окрепнут и соединятся с роялистами, раньше, чем двуличный неулови-



мый Фуше в союзе с Галейраном — своим противником и двойником — вонзит ему нож в спину. Он должен, пользуясь воодушевлением, охватившим его армию, одним стремительным натиском разбить врагов. Каждый упущенный день означает урон, каждый час усугубляет опасность. И он немедленно бросает жребий войны на самое кровавое поле битвы Европы — в Бельгию. 15 июня в три часа утра авангард великой и ныне единственной наполеоновской армии переходит границу. 16-го, у Линьи, она отбрасывает прусскую армию. Это первый удар лапы вырвавшегося на свободу льва — сокрушительный, но не смертельный. Побежденная, но не уничтоженная прусская армия отходит к Брюсселю.

Наполеон готовит второй удар, на этот раз против Веллингтона. Ни минуты передышки не может он позволить ни себе, ни врагам, ибо день ото дня растут их силы, а страна позади него, обескровленный, ропщущий французский народ должен быть оглушен дурманом победных сводок. Уже 17-го он подступает со всей своей армией к Катр-Бра, где укрепился холодный, расчетливый противник — Веллингтон. Никогда распоряжения Наполеона не были предусмотрительнее, его военные приказы яснее, чем в тот день: он не только готовится к атаке, он предвидит и опасность ее: разбитая им, но не уничтоженная армия Блюхера может соединиться с армией Веллингтона. Чтобы предотвратить это, он отделяет часть своей армии — она должна преследовать по пятам прусские войска и помешать им соединиться с англичанами.

Командование этой частью армии он вверяет маршалу Груши. Груши — человек заурядный, но храбрый, усердный, честный, надежный, испытанный в боях начальник кавалерии, но не больше, чем начальник кавалерии. Это не отважный, горячий предводитель конницы, как Мюрат, не стратег, как Сен-Сир и Бертье, не герой, как Ней. Его грудь не прикрыта кирасой, его имя не окружено легендой, в нем нет ни одной отличительной черты, которая принесла бы ему славу и законное место в героическом мифе наполеоновской эры; только злополучием своим, своей неудачей прославился он. Двадцать лет он сражался во всех битвах, от Испании до России, от Нидерландов до Италии, медленно поднимаясь

от чина к чину, пока не достиг звания маршала, не без заслуг, но и без подвигов. Пули австрийцев, солнце Египта, кинжалы арабов, морозы России устранили с его пути предшественников: Дезе при Маренго, Клебера в Каире, Ланна при Ваграме; дорогу к высшему сану он не проложил себе сам — ее расчистили для него двадцать лет войны.

Что Грушй не герой и не стратег, а только надежный, преданный, храбрый и рассудительный командир, — Наполеону хорошо известно. Но половина его маршалов в могиле, остальные не желают покидать свои поместья, по горло сытые войной, и он вынужден доверить посредственному полководцу решающее, ответственное дело.

17 июня в одиннадцать часов утра — на завтра после победы у Линьи, в канун Ватерлоо — Наполеон впервые поручает маршалу Грушй самостоятельное командование. На одно мгновение, на один день скромный Грушй покидает свое место в военной иерархии, чтобы войти в мировую историю. Только на один миг, но какой миг! Приказ Наполеона ясен. В то время как сам он поведет наступление на англичан, Грушй с одной третьей армии должен преследовать пруссаков. На первый взгляд очень несложное задание, четкое и прямое, но вместе с тем растяжимое и обоюдоострое, как меч. Ибо Грушй вменяется в обязанность во время операции неукоснительно держать связь с главными силами армии.

Маршал нерешительно принимает поручение. Он не привык действовать самостоятельно; человек осторожный, без инициативы, он обретает уверенность лишь в тех случаях, когда гениальная зоркость императора указывает ему цель. Помимо того, он чувствует за спиной недовольство своих генералов и — кто знает? — быть может, зловещий шум крыльев надвигающейся судьбы. Только близость главной квартиры несколько успокаивает его: всего три часа форсированного марша отделяют его армию от армии императора.

Под проливным дождем Грушй выступает. Медленно шагают его солдаты по вязкой, глинистой дороге вслед за пруссаками или — по крайней мере — по тому направлению, где они предполагают найти войска Блюхера.

## НОЧЬ В КАЙУ

Северный дождь льет беспрерывно. Словно промокшее стадо, подходят в темноте солдаты Наполеона, таща на подошвах фунта по два грязя; нигде нет пристанища — ни дома, ни крова. Солома так отсырела, что не ляжешь на нее, поэтому солдаты спят сидя, прижимаясь спинами друг к другу, по десять — пятнадцать человек, под проливным дождем. Нет отдыха и императору. Лихорадочное возбуждение гонит его с места на место; рекогносцировкам мешает непроглядное ненастье, лазутчики приносят лишь путаные сообщения. Он еще не знает, примет ли Веллингтон бой; нет также известий о прусской армии от Грушй. И в час ночи, пренебрегая хлещущим ливнем, он сам идет вдоль аванпостов, приближаясь на расстояние пушечного выстрела к английским бивакам, где то тут, то там светятся в тумане тусклые дымные огоньки, и составляет план сражения. Лишь на рассвете возвращается он в Кайу, в свою убогую штаб-квартиру, где находит первые депеши Грушй: смутные сведения об отступающих пруссаках, но вместе с тем и успокоительное обещание продолжать погоню. Постепенно дождь стихает. Император нетерпеливо шагает из угла в угол, поглядывая в окно на желтеющие дали, — не прояснился ли наконец горизонт, не настало ли время принять решение.

В пять часов утра — дождь уже прекратился — все сомнения рассеиваются. Он отдает приказ: к девяти часам всей армии построиться и быть готовой к атаке. Ординарцы скачут по всем направлениям. Уже барабаны бьют сбор. И только после этого Наполеон бросается на походную кровать для двухчасового сна.

## УТРО В ВАТЕРЛОО

Девять часов утра. Но еще не все полки в сборе. Размякшая от трехдневного ливня земля затрудняет передвижение и задерживает подходящую артиллерию. Дует резкий ветер, лишь постепенно проглядывает солнце; но это не солнце Аустерлица, яркое, лучистое, сулящее счастье, а лишь уныло мерцающий северный ответ.

Наконец полки построены, и перед началом битвы Наполеон еще раз верхом на своей белой кобыле объезжает фронт. Орлы на знаменах склоняются, словно под буйным ветром, кавалеристы воинственно взмахивают саблями, пехота в знак приветствия подымает на штыках свои медвежьи шапки. Истукпленно гремят барабаны, неистово-радостно встречают полководца трубы, но весь этот фейерверк звуков покрывает раскатистый, дружный, ликующий крик семидесятитысячной армии: «Vive l' Empereur!»<sup>1</sup>.

Ни один парад за все двадцать лет правления Наполеона не был величественнее и торжественнее этого — последнего — смотра. Едва утихли крики, в одиннадцать часов — с опозданием на два часа, роковым опозданием, — канонирам отдан приказ бить картечью по красным мундирам у подножия холма. И вот Ней, «храбрый из храбрых», двинул вперед пехоту. Настал решающий час для Наполеона. Несчетное число раз описана эта битва, и все же не успеешь следить за ее перипетиями, перечитывая рассказ о ней Вальтера Скотта или описания отдельных эпизодов у Стендаля. Она равно знаменательна и многообразна, откуда ни смотреть на нее — издали или вблизи, с генеральского холмика или кирасирского седла. Эта битва — шедевр драматического нагнетания с непрерывной сменой страхов и надежд, с развязкой, в которой все разрешается конечной катастрофой, образец истинной трагедии, ибо здесь судьба героя предопределила судьбы Европы, и фантастический фейерверк наполеоновской эпопеи, прежде чем навеки угаснуть, низвергаясь с высоты, еще раз ракетой взвился к небесам.

С одиннадцати до часу французские полки штурмуют высоты, занимают деревни и позиции, снова отступают и снова идут в атаку. Уже десять тысяч тел покрывают глинистую мокрую землю холмистой местности, но еще ничего не достигнуто, кроме изнеможения, ни той, ни другой стороной. Обе армии утомлены, оба главнокомандующих встревожены. Оба знают, что победит тот, кто первый получит подкрепление — Веллингтон от Блюхера, Наполеон от Груши. Наполеон то и дело хватается

---

<sup>1</sup> Да здравствует император! (франц.)

за подзорную трубу, посылает ординарцев; если его маршал подоспеет вовремя, над Францией еще раз засияет солнце Аустерлица.

## ОШИБКА ГРУШИ

Грушій, невольный вершитель судьбы Наполеона, по его приказу накануне вечером выступил в указанном направлении. Дождь перестал. Беззаботно, словно в мирной стране, шагают роты, вчера впервые понюхавшие пороха; все еще не видно неприятеля, нет и следа разбитой прусской армии.

Вдруг, в то время как маршал наскоро завтракает в фермерском доме, земля слегка сотрясается под ногами. Все прислушиваются. Снова и снова, глухо и уже замирая, докатывается грохот: это пушки, далекий оружийный огонь, впрочем, не такой и далекий, самое большее — на расстоянии трехчасового перехода. Несколько офицеров по обычаю индейцев принакают ухом к земле, чтобы уловить направление. Непрерывно доносится глухой далекий гул. Это канонада у Мон-Сен-Жана, начало Ватерлоо. Грушій созывает совет. Горячо, пламенно требует Жерар, его помощник: «Il faut marcher au canon» — вперед, к месту огня! Другой офицер его поддерживает: туда, скорее туда! Все понимают, что император столкнулся с англичанами и ожесточенный бой в разгаре. Грушій колеблется. Приученный к повиновению, он боязливо придерживается предначертаний, приказа императора — преследовать отступающих пруссаков. Жерар выходит из себя, видя нерешительность маршала: «Marchez au canon!»<sup>1</sup> — командой, не просьбой звучит это требование подчиненного в присутствии двадцати человек — военных и штатских. Грушій недоволен. Он повторяет более резко и строго, что обязан в точности выполнять свой долг, пока император сам не изменит приказа. Офицеры разочарованы, и пушки грохочут среди гневного молчания.

Жерар делает последнюю отчаянную попытку: он умоляет разрешить ему хотя бы с одной дивизией и гор-

<sup>1</sup> Идите к месту огня! (франц.)

сточкой кавалерии двинуться к полю битвы и обязуется своевременно быть на месте. Грушй задумывается. Он думает одну лишь секунду.

## РЕШАЮЩЕЕ МГНОВЕНИЕ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Одну секунду думает Грушй, и эта секунда решает его судьбу, судьбу Наполеона и всего мира. Она предопределяет, эта единственная секунда на ферме в Вальгейме, весь ход девятнадцатого века; и вот — залог бессмертия — она медлит на устах очень честного и столь же заурядного человека, зримо и явственно трепещет в руках его, нервно комкающих злополучный приказ императора. Если бы у Грушй хватило мужества, если бы он посмел ослушаться приказа, если бы он поверил в себя и в явную, насущную необходимость, — Франция была бы спасена. Но человек подначальный всегда следует предписаниям и не повинуетя зову судьбы.

Грушй энергично отвергает предложение. Нет, недопустимо еще дробить такую маленькую армию. Его задача — преследовать пруссаков, и только. Он отказывается действовать вопреки полученному приказу. Недовольные офицеры безмолвствуют. Вокруг Грушй воцаряется тишина. И в этой тишине безвозвратно уходит то, чего не вернут уж ни слова, ни деяния, — уходит решающее мгновение. Победа осталась за Веллингтоном.

И полки шагают дальше. Жерар, Вандам гневно сжимают кулаки. Грушй встревожен и час от часу теряет уверенность, ибо — странно! — пруссаков все еще не видно, ясно, что они свернули с брюссельской дороги. Вскоре разведчики приносят подозрительные вести: по всей видимости, отступление пруссаков обратилось в фланговый марш к полю битвы. Еще есть время прийти на помощь императору, и все нетерпеливее ждет Грушй приказа вернуться. Но приказа нет. Только все глуше грохочет над содрогающейся землей далекая канонада — железный жребий Ватерлоо.

## ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Между тем уже час дня. Четыре атаки отброшены, но они заметно ослабили центр Веллингтона; Наполеон готовится к решительному штурму. Он приказывает

усилить артиллерию у Бель-Альянса, и, прежде чем дым орудий протянет завесу между холмами, Наполеон бросает последний взгляд на поле битвы.

И вот на северо-востоке он замечает какую-то тень, которая словно выползает из леса: свежие войска! Мгновенно все подзорные трубы обращаются в ту сторону: Грушй ли это, смело преступивший приказ, чудом подоспел в решительную минуту? Нет, пленный сообщает, что это авангард генерала Блюхера, прусские полки. Впервые у императора мелькает догадка, что разбитая прусская армия избежала преследования и идет на соединение с англичанами, а треть его собственной армии без всякой пользы передвигается в пустом пространстве. Тотчас же он пишет Грушй записку, приказывая во что бы то ни стало держать связь и помешать вступлению в бой пруссаков.

В то же время маршал Ней получает приказ атаковать. Веллингтон должен быть опрокинут прежде, чем подойдут пруссаки: сейчас, когда столь внезапно и резко уменьшились шансы, нужно, не колеблясь, все поставить на карту. И вот в течение нескольких часов одна за другой следуют яростные атаки, все новые и новые пехотные части вступают в бой. Они занимают разрушенные селения, отступают, и снова людской вал с ожесточением кидается на уже потрепанные каре неприятеля. Но Веллингтон все еще держится, а от Грушй все еще нет известий. «Где Грушй? Где застрял Грушй?» — в тревоге шепчет император, глядя на приближающийся авангард пруссаков. И его генералы начинают терять терпение. Решившись силой вырвать исход битвы, маршал Ней, действуя столь же дерзновенно и отважно, сколь неуверенно действовал Грушй (три лошади уже убиты под ним), бросает сразу в огонь всю французскую кавалерию. Десять тысяч кирасиров и драгун скачут навстречу смерти, врезаются в каре, сминая ряды, косят орудейную прислугу. Правда, их отбрасывают, но сила английской армии иссякает, кулак, стиснувший укрепленные холмы, начинает разжиматься. И когда поредевшая французская кавалерия отступает перед ядрами, последний резерв Наполеона — старая гвардия — твердой и медленной поступью идет на штурм высот, обладание которыми знаменует судьбу Европы.

Весь день четыреста пушек гремят с той и другой стороны. На поле битвы топот коней сливается с залпами орудий, оглушительно бьют барабаны, земля сотрясается от грохота и гула. Но на возвышении, на обоих холмах, оба военачальника настороженно ловят сквозь шум сражения более тихие звуки.

Хронометры чуть слышно, как птичье сердце, тикают в руке императора и в руке Веллингтона; оба то и дело выхватывают часы и считают минуты и секунды, поджидая последнюю, решающую помощь. Веллингтон знает, что Блюхер подходит, Наполеон надеется на Грушй. Оба они исчерпали свои резервы, и победит тот, кто первым получит подкрепление. Оба смотрят в подзорную трубу на лесную опушку, где, словно легкое облако, маячит прусский авангард. Передовые разъезды или сама армия, ушедшая от преследования Грушй? Уже слабеет сопротивление англичан, но и французские войска устали. Тяжело переводя дыхание, как два борца, стоят противники друг против друга, собираясь с силами для последней схватки, которая решит исход борьбы.

И вот наконец со стороны леса доносится пальба — стреляют пушки, ружья: «Enfin Grouchy!» — наконец, Грушй! Наполеон вздыхает с облегчением. Уверенный, что его флангу теперь ничто не угрожает, он стягивает остатки армии и снова атакует центр Веллингтона, дабы сбить британский засов, запирающий Брюссель, взломать ворота в Европу.

Но перестрелка оказалась ошибкой: пруссаки, введенные в заблуждение неанглийской формой, открыли огонь по ганноверцам; стрельба прекращается, и беспрепятственно широким и могучим потоком выходят из лесу прусские войска. Нет, это не Грушй со своими полками, это приближается Блюхер и вместе с ним — неотвратимая развязка. Весть быстро распространяется среди императорских полков, они начинают отступать — пока еще в сносном порядке. Но Веллингтон чувствует, что настала критическая минута. Он выезжает верхом на самый край столь яростно защищаемого холма, снимает шляпу и машет ею над головой, указывая на отступающего врага. Его войска тотчас понимают смысл этого торжествую-



щего жеста. Дружно поднимаются остатки английских полков и бросаются на французов. В то же время с фланга на усталую, поредевшую армию налетает прусская кавалерия. Раздается крик, убийственное «Спасайся, кто может!». Еще несколько минут — и великая армия превращается в неуправляемый, гонимый страхом поток, который все и вся, даже Наполеона, увлекает за собой. Словно в податливую воду, не встречая сопротивления, бросается неприятельская конница в этот быстро откатывающийся и широко разлившийся поток; из пены панических воплей выуживают карету Наполеона, войсковую казну и всю артиллерию; только наступление темноты спасает императору жизнь и свободу. Но тот, кто в полночь, забрызганный грязью, обессиленный, падает на стул в убогом деревенском трактире, — уже не император. Конец империи, его династии, его судьбе; нерешительность маленького, ограниченного человека разрушила то, что храбрейший, прозорливейший из людей создал за двадцать героических лет.

## ВОЗВРАТ В ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Не успела английская атака разгромить армию Наполеона, как некто, доселе почти безымянный, уже мчит в экстренной почтовой карете по брюссельской дороге, из Брюсселя к морю, где его ждет корабль. Он прибывает в Лондон раньше правительственных курьеров и, пользуясь тем, что вести до столицы еще не дошли, буквально взрывает биржу; этим гениальным ходом Ротшильд основывает новую империю, новую династию.

Назавтра вся Англия узнает о победе, а в Париже верный себе предатель Фуше — о поражении; над Брюсселем и Германией разносится победный колокольный звон.

Один лишь человек на другое утро еще ничего не знает о Ватерлоо, несмотря на то, что всего четырехчасовой переход отделяет его от места трагедии: злополучный Грушй, который неуклонно выполняет приказ — преследовать пруссаков. Но как ни удивительно, пруссаков нигде нет, и это тревожит его. И все громче и громче гремят пушки, точно взывая о помощи. Все чувствуют, как дрожит под ними земля, и каждый выстрел отдается у

них в сердце. Все знают: это не простая перестрелка — разгорелась гигантская, решающая битва. В угрюмом молчании едет Грушй, окруженный своими офицерами. Они больше не спорят с ним: ведь он не внял их совету.

Наконец у Вавра они натываются на единственный прусский отряд — арберггард Блюхера, и это кажется им избавлением. Как одержимые, бросаются они на неприятельские траншеи — впереди всех Жерар; быть может, томимый мрачными предчувствиями, он ищет смерти. Пуля настигает его, он падает, раненный: тот, кто подымал голос протеста, умолк. К вечеру они занимают селение, но все догадываются, что эта маленькая победа уже бесполезна, ибо там, в той стороне, где поле битвы, внезапно все стихло. Наступила грозная, немая до ужаса, мирная гробовая тишина. И все убеждаются, что грехот орудий был все же лучше, чем эта мучительная неизвестность. Битва, видимо, закончилась, битва при Ватерлоо, о которой Грушй получает наконец (увы, слишком поздно!) известие вместе с требованием Наполеона идти на подкрепление. Она кончена, гигантская битва, но за кем осталась победа?

Они ждут всю ночь. Тщетно! Вестей нет, словно великая армия забыла о них, и они, никому не нужные, бессмысленно стоят здесь, в непроницаемом мраке. Утром они снимаются с бивака и снова шагают по дорогам, смертельно усталые и уже зная наверно, что все их передвижения потеряли всякий смысл. Наконец в десять часов утра навстречу скачет офицер из главного штаба. Ему помогают сойти с седла, забрасывают вопросы. Лицо офицера искажено отчаянием, взмокшие от пота волосы прилипли к вискам, его трясет от смертельной усталости, и он едва в состоянии пробормотать несколько невнятных слов, но этих слов никто не понимает, не может, не хочет понять. Его принимают за сумасшедшего, за пьяного, ибо он говорит, что нет больше императора, нет императорской армии, Франция погибла. Но мало-помалу от него добиваются подробных сведений, и все узнают сокрушительную, убийственную правду. Грушй, бледный, дрожащий, стоит, опираясь на саблю; он знает, что для него началась жизнь мученика. Но он с твердостью берет на себя всю тяжесть ви-

ны. **Нерешительный и робкий подчиненный**, не умевший в те знаменательные мгновения разгадать великие судьбы, теперь, лицом к лицу с близкой опасностью, становится мужественным командиром, почти героем. Он тотчас собирает всех офицеров и, со слезами гнева и печали на глазах, в кратком обращении оправдывает свои колебания и вместе с тем горько сожалеет о них. Молча слушают его те, кто вчера еще гневался на него. Каждый мог бы его обвинить, похваляясь, что предлагал другое, лучшее решение. Но никто не осмеливается, никто не хочет этого делать. Они молчат и молчат. Безмерная скорбь заградилась им уста.

И вот в этот час, упустив решающую секунду, Грушй с опозданием проявляет свой недюжинный талант военачальника. Все его достоинства — благоразумие, усердие, выдержка, исполнительность — обнаруживаются с той минуты, как он опять доверяет самому себе, а не букве приказа. Окруженный в пять раз превосходящими силами неприятеля, он блестящим тактическим маневром сквозь гущу вражеских войск выводит свои полки, не потеряв ни единой пушки, ни единого солдата, и спасает для Франции, для империи остатки ее армии. Но нет императора, чтобы поблагодарить его, нет врага, чтобы бросить против них свои полки. Он опоздал, опоздал навеки. И хотя в дальнейшей жизни он возносится высоко, получает звание главнокомандующего и пэра Франции и в любой должности заслуживает всеобщее уважение твердостью и распорядительностью, ничто не может возместить ему той секунды, которая сделала его вершителем судьбы и которую он не сумел удержать.

Так страшно мстит за себя великое, неповторимое мгновение, лишь изредка выпадающее на долю смертного, если тот, кто призван по ошибке, отступает от него. Все мещанские добродетели — надежный щит от требований мирно текущих будней: осмотрительность, рвение, здравомыслие, — все они беспомощно тают в пламени одной-единственной решающей секунды, которая открывается только гению и в нем ищет свое воплощение. С презрением отталкивает она малодушного; лишь отважного возносит она огненной десницей до небес и причисляет к сонму героев.

# МАРИЕНБАДСКАЯ ЭЛЕГИЯ

*(Гете на пути из Карлсбада в Веймар,  
5 сентября 1823 года.)*



ятого сентября 1823 года дорожная коляска медленно катится по дороге от Карлсбада к Эгеру; уже по-осеннему пробирает предрасветный холодок, порывистый ветер гуляет по сжатым полям, но над распаханной далью синее безоблачное небо. В коляске трое мужчин: тайный советник Саксен Веймарского герцогства фон Гете (так он именуется в спис-

ке приезжих на карлсбадские минеральные воды) и двое преданнейших ему людей — старый слуга Штадельман и Джон, секретарь, чьей рукой впервые начертаны на бумаге почти все произведения Гете девятнадцатого века. Ни тот, ни другой не произносят ни слова, ибо с самого отъезда из Карлсбада, где молодые женщины и девушки толпились с прощальными приветствиями и поцелуями вокруг стареющего поэта, уста его хранят молчание. Он сидит не шевелясь, и только задумчивый, углубленный в себя взгляд говорит о душевном волнении. На первой же почтовой станции Гете выходит из коляски, и спутники его видят, как он торопливо набрасывает что-то карандашом на случайно попавшем под руку клочке бумаги; то же повторяется на протяжении всего пути до Веймара — и во время езды и на остановках. Едва прибыв в Цвотау, а назавтра в замке Гартенберг в Эгере, а затем в Пёснеке, везде его первое движение — с лихорадочной быстротой записать то, что продумано в дороге. А дневник лишь кратко сообщает: «Работал над стихами» (6 сентября), «Воскресенье продолжил работу» (7 сентября), «Стихи перечел еще раз в пути» (12 сентября). В Веймаре, у цели путешествия, закончено и стихотворение; это не что иное, как «Мариенбадская элегия», самая проникновенная, глубоко лиричная, а потому и самая любимая песнь его старости, — мужественное прощание и новый героический взлет.

«Дневник душевного состояния» — так Гете однажды в разговоре назвал поэзию, и, быть может, нет страницы в дневнике его жизни, которая так полно, так наглядно раскрывала бы нам тайну своего происхождения, как эта горестно вопрошающая жалоба, это скорбное свидетельство сокровеннейших его чувств; ни одно поэтическое излияние его юношеских лет не родилось так непосредственно из только что пережитого, ни в одном его произведении не видим мы столь явственно, шаг за шагом, строфа за строфой, час за часом, ход его творческой мысли, как в этой «чудесной песне, нам уготованной», в этих самых задушевных, самых зрелых, поистине осенним багрянцем пламенеющих стихах семидесятичетырехлетнего поэта. «Плод в высшей степени страстного состояния», — как он сказал о своей элегии Эккерману, — ее вместе с тем отличает благороднейшая сдержанность формы:

открыто и в то же время таинственно самое пламенное мгновение воплощается в совершенном образе. Прошло больше ста лет, но и поныне ничто не поблекло и не потускнело в этом чудесном осеннем листе его пышноцветистой широкошумной жизни, и еще на века 5 сентября 1823 года останется достопамятным днем для грядущих поколений Германии.

Над этим листом, этими стихами, над этим стареющим человеком и этим часом сияет редкостная звезда — звезда обновления. В феврале 1822 года Гете перенес тяжелую болезнь; жесточайшие приступы лихорадки сотрясают тело больного, он часто теряет сознание, а близкие теряют надежду. Врачи не могут поставить диагноз, но понимают, что положение очень серьезно, и не знают, что предпринять. Болезнь проходит так же внезапно, как началась: в июне Гете едет в Мариенбад — он неузнаваем, и кажется, что миновавший приступ болезни был лишь симптомом возвращенной юности, «новой поры возмужалости». Замкнутый, суровый, педантичный старик, в котором поэзию почти вытеснила заскорузлая ученость, вновь, спустя десятилетия, весь во власти чувств. От музыки, по его словам, «он весь раскрывается», он без слез не может слушать игру на клавире, особенно если играет такая очаровательная женщина, как Шимановская. Его неудержимо влечет к молодости, и друзья с изумлением видят, что семидесятичетырехлетний старик до полуночи проводит время в обществе женщин, впервые после многих лет опять участвует в танцах, причем его «всегда выбирали самые прелестные девушки».

Этим летом, точно по волшебству, его онемевшие чувства оттаивают, и раскрывшаяся душа, как встарь, подпадает под власть извечных чар. Дневник предательски сообщает о «счастливых снах», в нем снова пробуждается «старый Вертер»; присутствие женщин вдохновляет его на поэтические экспромты, на игры и шутки, как полвека назад, во времена Лили Шенеман. Он еще колеблется в выборе: сначала прелестная полька, а затем девятнадцатилетняя Ульрика фон Левецов пленяет его возвращенное к жизни сердце. Пятнадцать лет назад он лю-

бил ее мать, еще год назад лишь отечески подтрунивал над «дочуркой», но теперь привязанность внезапно превращается в страсть, и этот новый недуг, всецело овладевший им, потрясает его вулканической силой чувств, как ни одно переживание за долгие годы. Семидесятичетырехлетний старик влюблен, как мальчик: едва услышав смеющийся голос в аллее парка, он оставляет работу и без шляпы и палки спускается вниз к беспечной молодой девушке. Однако он домогается ее с пылом юноши, со страстью мужчины. Разыгрывается трагикомическое представление: тайно посоветовавшись со своим врачом, Гете открывается герцогу саксен-веймарскому и поручает этому верному старому другу просить для него у госпожи Левецов руки ее дочери Ульрики. И герцог, памятуя о том, какие бурные ночи они проводили вместе лет пятьдесят назад, быть может, втихомолку злорадно посмеиваясь над стариком, которого Германия, вся Европа чтит как мудрейшего из мудрых, как самый зрелый и светлый ум современности,— герцог торжественно надевает все свои ордена и регалии и отправляется просить для семидесятичетырехлетнего Гете руки девятнадцатилетней девушки. Чем кончилось сватовство, в точности неизвестно; видимо, госпожа Левецов ответила уклончиво, и решение было отложено. Итак, Гете принужден довольствоваться надеждой на счастье, мимолетным поцелуем, ласковым словом, а между тем его все сильнее томит желание снова упиться юностью в этом нежном обличье. Снова он нетерпеливо и страстно домогается благосклонности фортуны; преданно следует он за любимой в Карлсбад, но и здесь не находит ничего, кроме полуобещаний в ответ на свои пламенные чувства, и с уходящим летом усугубляются его муки. Наконец наступает час прощания,— он ничего не сулит, не обнадеживает,— и теперь, когда коляска уносит его в Веймар, великий прозорливец знает: то огромное, что вошло в его жизнь, кончилось. Но «вечный спутник глубочайшей боли» и в эту горькую минуту утоляет печаль: гений осеняет страждущего, и он, не обретя утешения в земном, взывает к божеству. Снова, как уже несчетное число раз — и теперь в последний,— Гете находит прибежище от жизни в поэзии, и, с чувством благодарности за эту последнюю милость, на семьдесят пятом

году жизни проникновенно предпосылает стихам строки своего Тассо, созданные им сорок лет тому назад и снова, к его изумлению, ожившие для него:

Там, где немеет в муках человек,  
Мне дал господь поведать, как я стражду.

Погруженный в невеселые думы старец едет в дорожной коляске и с волнением ищет ответа на осаждающие его вопросы. Еще сегодня утром во время «шумного прощания» Ульрика вместе с сестрой подбежала к нему, юные, любимые уста поцеловали его, но был ли то нежный поцелуй, или только дочерний? Полюбит ли она его, не забудет ли? А сын, невестка, с нетерпением ожидающие богатого наследства, допустят ли они этот брак? Не станет ли он посмешищем в глазах света? Не покажется ли он через год безнадежно старым Ульрике? И если они увидятся, что принесет свидание?

Все тревожнее становятся вопросы. И вдруг один, самый насущный, отливается в строчку, в строфу, ему дано «поведать, как он страждет». Под мощным натиском душевного смятения прямой, обнаженный вопрос криком боли вторгается в стих:

Что принесет желанный день свиданья,  
Цветок, не распустившийся доселе?  
В нем ад иль рай, восторги иль страданья?  
Твоей душой сомненья овладели.

Сердечная боль, очищенная, просветленная, претворяется в прозрачных строфах. Поэт, блуждая в «душной атмосфере» душевного хаоса, случайно поднимает глаза, и перед ним открывается утренний ландшафт Богемии, божественный покой, столь отличный от терзающей его тревоги; и вот увиденная им картина уже возникает в стихах:

Иль мир погас? Иль гордые утесы  
В лучах зари не золотятся боле?  
Не зреют нивы, не сверкают росы,  
Не вьется речка через лес и поле?  
Не блещет — то бесформенным эфиром,  
То в сотнях форм — лазурный свод над миром?

Но ему мало этого неодоушевленного мира. Охваченный страстью, он все постигает лишь слитно с образом любимой, и этот образ в волшебном преображении оживает в памяти поэта:



Ты видишь: там, в голубизне бездонной,  
Всех ангелов прекрасней и нежней,  
Из воздуха и света сотворенный,  
Сияет образ, дивно сходный с ней.  
Такою в танце, в шумном блеске бала,  
Красавица очам твоим предстала.  
И ты глядишь в восторге, в восхищенье.  
Но только миг — она здесь неживая,  
Она верней в твоём воображеньё —  
Подобна той, но каждый миг другая,  
Всегда одна, но в сотнях воплощений,  
И с каждым — все светлей и совершенней.

И, едва возникнув перед мысленным взором, образ Ульрики уже облекается плотью. Гете рисует, как она его встретила и «шаг за шагом дарила счастье», как за последним ее поцелуем последовал еще «самый последний»; весь во власти сладостных воспоминаний, престарелый поэт слагает одну из самых чистых и совершенных строф о преданности и любви, когда-либо прозвучавших на немецком или на ином языке:

Мы жаждем, видя образ лучезарный,  
С возвышенным, прекрасным, исказанным  
Навек душой сродниться благодарной,  
Покончив с темным, вечно безымянным,  
И в этом — благочестье! Только с нею  
Той светлою вершиной я владею.

Но чем отраднее память о любимой, тем мучительнее разлука с ней, и вот боль уже рвется наружу с такой силой, что почти разбивает возвышенно элегический строй чудесного стихотворения; только однажды за многие годы так открыто, так обнаженно воплощается непосредственное чувство; до глубины души потрясает эта горестная жалоба:

И ты ушла! От нынешней минуты  
Чего мне ждать? В томлении напрасном  
Приемлю я как тягостные пути  
Все доброе, что мог бы звать прекрасным.  
Тоской гоним, скитаюсь я в пустыне  
И лишь слезам вверяю сердце ныне.

И здесь, когда, казалось, скорбь уже достигла предела, последний, самый мучительный стон:

Друзья мои, простимся! В чаще темной  
Меж диких скал один останусь я.

Но вы идите смело в мир огромный,  
В великолепии, в роскошь бытия!  
Все познавайте: небо, земли, воды,  
За слогом слог — до самых недр природы!

А мной — весь мир, я сам собой утрачен,  
Богов любимцем был я с детских лет.  
Мне был ларец Пандоры предназначен,  
Где много благ, стократно больше бед.  
Я счастлив был, с прекрасной обрученный.  
Отвергнут ею, гибну, обреченный.

Никогда еще у него, неизменно сдержанного и скрытного, не вырывалось подобных строк. Тот, кто юношей умел таить свои чувства, зрелым мужем — укрощать их, кто всегда лишь в видениях, иносказаниях и символах приоткрывал свои сокровенные тайны, теперь, на склоне лет, впервые дает себе волю. Быть может, за минувшие пятьдесят лет ни разу не был он столь живо чувствующим человеком, великим лириком, как в тот незабвенный день, в тот достопамятный поворотный миг его жизни.

Гете сам видел в своем творении таинственный и редкий дар судьбы. По возвращении в Веймар он в первую очередь, прежде чем заняться какой-либо другой работой или домашними делами, искусно, каллиграфическим почерком собственноручно переписывает элегию. Три дня он пишет на тщательно выбранной бумаге красивыми затейливыми буквами, словно монах в своей келье, таясь от всех домочадцев, даже от самого близкого из них. Даже переплетную работу он выполняет сам, дабы не разнеслась раньше времени болтливая молва, и шелковым шнуром прикрепляет рукопись к обложке из красного сафьяна (позже замененной прекрасным кожаным переплетом, который и по сей день можно видеть в архиве Гете и Шиллера). Дни тянутся, полные горечи и взаимного раздражения, предполагаемая женитьба была встречена злыми насмешками, а у сына вызвала даже взрыв открытой ненависти; лишь в стихах своих он близок к любимой. Только когда очаровательная полька, Шимановская, навещает его, настроение светлых марииенбадских дней возвращается к нему и он снова становится общителен. Наконец 27 октября Гете зовет к

себе Эккермана, и уже по той торжественности, с которой он обставляет чтение стихов, видно, как дороги они его сердцу. Слуга ставит на письменный стол две зажженные восковые свечи, и только после этого Гете приглашает Эккермана занять место и прочесть элегию. Постепенно и другим, однако только самым близким, удается услышать ее, потому что Гете, по словам Эккермана, хранит ее «как святыню». Уже в ближайшие месяцы обнаруживается, какое особое значение для его жизни имеют эти стихи. После необычайного подъема, словно вернувшего ему молодость, наступает резкий упадок сил. Он снова близок к смерти, с трудом переходит от постели к креслу, от кресла к постели, нигде не находя покоя; невестка в отъезде, сын полон ненависти, некому позаботиться об одиноком больном старике. Но вот из Берлина приезжает, вероятно, вызванный друзьями, самый близкий из близких — Цельтер и сразу обнаруживает пламя, сжигающее больного. «И что же я вижу? — с изумлением пишет он. — Судя по всему, его терзает любовь всеми муками пылкой юности». Дабы исцелить его, Цельтер снова и снова с «искренним участием» читает ему элегию, и Гете не устает его слушать. «Удивительно, — въздравилая, пишет он, — ты неоднократно читал мне своим мягким, проникновенным голосом столь сильно мной любимое, что я сам не хочу признаться себе в этом». И дальше: «Я не могу расстаться с элегией, но если бы мы жили вместе, ты должен был бы до тех пор читать и петь ее мне, пока не выучил бы наизусть».

Так приходит, как пишет Цельтер, «исцеление от копья, которым он был ранен». Можно сказать без преувеличения — Гете спасла его элегия. Наконец сердечная боль преодолена, последняя мучительная надежда осилена, мечта о супружестве с любимой «дочуркой» развеена. Он знает, что никогда уже не поедет ни в Мариенбад, ни в Карлсбад, никогда не вернется в мир беспечных и праздных, — отныне жизнь его принадлежит только труду. Он устоял перед искушением, отказался от попыток повернуть вспять свою судьбу, зато в его жизненный круг вступает новое великое слово: завершение. Он оглядывается на пройденный шестидесятилетний творческий путь, видит, что его труды разбросаны, рассеяны, и решает — если уж он не в силах больше сози-

дать, — по крайней мере собрать все воедино; заключен договор на «Собрание сочинений», ограждены авторские права. Снова вся любовь его, еще столь недавно отданная девятнадцатилетней девушке, обращается на старейших спутников юности — «Вильгельма Мейстера» и «Фауста». Полный энергии, берется он за работу; по пожелтевшим листам восстанавливается замысел минувшего века. Еще до того, как Гете исполнилось восемьдесят лет, он заканчивает «Годы странствий» и на семьдесят первом году героически приступает к «главному делу» своей жизни — «Фаусту»; семь лет спустя после трагических дней «Мариенбадской элегии» завершен и этот труд, который он с таким же благоговением оберегает от мира сургучной печатью и тайной.

В зените между двумя сферами его чувств, между последней страстью и последней жертвой, между новым началом и завершением, стоит 5 сентября 1823 года — прощание с Карлсбадом, прощание с любовью — незабвенный миг душевного перелома, претворенный в вечность потрясающей жалобой. Мы вправе назвать этот день достопамятным, ибо немецкая поэзия не знала с тех пор более блистательного часа, чем тот, когда мощное чувство мощным потоком хлынуло в эти бессмертные стихи.

# ОТКРЫТИЕ ЭЛЬДОРАДО

(И. А. Зутер, Калифорния, январь 1848 года.)



## ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ НАДОЕЛА ЕВРОПА

1854

год. Американский пароход держит путь из Гавра в Нью-Йорк. На борту среди сотен искателей приключений Иоганн Август Зутер; ему тридцать один год, он родом из Рюненберга, близ Базеля, и с нетерпением ждет той минуты, когда между ним и европейскими стражами закона ляжет океан. Банкрот, вор, афе-

рист, он, недолго думая, бросил на произвол судьбы жену и троих детей, по подложному документу добыл в Париже немного денег, и вот он уже на пути к новой жизни. 7 июля он высадился в Нью-Йорке и два года подряд занимался здесь чем придется: был упаковщиком, аптекарем, зубным врачом, торговцем всевозможными снадобьями, содержателем кабака. Наконец, несколько остепенившись, он открыл гостиницу, но вскоре продал ее и, следуя властному зову времени, отправился в Миссури. Там он стал земледельцем, сколотил за короткое время небольшое состояние и, казалось, мог бы уже зажить спокойно. Но мимо его дома бесконечной вереницей, торопясь куда-то, проходят люди—торговцы пушниной, охотники, солдаты, искатели приключений,—они идут с запада и уходят на запад, и это слово «запад» постепенно приобретает для него какую-то магическую силу. Сначала — это всем известно — простираются прерии, прерии, где пасутся огромные стада бизонов, прерии, по которым можно ехать дни и недели, не встретив ни души, лишь изредка промчатся краснокожие всадники; дальше начинаются горы, высокие, неприступные, и, наконец, та неведомая страна, Калифорния, о ней никто ничего точно не знает, а о сказочных богатствах ее рассказывают чудеса; там реки млека и меда к твоим услугам, только пожелай,—но до нее далеко, очень далеко, и добраться туда можно, лишь рискуя жизнью.

Но в жилах Иоганна Августа Зутера текла кровь авантюриста. Жить спокойно и возделывать свою землю! Нет, это не прельщало его. В 1837 году он распродал все свое добро, снарядил экспедицию — обзавелся фургонами, лошадьми, волами и, выехав из форта Индепенданс, пустился в Неведомое.

## ПОХОД В КАЛИФОРНИЮ

1838 год. В фургоне, запряженном волами, по бесконечной пустынной равнине, по бескрайним степям и, наконец, через горы, навстречу Тихому океану, вместе с Зутером едут два офицера, пять миссионеров и три женщины. Через три месяца, в конце октября, они прибы-

вают в форт Ванкувер. Офицеры покинули Зутера еще раньше, миссионеры дальше не едут, женщины умерли в пути от лишений.

Зутер остался один. Напрасно пытались удержать его здесь, в Ванкувере, напрасно предлагали ему службу; он не поддался на уговоры, его неудержимо влекло магическое слово «Калифорния». На старом, разбитом паруснике он пересекает океан, направляется сначала к Сандвичевым островам, а потом, с огромными трудностями миновав Аляску, высаживается на побережье, на забытом богом клочке земли, именуемом Сан-Франциско. Но это не тот Сан-Франциско — город с миллионным населением, невиданно разросшийся после землетрясения, каким мы его знаем сегодня. Нет, это было жалкое рыбацкое селение, названное так миссионерами-францисканцами, даже не столица той незнакомой мексиканской провинции — Калифорнии, забытой и брошенной в одной из богатейших частей нового континента. Бесхозность испанских колонизаторов сказывалась здесь во всем: не было твердой власти, то и дело вспыхивали восстания, не хватало рабочих, скота, не доставало энергичных, предприимчивых людей.

Зутер нанимает лошадь и спускается в плодородную долину Сакраменто; ему достаточно было дня, чтобы убедиться в том, что здесь найдется место не только для фермы или большого ранчо, но и для целого королевства. На завтра он является в Монтерей, в убогую столицу, представляется губернатору Альверадо и излагает ему план освоения края: с ним приехало несколько полинезийцев с островов, и в дальнейшем по мере надобности он будет привозить их сюда, он готов устроить здесь поселение, основать колонию, которую он назовет Новой Гельвецией.

— Почему «Новой Гельвецией»? — спросил губернатор.

— Я швейцарец и республиканец, — ответил Зутер.

— Хорошо, делайте, что хотите, даю вам концессию на десять лет.

Вот видите, как быстро делались там дела. За тысячу миль от всякой цивилизации энергия отдельного человека значила много больше, чем в Старом Свете.

1839 год. Вверх по берегу реки Сакраменто медленно тянется караван. Впереди верхом Иоганн Август Зутер с ружьем через плечо, за ним два-три европейца, потом сто пятьдесят полинезийцев в коротких рубашках, тридцать запряженных волами фургонов со съестными припасами, семенами, оружием, пятьдесят лошадей, сто пятьдесят мулов, коровы, овцы и, наконец, небольшой арьергард — вот и вся армия, которой предстоит завоевать Новую Гельвецию. Путь им расчищает гигантский огненный вал. Леса сжигают — это удобнее, чем вырубать их. И как только жадное пламя прокатилось по земле, они взялись за работу среди еще дымящихся деревьев. Построили склады, вырыли колодцы, засеяли поля, которые не требовали вспашки, сделали загоны для неслетных стад. Из соседних мест, из покинутых миссионерами колоний постепенно прибывает пополнение.

Успех был гигантский. Первый же урожай сняли самшест. Амбары ломились от зерна, стада насчитывали уже тысячи голов, и, хотя подчас бывало трудно, — много сил отнимали походы против туземцев, снова и снова вторгавшихся в колонию, — Новая Гельвеция превратилась в цветущий уголок земли. Прокладываются каналы, строятся мельницы, открываются фактории, по рекам вверх и вниз снуют суда; Зутер снабжает не только Ванкувер и Сандвичевы острова, но и все суда, бросающие якорь у берегов Калифорнии. Он вырачивает замечательные калифорнийские фрукты, которые славятся теперь во всем мире. Он выписывает виноградные лозы из Франции и с Рейна; они отлично принимаются здесь, и через несколько лет огромные пространства этой далекой земли покрылись виноградниками. Для себя он выстроил дом и благоустроенные фермы, его рояль марки Плейель продал далеким стовосьмидесятидневным путем из Парижа; паровую машину из Нью-Йорка через весь континент везли шестьдесят волов. У него открытые счета в крупнейших банках Англии и Франции, и теперь, в сорок пять лет, на вершине славы, он вспоминает, что четырнадцать лет назад оставил где-то жену и трех сыновей. Он пишет им, зовет их к себе, в свое королевство; сейчас он чувствует силу в своих руках — он хозяин Новой Гель-



веции, один из самых богатых людей на земле,— и так тому и быть. И, наконец, Соединенные Штаты отнимают у Мексики эту запущенную провинцию. Теперь уже все надежно и прочно. Еще несколько лет — и Зутер станет самым богатым человеком на свете.

### РОКОВОЙ УДАР ЗАСТУПА

1848 год, январь. Неожиданно к Зутеру является Джемс Маршалл, его плотник. Вне себя от волнения он врывается в дом,—он должен сообщить Зутеру что-то очень важное. Зутер удивлен: только вчера он послал Маршалла на свою ферму в Колома, где строится новая лесопилка, и вот он вернулся без разрешения, стоит перед хозяином, не в силах унять дрожь, толкает его в комнату, запирает дверь и вытаскивает из кармана полную пригоршню песка — в ней блестят желтые зерна. Вечера, копая землю, он увидел эти странные кусочки металла, и решил, что это золото, но все остальные подняли его на смех. Зутер сразу настораживается, берет песок, промывает его; да, это золото, и он завтра же отправится с Маршаллом на ферму. А плотник — первая жертва лихорадки, которая охватит вскоре весь мир,— не дождался утра и ночью, под дождем, двинулся обратно.

На другой день полковник Зутер уже в Колома. Канал запрудили, стали исследовать песок. Достаточно наполнить грохот, слегка потрясти его, и блестящие крупички золота остаются на черной сетке. Зутер подзывает многих бывших с ним европейцев, берет с них слово молчать, пока не будет построена лесопилка. В глубокой задумчивости возвращается он на свою ферму. Грандиозные замыслы рождаются в его уме. Еще никогда не бывало, чтобы золото давалось так легко, лежало так открыто, почти не прячась в земле,—и это его земля, Зутера! Казалось, десятилетие промелькнуло в одну ночь — и вот он самый богатый человек на свете.

### ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

Самый богатый? Нет, самый бедный, самый обездоленный нищий на этом свете. Через неделю тайна

стала известна. Одна женщина — всегда женщина! — поведала ее какому-то прохожему и дала ему несколько золотых зерен. И тут случилось неслыханное — люди Зутера тотчас же бросили работу: кузнецы бежали от своих наковален, пастухи от своих стад, виноградари от своих лоз, солдаты побросали ружья — все, словно одержимые, наспех ухватив грохоты, тазы, кинулись туда, к лесопилке, добывать золото. В одну ночь край обезлюдел. Коровы, которых некому доить, дохнут, быки ломают загоны, вытаптывают поля, где на корню гниют посевы, остановились сыроварни, рушатся амбары. Замер весь сложный механизм огромного хозяйства. Телеграфные провода разнесли манящую весть о золоте через моря и земли. И уже прибывают люди из городов и гаваней, матросы покидают корабли, чиновники — службу; бесконечными колоннами тянутся золотоискатели с запада и с востока, пешком, верхами и в фургонах — рой людской саранчи, охваченный золотой лихорадкой. Разнузданная, грубая орда, не признающая иного права, кроме права сильного, иной власти, кроме власти револьвера, захлестнула цветущую колонию. Все было их собственностью, никто не осмеливался перечить этим разбойникам. Они резали коров Зутера, ломали его амбары и строили себе дома, вытаптывали его пашни, воровали его машины. В одну ночь Зутер стал нищим; он, как царь Мидас, захлебнулся своим собственным золотом.

И все неукротимее становится эта беспримерная погоня за золотом. Весть уже облетела весь свет; только из Нью-Йорка прибыло сто кораблей, из Германии, Англии, Франции, Испании в 1848, 1849, 1850, 1851 годах хлынули несметные полчища искателей приключений. Некоторые огибают мыс Горн, но нетерпеливым этот путь кажется слишком долгим, и они избирают более опасную дорогу — по суше, через Панамский перешеек. Одна предприимчивая компания спешно проводит там железную дорогу. Тысячи рабочих гибнут от лихорадки ради того, чтобы на три-четыре недели сократить путь к золоту. Через континент тянутся огромные потоки людей всех племен и наречий, и все они роются в земле Зутера, как в своей собственной. На территории Сан-Франциско принадлежавшей Зутеру по акту, скрепленному правительственной печатью, со сказочной быстротой растет но-

вый город; пришельцы по клочкам распродают друг другу землю Зутера, а само название его королевства «Новая Гельвеция» вскоре уступает место магическому имени: Эльдорадо — золотой край.

Зутер, снова банкрот, словно в оцепенении смотрел на эти гигантские драконовы всходы. Поначалу он со своими слугами и компаньонами тоже пробовал добывать золото, чтобы вновь обрести богатство, но все покинули его. Тогда он уехал из золотоносного края поближе к горам, на свою уединенную ферму «Эрмитаж», прочь от проклятой реки и злосчастного песка. Там и нашла его жена с тремя уже взрослыми сыновьями, но она вскоре умерла, — сказались тяготы изнурительного пути. Все же теперь с ним три сына, у него уже не одна пара рук, а четыре, и Зутер снова взялся за работу; снова, но уже вместе с сыновьями шаг за шагом начал он выбиваться в люди, пользуясь баснословным плодородием этой почвы и вынашивая втихомолку новый грандиозный замысел.

## ПРОЦЕСС

1850 год. Калифорния вошла в состав Соединенных Штатов Америки. Вслед за богатством в этом одержимом золотой лихорадкой крае водворился наконец порядок. Анархия обуздана, закон опять обрел силу.

И тут Иоганн Август Зутер выступает со своими требованиями. Он заявляет, что вся земля, на которой стоит город Сан-Франциско, по праву принадлежит ему. Правительство штата обязано возместить убыток, который нанесен ему расхитителями его имущества; со всего добытого на его земле золота он требует свою долю. Начался процесс такого масштаба, о каком еще не знало человечество. Зутер предъявил иск 17 221 фермеру, поселившемуся на его плантациях, и потребовал, чтобы они освободили незаконно захваченные участки. С властей штата Калифорния за присвоенные ими дороги, мосты, каналы, плотины, мельницы он потребовал двадцать пять миллионов долларов в счет возмещения убытков; он требует двадцать пять миллионов долларов с федерального правительства и, кроме того, свою долю добытого золота. Старшего сына Эмиля он послал в Вашингтон изу-

чать право, чтобы он вел дело: огромные доходы, которые приносят новые фермы, целиком уходят на разорительный процесс. Четыре года дело кочует из инстанции в инстанцию. 15 марта 1855 года приговор, наконец, вынесен. Неподкупный судья Томпсон, высшее должностное лицо Калифорнии, признал права Зутера на землю полностью обоснованными и неоспоримыми. В тот день Иоганн Август Зутер достиг цели. Он самый богатый человек на свете.

## КОНЕЦ

Самый богатый? Нет и нет. Самый бедный, самый несчастный, самый неприкаянный нищий на свете. Судьба опять нанесла ему убийственный удар, который и подкошил его. Как только приговор стал известен, в Сан-Франциско и во всем штате разразилась буря. Десятки тысяч людей собирались в толпы — землевладельцы, которым угрожала опасность, уличная чернь, сброд, всегда готовый пограбить. Они взяли приступом и сожгли здание суда, они искали судью, чтобы линчевать его; разъяренная толпа задумала уничтожить все достояние Зутера. Его старший сын застрелился, окруженный бандитами, второго зверски убили, третий бежал и по дороге утонул. Волна пламени прокатилась по Новой Гельвеции: фермы Зутера преданы огню, виноградники растоптаны, коллекции, деньги расхищены, все его огромные владения с беспощадной яростью превращены в прах и пепел. Сам Зутер едва спасся. От этого удара он уже не оправился. Его состояние уничтожено, жена и дети погибли, разум помутился. Только одна мысль еще мерцает в его сознании: закон, справедливость, процесс.

И долгих двадцать лет слабоумный, оборванный старик бродит вокруг здания суда в Вашингтоне. Там уже во всех канцеляриях знают «генерала» в засаленном сюртуке и стоптанных башмаках, требующего свои миллиарды. И все еще находятся адвокаты, пройдохи, мошенники, люди без чести и совести, которые вытягивают у него последние гроши — его жалкую пенсию и подстрекают продолжать тяжбу. Ему самому не нужны деньги, он возненавидел золото, которое сделало его нищим, погубило его детей, разбило всю его жизнь. Он хочет толь-

ко доказать свои права и добивается этого с ожесточенным упрямством маньяка.

Он подает жалобу в сенат, он предъявляет свои претензии конгрессу, он доверяется разным шарлатанам, которые с большим шумом возобновляют это дело. Обрядив Зутера в шутовской генеральский мундир, они таскают несчастного, как чучело, из учреждения в учреждение, от одного члена конгресса к другому. Так проходит двадцать лет, с 1860 по 1880 год, двадцать горьких, нищенских лет. День за днем Зутер — посмешище всех чиновников, забава всех уличных мальчишек — осаждают Капитолий, он, владелец самой богатой земли на свете, земли, на которой стоит и растет не по дням, а по часам вторая столица огромного государства.

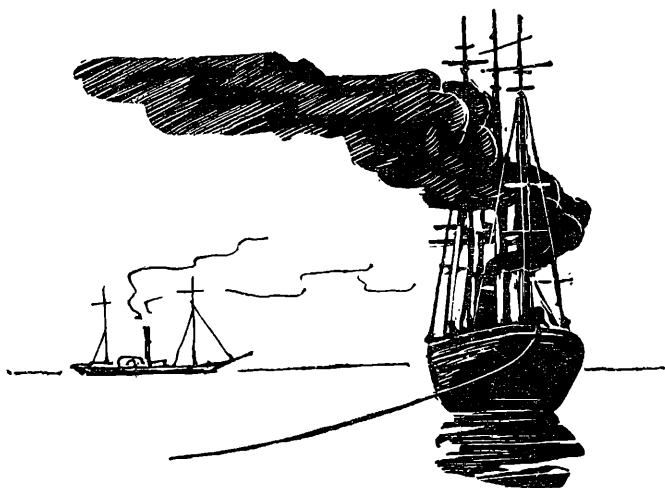
Но назойливого просителя заставляют ждать. И вот там, у входа в здание конгресса, после полудня, его настигает, наконец, спасительный разрыв сердца; служители торопливо убирают труп какого-то нищего, нищего, в кармане которого лежит документ, подтверждающий, согласно всем земным законам, права его и наследников его на самое большое состояние в истории человечества.

До сей поры никто не потребовал своей доли в наследстве Зутера, ни один правнук не заявил о своих притязаниях.

Поныне Сан-Франциско, весь огромный край, расположен на чужой земле, поныне попирается здесь закон, и только перо Блэза Сендрара даровало всеми забытому Иоганну Августу Зутеру единственное право людей большой судьбы — право на память потомков.

# ПЕРВОЕ СЛОВО ИЗ-ЗА ОКЕАНА

(Сайрус Филд, 28 июля 1858 года.)



## НОВЫЙ РИТМ



В течение тысяч, а может быть, и сотен тысяч лет, прошедших со времени появления на земле удивительного существа, именуемого человеком, мерилom скорости была скорость бегущей лошади, катящегося колеса, корабля, идущего на веслах или под парусами. Все вместе взятые технические открытия, сделанные за весь тот короткий, освещенный сознанием про-

межуток времени, который мы называем мировой историей, не привели к сколько-нибудь значительному ускорению ритма движения. Армии Валленштейна продвигались вперед едва ли быстрее, чем легионы Цезаря; войска Наполеона не наступали стремительнее, чем орды Чингисхана; корветы Нельсона пересекали моря лишь немногим быстрее, чем пиратские ладьи викингов или галеры финикийцев. Лорд Байрон в путешествиях Чайльд-Гарольда преодолевал ежедневно не больше миль, чем Овидий на пути в понтийскую ссылку; Гете в восемнадцатом столетии путешествовал почти с таким же комфортом и такой же скоростью, как апостол Павел в начале первого тысячелетия. В эпоху Наполеона время и пространство так же разделяли страны, как и в годы Римской империи; упорство материи все еще брало верх над человеческой волей.

И только девятнадцатый век коренным образом меняет ритм и мерило скорости на земле. За первые два десятилетия страны и народы сблизились теснее, чем за все прошедшие тысячелетия; железные дороги и пароходы свели к одному дню многодневные путешествия прошлого, превратили в минуты бесконечные часы, проводимые доселе в пути. Но какими поразительными ни казались современникам скорости железных дорог и пароходов, они все-таки не выходили из пределов, доступных пониманию. Их скорости в пять, десять, двадцать раз превосходили ранее известные, однако все же было возможно следить за ними взглядом и постигать умом разгадку кажущегося чуда. Но уже первые успехи электричества, этого Геркулеса еще в колыбели, производят настоящий переворот, опрокидывают все ранее установленные законы, отбрасывают все принятые меры. Мы, более поздние поколения, никогда не сможем до конца понять восхищения тех, кто был свидетелем первых успехов электрического телеграфа, их безмерного и восторженного удивления перед тем, что та же самая, едва ощутимая искра Лейденской банки, которая еще вчера преодолевала лишь расстояние в один дюйм до сустава подставленного пальца, превратилась вдруг в могучую силу, способную проложить себе путь через равнины, горы и целые материки; что едва додуманная до конца мысль, не успевшая еще просохнуть запись на бу-

маге в ту же секунду принимается, читается, понимается за тысячи миль; что невидимый ток между полюсами крошечного вольтова столба может распространяться по всей земле, пробегая ее из конца в конец; что игрушечный прибор в лаборатории физика, еще вчера способный лишь на то, чтобы наэлектризованным стеклом притянуть несколько клочков бумаги, заключает в себе силу и скорость, равную миллионам и миллиардам человеческих сил и скоростей, невидимую силу, которая приводит в движение поезда, освещает дома и улицы, доставляет известия и, как Ариэль, незримо витает в воздухе. Это открытие впервые со дня сотворения мира в корне меняет представление о времени и пространстве.

Этот знаменательный для всего мира 1837 год, когда телеграф впервые связал воедино разобщенные человеческие судьбы, лишь изредка упоминается авторами наших школьных учебников, которые, к сожалению, все еще считают более важным повествовать о войнах и победах отдельных полководцев или государств вместо того, чтобы говорить о всеобщих — единственно подлинных — победах человечества. И, однако, новая история не знает другого такого события, которое могло бы по своему психологическому воздействию сравниться с этой переоценкой самого понятия времени. Мир стал другим с тех пор, как в Париже можно узнать, что в эту самую минуту происходит в Амстердаме, Москве, Неаполе, Лисабоне. Нужно сделать последний шаг — и все части света будут вовлечены в грандиозный всемирный союз, объединенный единым общечеловеческим сознанием.

Но природа все еще противится окончательному воссоединению человечества, все еще ставит непреодолимые преграды, и еще два десятилетия остаются разобщенными те страны, которые отрезаны друг от друга морями. Проложить электрическую линию через море невозможно, так как вода поглощает ток, который в воздухе беспрепятственно распространяется по проводам, подвешенным на фарфоровых изоляторах, а вещество, которое могло бы изолировать железные и медные провода в водной среде, еще не открыто.

К счастью, в эпохи интенсивного развития одно изобретение прокладывает путь для другого. Через несколько лет после постройки первых сухопутных телеграфных



линий найдено вещество, которое способно изолировать в воде провода, несущие ток, — гуттаперча. Теперь можно включить в телеграфную сеть Европы важнейшую страну вне континента — Англию. Инженер по фамилии Брет прокладывает первый кабель через Ламанш, в том самом месте, где впоследствии Блерио первым пересечет его на самолете. Нелепый случай помешал немедленному успеху предприятия: в Булони один рыбак, решив, что ему попался необычайно жирный угорь, вытащил на поверхность уже проложенный кабель. Но в 1851 году вторая попытка увенчивается полным успехом. Итак, Англия присоединена к материку, и с этого момента Европа впервые стала настоящей Европой, единым организмом, который одним общим сердцем и одним общим мозгом одновременно воспринимает все события эпохи.

Такие блестящие достижения в течение столь немногих лет — ибо десятилетие не больше чем краткий миг в истории человечества — не могли не пробудить безграничную отвагу в современниках. Все, что задумано, — удастся, удастся со сказочной быстротой. Проходит немного лет, и вот телеграф уже связал Англию с Ирландией, Данией и Швецией, а Корсику с материком, и уже нащупывается почва для включения в общую сеть Египта, затем Индии. Только одна часть света, и едва ли не важнейшая — Америка, — казалось, обречена еще долгое время оставаться вне этой связующей весь мир цепи. Как пронизать одной линией безбрежные просторы Атлантического или Тихого океана, где невозможно создать какую-либо промежуточную станцию? В те годы, когда электричество едва вышло из младенчества, задача состояла из одних неизвестных. Еще не измерена глубина океана, недостаточно исследован рельеф его дна, не проверено, может ли кабель, опущенный на такую глубину, выдержать давление гигантских масс воды. И даже если бы прокладка такого бесконечно длинного кабеля на такой глубине была технически осуществима, где найти корабль, который может поднять две тысячи миль кабеля из железа и меди? Где найти генератор, вырабатывающий ток, способный беспрепятственно преодолеть расстояние, которое корабли проходят в лучшем случае за две-три недели? Все необходимые предпосылки отсутствуют. Еще не установлено, не циркулируют ли в оке-

анских глубинах магнитные токи, которые могут вызвать отклонение электрического тока; нет достаточно надежной изоляции, точных измерительных приборов; известны только элементарные законы электричества, едва пробудившегося от своего векового сна. «Неосуществимо! Безумие!» — отмахиваются ученые, как только речь заходит о прокладке трансокеанского кабеля. «Может быть, позже», — говорят наиболее смелые из инженеров. Даже сам Морзе, человек, который больше всех способствовал усовершенствованию телеграфа, считает это предприятие слишком смелым. Но ему же принадлежат пророческие слова, что в случае успеха прокладка трансокеанского кабеля будет «the great feat of the century» — величайшим подвигом столетия.

Для того чтобы чудо или принимаемое за чудо свершилось, необходим прежде всего человек, способный уверовать в него. Мужество неведения иногда преодолевает препятствия, перед которыми в нерешительности останавливаются ученые. И как это часто бывает, и здесь простая случайность дает первый толчок всему грандиозному предприятию. Один английский инженер, по фамилии Гисборн, начавший в 1854 году подготовительные работы по прокладке кабеля из Нью-Йорка к самой восточной точке Америки — Ньюфаундленду, чтобы известия с кораблей поступали на несколько дней раньше, должен прервать эти работы, так как его денежные средства исчерпаны. Он отправляется в Нью-Йорк, рассчитывая найти там финансовую помощь. И там по чистой случайности, этой матери стольких славных подвигов, он сталкивается с одним молодым человеком, сыном пастора, Сайрусом Филдом, который благодаря неизменной удаче в коммерческих делах быстро нажил значительное состояние и смог еще в молодости отойти от дел. К этому ничем не занятому человеку, слишком молодому и энергичному, чтобы вынести долгую бездеятельность, и обращается Гисборн, надеясь получить от него помощь для завершения начатой работы. Однако Сайрус Филд — можно сказать, к счастью, — не инженер, не специалист. Он ничего не понимает в электричестве и никогда в жизни не видел кабеля. Но в крови у сына пастора — страстная вера, в крови американца кипит энергия и отвага. И там, где английский инженер видел лишь

простую и близкую цель — связать Нью-Йорк с Ньюфаундлендом, — увлекающийся молодой человек увидел иные возможности. Почему в таком случае не связать подводным кабелем Ньюфаундленд с Ирландией? С небывалой энергией, готовый преодолеть любое препятствие (за один только год этот человек тридцать один раз пересек океан, отделяющий Старый Свет от Нового), Сайрус Филд принимается за дело, твердо решившись посвятить все силы и средства осуществлению задуманного предприятия. Это и явилось той искрой, которая вызывает взрыв, превращающий мысль в создающую силу. Новая волшебная сила электричества соединилась с другим, сильнеешим движущим началом — человеческой волей. Человек нашел свою жизненную задачу, и задача нашла человека, способного ее решить.

## ПРИГОТОВЛЕНИЯ

С небывалой настойчивостью принимается Сайрус Филд за дело. Он связывается со специалистами, осаждает правительства просьбами о разрешении, в обоих полусферах проводит кампанию по сбору необходимых средств; и так сильна энергия, исходящая от этого совершенно неизвестного человека, так непоколебима его страстная убежденность, так велика его вера в чудотворную силу электричества, что акции основного капитала на сумму триста пятьдесят тысяч фунтов стерлингов размещены в Англии в течение нескольких дней. В Ливерпуле, Манчестере, Лондоне достаточно было призвать богатейших коммерсантов к учреждению «Telegraph Construction and Maintenance Company»<sup>1</sup>, чтобы деньги полились рекой. Среди акционеров — Теккерей и леди Байрон; они далеки от деловых интересов, но грандиозная идея увлекла их, и они пожелали внести свой вклад в задуманное предприятие. И ни в чем не проявилась так ярко вера в технику, воодушевлявшая Англию во времена Стивенса, Брюнеля и других великих изобретателей, как в той легкости, с какой огромная сумма была предоставлена по первому призыву на совершенно фантастическое и безнадежное начинание.

<sup>1</sup> Компания по постройке и эксплуатации телеграфа (англ.).

Приблизительная стоимость прокладки кабеля — единственное достоверно известное из всех исходных данных. Нет технического опыта прокладки, на который можно было бы опереться. Нет опыта планирования; такие грандиозные предприятия еще неизвестны девятнадцатому веку. Разве можно сравнить трудности прокладки трансокеанского кабеля с преодолением узкой полосы воды между Дувром и Кале? Там все дело свелось к тому, чтобы размотать с верхней палубы обыкновенного колесного парохода тридцать или сорок миль кабеля, который раскручивался с такой же легкостью, как простая якорная цепь. При прокладке кабеля в проливе можно было спокойно ждать благоприятной погоды, была точно известна глубина, корабль всегда оставался в виду одного из берегов, что ограждало от неприятных неожиданностей, и, наконец, все предприятие не требовало для своего осуществления больше одного дня. Но при работе в океане, которая должна продлиться по меньшей мере две-три недели, кабель, в сто раз длиннее и тяжелее, нельзя оставлять на верхней палубе, подвергая его всем превратностям непогоды. Да и ни один корабль того времени не может вместить в свой трюм этот гигантский кокон из железа, меди и гуттаперчи, ни один корабль не обладает достаточной мощностью, чтобы поднять такой груз. Для этого требуется по меньшей мере два основных судна и несколько вспомогательных, которые следили бы за правильностью курса и в случае необходимости могли бы оказать помощь. Правда, английское правительство предоставило для этой цели «Агамемнон» — один из самых крупных военных кораблей, флагманское судно английского флота под Севастополем, американское правительство — «Ниагару», крупнейший по тем временам фрегат водоизмещением в пять тысяч тонн. Но оба корабля сначала нужно специально оборудовать, чтобы каждый из них мог поднять половину бесконечной цепи, которая должна соединить две части света. Однако главное затруднение представлял, конечно, сам кабель. Огромные требования предъявлены к этой гигантской пуповине, которой предстоит связать два полушария. Кабель должен быть так же прочен на разрыв, как стальной трос, и вместе с тем не терять гибкости, чтобы его легко было укладывать. Он должен выдер-

живать любое давление, любую нагрузку и вместе с тем разматываться с легкостью шелковой нити. Он должен быть массивным, но не громоздким, прочным, но настолько чувствительным, чтобы передавать на две тысячи миль самый слабый электрический сигнал. Достаточно тончайшей трещины, малейшей неровности на каком-либо участке этого гигантского провода, чтобы прекратить движение тока по всему четырнадцатидневному пути.

Но Сайрус Филд принимает вызов! День и ночь работают фабрики, несокрушимая воля этого человека приводит в движение весь механизм. Целые рудники опустошаются, чтобы доставить необходимое количество железа и меди; целые леса каучуковых деревьев отдают свою кровь, чтобы изготовить гуттаперчевую оболочку такой колоссальной длины. Но ничто не показывает так ошутимо огромных масштабов задуманного, как триста шестьдесят семь тысяч миль переплетенных жил, в совокупности составляющих стержень кабеля, — в тридцать раз больше, чем требуется, чтобы опоясать Землю, и столько же, сколько нужно, чтобы соединить прямой линией Землю с Луной. Со времен Вавилонской башни человечество не отваживалось на столь грандиозное, с технической точки зрения, предприятие.

## ПЕРВОЕ ОТПЛЫТИЕ

Целый год неустанно крутились машины, непрерывно наматывалась в трюмах обоих кораблей тонкая, ровная нить кабеля, поступающего с фабрик, и, наконец, после многих тысяч оборотов, каждая половина кабеля на каждом корабле намотана на барабаны. Уже установлены снабженные тормозами специально сконструированные тяжеловесные машины, способные давать обратный ход, которым предстоит безостановочно в течение одной, двух, трех недель опускать кабель в глубину океана. Лучшие инженеры и электротехники, в числе которых сам Морзе, собрались на борту, чтобы во время всей прокладки непосредственно проверять своими приборами действие электрической цепи. Журналисты и художники присоединились к флотилии, чтобы кистью и пером запечатлеть это волнующее отплытие, которое может

сравниться лишь с отплытием экспедиций Колумба и Магеллана.

Наконец, все приготовления закончены, и если до сих пор многие относились к задуманному скептически, то теперь вся Англия со страстным интересом следит за развитием событий. 5 августа 1857 года сотни лодок и судов окружают кабельную флотилию в маленьком ирландском порту Валенсии, чтобы быть свидетелем того исторического момента, когда конец кабеля будет спущен с корабля и закреплен на земле Европы. Прощание стихийно превратилось в торжество. Правительство прислало своих представителей, произносятся речи, в волнующих словах священник испрашивает божье благословение смелым путешественникам. «О боже всемогущий,—говорит он,—ты один распростираешь небеса, держишь в руке волны морские и повелеваешь бурями и ветрами. Воззри с милосердием на слуг твоих. Устрани могуществом твоим все преграды с их пути, сокруши все препятствия, дабы они свершили свой благородный замысел».

Тысячи рук и шляп взметнулись на берегу и в гавани. Медленно скрывается из глаз земля. Близится осуществление одного из самых смелых мечтаний человечества.

## НЕУДАЧА

Первоначально предполагалось, что оба корабля, «Агамемнон» и «Ниагара», несущие каждый по половине кабеля, вместе дойдут до заранее намеченной точки посреди океана, где обе половины кабеля будут сращены. Затем один корабль должен был направиться на запад, взяв курс на Ньюфаундленд, другой—на восток, к Ирландии. Однако риск потерять при первой же попытке весь драгоценный кабель показался слишком большим, и было решено, что первый участок будет прокладываться начиная от берегов Ирландии, тем более что еще неизвестно, сможет ли вообще исправно действовать подводная телеграфная линия такой протяженности.

Задача уложить кабель от берега до середины океана выпала на долю «Ниагары». Медленно, осторожно двигается в путь американский фрегат, словно гигант-

ский паук, выпуская из своего туловища непрерывную нить. Медленно, размеренно грохочет на борту укладываемая кабель машина, производя привычный, хорошо известный всем морякам шум разматывающейся якорной цепи, которая погружается в глубину с барабана лебедки. И уже через несколько часов люди на борту корабля обращают на этот однообразный, размеренный шум не больше внимания, чем на биение собственного сердца.

Все дальше и дальше уходит в море корабль, все так же непрерывно опускается за корму кабель. И кажется, что нет ничего необычайного в этом необычайном плавании. Только в специальной каюте сидят у своих аппаратов электротехники, непрерывно обмениваясь сигналами с ирландским берегом. И поразительно: хотя берег давно пропал из вида, подводный кабель работает с такой же четкостью, как если бы линия связывала один европейский город с другим. Уже остались позади небольшие глубины прибрежной полосы, уже пройдена часть так называемого глубоководного плато, поднимающегося позади Ирландии, но все так же равномерно, как песок в песочных часах, бежит за корму металлическая нить, по которой одновременно передаются и принимаются известия.

Уже уложено триста тридцать пять миль—в десять раз больше, чем расстояние от Дувра до Кале, уже преодолена неуверенность и тревога первых пяти дней и ночей, уже разрешил себе отдохнуть после многочасового напряжения и беспокойства вечером одиннадцатого августа Сайрус Филд. И вдруг что-то произошло — равномерный грохот машины оборвался. Как мгновенно просыпается от неожиданной остановки поезда задремавший пассажир, как в ужасе вскакивает с постели мельник, когда останавливается мельничное колесо, так в мгновение ока все участники экспедиции уже на ногах и бросаются на палубу. Один взгляд на машину — и все ясно: барабан укладываемой машины пуст. Кабель оборвался так внезапно, что невозможно было подхватить оторвавшийся кусок, и теперь совершенно безнадежно искать его в глубине, чтобы поднять на поверхность. Произошло непоправимое: небольшая техническая ошибка свела на нет работу многих лет. Победенными

возвращаются отважные участники экспедиции в Англию, которую внезапно замолкший телеграф уже подготовил к самому худшему.

## СНОВА НЕУДАЧА

Сайрус Филд, единственный, оставшийся непоколебимым герой и вместе с тем коммерсант, подводит баланс. Насколько велики убытки? Триста миль кабеля, около ста тысяч фунтов акционерного капитала и — что, быть может, более всего удручает его — потеря целого года. Ибо экспедиция может рассчитывать на благоприятную погоду только летом, а в этом году время уже упущено. Но плавание принесло не только убытки; во время первой экспедиции приобретен немалый практический опыт. Сам кабель, доказавший свою полную пригодность, можно перемотать и использовать в следующей экспедиции. Необходимо изменить только конструкцию укладываемых машин, по вине которых произошел злополучный обрыв. Так в ожидании и подготовительных работах проходит еще год. Наконец, 10 июня 1858 года те же самые корабли со старым кабелем и новыми надеждами выходят в море. Так как при первом путешествии телеграфная линия работала безукоризненно, решено вернуться к первоначальному плану: производить укладку одновременно в обе стороны, начиная с середины океана. Первые дни новой экспедиции ничем не примечательны. Лишь на седьмой день, когда будет достигнут намеченный пункт, должна начаться укладка кабеля и вместе с ней настоящая работа. А пока что экспедиция напоминает обычную морскую прогулку. Машины стоят в бездействии, матросы отдыхают и наслаждаются ясной погодой; безоблачно небо, спокоен, может быть, слишком спокоен, океан.

Однако на третий день смутное беспокойство охватывает капитана «Агамемнона». Взглянув на барометр, он увидел, что столбик ртути падает с ужасающей быстротой. Это предвещает резкую перемену погоды, и действительно, на четвертый день разражается буря, такая буря, какую даже бывалым морякам редко приходилось испытывать в Атлантическом океане. По воле случая ураган захлестнул именно английский корабль. Превосход-



но оснащенный, испытанный в бурях и в огне войны, флагманский корабль английского флота, казалось, должен бы противостоять любому ненастью. Но, к несчастью, корабль полностью перестроен для приема гигантского груза. Кроме того, невозможно было, как это делают на обыкновенных грузовых пароходах, равномерно распределить нагрузку по всей площади трюма, и вся огромная тяжесть кабеля приходилась на его середину. Только небольшая часть кабеля была перегружена на носовую часть, но это только усугубило опасность, так как при каждом движении корабля вверх и вниз качка увеличивалась вдвое. Это облегчает буре ее жесткую игру: корабль накрывается вправо, влево, вперед, назад, под углом в 45 градусов, волны перекатываются через палубу, смывая все находящиеся на ней предметы. Новое несчастье: при одном чудовищном ударе, который сотрясает корабль от киля до мачт, лопаются перегородка, за которой находился сложенный на палубе уголь. Градом черного щебня обрушивается вся масса угля на матросов, и без того уже окровавленных и измученных. Многие ранены кусками угля, находившиеся в камбузе обварены кипятком из перевернувшегося котла, один из матросов сошел с ума, не вынеся десятидневного шторма. Команда уже готова прибегнуть к крайнему средству: выбросить за борт часть кабеля, который грозит погубить корабль. К счастью, капитан, не решаясь взять на себя такую ответственность, воспротивился этому и оказался прав. «Агамемнон» выдержал все испытания десятидневного шторма и, несмотря на значительное опоздание, присоединился к остальным кораблям в условленном месте, откуда должна была начаться укладка.

Но только теперь обнаруживается, как сильно пострадал от беспрестанных толчков драгоценный, изготовленный из тысячекратно переплетенных проволок чувствительный груз. В некоторых местах перепутались жилы, протерлась или прорвалась гуттаперчевая оболочка. Несмотря на все это, почти без всякой надежды на успех, делается несколько попыток начать укладку, но они приводят только к потере двухсот миль кабеля, которые без всякой пользы исчезают в океане. Пришлось еще раз спустить флаг и возвратиться на родину не триумфаторами, а побежденными.

## ТРЕТЬЕ ПЛАВАНИЕ

В Лондоне перепуганные акционеры, уже осведомленные о новой неудаче, ожидали возвращения Сайруса Филда, того, кто ввел их в искушение и расходы. Половина акционерного капитала уже истрачена на две экспедиции — и ничего не достигнуто, ничего не доказано; не приходилось сомневаться, что большинство заявит теперь: «Довольно!» Председатель правления советует спасти то, что еще можно спасти. Он предлагает снять с кораблей неиспользованный кабель, продать его, в крайнем случае даже в убыток, и поставить крест на этом безумном плане трансокеанской связи. Вице-председатель присоединяется к его мнению и вручает свою отставку, чтобы подчеркнуть, что он не желает иметь ничего общего с этим абсурдным предприятием. Но вера Сайруса Филда и его упорство непоколебимы. Ничто еще не потеряно, говорит он. Кабель блестяще выдержал испытание, на кораблях его еще достаточно, чтобы предпринять новое путешествие, флотилия готова к отплытию, экипажи наняты, а страшная буря, разразившаяся во время последней экспедиции, позволяет надеяться на несколько недель ясной, безветренной погоды. Нужно мужество, одно только мужество. Надо собрать все силы для последней попытки — теперь или никогда!

Акционеры растерянно переглядываются: неужели доверить этому одержимому остаток капитала? Но так как сильная воля всегда увлекает за собой колеблющихся, то Сайрус Филд вырвал у акционеров согласие на новую экспедицию. 17 июля 1858 года, через пять недель после второго злополучного плавания, флотилия в третий раз выходит из английского порта.

И на этом примере еще раз подтверждается старая истина, что важнейшие предприятия лучше всего удаются, когда вокруг них не поднимают шума. На этот раз отплытие проходит совершенно незамеченным. Лодки и яхты не провожают отплывающие корабли пожеланиями удачи, толпы любопытных не собираются на берегу, не устраивается торжественного прощального банкета, не произносятся речи, не испрашивают божьей помощи. Скрытно и бесшумно, как пиратские корабли, выходит в

море флотилия. Но море встречает их дружелюбно. Точно в назначенный день, 28 июля 1858 года, через одиннадцать дней после отплытия из Куинстауна, «Агамемнон» и «Ниагара», встретившись в указанном месте, могут начать свой титанический труд.

Редкостное зрелище — корма с кормой сходятся корабли. Теперь между ними будут сращены концы кабеля. Без всякой торжественности, не вызывая даже особого интереса у матросов, разочарованных предыдущими бесплодными попытками, железно-медный кабель опускается в глубину, на самое дно океана, куда не достигал еще ни один лот. В последний раз приветствуют друг друга оба судна, поднимаются на мачтах флаги — и английский корабль направляется к берегам Англии, американский — к берегам Америки. Корабли удаляются друг от друга, как две блуждающие точки в безграничных просторах океана, но кабель продолжает связывать их; впервые в истории человечества два корабля, разделенные пространством и невидимые друг другу, могут переговариваться сквозь ветер, волны и океанские дали. Каждые несколько часов электрический сигнал с одного корабля, промчавшись по глубинам океана, извещает другой о длине уложенного кабеля, и каждый раз второй корабль посылает ответный сигнал, извещая, что погода благоприятствует укладке и что преодолено такое же расстояние. Так проходит день, второй, третий, четвертый. Наконец, 5 августа с «Ниагары» сообщают, что корабль находится в заливе Тринити на острове Ньюфаундленд, в виду американского берега, уложив по меньшей мере тысячу тридцать миль кабеля. В тот же день торжествует победу и «Агамемнон», уложивший около тысячи миль и подошедший к берегам Ирландии. Впервые между двумя материками, Европой и Америкой, установилось непосредственное живое общение. Но лишь два корабля — несколько сот людей, находящихся на их борту, — знают, что подвиг совершен. Мир, который уже успел забыть об экспедиции, еще ничего не подозревает. Никто не встречает возвращающиеся корабли ни в Ирландии, ни на Ньюфаундленде; но в ту же самую секунду, когда кабель будет включен в сухопутную телеграфную сеть, все человечество сразу узнает об одержанной им грандиозной победе.

## ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ

Радость, вызванная этим известием, тем сильнее, что оно грянуло как гром среди ясного неба. Почти одновременно, в первые августовские дни, Старый и Новый Свет узнают об успешном завершении работы; произведенное впечатление не поддается описанию. В Англии газета «Таймс», обычно весьма сдержанная, пишет в передовой статье: «Со времени открытия Колумба не было сделано ничего, что в какой-либо степени могло бы сравниться с этим гигантским расширением сферы человеческой деятельности». Сити охвачено лихорадкой. Но робкой и бледной кажется горделивая радость Англии по сравнению с той бурей восторга, которая охватила Америку, едва новость успела там распространиться. Деловые операции приостановлены, улицы заполнены возбужденными людьми, спрашивающими, спорящими, кричащими. Доселе никому не известный Сайрус Филд становится национальным героем. Его имя ставят рядом с именами Франклина и Колумба, весь Нью-Йорк и сотни других городов с лихорадочным и шумным нетерпением ждут появления человека, благодаря твердости которого осуществилось «бракосочетание юной Америки со Старым Светом». Но восторг еще не достиг своего апогея, так как получено всего лишь скупое предварительное сообщение, что кабель проложен. А работает ли он? Удалось ли установить прочную связь между материками? Грандиозное зрелище: целый город, целый народ, затаив дыхание, ждет первого слова из-за океана. Известно, что прежде всего будет передано поздравление английской королевы, и его ждут с растущим час от часу нетерпением. Но проходят дни за днями, и только вечером 16 августа, после того как наконец устранено случайное повреждение кабеля в самом Ньюфаундленде, послание королевы Виктории достигает Нью-Йорка.

Долгожданная весть пришла слишком поздно, чтобы газеты успели опубликовать официальные сообщения, но едва только послание вывешивается на дверях редакций и телеграфных контор, как огромные толпы людей скопляются перед ними. Газетчики, в разорванной одежде, с трудом продираются сквозь праздничные толпы. Новость объявлена в театрах и ресторанах. Тысячи лю-

дей, в мозгу которых еще не укладывается, что телеграф на много дней обгоняет самый быстроходный корабль, устремляются в Бруклинский порт, чтобы приветствовать «Ниагару» — героический корабль, одержавший эту мирную победу. На следующий день газеты выходят с огромными заголовками: «Кабель работает безукоризненно», «Восторг населения не знает границ», «Небывалая сенсация всколыхнула весь город», «Настал час всеобщего ликования».

Небывалая победа: впервые с момента возникновения мышления на земле мысль со скоростью мысли пронеслась через океан. И уже гремит артиллерийский салют из ста орудий, возвещая, что президент Соединенных Штатов ответил на послание королевы. Теперь никто не осмеливается сомневаться. Вечером Нью-Йорк и все другие города сверкают десятками тысяч огней и факелов. Все окна освещены, и даже пожар, начавшийся на крыше ратуши, не может помешать ликованию. Следующий день приносит новую радостную весть: в Нью-Йорк прибыла «Ниагара», на борту которой находится сам виновник торжества, Сайрус Филд. Остаток кабеля с триумфом провезен по городу, команде корабля оказан достойный прием. День за днем в каждом городе Соединенных Штатов, от Мексиканского залива до Тихого океана, проходят манифестации, как будто Америка во второй раз празднует свое открытие.

Но и этого мало! Соответствующее моменту триумфальное шествие должно быть еще великолепнее, самым грандиозным из всех, которые когда-либо видел Новый Свет. Приготовления длятся две недели, и наконец в ясный осенний день 31 августа весь город чувствует одного человека — Сайруса Филда, как со времен цезарей и императоров ни один народ не чувствовал победителей. Торжественная процессия так велика, что ей потребовалось шесть часов, чтобы пересечь город с одного конца до другого. По украшенным флагами улицам проходят полки с развернутыми знаменами. За ними бесконечным потоком — хоры и оркестры, пожарные команды, школьники, ветераны. Каждый, кто в состоянии идти, идет, каждый, кто может петь, — поет, каждый, кто может ликовать, — ликует. В карете, запряженной четверкой лошадей, едет, словно античный триумфатор, Сайрус

Филд, во второй — капитан «Ниагары», в третьей — президент Соединенных Штатов, далее — мэр города, высшие чиновники, ученые. Речи, банкеты, факельные шествия без перерыва следуют друг за другом, звонят колокола, гремят артиллерийские залпы, все вновь и вновь вспыхивают взрывы ликования в честь второго Колумба, победителя пространства, объединившего Старый и Новый Свет и ставшего в этот день самым прославленным и любимым героем Америки,— в честь Сайруса Филда.

### КРЕСТНЫЕ МУКИ

Тысячи и миллионы голосов слились в этот день в громкий, ликующий хор. Лишь один-единственный и важнейший голос не присоединился к нему—голос электрического телеграфа. Быть может, уже посреди бурного празднества Сайрус Филд предчувствует ужасную истину, и кто знает, как тяжело ему—единственному, кто осведомлен о том, что именно в этот день трансатлантический кабель перестал действовать; в последние дни по телеграфу поступали все более сбивчивые, все менее четкие сигналы, пока наконец последний невнятный сигнал не долетел, как предсмертный вздох, и провод не замолк окончательно. Только несколько человек во всей Америке, наблюдающие за приемом сигналов в Ньюфаундленде, знали об этом постепенном ухудшении связи. Но и они медлили день за днем, не решаясь сообщить эту горькую весть в самый разгар праздничного ликования. Однако скоро замечают, что телеграммы из Европы поступают очень редко. В Америке ждали, что вести из-за океана будут приходить каждый час, но вместо этого аппарат лишь изредка выстукивает неразборчивые, бессвязные сигналы. Так не могло долго продолжаться, и вот пополз слух, что в спешке и нетерпении, стараясь добиться улучшения связи, по проводам пустили слишком сильный ток, и кабель, и без того уже несовершенный, теперь окончательно испорчен. Еще остается надежда устранить повреждение, но вскоре уже невозможно сомневаться: сигналы становятся все реже, все бессвязнее. И как раз утром 1 сентября, когда не успело еще рассеяться праздничное похмелье, аппарат не принял из-за океана ни одного ясного сигнала.

Люди менее всего склонны проявлять снисходительность в тех случаях, когда их искренние увлечения оканчиваются разочарованием, и особенно к тем, от кого они ожидали всего и кто обманул их ожидания. Едва подтвердился слух о том, что прославленный телеграф перестал действовать, как бурная волна ликования отхлынула обратно и с яростным ожесточением обрушилась на без вины виноватого Сайруса Филда. Он обманул весь город, всю страну, весь мир, утверждают в Сити, он давно знал о негодности телеграфа, но из себялюбия предоставил людям чувствовать его, а сам за это время преспокойно сбыл с рук принадлежавшие ему акции, получив неслыханные барыши. Распространяется самая злонамеренная клевета; уже безапелляционно утверждают, что трансатлантический кабель по-настоящему вообще никогда не работал, что все телеграммы оказались мошенничеством и мистификацией, что послание английской королевы было привезено заранее, а вовсе не передано по телеграфу. За все это время, утверждают далее, ни одна телеграмма не была принята в связном виде, и директора телеграфной компании сами стряпали воображаемые тексты сообщений, основываясь на догадках и хаотических сигналах. Разразился подлинный скандал. И те, кто накануне ликовал с особым рвением, теперь громче всех выражают свое негодование. Весь город, вся страна стыдится своих неумеренных и опрометчивых восторгов. Жертвой всеобщего гнева избран Сайрус Филд: тот, кто еще вчера был национальным героем, братом Франклина и преемником Колумба, сегодня должен прятаться, как преступник, от своих прежних друзей и почитателей. Его слава, созданная в один день, в один день и разрушена. Необъятны размеры поражения: потерян капитал, утрачено доверие, и бесполезный кабель, как мифическое морское чудовище, лежит в неизведанных глубинах океана.

## ШЕСТИЛЕТНЕЕ МОЛЧАНИЕ

Шесть лет пролежал бесполезный кабель на дне океана. Шесть лет как царит прежнее холодное молчание между двумя континентами. Шесть лет прошло с того знаменательного момента, когда согласно бился пульс

Америки и Европы, которые в мгновение близости, краткое, как вздох, обменялись несколькими сотнями слов и снова, как в прошедшие тысячелетия, оказались разъединенными непреодолимым пространством. Самое отважное предприятие девятнадцатого века, которое еще недавно едва не стало действительностью, снова превратилось в легенду, в миф. Разумеется, никому и в голову не приходит возобновить наполовину удавшуюся попытку; тяжелое поражение парализовало все силы, отняло всякую надежду. В Америке все интересы поглощены гражданской войной Севера и Юга, в Англии еще заседают время от времени комитеты, но им потребовалось два года, чтобы высидеть тощее решение, что теоретически прокладка подводного кабеля возможна. Между этим академическим заключением и претворением его в действительность лежит длинный путь, на который никто не выражает желания вступить; шесть лет о возобновлении практических попыток думают так же мало, как и о бесполезном кабеле, покоящемся на дне океана.

Но шесть лет — лишь краткое мгновение в грандиозном ходе движения истории — в такой молодой науке, как электротехника, стоят целого тысячелетия. Каждый год, каждый месяц приносит новые открытия. Все более мощными, все более совершенными становятся динамомашинны, все расширяется область их применения, все точнее делаются приборы. Телеграфные линии объединяют уже самые отдаленные уголки континентов, уже проложен кабель через Средиземное море, связавший Европу с Африкой, и год от года рассеивается туман фантастики, который так долго окутывал идею прокладки трансатлантического кабеля. Неизбежно должен наступить час, когда попытка будет возобновлена. Нет только человека, который мог бы вдохнуть в старый замысел новую энергию.

И внезапно человек появился. Кто же он? Все тот же Сайрус Филд, полный прежней веры и прежней убежденности, Сайрус Филд, которого не могли сломить ни молчаливое презрение, ни злобные нападки. В тридцатый раз он пересекает океан и снова появляется в Лондоне. Ему удастся возобновить старые разрешения и собрать новый капитал в шестьсот тысяч фунтов стерлингов. Есть, наконец, и гигантский корабль, о котором рань-



ше приходилось лишь мечтать,— знаменитый четырехтрубный «Греит Истерн» водоизмещением в двадцать две тысячи тонн, построенный Изабаром Брюнелем, корабль, который один способен поднять весь огромный груз кабеля. И — чудо за чудом — именно в 1865 году корабль, слишком смелая конструкция которого опередила свое время, не может найти себе применения и стоит в бездействии. В два дня корабль куплен и снаряжен для экспедиции.

То, что раньше было безмерно трудным, стало теперь простым и легким. 23 июля 1865 года корабль-великан, нагруженный новым кабелем, покидает Темзу. И хотя первая попытка не удастся из-за обрыва кабеля в двух днях пути от цели и ненасытный океан поглощает еще шестьсот тысяч фунтов стерлингов, вера людей в технику слишком сильна, чтобы эта неудача могла заставить их пасть духом. И когда 13 июля 1866 года «Греит Истерн» снова плывет через океан, то эта вторая экспедиция увенчивается полным успехом. Ясно и четко работает теперь телеграф. Несколько дней спустя найден старый, забытый кабель, и две линии связывают воедино Старый и Новый Свет. Вчерашнее чудо стало нынешней действительностью, и с этого момента пульс времени забился одновременно по всей земле. Все страны и народы одновременно слышат, и видят, и понимают друг друга во всех концах земли, и человечество стало божественно вездесущим благодаря своим собственным творческим силам. Победа над временем и пространством навеки объединила людей, и будущее их было бы прекрасно, если бы не роковое ослепление, все вновь и вновь заставляющее их разрушать это грандиозное единство и применять те же средства, которыми они утвердили свою власть над природой, для уничтожения самих себя.

# БОРЬБА ЗА ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

*(Капитан Скотт, 90° широты,  
16 января 1912 года)*



## БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ



В двадцатый век взирает на мир, лишенный гайн. Все страны исследованы, отдаленнейшие моря бороздят корабли. Области, еще поколение тому назад дремавшие в блаженной неизвестности, наслаждаясь свободой, рабски служат теперь нуждам Европы; к самым истокам Нила, которых искали так долго, устремляются пароходы; водопад Виктория, впервые

полвека тому назад открывшийся взору европейца, послушно вырабатывает электрическую энергию; последние дебри — леса Амазонки — порублены, и пояс единственной девственной страны — Тибета — развязан.

На старых картах и глобусах слова «*Terra incognita*»<sup>1</sup> исчезли под надписями сведущих людей; человек двадцатого века знает свою планету. Пытливая мысль в поисках новых путей уже принуждена спускаться к причудливым тварям морских глубин или возноситься в бескрайние просторы неба. Нехожеными остались лишь воздушные дороги, но уже взмывают в поднебесье, обгоняя друг друга, стальные птицы, устремленные к новым высям, новым далям, ибо решены все загадки и почва земного любопытства истощилась.

Но одну тайну земля стыдливо скрывала от человеческого взора вплоть до нашего столетия — два крошечных местечка своего истерзанного, изувеченного тела уберегла она от алчности собственных созданий. Северный и Южный полюсы, две почти не существующие, почти невещественные точки, два конца оси, вокруг которых она вращается тысячелетиями, она сохранила нетронутыми, незапятнанными. Ледяными громадами прикрыла она эту последнюю тайну, вечную зиму поставила на страже ее в защиту от людской жадности. Мороз и вихри властно заграждают вход, ужас и смертельная опасность отгоняют смельчаков. Лишь солнцу дано окидывать беглым взором эту твердыню, человеку же — не дозволено.

Десятки лет одна экспедиция сменяет другую. Ни единая не достигает цели. Где-то, в лишь недавно открытом ледяном хрустальном гробу, тридцать три года покоится тело шведского инженера Андре, храбрейшего из храбрых, того, кто хотел на воздушном шаре подняться над полюсом и не вернулся. Все попытки разбиваются о сверкающие ледяные стены. Тысячелетия, вплоть до наших дней, земля здесь скрывает свой лик, в последний раз победоносно отражая яростный натиск смертных. В девственной чистоте хранит она свою тайну от любопытного мира.

---

<sup>1</sup> Неизвестная земля (лат.).

Но юный двадцатый век в нетерпении простирает руки. Он выковал в лабораториях новое оружие, изобрел новые доспехи; препятствия только разжигают его страсть. Он хочет знать всю правду, и уже первое его десятилетие хочет завоевать то, чего не могли завоевать тысячелетия. К мужеству отдельных смельчаков присоединяется соперничество наций. Не только за полюс борются они, но и за честь флага, которому суждено первому развеяться над новооткрытой землей; начинается крестовый поход всех племен и народов за овладение освященных пламенным желанием мест. На всех материках снаряжаются экспедиции. Нетерпеливо ждет человечество, ибо оно уже знает: бой идет за последнюю тайну жизненного пространства. Из Америки к Северному полюсу направляются Кук и Пири; на юг идут два корабля: один ведет норвежец Амундсен, другой — англичанин, капитан Скотт.

## СКОТТ

Скотт — капитан английского флота, один из многих; его биография совпадает с послужным списком: добросовестно исполнял свои обязанности, чем снискал одобрение начальников, участвовал в экспедиции Шеклтона. Ни подвигов, ни особенного геройства не отмечено. Его лицо, судя по фотографиям, ничем не отличается от тысячи, от десятка тысяч английских лиц: холодное, волевое, спокойное, словно изваянное затаенной энергией. Серые глаза, плотно сжатые губы. Ни одной романтической черты, ни проблеска юмора в этом лице, только железная воля и практический здравый смысл. Почерк — обыкновенный английский почерк без оттенков и без завитушек, быстрый, уверенный. Его слог — ясный и точный, выразительный в описании фактов и все же сухой и деловитый, словно язык рапорта. Скотт пишет по-английски, как Тацит по-латыни, — неотесанными глыбами. Во всем проглядывает человек без воображения, фанатик практического дела, а следовательно, истый англичанин, у которого, как у большинства его соотечественников, даже гениальность укладывается в жесткие рамки исполнения долга. Английская история знает сотни таких Скоттов: это он покорила Индию и безыменные

острова Архипелага, он колонизировал Африку и воевал во всем мире с той же неизменной железной энергией, с тем же сознанием общности задач и с тем же холодным, замкнутым лицом.

Но как сталь тверда его воля; это обнаруживается еще до совершения подвига. Скотт намерен закончить то, что начал Шеклтон. Он снаряжает экспедицию, но ему не хватает средств. Это его не останавливает. Уверенный в успехе, он жертвует своим состоянием и влезает в долги. Жена дарит ему сына, но он, подобно Гектору, не задумываясь, покидает свою Андромаху. Друзья и товарищи вскоре найдены, и ничто земное уже не может поколебать его волю. «Терра Нова»<sup>1</sup> называется странный корабль, который должен доставить его на край Ледовитого океана,— странный потому, что он, словно Ноев ковчег, полон всякой живности, и вместе с тем это лаборатория, снабженная книгами и тысячью точнейших приборов. Ибо в этот пустынный, необитаемый мир нужно взять с собой все, что требуется человеку для нужд тела и запросов духа, и удивительно сочетаются на борту предметы первобытного обихода — меха, шкуры, живой скот — с самым сложным, отвечающим последнему слову науки, оборудованием. И та же поразительная двойственность, что и корабль, отличает и само предприятие: приключение — но обдуманное и взвешенное, как коммерческая сделка; отвага — но в соединении с искуснейшими мерами предосторожности; точное предвидение всех деталей перед лицом непредвиденных случайностей.

1 июня 1910 года экспедиция покидает Англию. В эту летнюю пору англосаксонский остров сияет красотой. Сочной зеленью покрыты луга, солнце изливает тепло и свет на ясный, не омраченный туманом мир. С грустью смотрят мореплаватели на скрывающийся из глаз берег, ведь они знают, что на годы, быть может, навсегда прощаются с теплом и солнцем. Но вверху на мачте развеивается английский флаг, и они утешают себя мыслью, что эта эмблема их мира вместе с ними плывет к единственному еще не завоеванному клочку покоренной Земли.

---

<sup>1</sup> Новая земля (лат.).

## АНТАРКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В январе они причаливают, после кратковременного отдыха в Новой Зеландии, у края вечного льда и сооружают дом для зимовки. Декабрь и январь считаются там летними месяцами, потому что это — единственное время в году, когда солнце несколько часов в день сияет на свинцово-белом небе. Стены дома сложены из бревен, как на стоянках прежних экспедиций, но внутри дома чувствуются веяние нового века, успехи нового века. Если раньше зимовщики сидели в полутьме, при коптящих, воняющих ворванью фонарях и с тоской глядели друг на друга, утомленные однообразием бессолнечных дней, то эти люди двадцатого столетия владеют в своих четырех стенах всем миром в миниатюре, всеми достижениями науки. Ацетиленовые горелки излучают яркий свет, киноаппарат воссоздает, словно по волшебству, пейзажи дальних стран, картины тропической природы, пианола воспроизводит музыку, граммофон — человеческий голос, библиотека предоставляет знания. В одной из комнат стучит пишущая машинка, в другой, темной — проявляют пленку и цветные фотографические снимки. Геолог испытывает радиоактивность минералов, зоолог обнаруживает новый вид паразитов у пойманных пингвинов, метеорологические наблюдения сменяются физическими опытами; всем участникам экспедиции поручена работа на время темных месяцев, и благодаря разумной системе личный опыт каждого становится общим достоянием. Ибо эти тридцать человек ежевечерне читают друг другу среди паковых льдов и полярной стужи университетские лекции, каждый силится передать свои знания другому, и в оживленном обмене мыслями расширяется их видение мира. Узкоспециальные науки не замыкаются в высокомерном одиночестве, а ищут понимания в совместном устремлении вперед. Затерянные в бескрайнем первобытном мире, вне времени и пространства, тридцать человек обмениваются между собой последними достижениями двадцатого века, и здесь, в этих стенах, люди не отстают ни на час, ни на секунду от движения мира. Трогательно читать, как эти суровые люди, ученые, радуются рождественской елке,

забавляются шутками «South Pol Times»<sup>1</sup>, издаваемого ими юмористического листка, как все малое — всплывший кит, поскользнувшаяся лошадь — превращается в событие и, с другой стороны, все непостижимо огромное — сполохи, лютый мороз, чудовищное одиночество — становится повседневным и привычным.

Между тем они отваживаются на небольшие вылазки. Они испытывают аэросани, учатся ходить на лыжах, дрессируют собак. Они готовят запасы для большого путешествия, но медленно, медленно обрываются листки календаря, и далеко еще до лета (до декабря), когда корабль проберется к ним сквозь паковый лед с письмами из дому. Но уже сейчас, в разгар зимы, они небольшими отрядами совершают для закалки короткие переходы, испытывают палатки, проверяют опыты. Не все удается им, но препятствия лишь разжигают их пыл. Когда они, усталые и продрогшие, возвращаются на стоянку, их встречают радостными криками и теплом очага, и эта уютная хижина на семьдесят седьмом градусе широты после нескольких дней лишений кажется им лучшим в мире жилищем.

Но вот возвратилась с запада одна из экспедиций, и от принесенной ею вести в доме водворяется угрюмая тишина. В своих странствиях путники наткнулись на зимовку Амундсена, и внезапно Скотт понимает, что, помимо мороза и опасности, есть еще противник, который оспаривает у него первенство и может раньше его вырвать тайну строптивой земли. Он сверяет по карте; в записях его слышится тревога, с какой он обнаружил, что стоянка Амундсена на сто десять километров ближе к полюсу, чем его. Он потрясен, но не теряет мужества. «Вперед, во славу отчизны!» — пишет он горделиво в своем дневнике.

Это единственное упоминание об Амундсене в дневнике. Больше его имя не встречается. Но нет сомнений, что с того дня мрачная тень упала на одинокий бревенчатый дом во льдах и что это имя ежечасно, во сне и наяву, тревожит его обитателей.

---

<sup>1</sup> «Южнополярная Таймс» (англ.).

## ПОХОД К ПОЛЮСУ

В расстоякии мили от хижины на возвышении установлен наблюдательный пост. Там, на крутом пригорке, одиноко, точно пушка, наведенная на незримого врага, стоит аппарат для измерения первых тепловых колебаний приближающегося солнца. Целыми днями поджидают они его появления. На утреннем небе уже играют яркие чудесные отблески, но солнечный диск пока еще не подымается над горизонтом. Этот отраженный свет, предвещающий появление долгожданного светила, разжигает их нетерпение, и наконец в хижине раздается телефонный звонок, и с наблюдательного поста сообщают, что солнце взошло, впервые после многих месяцев оно подняло свою главу в полярной ночи. Его свет еще слаб и бледен, его лучи едва-едва согревают морозный воздух, едва-едва колеблются стрелки измерительного прибора, но один вид солнца — уже огромное счастье. В лихорадочной спешке снаряжается экспедиция, чтобы не потерять ни минуты этой короткой светлой поры, знаменующей и весну, и лето, и осень, хотя по нашим умеренным понятиям это все еще суровая зима. Впереди летят аэросани. За ними нарты, запряженные собаками и сибирскими лошадками. Дорога предсудительно разделена на этапы; через каждые два дня пути сооружается склад, где оставляют для обратного путешествия одежду, продовольствие и самое важное — керосин, конденсированное тепло, защиту от нескончаемых морозов. Они выступают в поход все вместе, но будут возвращаться по очереди, отдельными группами, для того чтобы последнему маленькому отряду — избранникам, которым суждено завоевать полюс, — осталось как можно больше припасов, самые свежие собаки и лучшие нарты. План похода мастерски разработан, даже неудачи предусмотрены. И, конечно, в них нет недостатка. После двух дней пути ломаются аэросани, их бросают как лишний балласт. Лошади также не оправдали надежд, но на этот раз живая природа торжествует над техникой, ибо обессиленных лошадей пристреливают, и они дают собакам питательный корм, укрепляющий их силы.

1 ноября 1911 года участники экспедиции разбивают-



ся на отряды. На снимках запечатлен этот удивительный караван: сперва тридцать путников, потом двадцать, десять, и наконец только пять человек двигаются по белой пустыне мертвого первобытного мира. Впереди всегда идет один, похожий на дикаря, закутанный в меха и платки, из-под которых виднеются только борода и глаза; рука в меховой рукавице держит повод лошади, которая тащит тяжело нагруженные сани; за ним — второй, в таком же одеянии и такой же позе, за ним третий, — двадцать черных точек, вытянувшихся извилистой линией по бескрайней слепящей белизне. Ночью они зарываются в палатки, возводят снежные валы для защиты лошадей от ветра, а утром снова пускаются в однообразный и безотрадный путь, вдыхая ледяной воздух, впервые за тысячелетия проникающий в человеческие легкие.

Трудности множатся. Погода стоит хмурая, вместо сорока километров они покрывают иногда лишь тринадцать, а между тем каждый день драгоценен, с тех пор как им известно, что кто-то невидимо для них продвигается по белой пустыне к той же цели. Любая мелочь грозит опасностью. Сбежала собака, лошадь отказывается от корма — все это вызывает тревогу, потому что в этом одиночестве обычные ценности приобретают иное, новое значение. Все, что помогает сохранить человеческую жизнь, драгоценно, незаменимо. От состояния копыт одной лошади зависит, быть может, слава; облачное небо, пурга могут помешать бессмертному подвигу. К тому же здоровье путников ухудшается; одни страдают снежной слепотой, у других оторожены руки или ноги; лошади, которым приходится уменьшать корм, слабеют день ото дня, и наконец, в виду глетчера Бирдмора, силы окончательно изменяют им. Тяжкий долг умерщвления этих стойких животных, ставших за два года совместной жизни вдали от мира друзьями, которых каждый знал по имени и не раз награждал ласками, должен быть исполнен. «Лагерем бойни» назвали это печальное место. Часть экспедиции отправляется в обратный путь, остальные собирают все силы для последнего мучительного перевала через глетчер, через грозный вал, опоясывающий полюс, который может одолеть лишь жаркое пламя человеческой воли.

Все медленнее продвигаются они, ибо наст здесь неровный, зернистый и нарты приходится не тянуть, а тащить. Острые льдины прорезают полозья, ноги изранены от ходьбы по сухому, льдистому снегу. Но они не сдаются: 30 декабря достигнут восемьдесят седьмой градус широты, крайняя точка, до которой дошел Шеклтон. Здесь последний отряд должен вернуться, только пяти избранным дозволено идти к полюсу. Скотт отбирает людей. Никто не осмеливается перечить ему, но всем тяжело так близко от цели поворачивать обратно и уступить товарищам славу первыми увидеть полюс. Но выбор сделан. Еще раз пожимают они друг другу руки, мужественно скрывая волнение, и расходятся в разные стороны. Два маленьких, едва заметных отряда двинулись — один к югу, навстречу неизвестности, другой к северу, на родину. Те и другие много раз оглядываются, чтобы еще в последнюю минуту ощутить живое присутствие друзей. Вот уже скрылся из виду отряд возвращающихся. Одинокó продолжают путь в неведомую даль пять избранных: Скотт, Бауэрс, Отс, Уилсон и Эванс.

## ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

Тревожнее становятся записи в эти последние дни; они трепещут, как синяя стрелка компаса, приближаясь к полюсу. «Как бесконечно долго ползут тени вокруг нас, выдвигаясь вперед с правой стороны, потом опять ускользая налево!» Но отчаяние сменяется надеждой. Все с большим волнением отмечает Скотт пройденное расстояние: «Еще только сто пятьдесят километров до полюса; но если не станет легче, мы не выдержим», — пишет он в изнеможении. Через два дня: «Сто тридцать семь километров до полюса, но они достанутся нам нелегко». И вдруг: «Осталось всего лишь девяносто четыре километра до полюса. Если мы и не доберемся, мы все же будем до черта близко!» 14 января надежда становится уверенностью. «Только семьдесят километров, мы у цели». На следующий день — торжество, ликование; почти весело пишет он: «Еще каких-нибудь жалких пятьдесят километров; дойдем, чего бы это ни стоило!» За душу хватают эти лихорадочные записи, в которых чувствует-

ся напряжение всех сил, трепет нетерпеливого ожидания. Добыча близка, руки уже тянутся к последней тайне земли. Еще один последний бросок — и цель достигнута.

## ШЕСТНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ

«Приподнятое настроение» — отмечено в дневнике. Утром они выступают раньше обычного, нетерпение выгнало их из спальных мешков; скорее, скорее увидеть своими глазами великую грозную тайну. Четырнадцать километров проходят в полдня по бездушной белой пустыне пятеро неустрашимых: они веселы, цель близка, подвиг во славу человечества почти свершен. Внезапно беспокойство охватывает одного из путников — Бауэрса. Горящим взором впивается он в едва заметную точку, чернеющую среди необъятных снежных просторов. У него не хватает духа высказать свою догадку, но у всех сердце сжимается от страшной мысли: быть может, это дорожная вежа, поставленная человеческой рукой. Они силятся рассеять свои страхи. Пытаются уверить себя — подобно Робинзону, который, заметив на необитаемом острове чужие следы, внушал себе, что это отпечатки его собственных ног, — что они видят трещину во льду или, быть может, какую-то тень. Дрожь от волнения, подходят они ближе, все еще стараясь обмануть друг друга, хотя все уже знают горькую правду: норвежцы, Амундсен опередил их.

Вскоре последняя надежда разбивается о непреложный факт: черный флаг, прикрепленный к поворотному шесту, развевается над чужой, покинутой стоянкой; следы полозьев и собачьих лап рассеивают все сомнения — здесь был лагерь Амундсена. Свершилось неслыханное, непостижимое: полюс Земли, тысячелетиями безлюдный, тысячелетиями, быть может, с начала начала, недоступный взору человеческому, — в какую-то молекулу времени, на протяжении месяца открыт дважды. И они опоздали — из миллионов месяцев они опоздали на один-единственный месяц, они пришли вторыми в мире, для которого первый — все, а второй — ничто! Напрасны все усилия, нелепы перенесенные лишения,

безумны надежды долгих недель, месяцев, лет. «Все труды, все лишения и муки — к чему? — пишет Скотт в своем дневнике.—Пустые мечты, которым теперь настал конец». Слезы выступают у них на глазах, несмотря на смертельную усталость, они не могут уснуть. Уныло, в угрюмом молчании, точно осужденные, делают они последний переход к полюсу, который надеялись так победно завоевать. Никто никого не пытается утешить; безмолвно бредут они дальше. 18 января капитан Скотт со своими четырьмя спутниками достигает полюса. Надежда первым совершить подвиг уже не ослепляет его, и он равнодушным взглядом оценивает безотрадный ландшафт. «Ничего для глаза, ничего, что бы отличалось от ужасающего однообразия последних дней»,— вот все, что написано о полюсе Робертом Ф. Скоттом. Единственное, что останавливает их внимание, создано не природой, а вражеской рукой: палатка Амундсена с норвежским флагом, спесиво развевающимся на отвоеванной человечеством крепости. Они находят письмо конкистадора к тому неизвестному, кто вторым ступит на это место, с просьбой переслать его норвежскому королю Гакону. Скотт берет на себя исполнение тягчайшего долга: свидетельствовать перед человечеством о чужом подвиге, которого страстно желал для себя.

Печально водружают они «опоздавший английский флаг» рядом со знаменем победы Амундсена. Потом покидают «место, предавшее их надежды»,— холодный ветер дует им вслед. С вешним предчувствием пишет Скотт в своем дневнике: «Страшно подумать об обратном пути».

## ГИБЕЛЬ

Возвращение сопряжено с удесятенной опасностью. Дорогу к полюсу указывал компас. Теперь, на обратном пути, самое главное — не потерять собственного следа, и это в течение многих недель, чтобы не уклониться в сторону от складов, где их ждет пища, одежда и тепло, заключенное в нескольких галлонах керосина. И тревога охватывает их каждый раз, когда снежный вихрь застилает глаза, ибо один неверный шаг равносителен смерти. К тому же нет уже прежней бодрости;

выступая в поход, они были заряжены энергией, накопленной в тепле и изобилии их антарктической родины.

И еще: стальная пружина воли ослабла. В походе к полюсу их окрыляла великая надежда осуществить заветную мечту всего мира; сознание бессмертного подвига придавало им нечеловеческие силы. Теперь же они борются только за спасение своей жизни, за свое брненное существование, за бесславное возвращение, которого они в глубине души, быть может, скорее страшатся, чем желают.

Тяжело читать записи тех дней. Погода все ухудшается, зима наступила раньше обычного, рыхлый снег под подошвами смерзается в опасные ловушки, в которых застревает нога, мороз изнуряет усталое тело. Поэтому так велика их радость каждый раз, когда после многодневных блужданий они добираются до склада; вспыхнувший огонек надежды звучит в их словах. И ничто не говорит красноречивее о героизме этих людей, затерянных в необъятном одиночестве, чем то, что Уилсон даже здесь, на волосок от смерти, неустанно продолжает свои научные наблюдения и к необходимому грузу своих нартов прибавил шестнадцать килограммов редких минеральных пород.

Но мало-помалу человеческое мужество отступает перед натиском природы, которая беспощадно, с тысячекратными закаленной силой обрушивает на пятерых смельчаков все свои орудия уничтожения: мороз, пургу, пронизывающий ветер. Давно изранены ноги; урезанные пайки и только один раз в день принимаемая горячая пища уже не могут поддержать их силы. С ужасом замечают товарищи, что Эванс, самый сильный, внезапно начинает вести себя очень странно. Он отстает от них, беспрестанно жалуется на действительные и воображаемые страдания; из его невнятных речей они заключают, что несчастный, вследствие ли падения, или не выдержав мук, лишился рассудка. Что же делать? Бросить его в ледяной пустыне? Но, с другой стороны, им необходимо как можно скорее добраться до склада, иначе... Скотт не решается начертать это слово. В час ночи 17 февраля несчастный Эванс умирает на расстоянии однодневного перехода от того «Лагеря бойни», где

они впервые могут насытиться благодаря убитым мясу тому назад лошадям.

Вчетвером они продолжают поход, но злой рок преследует их; ближайший склад приносит горькое разочарование: там слишком мало керосина, а это значит, что нужно скупо расходовать горючее — самое насущное, единственно верное оружие против мороза. После ледяной вьюжной ночи они просыпаются, обессиленные, и, с трудом поднявшись, тащатся дальше; у одного из них, у Отса, отморожены пальцы ног. Ветер становится все резче, и 2 марта на очередном складе их снова ждет жестокое разочарование: снова слишком мало горючего.

Теперь уже страх слышится в записях Скотта. Видно, как он пытается подавить его, но сквозь нарочитое спокойствие то и дело прорывается вопль отчаяния: «Так дальше продолжаться не может», или: «Да хранит нас бог! Силы наши на исходе!», или: «Игра наша кончается трагически», и наконец: «Придет ли провидение нам на помощь? От людей нам больше нечего ждать». Но они тащатся дальше и дальше, без надежды, стиснув зубы. Отс все сильнее отстает, он обуза для своих друзей. При полуденной температуре в 42 градуса они вынуждены замедлить шаг, и несчастный знает, что он может стать причиной их гибели. Путники уже готовы к худшему. Уилсон выдает каждому по десять таблеток морфия, чтобы, в случае необходимости, ускорить конец. Еще один день они пытаются вести с собой больного. К вечеру он сам требует, чтобы его оставили в спальном мешке и не связывали свою судьбу с его судьбою. Все решительно отказываются, хотя отдают себе полный отчет в том, что это принесло бы им облегчение. Еще несколько километров Отс тащится на отмороженных ногах до стоянки, где они проводят ночь. Утром они выглядывают из палатки: свирепо бушует пурга.

Внезапно Отс подымается. «Я выйду на минутку, — говорит он друзьям. — Может быть, немного побуду снарядом». Их охватывает дрожь, каждый понимает, что значит эта прогулка. Но никто не решается удержать его хоть словом. Никто не решается протянуть ему руку на прощанье, все благоговейно молчат, ибо знают, что Ло-

уренс Отс, ротмистр Эннискилленского драгунского полка, героически идет навстречу смерти.

Трое усталых, обессиленных людей тащатся дальше по бесконечной железно-ледяной пустыне. У них нет уже ни сил, ни надежды, только инстинкт самосохранения еще заставляет их передвигать ноги. Все грознее бушует непогода, на каждом складе новое разочарование: мало керосина, мало тепла. 21 марта они всего в двадцати километрах от склада, но ветер дует с такой убийственной силой, что они не могут выйти из палатки. Каждый вечер они надеются, что утром сумеют достигнуть цели, между тем припасы убывают и с ними—последняя надежда. Горючего больше нет, а термометр показывает сорок градусов ниже нуля. Все кончено: перед ними выбор—замерзнуть или умереть от голода. Восемь дней борются трое людей с неотвратимой смертью в тесной палатке, среди безмолвия первобытного мира. 29-го они приходят к убеждению, что уже никакое чудо спасти их не может. Они решают ни на шаг не приближаться к грядущему року и принять смерть гордо, как принимали все, выпавшее им на долю. Они забираются в свои спальные мешки, и ни единый вздох не поведал миру об их предсмертных муках.

### ПИСЬМА УМИРАЮЩЕГО

В эти минуты, наедине с незримой, но столь близкой смертью, капитан Скотт вспоминает все узы, связывавшие его с жизнью. Среди ледяного безмолвия, которого от века не нарушал человеческий голос, в часы, когда ветер яростно треплет тонкие стены палатки, он проникается сознанием общности со своей нацией и всем человечеством. Перед его взором в этой белой пустыне, словно марево, возникают образы тех, кто был связан с ним узами любви, верности, дружбы, и он обращает к ним свое слово. Коченеющими пальцами капитан Скотт пишет, в смертный час пишет письма всем живым, которых он любит.

Удивительные письма! Все мелкое исчезло в них от могучего дыхания близкой смерти, и кажется, что они наполнены кристально чистым воздухом пустынного не-

ба. Они обращены к людям, но говорят всему человечеству. Они написаны для своего времени, но говорят для вечности.

Он пишет жене. Он заклинает ее беречь сына — его драгоценнейшее наследие, — просит предостеречь его от вялости и лени и, совершив один из величайших подвигов мировой истории, сознается: «Ты ведь знаешь, я должен был заставлять себя быть деятельным, — у меня всегда была склонность к лени». На краю гибели он не раскаивается в своем решении, напротив — одобряет его: «Как много мог бы я рассказать тебе об этом путешествии! И насколько это все же лучше, чем сидеть дома, среди всяческих удобств».

Он пишет женам и матерям своих спутников, погибших вместе с ним, свидетельствуя об их доблести. На смертном одре он утешает семьи своих товарищей по несчастью, внушая им собственную вдохновенную и уже неземную веру в величие и славу их героической гибели.

Он пишет друзьям — со всей скромностью по отношению к себе, но преисполненный гордостью за всю нацию, достойным сыном которой он чувствует себя в свой последний час. «Не знаю, был ли я способен на большое открытие, — признается он, — но наша смерть послужит доказательством тому, что мужество и стойкость еще присущи нашей нации». И те слова, которые всю жизнь не давала ему произнести мужская гордость и душевное целомудрие, эти слова теперь вырывает у него смерть. «Я не встречал человека, — пишет он своему лучшему другу, — которого бы я так любил и уважал, как Вас, но я никогда не мог Вам показать, что для меня означает Ваша дружба, потому что Вы так много давали мне, а я ничего не мог дать Вам взамен».

И он пишет последнее письмо, лучшее из всех — английскому народу. Он считает своим долгом объяснить, что в борьбе за славу Англии он погиб не по своей вине. Он перечисляет все случайные обстоятельства, ополчившиеся против него, и голосом, которому близость смерти придает неповторимый пафос, призывает всех англичан не оставлять его близких. Его последняя мысль не о своей судьбе, его последнее слово не о своей смерти, а о



жизни других: «Ради бога, позаботьтесь о наших близких». После этого — пустые листки.

До последней минуты, пока карандаш не выскользнул из окоченевших пальцев, капитан Скотт вел свой дневник. Надежда, что у его тела найдут эти записи, свидетельствующие о мужестве английской нации, поддерживала его в этих нечеловеческих усилиях. Омертвевшей рукой ему еще удастся начертать последнюю волю: «Перешлите этот дневник моей жене!» Но в жесточайшем сознании грядущей смерти он вычеркивает «моей жене» и пишет сверху страшные слова: «Моей вдове».

## ОТВЕТ

Неделями ждут зимовщики в бревенчатой хижине. Сначала спокойно, потом с легким беспокойством, наконец, с возрастающей тревогой. Дважды выходили на помощь экспедиции, но непогода загоняла их обратно. Всю долгую зиму проводят оставшиеся без руководства полярники на своей стоянке; предчувствие беды черной тенью ложится на сердце. В эти месяцы судьба и подвиг капитана Роберта Скотта скрыты в снегу и молчании. Лед заключил их в стеклянный гроб, и только 29 октября, с наступлением полярной весны, снаряжается экспедиция, чтобы найти хотя бы останки героев и завещанную ими весть. 12 ноября они достигают палатки; они видят замерзшие в спальнях мешках тела, видят Скотта, который, умирая, братски обнял Уилсона, находят письма, документы; они предадут погребению погибших героев. Простой черный крест над снеговым холмиком одиноко высится в белом просторе, где навеки похоронено живое свидетельство героического подвига.

Нет, не навеки! Неожиданно их деяния воскресают: свершилось чудо техники нашего века! Дружья привозят на родину негативы и пленки, их проявляют, и вот снова виден Скотт со своими спутниками в походе, видны картины полярной природы, которые, кроме них, созерцал один лишь Амундсен. По электрическим проводам весть о его дневнике и письмах облетает изумленный мир, английский король в соборе преклоняет ко-

лена, чувствуя память героев. Так подвиг, казавшийся напрасным, становится животворным, неудача — пламенным призывом к человечеству напрячь свои силы для достижения доселе недостижимого; доблестная смерть порождает удесятенную волю к жизни, трагическая гибель — неудержимое стремление к уходящим в бесконечность вершинам. Ибо только тщеславие тешит себя случайной удачей и легким успехом, и ничто так не возвышает душу, как смертельная схватка человека с грозными силами судьбы — эта величайшая трагедия всех времен, которую поэты создают иногда, а жизнь — тысячи и тысячи раз.

# МАГЕЛЛАН

*Человек и его деяние*



---

## ОТ АВТОРА



ниги зарождаются из разнородных чувств. На создание книги может толкнуть и вдохновение и чувство благодарности; в такой же мере способны разжечь духовную страсть досада, гнев, огорчение. Иной раз побудительной причиной становится любопытство, психологическая потребность в процессе писания уяснить себе самому людей и события. Но

и мотивы сомнительного свойства: тщеславие, алчность, самолюбование— часто, слишком часто побуждают нас к творчеству; поэтому автору, собственно, каждый раз следовало бы отдавать себе отчет, из каких чувств, в силу какого влечения выбрал он свой сюжет. Внутренний источник данной книги мне совершенно ясен. Она возникла из несколько необычного, но весьма настойчивого чувства — пристыженности.

Было это так. В прошлом году мне впервые представился долгожданный случай поехать в Южную Америку. Я знал, что в Бразилии меня ждут прекраснейшие места на земле, а в Аргентине — ни с чем не сравнимое наслаждение: встреча с собратьями по духу. Уже одно предвкушение этого делало поездку чудесной, а в дороге присоединилось все, что только может быть приятного: спокойное море, полное отдохновение на быстроходном и поместительном судне, отрешенность от всех обязательств и повседневных забот. Безмерно наслаждался я райскими днями этого путешествия. Но внезапно, на седьмой или восьмой день, я поймал себя на чувстве какого-то досадливого нетерпения. Все то же синее небо, все та же синяя безмятежная гладь! Слишком долгими показались мне в эту минуту внезапного раздражения часы путешествия. В душе я уже хотел быть у цели, меня радовало, что стрелка часов каждый день неустанно продвигается вперед. Ленивое, расслабленное наслаждение *ничем* как-то вдруг стало угнетать меня. Одни и те же лица все тех же людей казались утомительными, монотонная жизнь на корабле раздражала нервы именно своим равномерно пульсирующим спокойствием. Лишь бы вперед, вперед, скорей, как можно скорей! И сразу этот прекрасный, уютный, комфортабельный, быстроходный пароход стал для меня недостаточно быстрым.

Может быть, какая-то секунда понадобилась мне, чтобы осознать свое нетерпение и устыдиться. «Ведь ты,— гневно сказал я себе,— совершаешь чудесное путешествие на безопаснейшем из судов, любая роскошь,

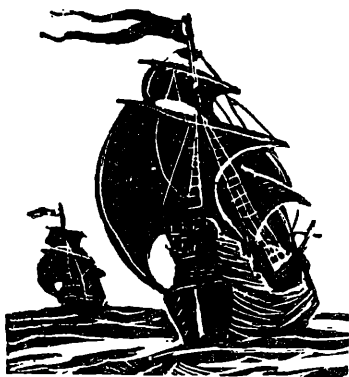
о которой только можно помыслить, к твоим услугам. Если вечером в твоей каюте слишком прохладно, тебе стоит только двумя пальцами повернуть регулятор — и воздух нагрелся. Полуденное солнце экватора кажется тебе несносным — что же, в двух шагах от тебя находится помещение с охлаждающими вентиляторами, а чуть подальше тебя уже ждет бассейн для плавания. За столом в этой роскошной из гостиниц ты можешь заказать любое блюдо, любой напиток — все появится в мгновение ока, словно принесенное легкокрылыми ангелами, и притом в изобилии. Ты можешь уединиться и читать книги или же сколько душе угодно развлекаться играми, музыкой, обществом. Тебе предоставлены все удобства и все гарантии безопасности. Ты знаешь, куда едешь, точно знаешь час своего прибытия и знаешь, что тебя ждет дружеская встреча. Так же и в Лондоне, Буэнос-Айресе, Париже и Нью-Йорке ежечасно знают, в какой точке вселенной находится твое судно. Тебе нужно только подняться на несколько ступенек по маленькой лесенке, и послушная искра беспроводного телеграфа тотчас отделится от аппарата и понесет твой вопрос, твой привет в любой уголок земного шара, и через час тебе уже откликнутся с любого конца света. Вспомни же, нетерпеливый, ненасытный человек, как было раньше! Сравни хоть на миг свое путешествие со странствиями былых времен и прежде всего с первыми плаваниями тех смельчаков, что впервые открыли для нас эти необъятные моря, открыли мир, в котором мы живем, — вспомни и устыдись! Попробуй представить себе, как они на крохотных рыбацких парусниках отправлялись в неведомое, не зная пути, затерянные в беспредельности, под вечной угрозой гибели, отданные во власть непогоды, обреченные на тягчайшие лишения. Ночью — беспросветный мрак, единственное питье — тепловатая, затхлая вода из бочек или набранная в пути дождевая, никакой еды, кроме черствых сухарей да копченого прогорклого сала, а часто долгие дни даже без этой скудной пищи. Ни постелей, ни места для от-

дыха, жара адская, холод беспощадный, и к тому же сознание, что они одни, безнадежно одни среди этой жестокой водной пустыни. На родине месяцами, годами не знали, где они, и сами они не знали, куда плывут. Невагоды сопутствовали им, тысячеликая смерть обступала их на воде и на суше, им угрожали люди и стихии; месяцы, годы — вечно эти жалкие, утлые суденышки окружены были ужасающим одиночеством. Никто — и они это знали — не может поспешить к ним на помощь, ни один парус — и они это знали — не встретится им за долгие, долгие месяцы плавания в этих не вспаханных корабельным килем водах, никто не выручит их из нужды и опасности, никто не принесет вести об их смерти, гибели». Едва я начал думать об этих первых плаваниях конкистадоров морей, как я глубоко устыдился своего нетерпения.

Это чувство пристыженности, однажды пробудившись, уже не покидало меня в продолжение всего пути, мысль о безыменных героях не давала мне ни минуты покоя. Меня потянуло подробней узнать о тех, кто первым отважился вступить в бой со стихией, прочесть о первых плаваниях по неисследованным морям, описания которых волновали меня уже в отроческие годы. Я зашел в пароходную библиотеку и наудачу взял несколько томов. Из всех описаний людей и плаваний меня больше всего поразил подвиг одного человека, непревзойденный, думается мне, в истории познания нашей планеты. Я имею в виду Фернандо Магеллана, того, кто во главе пяти утлых рыбацких парусников покинул Севильскую гавань, чтобы обогнуть земной шар. Прекраснейшая Одиссея в истории человечества — это плавание двухсот шестидесяти пяти мужественных людей, из которых только восемнадцать возвратились на полуразбитом корабле, но с флагом величайшей победы, реющим на мачте. Многого я из этих книг о нем не вычитал, во всяком случае, для меня этого было мало. Возвратившись домой, я продолжал читать и рыться в книгах, дивясь тому, сколь малым и сколь малодостоверным бы-



ло все ранее рассказанное об этом геройском подвиге. И снова, как много раз прежде, я понял, что лучшей и плодотворнейшей возможностью объяснить самому себе необъяснимое будет воплотить в слове и объяснить его для других. Так возникла эта книга — по правде говоря, мне самому на удивление. Ибо в то время как я, в соответствии со всеми доступными мне документами, по мере возможности придерживаясь действительности, воссоздавал эту вторую Одиссею, меня не оставляло странное чувство, что я рассказываю нечто вымышленное, одну из великих грез, священных легенд человечества. Но ведь нет ничего прекраснее правды, кажущейся неправдоподобной! В великих подвигах человечества, именно потому, что они так высоко возносятся над обычными земными делами, заключено нечто непостижимое; но только в том невероятном, что оно свершило, человечество снова обретает веру в себя.



**В** начале были пряности. С тех пор, как римляне в своих путешествиях и войнах впервые познали прелесть острых и дурманящих, терпких и пьянящих восточных приправ, Запад уже не может и не хочет обходиться как на кухне, так и в погребе без *esreseria* — индийских специй, без пряностей. Ведь вплоть до позднего средневековья пища северян была невообразимо пресна и безвкусна. Пройдет еще немало времени, прежде чем наиболее употребительные ныне плоды — картофель, кукуруза и помидоры — обоснуются в Европе; пока же мало кто подкисляет кушанья лимоном, подслащивает сахаром; еще не открыты изысканные тонизирующие свойства чая и кофе; даже государи и знатные люди ничем, кроме тупого обжорства, не могут вознаградить себя за бездушное однообразие трапез. Но удивительное дело: стоит только в са-

<sup>1</sup> Плавать по морю необходимо (лат.).

мое незатейливое блюдо подбавить одно-единственное зернышко индийских пряностей — крохотную щепотку перца, сухого мускатного цвета, самую малость имбиря или корицы, — и во рту немедленно возникает своеобразное, приятное раздражение. Между ярко выраженным мажором и минором кислого и сладкого, острого и пресного начинают вибрировать очаровательные гастрономические обертоны и промежуточные звучания. Вскоре еще не изощренные, варварские вкусовые нервы средневековых людей начинают все более жадно требовать этих новых возбуждающих веществ. Кушанье считается хорошо приготовленным, только когда оно донельзя переперчено, до отказа едко и остро; даже в пиво кладут имбирь, а вино так приправляют толчеными специями, что каждый глоток огнем горит в гортани. Но не только для кухни нужны Западу столь огромные количества *esresegia*.

Женская суетность тоже требует все больше и больше благовоний Аравии, и притом все новых, — дразнящего чувственность мускуса, приторной амбры, розового масла; для женщин ткачи и красильщики вырабатывают китайские шелка, индийские узорчатые ткани, золотых дел мастера раздобывают белый цейлонский жемчуг и голубоватые нарсингарские алмазы. Еще больший спрос на заморские товары предьявляет католическая церковь, ибо ни одно из миллиардов зернышек ладана, курящегося в кадилницах, мерно раскачиваемых причетниками тысяч и тысяч церквей Европы, не выросло на европейской земле, каждое из миллиардов этих зернышек морем и сушию совершало свой неизмеримо долгий путь из Аравии. Аптекари, в свою очередь, являются постоянными покупателями прославленных индийских специй — таких, как опий, камфара, драгоценная камедистая смола; им по опыту известно, что никакой бальзам, никакое лекарственное снадобье не покажется больному истинно целебным, если на фарфоровой баночке синими буквами не будут начертаны магические слова *agabiscum* или *indicum*<sup>1</sup>. Все восточное в силу своей отдаленности, редкости, экзотичности, быть может, и дороговизны, начинает приобретать для Европы неотразимую, гипноти-

---

<sup>1</sup> Арабский или индийский (лат.).

зирующую прелесть. «Арабский», «персидский», «индостанский» — эти определения в средние века (так же как в восемнадцатом веке эпитет «французский») тождественны словам: роскошный, утонченный, изысканный, царственный, драгоценный. Ни один товар не пользовался таким спросом, как пряности: казалось, аромат этих восточных цветов незримым волшебством околдовал души европейцев.

Но именно потому, что мода так настойчиво требовала индийских товаров, они были дороги и непрерывно дорожали. В наши дни почти невозможно точно проследить лихорадочный рост цен на эти товары, ибо все исторические таблицы денежных цен, как мы знаем по опыту, достаточно абстрактны. Наглядное представление о бешено взвинченных ценах на пряности лучше всего можно получить, вспомнив, что в начале второго тысячелетия нашей эры тот самый перец, что теперь стоит на столиках любого ресторана, перец, который сыплют небрежно, как песок, сосчитывался по зернышкам и расценивался едва ли не на вес серебра. Ценность его была столь устойчива, что многие города и государства расплачивались им, как благородным металлом; на перец можно было приобретать земельные участки, перцем выплачивать приданое, покупать за перец права гражданства. Многие государи и города исчисляли взимаемые ими пошлины на вес перца, а если в средние века хотели сказать, что кто-либо невероятно богат, его в насмешку обзывали «мешком перца». Имбирь, корицу, хинную корку и камфару взвешивали на ювелирных и аптекарских весах, наглухо закрывая при этом двери и окна, чтобы сквозняком не сдуло драгоценную пылинку. Как ни абсурдна на наш современный взгляд подобная расценка пряностей, она становится понятной, когда вспомнишь о трудности их доставки и сопряженном с нею риске. Бесконечно велико было в те времена расстояние между Востоком и Западом, и каких только опасностей и препятствий не приходилось преодолевать в пути кораблям, караванам и обозам, какая Одиссея выпадала на долю каждому зернышку, каждому лепестку, прежде чем они с зеленого куста Малайского архипелага попадали на свой последний причал — прилавок европейского торговца! Разумеется, само по себе ни одно из этих

растений не являлось редкостью. По ту сторону земного шара все они — коричные деревья на Тидоре, гвоздичные на Амбоине, мускатный орех на Банде, кустики перца на Малабарском побережье — растут в таком же изобилии и так же привольно, как у нас чертополох, и центнер пряностей на Малайских островах ценится не дороже, чем щепотка пряностей на Западе. Но в скольких руках должен пребывать товар, прежде чем он через моря и пустыни попадет к последнему покупателю — к потребителю! Первая пара рук, как обычно, оплачивается всех хуже: раб-малаец, который собирает только что созревшие плоды и в плетеной, навьюченной на смуглую спину корзине тащит их на рынок, не наживает ничего, кроме ссадин и пота. Но уже его хозяин получает известный барыш; купец-мусульманин покупает у него товар и на крохотном челноке, в палящий зной везет его с Молуккских островов восемь, десять, а то и больше дней до Малакки (близ нынешнего Сингапура). Здесь в сотканной им сети уже сидит первый паук-кровосос; хозяин гавани — могущественный султан — взимает с купца пошлину за перегрузку товара. Лишь после внесения пошлины купец получает право перегрузить душистую кладь на джонку покрупнее, и снова широкое весло или четырехугольный парус медленно движет суденышко вперед, вдоль берегов Индии. Так проходят месяцы: однообразное плавание, а в штиль — бесконечное ожидание под знойным, безоблачным небом. И затем снова стремительное бегство от тайфунов и корсаров. Бесконечно трудна и несказанно опасна эта перевозка товара по двум, даже по трем тропическим морям. В дороге из пяти судов одно почти всегда становится добычей бурь или пиратов, и купец возносит благодарственные молитвы, когда, благополучно миновав Камбай, наконец достигает Ормуза или Адена, где ему открывается доступ к Arabia felix<sup>1</sup> или к Египту. Но новый вид перевозки, начинающийся с этих мест, не менее труден, не менее опасен. Длинными покорными веренищами стоят в этих перевалочных гаванях тысячи верблюдов, послушно опускаются они на колени по первому знаку хозяина; один за другим на них навьючивают крепко увязанные, наби-

---

<sup>1</sup> Счастливой Аравии (лат.).

тые перцем и мускатным цветом тюки, и, мерно покачиваясь, «четвероногие корабли» начинают свой путь по песчаному морю. Долгие месяцы тянутся по пустыне арабские караваны с индийскими товарами — «тысяча и одна ночь» воскресает в этих названиях — через Бассру, и Багдад, и Дамаск в Бейрут и Трапезунд или через Джидду в Каир. Идут они через пустыню дальними, древними путями, хорошо известными купцам еще со времен фараонов и бактрийцев. Но, на беду, не хуже известны они и бедуинам — этим пиратам песчаных пустынь; дерзкий набег зачастую одним ударом уничтожает плоды трудов и усилий многих месяцев. То, чему посчастливилось спастись от песчаных смерчей и бедуинов, становится добычей других разбойников: с каждого верблюда, с каждого тюка геджасские эмиры, египетские и сирийские султаны взимают пошлину, и притом немалую. Ежегодный доход одного только египетского грабителя от пошлин, взимаемых за провоз пряностей, исчисляется сотнями тысяч дукатов. А когда наконец караван доходит до устья Нила, близ Александрии, там его уже поджидает последний, но отнюдь не самый скромный взиматель податей — венецианский флот. Со времени вероломного уничтожения торговой соперницы — Византии эта маленькая республика целиком захватила монополию торговли пряностями на Западе; вместо того, чтобы прямо отправляться к месту назначения, товар следует на Ринальто, где его с аукциона приобретают немецкие, фламандские и английские маклеры. И лишь тогда в повозках на широких колесах, по снегам и льдам альпийских ущелий, катят эти плоды, рожденные и возвращенные два года назад тропическим солнцем, к европейскому торговцу и тем самым к потребителю.

Не меньше чем через дюжину хищных рук, как меланхолически вписывает Мартин Бехайм в 1492 году в свой глобус, в знаменитое свое «Яблоко земное», должны пройти индийские пряности, прежде чем попасть в последние руки — к потребителю: «А также ведать надлежит, что специи, кои растут на островах индийских, на Востоке во множестве рук перебывают, прежде чем доходят до наших краев». Но хоть и дюжина рук делит наживу, каждая из них все же выжимает из индийских

пряностей довольно золотого сока; несмотря на весь риск и опасности, торговля пряностями слывет в средние века самой выгодной, ибо наименьший объем товара сочетается здесь с наивысшей прибылью. Пусть из пяти кораблей — экспедиция Магеллана доказывает правильность этого расчета — четыре пойдут ко дну вместе с грузом, пусть из двухсот шестидесяти пяти человек двести не возвратятся домой, пусть капитаны и матросы расстаются с жизнью, купец и тут не останется в накладе. Если по прошествии трех лет из пяти кораблей вернется лишь самый малый, но груженный одними пряностями, этот груз с лихвой возместит все убытки, ибо мешок перца в пятнадцатом веке ценится дороже человеческой жизни. Не удивительно, что при большом предложении не имевших никакой ценности жизней и бешеном спросе на высокоценные пряности расчет купцов всегда оказывается верным. Венецианские палаццо, дворцы Фуггеров и Вельзеров едва ли не целиком сооружены на прибыли от индийских пряностей.

Но как на железе неминуемо образуется ржавчина, так большим прибылям неизменно сопутствует едкая зависть. Любая привилегия всегда воспринимается другими как несправедливость, и там, где отдельная группа людей безмерно обогащается, сама собой возникает коалиция обделенных. Давно уже косятся генуэзцы, французы, испанцы на оборотистую Венецию, сумевшую отвести золотой Гольфстрим к Канале Гранде, и еще более злобно взирают они на Египет и Сирию, где ислам неодолимой цепью отгородил Индию от Европы: ни одному христианскому судну не разрешается плавание в Красном море, ни один купец-христианин не вправе пересечь его. Вся торговля с Индией неумолимо осуществляется через турецких и арабских купцов и посредников. Такое положение вещей не только бессмысленно удорожает товар для европейского потребителя, не только заведомо урезывает прибыль христианских купцов, — возникает новая опасность: весь избыток драгоценных металлов может отхлынуть на Восток, ибо стоимость европейских товаров значительно уступает стоимости индийских. Уже из-за одного этого весьма ощутительного убытка нетерпеливое желание западных стран освободиться от разорительного и унижающего их контроля станови-

лось все более настойчивым, и силы, наконец, объединились. Крестовые походы отнюдь не были (как это часто изображается романтизирующими историками) только мистически-религиозной попыткой отвоевать у неверных «гроб господень»; эта первая европейско-христианская коалиция являлась в то же время и первым продуманным и целеустремленным усилием разомкнуть цепь, преграждавшую доступ к Красному морю, снять для Европы, для христианского мира запрет торговли с восточными странами. Но так как эта попытка не удалась, поскольку Египет остался во власти мусульман и ислам по-прежнему преграждал дорогу в Индию, то, естественно, возникло желание сыскать другой свободный, независимый путь в эту страну. Отвага, побудившая Колумба двинуться на запад, Бартоломеу Диаша и Васко да Гаму — на юг, Кабота — на север, к Лабрадору, рождалась прежде всего из целенаправленного стремления наконец-то открыть для западного мира вольный, беспешинный, беспрепятственный путь в Индию и тем самым сломить позорное превосходство ислама. В истории важнейших изобретений и открытий окрыляющим началом всегда является духовное, нравственное побуждение, но толкают на претворение этих открытий в жизнь чаще всего мотивы материального порядка. Разумеется, уже одной своей дерзновенностью замыслы Колумба и Магеллана должны были воодушевить королей и их советников; но никогда эти проекты не были бы поддержаны деньгами, нужными для их осуществления, никогда монархи и спекулянты не снарядили бы флот для отважных конкистадоров, если бы эти экспедиции в неведомые страны не сулили в то же время тысячекратного возмещения затраченных средств. За героями этого века открытий в качестве движущей силы стояли купцы, и этот первый героический порыв завоевать мир был вызван весьма земными побуждениями. Вначале были приности.

В истории всегда чудесны те мгновения, когда гений отдельного человека вступает в союз с гением эпохи, когда один человек проникается творческим устремлением своего времени. Среди стран Европы была одна,



которой еще не удалось выполнить свою часть общеевропейской задачи,—Португалия, в долгой героической борьбе освободившаяся от владычества мавров. Но теперь, когда добытые оружием победа и самостоятельность закреплены, молодой, полный сил народ пребывает в вынужденном бездействии. Естественное стремление к экспансии, присущее каждому успешно развивающемуся народу, пока еще не находит выхода. Все сухопутные границы Португалии соприкасаются с Испанией, дружественным, братским королевством, следовательно, для маленькой бедной страны возможна только экспансия на море посредством торговли и колонизации. На беду, географическое положение Португалии по сравнению со всеми другими мореходными нациями Европы является — или кажется в те времена — наименее благоприятным. Ибо Атлантический океан, чьи несущиеся с запада волны разбиваются о португальское побережье, слыл, согласно географии Птолемея (единственного авторитета средних веков), беспредельной, недоступной для мореплавания водной пустыней. Столь же недоступным изображается в Птолемеевых описаниях Земли и южный путь — вдоль африканского побережья: невозможным считалось обогнуть морем эту песчаную пустыню, дикую, необитаемую страну, якобы простирающуюся до антарктического полюса и не отделенную ни единым проливом от terra australis<sup>1</sup>. По мнению старинных географов, из всех европейских стран, занимающихся мореплаванием, Португалия, не расположенная на берегу единственного судоходного моря — Средиземного, находилась в наиболее невыгодном положении.

И вот делом жизни одного португальского принца становится превратить это мнимо невозможное в возможное, отважно попытаться сделать, согласно евангельскому изречению, последних первыми. Что, если Птолемей, этот *geographus maximus*<sup>2</sup>, этот непогрешимый авторитет землеведения, ошибся? Что, если этот океан, могучие западные волны которого нередко выбрасывают на португальский берег обломки диковинных, неизвестных деревьев (а ведь где-нибудь они да росли), вовсе не

---

<sup>1</sup> Южной земли (лат.).

<sup>2</sup> Величайший географ (лат.).

бесконечен? Что, если он ведет к новым, неизвестным странам? Что, если Африка обитаема и по ту сторону тропиков? Что, если премудрый грек попросту заврался, утверждая, будто этот неисследованный материк нельзя обогнуть, будто через океан нет пути в индийские моря? Ведь тогда Португалия, лежащая западнее других стран Европы, стала бы подлинным трамплином всех открытий и через Португалию прошел бы ближайший путь в Индию. Тогда бы Португалия не была больше заперта океаном, а напротив, больше других стран Европы призвана к мореходству. Эта мечта сделать маленькую, бессильную Португалию великой морской державой и Атлантический океан, слывший доселе неодолимой преградой, превратить в водный путь стала *in puse*<sup>1</sup> делом всей жизни *iffante*<sup>2</sup> Энрике, заслуженно и в то же время незаслуженно именуемого в истории Генрихом Мореплавателем. Незаслуженно, ибо, если не считать непродолжительного морского похода в Сеуту, Энрике ни разу не ступал на корабль, не написал ни одной книги о мореходстве, ни одного навигационного трактата, не начертил ни единой карты. И все же история по праву присвоила ему это имя, ибо только мореплаванию и мореходам отдал этот португальский принц всю свою жизнь и все свои богатства. Уже в юные годы отличившийся при осаде Сеуты (1412), один из самых богатых людей в стране, этот сын португальского и племянник английского короля мог удовлетворить свое честолюбие, занимая самые блестящие должности; европейские дворы наперебой зовут его к себе. Англия предлагает ему пост главнокомандующего. Но этот странный мечтатель всему предпочитает плодотворное одиночество. Он удаляется на мыс Сагриш, некогда священный (*sacrum*) мыс древнего мира, и там в течение без малого пятидесяти лет подготавливает морскую экспедицию в Индию и тем самым — великое наступление на *Mare incognitum*<sup>3</sup>.

Что дало одинокому и дерзновенному мечтателю смелость наперекор величайшим космографическим авто-

<sup>1</sup> В зародыше (лат.).

<sup>2</sup> Инфант (титул португальских и испанских принцев) (португальск. и испанск.).

<sup>3</sup> Неизвестное море (лат.).

ритетам того времени, наперекор Птолемею и его продолжателям и последователям защищать утверждение, что Африка отнюдь не примерзший к полюсу материк, что обогнуть ее возможно и что там-то и пролегает искомый морской путь в Индию? Эта тайна вряд ли когда-нибудь будет раскрыта. Правда, в ту пору еще не заглохло (упоминаемое Геродотом и Страбоном) предание, будто в покрытые мраком дни фараонов финикийский флот, выйдя в Красное море, два года спустя, ко всеобщему изумлению, вернулся на родину через Геркуловы столбы (Гибралтарский пролив). Быть может, инфант слышал от работорговцев-мавров, что по ту сторону *Libya deserta*<sup>1</sup> — Западной Сахары — лежит «страна изобилия» — *bilat ghana*, и правда, на карту, составленную в 1150 году космографом-арабом для норманского короля Роджера II, под названием *bilat ghana* совершенно правильно нанесена нынешняя Гвинея. Итак, возможно, что Энрике, благодаря опытным разведчикам, лучше был осведомлен о подлинных очертаниях Африки, нежели ученые-географы, считавшие непреложной истиной лишь сочинения Птолемея и в конце концов объявившие пустым вымыслом описания Марко Поло и Ибн-Батуты. Но подлинно высокоморальное значение инфанта Энрике в том, что одновременно с величием цели он осознал и трудность ее достижения; благородное смирение заставило его понять, что сам он не увидит, как сбудется его мечта, ибо срок больший, чем человеческая жизнь, требуется для подготовки столь гигантского предприятия. Как было отважиться в те времена на плавание из Португалии в Индию без знания океана, без хорошо оснащенных кораблей? Ведь невообразимо примитивны были в эпоху, когда Энрике приступил к осуществлению своего замысла, познания европейцев в географии и мореходстве. В страшные столетия духовного мрака, наступившие вслед за падением Римской империи, люди средневековья почти полностью перезабыли все, что финикийцы, римляне, греки узнали во время своих смелых странствий; неправдоподобным вымыслом казалось в ту эпоху пространственного самоограничения, что некий Александр достиг границ Афганистана, про-

---

<sup>1</sup> Пустынной Ливии (лат.).

брался в самое сердце Индии; утеряны были превосходные карты и географические описания римлян, в запустение пришли их военные дороги, исчезли верстовые камни, отмечавшие пути в глубь Британии и Вифинии, не осталось следа от образцового римского систематизирования политических и географических сведений; люди разучились странствовать, страсть к открытиям угасла, в упадок пришло искусство кораблевождения. Не ведая далеких дерзновенных целей, без верных компасов, без правильных карт опасливо пробираются вдоль берегов, от гавани к гавани, утлые суденышки, в вечном страхе перед бурями и грозными пиратами. При таком упадке космографии, со столь жалкими кораблями еще не время было усмирять океаны, покорять заморские царства. Долгие годы самоотвержения потребуются на то, чтобы наверстать упущенное за столетия долгой спячки. И Энрике — в этом его величие — решил посвятить свою жизнь грядущему подвигу.

Лишь несколько полуразвалившихся стен сохранилось от замка, воздвигнутого на мысе Сагриш инфантом Энрике и впоследствии разграбленного и разрушенного неблагодарным наследником его познаний Фрэнсисом Дрейком. В наши дни сквозь пелену и туманы легенд почти невозможно с точностью установить, каким образом инфант Энрике разрабатывал свои планы завоевания мира Португалией. Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он повелел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц. Каждого моряка, каждого капитана, возвратившегося из плавания, он зазывал к себе и подробно расспрашивал. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций. Неустанно содействовал инфант Энрике развитию кораблестроения; за несколько лет прежние *barcas* — небольшие открытые рыбацьи лодки, команда которых состоит из восемнадцати человек, — превращаются в настоящее *paõs* — устойчивые корабли водоизмещением в восемьдесят, даже сто тонн, способные и в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и

возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является «мастер астрологии» — специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах, определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых довершатся в грядущем. Как Филипп Македонский оставил в наследство сыну Александру непобедимую фалангу для завоевания мира, так Энрике для завоевания океана оставляет своей Португалии наиболее совершенно оборудованные суда своего времени и превосходнейших моряков.

Но трагедия предтеч в том, что они умирают у порога обетованной земли, не увидев ее собственными глазами. Энрике не дожил ни до одного из великих открытий, обессмертивших его отечество в истории познания вселенной. Ко времени его кончины (1460) вовне, в географическом пространстве, еще не достигнуты хоть сколько-нибудь ощутимые успехи. Прославленное открытие Азорских островов и Мадейры было, в сущности, всего только нахождением их вновь (уже в 1351 году они были отмечены в Лаврентийской портулане). Продвигаясь вдоль западного берега Африки, корабли инфанта не достигли даже экватора; завязалась только малозначительная и не особенно похвальная торговля белой и по преимуществу «черной» слоновой костью — иными словами, на сенегальском побережье массами похищают негров, чтобы затем продать их на невольничьем рынке в Лисабоне, да еще находят кое-где немного золотого песка; этот жалкий, не слишком славный почин — вот все, что довелось увидеть Энрике из своего заветного дела. Но в действительности решающий успех уже достигнут. Ибо не в обширности пройденного пространства заключалась первая победа португальских мореходов, а в том, что было ими свершено в духовной сфере: в развитии предприимчивости, в уничтожении зловерного поверья. В течение многих веков моряки боязливо сообщали друг другу, будто за мысом «Нан» (что означает мыс «Дальше пути нет») судоходство невозможно. За ним сразу начинается «зеленое море мрака», и горе кораблю, который осмелится проникнуть в эти роковые воды. От сол-

нечного зноя в тех краях море кипит и клокочет. Обшивка корабля и парусá загораются; всякий христианин, дерзнувший проникнуть в это «царство сатаны», пустынное, как земля вокруг горловины вулкана, тотчас же превращается в негра. Такой непреодолимый ужас перед плаванием в южных морях породили эти рассказы, что папе, дабы хоть как-нибудь доставить инфанту моряков, пришлось обещать каждому участнику экспедиций полное отпущение грехов; только после этого удалось завербовать нескольких смельчаков, согласных отправиться в неведомые края. И как же ликовали португальцы, когда Жил Эанниш в 1434 году обогнул дотол сльвиший неодолимым мыс Нан и уже из Гвинеи сообщил, что достославный Птолемей оказался отменным врагом, «...ибо плыть под парусами здесь так же легко, как и у нас дома, а страна эта богата и всего в ней в изобилии». Теперь дело сдвинулось с мертвой точки; Португалии уже не приходится с великим трудом разыскивать моряков — со всех сторон являются искатели приключений, люди, готовые на все. С каждым новым, благополучно завершенным путешествием отвага мореходов растет, и вдруг налицо оказывается целое поколение молодых людей, превыше жизни ценящих приключения. «*Navigare necesse est, vivere non est necesse*»<sup>1</sup> — эта древняя матросская поговорка вновь обретает власть над человеческими душами. А когда новое поколение сплоченно и решительно приступает к делу, — мир меняет свой облик.

Поэтому смерть Энрике означала лишь последнюю краткую передышку перед решающим взлетом. Едва успел взойти на престол деятельный король Жуан II, как начался подъем, превзошедший всякие ожидания. Жалкий черепаший шаг сменяется стремительным бегом, львиными прыжками. Если вчера еще великим достижением считалось, что за двенадцать лет плавания были пройдены немногие мили до мыса Боядор и еще через двенадцать лет медленного продвижения суда стали благополучно доходить до Зеленого Мыса, то сегодня

---

<sup>1</sup> Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо (лат.).

скачок вперед в сто, в пятьсот миль уже не является необычайным. Быть может, только наше поколение, пережившее завоевание воздуха, и мы, тоже ликовавшие, когда аэроплан, поднявшись над Марсовым полем<sup>1</sup>, пролетал по воздуху три, пять, десять километров, а спустя десятилетие уже видевшие перелеты над материками и океанами,— мы одни способны в полной мере понять тот пылкий интерес, то бурное ликование, с которым вся Европа наблюдала за внезапным стремительным проникновением Португалии в неведомую даль. В 1471 году достигнут экватор, в 1484 году Дьогу Кам высаживается у самого устья Конго, и, наконец, в 1486 году сбывается пророческая мечта Энрике: португальский моряк Бартоломеу Диаш достигает южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды, который он поначалу, из-за встреченного там жестокого шторма, нарекает «Сабо Tormentoso»—«Мысом Бурь». Но хотя ураган в клочья рвет паруса и расщепляет мачту, отважный конкистадор смело продвигается вперед. Он уже достиг восточного побережья Африки, откуда мусульманские лоджманы с легкостью могли бы довести его до Индии, как вдруг взбунтовавшиеся матросы заявляют: на этот раз хватит. С разбитым сердцем вынужден Бартоломеу Диаш повернуть обратно, не по своей вине лишившись славы быть первым европейцем, проложившим морской путь в Индию; другой португалец, Васко да Гама, будет воспет за этот геройский подвиг в бессмертной поэме Камоэнса. Как всегда, зачинатель, трагический основоположник, забыт для более удачливого завершителя. И все же решающее дело сделано! Географические очертания Африки точно установлены; вопреки Птолемию впервые показано и доказано, что свободный путь в Индию существует. Через много лет после смерти своего наставника мечту Энрике осуществили его ученики и последователи.

С изумлением и завистью обращаются теперь взоры всего мира на это незаметное, забившееся в крайний угол Европы племя мореходов. Покуда великие державы — Франция, Германия, Италия — истребляли друг друга в бессмысленной резне, Португалия, эта золушка Ев-

---

<sup>1</sup> В Париже.

ропы, тысячекратно увеличила свои владения, и уже никакими усилиями не догнать ее безмерных успехов. Почти внезапно Португалия стала первой морской державой мира. Достижения ее моряков закрепили за ней не только новые области, но и целые материки. Еще одно десятилетие — и самая малая из всех европейских наций будет притязать на владычество и управление пространствами, превосходящими пространства Римской империи в период ее наибольшего могущества.

Разумеется, проведение в жизнь столь непомерных притязаний должно было очень быстро истощить силы Португалии. И ребенок сообразил бы, что крохотная, насчитывающая не более полутора миллионов жителей страна не сможет надолго удержать в руках всю Африку, Индию и Бразилию, колонизировать их, управлять ими или хотя бы даже только монополизировать торговлю этих стран, и менее всего сможет на вечные времена оградить их от посягательств других наций. Капле масла не успокоить бушующего моря; страна величиной с булавочную головку не может навсегда подчинить себе в сотни тысяч раз большие страны. Итак, с точки зрения разума, беспредельная экспансия Португалии — нелепость, опаснейшее донкихотство. Но героическое всегда иррационально и антирационально; когда отдельный человек или народ дерзает взять на себя задачу, превышающую его силы, силы эти возрастают до неслыханных размеров. Пожалуй, ни одной нации не доводилось так великолепно сосредоточить в одном мгновении и победоносном усилии свои силы, как это осуществила Португалия на исходе XV века. Не только собственного Александра и собственных аргонавтов в лице Албукерке, Васко да Гамы и Магеллана внезапно породила эта страна, но и собственного Гомера — Камонса, собственного Тита Ливия — Барруша. словно из-под земли появляются ученые, зодчие, предприимчивые купцы; подобно Греции при Перикле, Англии в царствование Елизаветы, Франции при Наполеоне, здесь целый народ осуществляет на всех поприщах свой сокровенный замысел и являет его как зримый подвиг взорам всего мира. В продолжение одного незабываемого часа всемирной истории Португалия была первой нацией Европы, предводительницей человечества.



Но каждое великое деяние отдельного народа совершается для всех народов. Все они чувствуют, что это первое вторжение в неизвестность в то же время опрокидывает общепринятые дотоле мерилы, понятия, представления о дальности, и вот при всех дворах, во всех университетах с лихорадочным нетерпением следят за новыми вестями из Лисабона. В силу какой-то чудесной прозорливости Европа постигает творческие возможности этого расширившего рамки мира великого подвига португальцев, постигает, что вскоре мореходство и открытия новых стран перестроят мир решительнее, чем все войны и осадные орудия, что долгая эпоха средневековья кончилась и начинается новая эра — «новое время», которое будет мыслить и созидать в иных пространственных масштабах. Флорентийский гуманист Полициано, представитель мирной научной мысли, в сознании величия этой исторической минуты поет хвалу Португалии, и в его вдохновенных словах звучит благодарность всей просвещенной Европы: «Не только шагнула она далеко за Столбы Геркулеса и укротила бушующий океан, — она восстановила нарушенное дотоле единство обитаемого мира. Какие новые возможности, какие экономические выгоды, какое возвышение знаний, какое подтверждение выводов античной науки, взятых под сомнение и отвергнутых, сулит это нам! Новые страны, новые моря, новые миры (*alii mundi*) встают из векового мрака. Отныне Португалия — хранитель, страж нового мира».

Ошеломляющее событие прерывает грандиозное продвижение Португалии на восток. Кажется, что «другой мир» уже достигнут, что королю Жуану обеспечены корона и все сокровища Индии, ибо после того как португальские моряки обогнули мыс Доброй Надежды, никто уже не может опередить Португалию и ни одна из европейских держав не смеет даже следовать за ней по этому закрепленному за нею пути. Еще Энрике Мореплаватель предусмотрительно выхлопотал у папы буллу, отдававшую все земли, моря и острова, которые будут открыты за мысом Боядор, в полную, исключительную собственность Португалии, и трое пап, сменившихся с того времени, подтвердили эту своеобразную «дарственную

запись», одним росчерком пера признавшую весь еще неведомый Восток с миллионами его обитателей законным владением династии Визеу. Итак, Португалии, и только Португалии, подчинены все новые миры. С такими неизблемыми гарантиями в руках люди обычно не обнаруживают большой склонности к рискованным предприятиям; поэтому вовсе не так недальновидно и странно, как это *a posteriori*<sup>1</sup> считает большинство историков, что *beatus possidens*<sup>2</sup> король Жуан II не проявил интереса к странному проекту неизвестного генуэзца, страстно требовавшего целого флота *para buscar el levante por el ponente*, чтобы с запада добраться до Индии. Правда, Христофора Колумба любезно выслушивают в Лисабонском дворце, наотрез ему не отказывают. Но там слишком хорошо помнят, что все экспедиции на якобы расположенные к западу между Европой и Индией легендарные острова Антилию и Бразиле кончались плачевными неудачами. Да и чего ради рисковать полновесными португальскими дукатами для поисков весьма сомнительного пути в Индию, когда после многолетних усилий верный путь уже найден и рабочие на корабельных верфях у берегов Тежу день и ночь трудятся над постройкой большого флота, который, обогнув Мыс Бурь, напрямиком пойдет к Индии?

Поэтому, как камень, брошенный в окно, ворвалось в Лисабонский дворец ошеломляющее известие, что хвастливый генуэзский авантюрист действительно пересек под испанским флагом *Oceano tenebroso*<sup>3</sup> и спустя каких-нибудь пять недель плавания в западном направлении наткнулся на землю. Чудо свершилось! Нежданно-негаданно сбылось мистическое пророчество из Сенековой «Медей», долгие годы волновавшее умы мореплавателей.

«...veniet annis saecula seris, quibus Oceanus vincula rerum laxet et ingens pateat tellus, Typhisque novos detegat orbes, nec sit terris Ultima Thula».

Поистине, «...наступят дни, чрез много веков океан разрешит оковы вещей, и огромная явится взорам земля, и новые Тифис откроет моря, и Фула не будет преде-

<sup>1</sup> Задним числом (лат.).

<sup>2</sup> Счастливый обладатель (лат.).

<sup>3</sup> Океан тьмы (итал.).

лом земли»<sup>1</sup>. Правда, Колумб, новый «кормчий аргонатов», и не подозревает, что он открыл новую часть света. До конца дней своих этот упрямый фантазер упорствует в убеждении, что он достиг материка Азии и, держа от своей «Эспаньолы» курс на запад, мог бы через несколько дней высадиться в устье Ганга. А этого-то как раз Португалия смертельно страшится. Чем поможет Португалии папская булла, отдающая ей все земли, открытые в восточном направлении, если Испания на более кратком западном пути в последнюю минуту обгонит ее и захватит Индию? Тогда плоды пятидесятилетних трудов Энрике, сорокалетних усилий его продолжателей превратятся в ничто. Индия будет потеряна для Португалии вследствие сумасбродно-смелого предприятия проклятого генуэзца. Если Португалия хочет сохранить свое господство, свое преимущественное право на Индию, ей остается только с оружием в руках выступить против внезапно объявившегося противника.

К счастью, папа устраняет грозящую опасность. Португалия и Испания — наиболее любимые и милые его сердцу чада, это единственные нации, чьи короли никогда не дерзали восставать против его духовного авторитета. Они воевали с маврами и изгнали неверных; огнем и мечом искореняют они в своих государствах всякую ересь; нигде папская инквизиция не находит столь ревностных пособников в преследовании мавров, маранов и евреев. Нет, папа не допустит вражды между любимыми чадами.

Поэтому он решает все еще не открытые страны мира попросту поделить между Испанией и Португалией, притом не в качестве «сфер влияния», как это говорится на лицемерном языке современной дипломатии, нет: папа, не мудрствуя лукаво, дарит своею властью наместника Христова обоим этим государствам все еще неизвестные народы, страны, острова и моря. Он берет шар земной и, как яблоко, только не ножом, а буллой от 4 мая 1493 года режет его пополам. Линия разреза начинается в ста левгах (старинная морская мера протяжения) от островов Зеленого Мыса.

<sup>1</sup> Сенекка, Трагедии, перевод С. Соловьева, «Academia», 1933, стр. 61.

Все еще не открытые страны, расположенные западнее этой линии, отныне будут принадлежать возлюбленному чаду — Испании; расположенные восточнее — возлюбленному чаду — Португалии. Сперва оба детища извеляют согласие и благодарят за щедрый подарок.

Но вскоре Португалия обнаруживает некоторое беспокойство и просит, чтобы линия раздела была еще немного передвинута на запад. Эта просьба уважена договором, заключенным 7 июня 1494 года в Тордесильяс, по которому линия раздела была перемещена на двести семьдесят левг к западу (в силу чего Португалии позднее достанется не открытая еще в ту пору Бразилия).

Какой бы смехотворной ни казалась на первый взгляд щедрость, с которой чуть ли не весь мир одним росчерком пера даровался двум нациям без учета всех остальных, все же это мирное разрешение конфликта следует рассматривать как один из редких в истории актов благоразумия, когда спор разрешается не вооруженной силой, а путем добровольного соглашения.

Заключенный в Тордесильяс договор на годы, на десятилетия предотвратил всякую возможность колониальной войны между Испанией и Португалией, хотя само решение вопроса было и осталось лишь временным. Ведь когда яблоко разрезают ножом, линия разреза должна проступить и на противоположной, незримой его части. Но в какой же половине находятся столь долго искомые острова драгоценных пряностей — к востоку от линии раздела или же к западу, на противоположном полушарии? В части, предоставленной Португалии, или в будущих владениях Испании? В данный момент ни папа, ни короли, ни ученые не могут ответить на этот вопрос, ибо никто еще не измерил окружности земли, а церковь и вовсе не соглашается признать ее шарообразность. Но до окончательного разрешения спора обоим нациям предстоит еще немало хлопот, чтобы управиться с гигантской подачкой, которую им кинула судьба: маленькой Испании — необъятную Америку, крохотной Португалии — всю Индию и Африку.

Неслыханная удача Колумба сначала вызывает в Европе беспредельное изумление, но затем начинается

такая лихорадка открытий и приключений, какой еще не ведал наш старый мир. Ведь успех одного отважного человека всегда побуждает к рвению и мужеству целое поколение. Все, что в Европе недовольно своим положением и слишком нетерпеливо, чтобы ждать, — младшие сыновья, обойденные офицеры, побочные дети знатных господ и темные личности, разыскиваемые правосудием, — все устремляется в Новый Свет. Правители, купцы, спекулянты напрягают всю свою энергию, чтобы побольше снарядить кораблей; приходится силой обороняться от авантюристов и любителей легкой наживы, с ножом в руках требующих скорейшей доставки их в страну золота. Если инфанту Энрике, чтобы залучить на корабль хоть минимальное число матросов, приходилось испрашивать у папы отпущение грехов для всех участников своих экспедиций, то теперь целые селения устремляются в гавани, капитаны и судовладельцы не знают, как спастись от наплыва желающих идти в матросы. Экспедиции непрерывно следуют одна за другой, и вот действительно, словно внезапно спала густая завеса тумана, повсюду — на севере, на юге, на востоке, на западе — возникают новые острова, новые страны: одни, скованные льдом, другие, заросшие пальмами. В течение двух-трех десятилетий несколько сотен маленьких кораблей, выходящих из Кадиса, Палоса, Лисабона, открывают больше неведомых земель, чем открыло человечество за сотни тысяч лет своего существования. Незабываемый, несравненный календарь той эпохи открытий. В 1498 году Васко да Гама, «служба господе и на пользу португальской короне», как с гордостью сообщает король Мануэл, достигает Индии и высаживается в Каликуте; в том же году капитан английской службы Кабот открывает Ньюфаундленд и тем самым — побережье Северной Америки. Еще год — и одновременно, но независимо друг от друга, Пинсон под испанским флагом, Кабрал под португальским открывают Бразилию (1499); в это же время Гаспар Кортереал, идя по стопам викингов, через пятьсот лет после них входит в Лабрадор. Открытие следует за открытием. В самом начале века две португальские экспедиции, одну из которых сопровождает Америго Веспуччи, спускаются вдоль берегов Южной Америки почти до Рио де Ла-Плата; в 1506 году пор-

тугальцы открывают Мадагаскар, в 1507 году — остров Маврикия, в 1509 году они достигают Малакки, а в 1511 году берут ее приступом; таким образом, ключ к Малайскому архипелагу оказывается в их руках. В 1512 году Понсе де Леон попадает во Флориду, в 1513 году с Дарьенских высот первому европейцу, Нуньесу де Бальбоа, открывается вид на Тихий океан. С этой минуты для человечества уже не существует неведомых морей. За сравнительно малый отрезок времени — одно столетие — пройденное европейскими кораблями пространство увеличилось не стократно, нет, тысячекратно! Если в 1418 году, во времена инфанта Энрике, весть о том, что первые *bagas* достигли Мадейры, вызвала восторженное изумление, то в 1518 году португальские суда — сопоставьте по карте эти расстояния — пристают в Кантоне и Японии; скоро путешествие в Индию будет считаться менее рискованным, чем еще недавно плавание до мыса Боядор. При столь стремительных темпах мир меняет свой облик от года к году, от месяца к месяцу. День и ночь сидят в Аугсбурге за работой гравировщики карт, и космографы не в силах справиться с огромным количеством заказов. У них вырывают из рук влажные, еще не раскрашенные оттиски. Печатники не успевают издавать для книжного рынка книги с описаниями путешествий и атласы — все жаждут сведений о *Mundus novus*<sup>1</sup>. Но едва только успеют космографы тщательно и точно, сообразуясь с последними данными, выгравировать карту мира, как уже поступают новые данные, новые сведения. Все опрокинуто, все надо начинать заново, ибо то, что считали островом, оказалось частью материка, то, что принимали за Индию, — новым континентом. Приходится наносить на карту новые реки, новые берега, новые горы. И что же? Не успеют граверы управиться с новой картой, как уже приходится составлять другую — исправленную, измененную, дополненную.

Никогда, ни до, ни после, не знали география, космография, картография таких бешеных, опьяняющих, победоносных темпов развития, как в эти пятьдесят лет, когда, впервые с тех пор, как люди живут, дышат и мыслят, были окончательно определены форма и объем Зем-

ли, когда человечество впервые познало круглую планету, на которой оно уже столько тысячелетий вращается во вселенной. И все эти беспримерные успехи достигнуты одним-единственным поколением: эти мореходы приняли на себя за всех последующих все опасности неведомых морей, эти конкистадоры проложили все пути, эти герои разрешили все — или почти все — задачи. Остается еще только один подвиг — последний, прекраснейший, труднейший: на одном и том же корабле обогнуть весь шар земной и тем самым, наперекор всем космологам и богословам прошедших времен, измерить и доказать шарообразность нашей Земли. Этот подвиг станет заветным помыслом и уделом Фернано де Магальяеша, в истории именуемого Магелланом.

# МАГЕЛЛАН В ИНДИИ

*Март 1505 г.— июнь 1512 г.*



**П**ервые португальские корабли, отплывшие из устья Тежу в неведомую даль, были предназначены только к открытию новых земель: последующие старались мирно завязывать торговлю со вновь открытыми странами. Третья флотилия уже снаряжена по-военному, и с этой даты, 25 марта 1505 года, прочно устанавливается тот трехтактный ритм, который будет господствовать на протяжении всей начавшейся отныне колониальной эпохи. Веками будет повторяться все тот же процесс: сперва основывается фактория, затем — якобы для защиты ее от нападений — воздвигается крепость. Сперва ведется мирная меновая торговля с туземными властителями, затем, как только налицо окажется достаточное количество солдат, у князьков попросту отнимают их владения, а следовательно, и все их добро. Не пройдет и десятка лет, как опьяненная первыми успехами Португалия забудет, что первоначальные ее



притязания сводились к скромному участию в торговле восточными пряностями: в удачливой игре благие намерения быстро исчезают. С того дня, как Васко да Гама высадился в Индии, Португалия немедленно принялась оттеснять от нее все другие народы. Ни с кем не считаясь, рассматривает она всю Африку, Индию и Бразилию исключительно как свою собственность. От Гибралтара до Сингапура и Китая не должен отныне плавать ни один чужеземный корабль; на половине земного шара никто, кроме подданных самой маленькой страны маленькой Европы, не смеет заниматься торговлей.

Потому столь величественное зрелище и являет собою 25 марта 1505 года, когда первый военный флот Португалии, которому предстоит завоевать эту новую, величайшую в мире империю, покидает Лисабонскую гавань, — зрелище, которое можно сравнить разве лишь с переправой Александра Великого через Геллеспонт.

Ведь и здесь задача столь же непомерна. Ведь и этот флот отправляется в плавание не за тем, чтобы подчинить Португалии какую-нибудь одну страну, один народ, а чтобы покорить целый мир. Двадцать кораблей стоят в гавани; с поднятыми парусами ждут они королевского приказа поднять якоря. И это уже не корабли времен Энрике, не открытые баркасы, а широкие, тяжелые галионы с надстройками на носу и на корме, мощные корабли с тремя, а то и четырьмя мачтами и многочисленной командой. Кроме нескольких сотен обученных военному делу матросов, на корабле находится не менее тысячи пятисот воинов в латах и полном вооружении, человек двести пушкарей, а сверх того еще плотники и всякого рода ремесленники, которые по прибытии в Индию немедленно начнут строить новые суда.

С первого взгляда должен уразуметь каждый, что перед столь гигантской эскадрой и задача поставлена гигантская — окончательное покорение Востока. Недаром адмиралу Франсишку д'Алмейде пожалован титул вице-короля Индии, недаром самый прославленный герой и мореплаватель Португалии, Васко да Гама, «адмирал индийских морей», самолично выбирал и испытывал снаряжение. Военный характер задачи Алмейды несомненен. Алмейде поручено сравнять с землей все мусульманские торговые города Индии и Африки, во всех опор-

ных пунктах воздвигнуть крепости и оставить там гарнизоны. Ему поручено — здесь впервые предвосхищается руководящая идея английской политики — утвердиться во всех исходных и транзитных пунктах, запереть все проливы от Гибралтара до Сингапура и тем самым пресечь торговлю других стран. Далее вице-королю предписано уничтожить морские силы египетского султана и индийских раджей и взять под такой строгий контроль все гавани, чтобы «с лета от рождения Христова тысяча пятьсот пятого» ни один корабль не португальского флага не мог перевезти и зернышка пряностей. С этой военной задачей тесно переплетается другая — идеологическая, религиозная; во всех завоеванных странах распространить христианство. Вот почему отплытие этого военного флота сопровождается таким же церемониалом, как выступление в крестовый поход. В соборе король вручает Франсишку д'Алмейде новое знамя из белого дамаста с вытканым на нем крестом господним, которому предстоит победно развеиваться над языческими и мусульманскими странами. Коленопреклоненно принимает его адмирал, и, также преклонив колени, все тысяча пятьсот воинов, исповедавшись и приняв причастие, присягают на верность своему властелину, королю португальскому, равно как и небесному владыке, чье царствие им надлежит утвердить в заморских странах. Торжественно, словно религиозная процессия, шествуют они через весь город к гавани; затем орудийные залпы гремят в знак прощания, и корабли величаво скользят вниз по течению Тежу в открытое море, которое их адмиралу надлежит — от края до края — подчинить Португалии.

Среди тысячи пятисот воинов, с поднятой рукой приносящих клятву верности у алтаря, преклоняет колена и двадцатичетырехлетний юноша, носитель безвестного доселе имени Фернан де Магельяеш. О его происхождении мы знаем только, что он родился около 1480 года. Место его рождения уже спорно. Указания позднейших хронистов на городок Саброуза, в провинции Траз-уж-Мондиш, опровергнуты новейшими исследованиями, признавшими завещание, из которого это сооб-

щение почерпнуто, подложным; наиболее вероятным в конце концов является предположение, что Магеллан родился в Опорто, и о семье его мы знаем только то, что она принадлежала к дворянству, правда, лишь к четвертому его разряду — *fidalgos de cota de armas*. Все же такое происхождение давало Магеллану право иметь наследственный герб и открывало ему доступ ко двору. Предполагают, что в ранней юности он был пажом королевы Элеоноры, из чего, однако, не явствует, что в эти годы, покрытые мраком неизвестности, его положение при дворе было хоть сколько-нибудь значительным. Ведь когда двадцатичетырехлетний идалго поступает во флот, он всего-навсего *sobresaliente* (сверхштатный), один из тысячи пятисот рядовых воинов, что живут, питаются, спят в кубрике вместе с матросами и юнгами, всего только один из тысяч «неизвестных солдат», отправляющихся на войну за покорение мира, в которой всегда там, где погибают тысячи, остается в живых лишь десяток-другой, и всегда только одного венчает бессмертная слава сообщая совершенного подвига.

Во время этого плавания Магеллан — один из тысячи пятисот рядовых, не более. Напрасно стали бы мы разыскивать его имя в летописях индийской войны, и с достоверностью обо всех этих годах можно только сказать, что для будущего великого мореплавателя они были незаменимой школой.

С безвестным *sobresaliente* особенно не церемонятся. Его посылают на любую работу: он должен зарифлять паруса во время бури и откачивать воду; сегодня его посылают на штурм города, завтра он под палящим солнцем роет песок на постройке крепости. Он таскает тюки товаров и охраняет фактории, сражается на воде и на суше; он обязан ловко орудовать лотом и мечом, уметь повиноваться и повелевать. Но, участвуя во всем, он во все постепенно начинает вникать и становится одновременно и воином, и моряком, и купцом, и знатоком людей, стран, морей, созвездий.

И наконец, судьба очень рано приобщает этого юношу к великим событиям, которые на десятки и сотни лет определяют мировое значение его родины и изменяют карту

Земли. Ибо после нескольких мелких стычек, напоминающих скорее разбойничьи налеты, чем честные бои, Магеллан получает подлинное боевое крещение в битве при Каннаноре (16 марта 1506 года).

Битва при Каннаноре является поворотным пунктом истории португальских завоеваний. Могущественный каликутский владыка заморин приветливо встретил Васко да Гаму после его первой высадки и выразил готовность вступить в торговые сношения с этим неведомым народом. Но вскоре он понял, что португальцы, через несколько лет явившиеся снова на больших и лучше вооруженных судах, явно стремятся к господству над всей Индией.

С ужасом видят индийские и мусульманские купцы, сколь прожорливая щука вторглась в их тихую заводь. Ведь эти чужеземцы одним ударом покорили все моря; ни один корабль не решается покинуть гавань из страха перед этими жестокими пиратами; торговля пряностями замирает. В Египет больше не отправляются караваны. Вплоть до венецианского Риальто чувствуется, что чья-то суровая рука перервала нить, соединяющую Восток и Запад.

Египетский султан, лишившийся дохода от торговых пошлин, пускает в ход угрозы. Он уведомляет папу, что, если португальцы не прекратят грабительского хозяйничанья в индийских водах, он будет вынужден в отместку разрушить гроб господень в Иерусалиме. Но ни папа, ни император, ни короли Европы не в силах обуздать захватнических вождельцев Португалии. Поэтому пострадавшим остается только объединиться для своевременного отпора португальцам, покуда те еще окончательно не утвердились в Индии. Наступление подготавливает каликутский владыка при тайной поддержке египетского султана, а, по-видимому, также и Венецианской республики, которая — ведь золото сильнее кровных уз — тайком посылает в Каликут оружейников и пушкарей. Готовится внезапный и сокрушительный удар по христианскому флоту.

Однако часто бывает, что присутствие духа и энергия какого-нибудь второстепенного лица на столетия определяет ход истории. Счастливая случайность спасает португальцев. В те времена по свету скитался от-

важный, равно привлекательный как своим мужеством, так и непосредственностью итальянский искатель приключений по имени Лодовико Вартема. Не страсть к наживе, не честолюбие влекут молодого итальянца в далекие края, но врожденная непреоборимая любовь к странствиям. Без ложного стыда этот бродяга по призванию заявляет, что «по малому своему в науках разумению и не будучи расположен сидеть над книгами» он решил попытаться «самолично и собственными своими глазами увидеть наиразличнейшие места на земле, ибо словам одного очевидца больше веры давать надлежит, нежели всем рассказням, понаслышке передаваемым».

Первым из неверных прокрадывается в запретный город Мекку отважный Вартема (его описание Каабы и поныне еще считается классическим) и затем, после многих приключений, добирается не только до Индии, Суматры и Борнео, где до него побывал уже Марко Поло, но первым из европейцев (и это сыграет немалую роль в подвиге Магеллана) и до заветных *Islas de la es-ресегіа*<sup>1</sup>. На обратном пути, в Каликуте, переодетый дервишем Вартема узнает от двух ренегатов-христиан о готовящемся нападении каликутского владыки. Из христианской солидарности он с опасностью для жизни пробирается к португальцам и, к счастью, еще вовремя, успевает предостеречь их. Когда 16 марта 1506 года двести каликутских кораблей намереваются врасплох напасть на одиннадцать кораблей португальцев<sup>2</sup>, те уже стоят в полной боевой готовности.

Это самый кровопролитный из всех боев, принятых вице-королем: восемьдесятю убитыми и двумя сотнями раненых (огромная цифра для первых колониальных войн) расплачиваются португальцы за свою победу, правда, победу, окончательно утвердившую за ними господство над всем побережьем Индии.

Среди двухсот раненых находится и Магеллан; как всегда в эти годы безвестности, его удел — получать только ранения, но не знаки отличия. Вскоре его вместе с другими ранеными переправляют в Африку; там его след теряется, ибо кому придет в голову день за

<sup>1</sup> Островов пряностей (исп.).

<sup>2</sup> Девять отбились от эскадры во время бури,

днем протоколировать жизнь простого *sobresaliente*? По-видимому, он некоторое время прожил в Софале, а затем, вероятно, в качестве сопровождающего транспорт пряностей, отбыл на родину. Возможно (в этом пункте хроники разноречивы), что летом 1507 года он возвратился в Лисабон на одном судне с Вартемой. Но дальние края уже завладели сердцем мореплавателя. Чуждой кажется ему Португалия, и весь его недолгий отпуск превращается в нетерпеливое ожидание следующей индийской эскадры, которая доставит Магеллана на его настоящую родину: в мир дерзновенных начинаний.

Перед этой новой эскадрой, в составе которой Магеллан возвращается в Индию, стоит особая задача. Достославный спутник Магеллана, Лодовико Вартема, несомненно, доложил при дворе о богатствах города Малакки и дал точные сведения о столь долго искомых «Островах пряностей», которые он, первый из европейцев и христиан, узрел *ipsis oculis*<sup>1</sup>. Его рассказы убеждают португальский двор, что покорение Индии останется незавершенным, а захват ее богатств неполным, доколе не будет завоевана сокровищница всех пряностей — *Islas de la especería*. Но для этого нужно сначала овладеть ключом, их замыкающим, забрать в свои руки Малаккский пролив и город Малакку (нынешний Сингапур, стратегическое значение которого не укрылось от англичан). Согласно испытанным лицемерным методам, португальцы, однако, не сразу посылают военную эскадру, а поначалу снаряжают четыре корабля под начальством Лопиша да Сикейры, которому поручено острожно подобраться к Малакке и в обличье мирного купца произвести разведку берега.

Небольшая флотилия без особых приключений достигает Индии в апреле 1509 года. Плавание в Каликут, каких-нибудь десять лет назад провозглашенное беспримерным подвигом Васко да Гамы и прославленное летописцами и поэтами, теперь под силу любому капитану португальского торгового флота. От Лисабона до Момбасы, от Момбасы до Индии известен каждый риф, каждая бухта. Уже нет нужды ни в лоцманах,

<sup>1</sup> Своими глазами (лат.).

ни в «мастерах астрономии». И только когда Сикейра, выйдя 19 августа из Кочинской гавани, берет курс на восток, португальские суда снова вступают в неизвестные воды.

После трехнедельного плавания, 11 сентября 1509 года, корабли португальцев впервые приближаются к Малаккской гавани. Уже издали убеждаются они, что добрый Вартема не соврал и не преувеличил, говоря, будто в этой гавани «больше кораблей бросает якорь, нежели в каком-либо ином месте мира». Парус к парусу теснятся на широком рейде большие и малые, белые и пестрые, малайские, китайские, сиамские лодки, ялики и джонки. Сингапурский пролив в силу своего географического положения — *ansea Chersonesus*<sup>1</sup> — не мог не стать важнейшей перевалочной гаванью Востока. Любой корабль, направляющийся с востока на запад, с севера на юг, из Индии в Китай или с Молуккских островов в Персию, должен пройти этот Гибралтар Востока. Обмен всевозможными товарами происходит в этом «складочном месте»: здесь — гвоздика с Молуккских островов и цейлонские рубины, китайский фарфор и сиамская слоновая кость, кашемир из Бенгалии и сандаловое дерево с Тимора, арабские клинки из Дамаска, малабарский перец и невольники с острова Борнео. Вавилонское столпотворение рас, племен, языков происходит на этом главном рынке Востока, где над путаницей деревянных лагуч мощно вздымаются ослепительно белые дворец и мечеть.

Изумленно глядят португальцы со своих кораблей на огромный город; эта сверкающая на ярком солнце драгоценность Востока, которая должна стать прекраснейшим из прекрасных украшений в индийской короне португальского владыки, возбуждает их алчность. Изумленный и обеспокоенный, в свою очередь, смотрит малаккский властитель из своего дворца и на грозные корабли чужеземцев. Так вот они, эти разбойники, не признающие обрезания! Теперь проклятое племя нашло дорогу и в Малакку! Давно уже на многие тысячи миль распространилась весть о сражениях и побоищах Алмейды и Албукерке. В Малакке знают, что эти страшные лузита-

---

<sup>1</sup> Золотой Херсонес (лат.).

не пересекают моря не для мирного торгова, подобно водителям сямских и японских джонок, но чтобы, коварно выждав момент, обосноваться здесь и все разграбить. Наиболее разумным было бы совсем не впускать эти четыре корабля в гавань; ведь когда грабитель уже вошел в дом — все пропало! Но у султана имеются надежные сведения о боевой мощи этих тяжелых пушек, чьи черные безмолвные жерла грозно глядят с укрепленных палубных надстроек португальских судов; он знает, что эти белые разбойники бьются, как дьяволы, против них немисливо устоять. Итак, лучше всего на ложь ответить ложью, на лицемерную приветливость — притворным радушием, на обман — обманом и первому броситься на противника, прежде чем тот успеет занести руку для смертоносного удара.

С неимоверной пышностью встречает поэтому малаккский султан посланцев Сикейры, с преувеличенной благодарностью принимает их дары. Португальцы — желанные гости, велит он сказать им, они могут торговать здесь сколько угодно. Через несколько дней он прикажет доставить им столько перцу и других пряностей, сколько они смогут погрузить на свои корабли. Он любезно приглашает капитанов на пиршество в свой дворец, и если это приглашение ввиду некоторых предостерегающих указаний и отклоняется, то моряки все же весело и свободно разгуливают по неведомому гостеприимному городу. Блаженство — снова ощущать под ногами твердую почву, развлекаться с податливыми женщинами и больше не спать вповалку в смрадном кубрике или в одной из грязных деревушек, где свиньи и куры ютятся рядом с голыми, звероподобными людьми. Весело болтая, сидят матросы в чайных домиках, бродят по рынкам, наслаждаются крепкими малайскими напитками и свежими фруктами; нигде, с тех пор как они покинули Лисабон, им не оказывали столь сердечного, радушного приема. Сотни малайцев на маленьких быстходных лодках снова и снова подвозят съестные припасы к португальским кораблям, с обезьяньей ловкостью карабкаются по снастям, дивятся чужеземным, невиданным предметам. Завязывается оживленный товарообмен, и команда с неудовольствием узнает, что султан уже заготовил обещанный товар и предложил Си-



кейре на следующее утро прислать к берегу все шлюпки, чтобы еще до захода солнца погрузить на суда немощное количество пряностей.

И действительно, Сикейра, обрадованный возможностью быстро доставить драгоценный груз, отправляет на берег все шлюпки с четырех больших кораблей и на них значительную часть команды. Сам он в качестве португальского дворянина считает ниже своего достоинства заниматься торговыми сделками; он остается на борту и играет в шахматы с одним из товарищей — самое разумное занятие на корабле в томительно жаркий день. На трех других больших судах тоже царит сонная тишина. Но некое странное обстоятельство обращает на себя внимание Гарсиа да Соузы, капитана пятого судна маленькой каравеллы, входящей в состав экспедиции: он видит, что все большее число малайских лодок шныряет вокруг почти обезлюдевших кораблей, что под предлогом доставки товаров на борт взбирается по вантам все больше и больше обнаженных малайцев.

Наконец у него возникает мысль: не готовит ли методичный султан предательское нападение одновременно с моря и с суши?

По счастью, на маленькой каравелле имеется одна не отправленная на берег лодка; Соуза приказывает самому надежному человеку из своей команды как можно скорей добраться до флагманского судна и предупредить капитана. Этот надежнейший из его команды не кто иной, как *sobresaliente* Магеллан. Быстрыми, сильными взмахами весел направляет он лодку и застает капитана Сикейру беспечно играющим в шахматы. Но Магеллану не нравится, что за спиной Сикейры с неизменным криком у пояса стоят несколько малайцев-зрителей. Шепотом предупреждает он Сикейру. Чтобы не возбуждать подозрений, тот с необычайным присутствием духа продолжает игру, но велит одному из матросов держать наблюдение с марса и в продолжение всей партии одной рукой держится за шпагу.

Предупреждение Магеллана поспело в последнюю, самую последнюю минуту. Спустя мгновение над дворцом султана взвивается столб дыма — условный знак для одновременного нападения с суши и с моря. К счастью, сидящий на марсе матрос успевает поднять

тревогу. Сикейра вскакивает и отшвыривает малайцев в сторону, прежде чем они успевают на него напасть. Горнисты трубят сбор, команда выстраивается на палубе. Пробравшихся на корабли малайцев сбрасывают за борт; теперь лодки с вооруженными малайцами напрасно несутся со всех сторон, чтобы взять на абордаж португальские корабли. Сикейра успел выбрать якоря, а мощные залпы его орудий обращают малайцев в бегство. Благодаря бдительности да Соузы и проворству Магеллана нападение на эскадру не удалось.

Хуже обстоит дело с несчастными, доверчиво отправившимися на берег. Горсть безоружных, рассеянных по всему городу людей — против тысяч коварных врагов. Большинство португальцев полегло на месте, лишь немногим удается добежать до берега. Но слишком поздно: завладев шлюпками, малайцы отрезали им путь на корабли. Один за другим падают португальцы под ударами превосходящего их численностью неприятеля. Только храбрейший из всех еще отбивается — это самый близкий, закадычный друг Магеллана, Франсишку Серрано. Вот он окружен, ранен, обречен на гибель. Но тут Магеллан еще с одним солдатом подоспел на своей лодчонке, бесстрашно рискуя жизнью для друга. Двумя-тремя мощными ударами он прокладывает себе путь к окруженному толпою врагов Серрано, увлекает его за собой в лодку и таким образом спасает ему жизнь.

Португальская эскадра при этом внезапном нападении потеряла все свои шлюпки и свыше трети команды, но Магеллан приобрел названного брата, чья дружба и преданность будут иметь решающее значение для его грядущего подвига.

При этом случае в еще неясном для нас облике Магеллана впервые вырисовывается одна характерная черта — мужественная решительность. Ничего патетического, ничего бросающегося в глаза нет в его натуре, и становится понятным, почему все летописцы индийской войны так долго обходили его молчанием: Магеллан из тех людей, кто всю жизнь остается в тени. Он не умеет ни обращать на себя внимание, ни привлекать к себе

симпатии. Только когда на него возложена важная задача, и еще в большей степени, когда он сам ее возлагает на себя, этот сдержанный и замкнутый человек являет изумительное сочетание ума и мужества. Но, совершив славное дело, он потом не умеет ни использовать его, ни похвалиться им; спокойно и терпеливо он снова удаляется в тень. Он умеет молчать, он умеет ждать, словно чувствуя, что судьба, прежде чем допустить его к предназначенному подвигу, еще долго будет учить его и испытывать. Вскоре после того как при Кананоре он пережил одну из величайших побед португальского флота и при Малакке одно из тяжчайших его поражений, на его суровом пути моряка встретилось новое испытание — кораблекрушение.

В ту пору Магеллан сопровождал один из регулярно отправляемых с попутным муссоном транспортов пряностей, как вдруг каравелла наскочила на так называемую Падуанскую банку. Человеческих жертв нет, но корабль разбился в щепы о коралловый риф, и так как разместить всю команду по шлюпкам невозможно, то часть потерпевших крушение должна остаться без помощи. Разумеется, капитан, офицеры и дворяне требуют, чтобы в первую очередь в шлюпки забрали их, и это несправедливое требование вызывает гнев *gumeses* — простых матросов. Уже готова вспыхнуть опасная распря, но тут Магеллан, единственный из дворянского сословия, заявляет, что готов остаться с матросами, если *capitanes* у *fidalgos*<sup>1</sup> своею честью поручатся по прибытии на берег немедленно выслать за ними корабль.

По-видимому, этот мужественный поступок впервые привлек к «неизвестному солдату» внимание высшего начальства. Ибо, когда спустя немного времени, в октябре 1510 года, Албукерке, новый вице-король, спрашивает *capitanes del Rey* — королевских капитанов, — как, по их мнению, следует провести осаду Гоа, то среди высказавшихся упоминается и Магеллан. Из этого можно заключить, что после пятилетней службы *sobresaliente* простой солдат и матрос возведен наконец в офицерский чин и уже в качестве офицера отправляется в пла-

---

<sup>1</sup> Капитаны и дворяне (португальск.).

вание с эскадрой Албукерке, которой предстоит отомстить за позорное поражение Сикейры под Малаккой.

Итак, через два года Магеллан снова держит путь на далекий восток, к аугеа *Sersonesus*. Десять кораблей — отборная военная флотилия — в июле 1511 года грозно выстраиваются у входа в Малаккскую гавань и вступают в ожесточенный бой с вероломным гостеприимцем. Проходит шесть недель, покуда Албукерке удается сломить сопротивление султана. Зато теперь в руки грабителей попадает добыча, какая еще не доставалась им даже в благодатной Индии. С завоеванием Малакки Португалия зажала в кулак весь восточный мир. Наконец-то удалось перерезать главную артерию мусульманской торговли! Через несколько недель она уже вконец обескровлена. Все моря от Гибралтара — Столбов Геркулеса — до аугеа *Sersonesus* — Сингапурского пролива — стали единым португальским океаном. Далеко, вплоть до Китая и Японии, будя ликующий отзвук в Европе, несутся громовые раскаты этого удара — самого сокрушительного из всех, когда-либо нанесенных исламу.

Перед несметной толпой верующих папа служит благодарственный молебен за великий подвиг португальцев, отдавших половину земного шара во власть христианства, и в *Carut mundi*<sup>1</sup> происходит торжество, не виданное Римом со времен цезарей. Посольство, возглавляемое Тристаном да Кунья, подносит папе добычу, вывезенную из покоренной Индии, — лошадей в униженной драгоценностями сбруе, леопардов и пантер. Но главное внимание и изумление вызывает живой слон, доставленный португальскими кораблями, который при неопишемом ликовании толпы трижды преклоняет колени перед святым отцом.

Но даже этот триумф не может утолить ненасытное стремление португальцев к экспансии. Никогда в истории победитель не довольствовался одной великой победой: Малакка ведь только ключ к сокровищнице *esresesia*; теперь, когда он у них в руках, португальцы хотят добраться и до самой сокровищницы — захватить сказочно богатые «Острова пряностей» Зондского архи-

---

<sup>1</sup> Столица мира (лат.).

пелага: Амбоину, Банду, Тернате и Тидор. Снаряжаются три корабля под начальством Антонио д'Абреу. Среди участников этой экспедиции на тогдашний «Дальний Восток» летописцы называют и имя Магеллана. В действительности же индийская пора Магеллана тогда уже кончилась. «Достаточно,— говорит ему судьба.— Достаточно ты всего насмотрелся на Востоке, достаточно испытал! Пора идти новыми, собственными путями».

Но именно эти-то легендарные «Острова пряностей», отныне на всю жизнь приворожившие его мечты, ему никогда не дано будет увидеть *por vista de ojos*, воочию. Ему не суждено ступить на эти райские земли. Только мечтой, творческой мечтой останутся они для него. Но благодаря дружбе с Франсишку Серрано эти никогда в глаза не виданные им острова кажутся ему хорошо знакомыми, и странная робинзонада друга вдохновляет его на самое великое, самое дерзновенное начинание того времени.

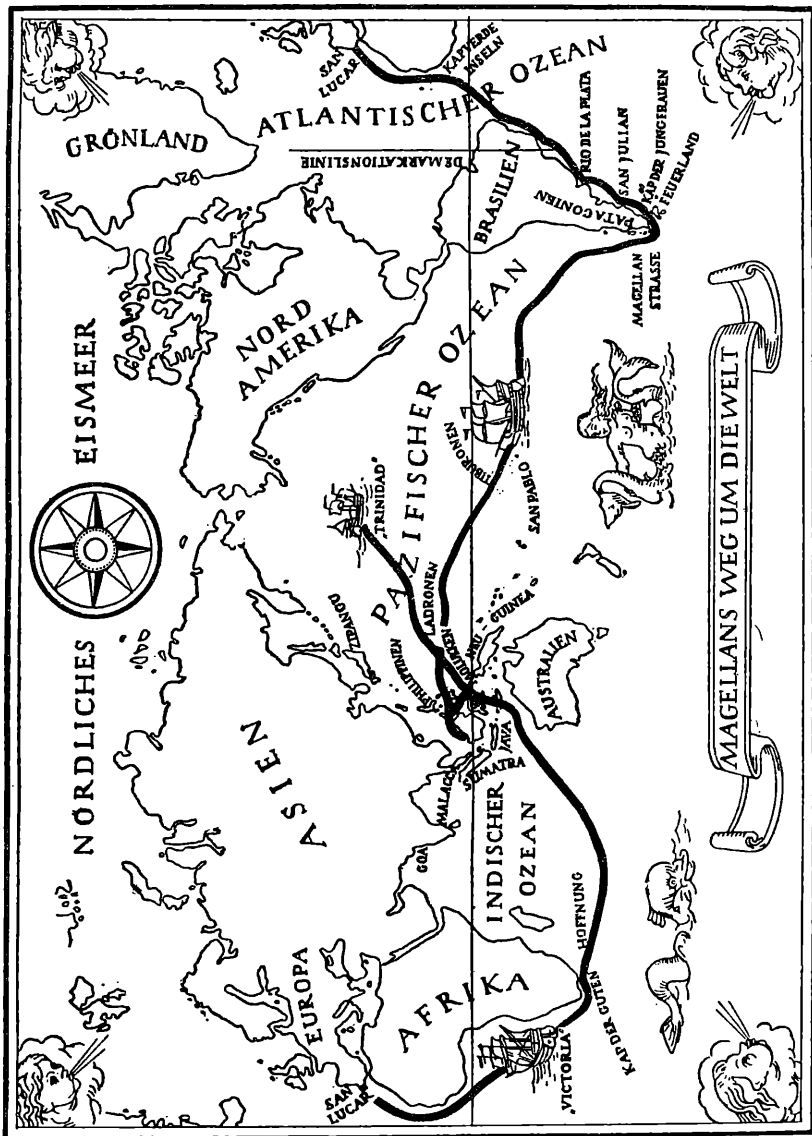
Удивительное приключение Франсишку Серрано, впоследствии столь решительно толкнувшее Магеллана на его кругосветное плавание,— отрадный, умиротворяющий эпизод в кровавой летописи португальских битв и побоищ. Среди всех прославленных капитанов образ этого незнаменитого человека вызывает особый интерес. Распрощавшись в Малакке с отбывающим на родину названным своим братом Магелланом, Франсишку Серрано вместе с капитанами двух других кораблей направляется к легендарным «Островам пряностей». Без особых трудностей и невзгод доходят они до покрытых зеленью берегов острова и неожиданно встречают там радужный прием. Ибо до этих отдаленных краев не добрались ни мусульманская культура, ни воинственность нравов. В первобытном состоянии, голые и миролюбивые, живут здесь туземцы; они еще не знают денег, еще не гонятся за наживой. За несколько погрешек и браслетов простодушные островитяне тащат целые вороха гвоздики, и, так как уже на двух первых островах, Банде и Амбоине, португальцы до отказа нагружают свои суда, адмирал д'Абреу решает, не заходя на другие, поскорее возвратиться с драгоценным грузом в Малакку.

Может быть, алчность слишком тяжело нагроузила суда, во всяком случае, один из кораблей, именно тот, которым командует Франсишку Серрано, наскочил на риф и разбился. Ничего, кроме жизни, не удастся спасти пострадавшим. Уныло бродят они по незнакомому берегу, уже предвидя плачевную гибель, но Франсишку Серрано удастся хитростью завладеть пиратской лодкой, на которой он и отправляется обратно в Амбоину. С не меньшим радушием, чем при их первом, помпезном появлении, встречает португальцев туземный царек и великодушно предлагает им пристанище (*fueron recibidos у hospedados con amor, veneración у magnificencia*<sup>1</sup>) так, что они едва могут прийти в себя от счастья и благодарности. Разумеется, воинским долгом капитана Франсишку Серрано было бы, как только команда немного отдохнет и оправится, без промедления возвратиться на одной из многочисленных джонок, постоянно шныряющих между Амбоиной и Малаккой, к своему адмиралу и снова стать на службу португальского короля, с которым он связан жалованьем и присягой.

Но райская природа и теплый, благодатный климат заметно ослабляют в Франсишку Серрано чувство военной дисциплины. Ему вдруг становится совершенно безразлично, что где-то там, за много тысяч миль, в Лисабонском дворце, какой-то король, гневаясь или брюзжа, вычеркнет его из списка своих капитанов или пенсионеров. Он знает, что достаточно сделал для Португалии, достаточно часто рисковал для нее своей шкурой. Теперь Франсишку Серрано хочет наконец пожить в свое удовольствие, так же приятно и безмятежно, как все прочие, не знающие ни одежды, ни забот обитатели этих благословенных островов. Пусть другие матросы и капитаны и впредь бороздят моря, своим потом и кровью добывая пряности для чужеземных маклеров, пусть эти верноподданные глупцы и впредь надсаживаются в боях и странствиях, для того чтобы в Лисабонскую таможню поступало больше пошлин,— лично он, Франсишку Серрано, *ci-devant*<sup>2</sup> капитан португальского флота, по горло сыт войной и приключениями и всей этой возней

<sup>1</sup> Были встречены и приняты с любовью, почтением и величием (*исп.*).

<sup>2</sup> Бывший (*франц.*).



GRÖNLAND

ATLANTISCHER OZEAN

EISMEER

NORD AMERIKA

BRASILIEN

PAZIFISCHER OZEAN

NÖRDLICHES

ASIEN

INDISSCHER OZEAN

AUSTRALIEN

AFRIKA

EUROPA

MAGELLANS WEG UM DIE WELT

SAN LUCAR

KATYEBE ANGELA

RIO DE LA PLATA

SAN JULIAN

SAN PEDRO DER JONGFRAUEN

FEUERLAND

MAGELLAN STRASSE

TRINIDAD

TIBERONEN

SAN PABLO

ORO

TIERRA DEL FUEGO

GUINEA

NEULAND

GUINEA

AUSTRALIEN

NEULAND

GUINEA

AUSTRALIEN

NEULAND

GUINEA

AUSTRALIEN

NEULAND

GUINEA

AUSTRALIEN

NEULAND

GUINEA

AUSTRALIEN

с пряностями. Бравый капитан без особой шумихи переходит из мира героики в мир идиллии и решает отныне жить первобытной, блаженно-ленивой жизнью приветливых туземцев. Высокое звание великого визиря, которым его милостиво удостоил король Тернате, не сопряжено с обременительной работой; только однажды, во время небольшого столкновения с соседями, он фигурирует в качестве военного советника своего повелителя. Зато в награду ему дается дом с невольниками и слугами, да к тому же хорошенькая темнокожая жена, с которой он приживает двух или трех смуглых детей.

Годы и годы Франсишку Серрано, этот второй Одиссей, забывший свою Итаку, пребывает в объятиях темнокожей Калипсо, и никакому демону честолюбия не удастся изгнать его из этого рая *dolce far niente*<sup>1</sup>. В продолжение девяти лет, до самой своей смерти, сей добровольный Робинзон, первый беглец от цивилизации, уже не покидал Зондских островов. Отнюдь не самый доблестный из всех конкистадоров и капитанов славной эпохи португальской истории, он был, по всей вероятности, самым из них благоразумным и к тому же самым счастливым.

Романтическое бегство Франсишку Серрано на первый взгляд не имеет отношения к жизни и подвигу Магеллана. На самом же деле именно это эпикурейское отречение малозаметного и безвестного капитана решительным образом повлияло на дальнейший жизненный путь Магеллана, а тем самым и на историю открытия новых стран. Разъединенные огромным пространством, оба друга находятся в постоянном общении. Каждый раз, когда предстается оказия переслать со своего острова известие в Малакку, а оттуда в Португалию, Серрано пишет Магеллану подробные письма, восторженно славословящие богатства и прелести его новой родины. Буквально они гласят следующее: «Я нашел здесь новый мир, обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой». Опутанный чарами тропиков, он настойчиво призывает друга оставить наконец неблагоприятную Европу и малодоходную службу и скорей последовать его примеру. Вряд ли можно сомневаться, что именно Франсишку

---

<sup>1</sup> Блаженного безделья (итал.).



Серрано первый подал Магеллану мысль: не будет ли разумнее, ввиду расположения этих островов на крайнем востоке, направиться к ним по пути Колумба (то есть с запада), нежели по пути Васко да Гамы (с востока)?

На чем порешили два названных брата, мы не знаем. Во всяком случае, у них, по-видимому, возник какой-то определенный план: после смерти Серрано среди его бумаг нашлось письмо Магеллана, в котором он тайно обещает другу в скором времени прибыть в Тернате, к тому же «если не через Португалию, то иным путем». Найти этот новый путь и стало заветным помыслом Магеллана.

Этот всепоглощающий замысел, несколько рубцов на загорелом теле да еще купленный им в Малакке раб малаец — вот все или почти все, что Магеллан после семи лет боевой службы в Индии привозит на родину.

Очень своеобразное, может быть, даже неприятное удивление должен был испытать утомленный битвами солдат по возвращении в отечество в 1512 году, увидев совсем иной Лисабон, совсем иную Португалию, чем семь лет назад.

Изумление овладевает им с той самой минуты, как корабль входит в Белемскую гавань.

На месте старинной низенькой церковки, где в свое время был отслужен напутственный молебен Васко да Гамой, высится наконец-то достроенный огромный, великолепный собор — первое зримое выражение несметных богатств, доставшихся его отечеству благодаря индийским пряностям.

Куда ни глянь — везде перемены.

На реке, где прежде лишь изредка встречались суда, теперь теснится парус к парусу, на прибрежных верфях рабочие трудятся не покладая рук, чтобы поскорее выстроить новые, еще более мощные эскадры. Гавань пестро расцвечена вымпелами португальских и иностранных кораблей; набережная завалена товарами, склады набиты до отказа. Тысячи людей торопливо снуют по шумным улицам среди роскошных, недавно возведенных дворцов; в факториях, у лавок менял и в маклерских конторах царит вавилонское смешение языков: бла-

годаря ограблению Индии Лисабон за десять лет из небольшого городка стал мировым центром, городом роскоши. Знатные дамы в открытых колясках выставляют напоказ индийские жемчуга, огромные толпы раздетых придворных кишат во дворце. И моряку, возвратившемуся на родину, становится ясно: кровь, пролитая в Индии им и его товарищами, посредством какой-то таинственной химии превратилась здесь в золото. В то время когда они под беспощадным солнцем юга сражались, страдали, терпели тяжкие лишения, истекали кровью, Лисабон благодаря их подвигам унаследовал могущество Александрии и Венеции, король Мануэл «el fortunado»<sup>1</sup> стал богатейшим монархом Европы.

Все изменилось на родине.

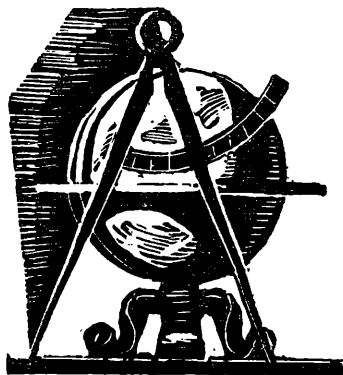
Теперь в Старом Свете живут богаче, роскошнее, больше наслаждаются жизнью, беспечнее тратят деньги — словно завоеванные пряности и нажитое на них золото окрылили людей. Только он один вернулся тем же, кем был, — «неизвестным солдатом». Никто его не ждет, никто не благодарит, никто не приветствует. Как на чужбину, возвращается в свое отечество португальский солдат Фернандо де Магельяеш после проведенных в Индии семи лет.

---

<sup>1</sup> Счастливый (исп.).

# МАГЕЛЛАН ОБРЕТАЕТ СВОБОДУ

*Июнь 1512 г.— октябрь 1517 г.*



**Г**ероические эпохи никогда не были и не бывают сентиментальны, и неописуемо ничтожна признательность, которую властители Испании и Португалии выказали отважным конкистадорам, завоевавшим для них целые миры. Колумб в оковах возвращается в Севилью, Кортес попадает в опалу, Писарро умерщвлен. Нуньес де Бальбоа, открывший Тихий океан, обезглавлен, Камоэнс, поэт и воин Португалии, подобно своему великому собрату Сервантесу, оклеветанный жалкими провинциальными чиновниками, месяцы и годы проводит в тюрьме, немногим отличающейся от выгребной ямы. Чудовищна неблагодарность эпохи великих открытий: нищими и калеками, завшивевшими, бесприютными, дрожащими от лихорадки, бродят по портовым переулкам Кадиса и Севильи те самые солдаты и матросы, которые завоевали для испанских королей сокровищницы инков и драгоценности Монтезумы. Как шелудивых псов, бесславно зарывают в родную землю тех немногих, кого

смерть пощадила в колониях, ибо что значат подвиги этих безыменных героев для придворных льстецов, никогда не покидавших надежных стен дворца, где они ловкими руками загребают богатства, завоеванные теми в бою? Эти придворные трутни становятся *adelantados*<sup>1</sup> — губернаторами новых провинций; они мешками гребут золото и, как наглых выскочек, оттесняют от казенной кормушки колониальных бойцов, тогдашних боевых офицеров, которые после долгих лет самоотверженной, изнурительной службы имели глупость возвратиться на родину. То, что Магеллан участвовал в битвах при Каннаноре, при Малакке и что он десятки раз ставил на карту свою жизнь и здоровье ради чести Португалии, по возвращении не дает ему ни малейшего права на достойное занятие или обеспечение. Лишь случайному обстоятельству — тому, что он уже ранее числился в штате короля (*сгiасао del Rey*), обязан Магеллан включением его в список лиц, получающих от короля содержание или, вернее, милостыню, притом сначала, как *тозо fidalgo*<sup>2</sup>, он числится в самой последней категории, удостоиваемой подачи в тысячу рейс ежемесячно. Только через месяц, да и то, должно быть, после долгих препирательств, он подымается на одну ступень выше и в качестве *fidalgo escudeiro*<sup>3</sup> получает тысячу восемьсот пятьдесят рейс (или же, по другим сведениям, в качестве *cavalleiro fidalgo*<sup>4</sup> — тысячу двести пятьдесят рейс). Во всяком случае, какое бы из этих званий ему ни было присвоено, значения оно не имеет. Ни один из этих пышных титулов не дает Магеллану иных прав, не возлагает на него иных обязанностей, кроме как слоняться без дела в королевских прихожих. Но человек чести и долга не станет долго мириться с нищенской платой даже за ничегонеделание. Не удивительно поэтому, что Магеллан воспользуется первым — правда, не слишком благоприятным — случаем, чтобы вернуться на военную службу и снова выказать свою доблесть.

Почти целый год пришлось ждать Магеллану.

---

<sup>1</sup> Титул губернатора — наместника в заморских владениях Испании и Португалии (*исп.*).

<sup>2</sup> Простой дворянин (*португальск.*).

<sup>3</sup> Оруженосец (*португальск.*).

<sup>4</sup> Дворянин-рыцарь (*португальск.*).

Но едва только летом 1513 года король Мануэл приступает к снаряжению большой военной экспедиции против Марокко, чтобы наконец нанести мавританским пиратам сокрушительный удар, как испытанный боец индийского похода уже предлагает свои услуги — решение, объяснимое только тем, что его тяготит вынужденное бездействие. Ибо в сухопутной войне Магеллан, почти всегда служивший во флоте и за эти семь лет сделавшийся одним из самых опытных моряков своего времени, не сможет в полной мере проявить свои дарования. И вот в большой армии, отправляемой в Азамор, он снова не более как младший офицер, без чина и самостоятельного поста. И опять, как некогда в Индии, его имя не фигурирует в донесениях, но зато он сам, так же как в Индии, всегда впереди на самых опасных участках. И опять Магеллан — уже в третий раз — ранен в рукопашной схватке. Удар копьем в коленный сустав поражает нерв, левая нога перестает сгибаться, и Магеллан на всю жизнь остается хромым.

Для фронтовой службы хромоногий воин, не способный ни быстро ходить, ни ездить верхом, уже не пригоден. Теперь Магеллан мог бы покинуть Африку и на правах раненого требовать повышения оклада. Но он упорно желает остаться в армии, на войне, среди опасностей — в подлинной своей стихии. Тогда Магеллану и еще одному раненому предлагают в качестве конвоирующих офицеров *quadrileiros das presos* сопроводить отбитую у мавров огромную добычу — лошадей и скот. Тут происходит событие довольно темного свойства. Однажды ночью из несметных стад исчезает несколько десятков овец, и тотчас же распространяется злонамеренный слух, будто Магеллан и его товарищи тайком продали маврам часть отнятой у них добычи или же по небрежности дали врагу возможность ночью похитить скот из загонов. Станным образом это гнусное обвинение в бесчестном поступке, нанесшем ущерб государству, в точности совпадает с обвинением, которым несколько десятилетий спустя португальские колониальные чиновники очернят и унижат другого столь же знаменитого португальца — поэта Камоэнса. Оба эти человека, за годы службы в Индии имевшие сотни раз случай обогатиться, но вернувшиеся из этого Эльдorado на

родину нищими, были запятнаны одним и тем же позорным обвинением.

Но, к счастью, Магеллан был тверже, чем кроткий Камоэнс. Он не собирается давать показания этим жалким сутягам и позволять им месяцами таскать его по тюрьмам, подобно Камоэнсу. Он не подставляет малодушно, как творец «Лузиад», свою спину ударам врага. Едва клеветнический слух начинает распространяться, он, прежде чем кто-либо осмелился открыто предъявить ему обвинение, оставляет армию и возвращается в Португалию требовать удовлетворения.

Магеллан не чувствовал за собой ни малейшей вины в этом темном деле; это явствует из того, что, прибыв в Лисабон, он немедленно ходатайствует об аудиенции у короля, но отнюдь не за тем, чтобы обелить себя, а, напротив, чтобы в сознании своих заслуг наконец потребовать более достойной должности и лучшей оплаты. Ведь он снова потерял два года, снова получил в бою рану, сделавшую его почти что калекой. Но ему не повезло: король Мануэл даже не дает настойчивому кредитору предъявить свой счет. Извещенный командованием африканской армии о том, что строптивый капитан самовольно, не испросив отпуска, покинул марокканскую армию, король обращается с заслуженным раненым офицером так, словно перед ним обыкновенный дезертир. Не дав ему вымолвить ни слова, король коротко и резко приказывает Магеллану тотчас вернуться в Африку, к месту нахождения своей части, и немедленно отдать себя в распоряжение высшего начальства. Во имя дисциплины Магеллан вынужден повиноваться. С первым же кораблем он возвращается в Азамор. Там, разумеется, и речи нет о расследовании, никто не осмеливается чернить заслуженного бойца, и Магеллан, получив от своих начальников удостоверение в том, что он уходит из армии с незапятнанной честью, и запасшись всевозможными документами, свидетельствующими о его невиновности и заслугах, вторично возвращается в Лисабон — можно представить себе, с каким горьким чувством. Вместо знаков отличия на его долю выпадают ложные обвинения, вместо наград — одни только

рубцы... Он долго молчал, скромно держась в тени. Но теперь, к тридцати пяти годам, он устал выпрашивать как милостыню то, что ему причитается по праву.

Благоразумие должно было подсказать Магеллану, что при столь щекотливых обстоятельствах не следует являться к королю Мануэлу немедленно по приезде и снова досаждать ему теми же требованиями. Конечно, разумнее было бы, некоторое время не напоминая о себе, завести друзей и знакомых в придворных кругах и, достаточно осмотревшись, втереться в доверие. Но вкрадчивость и пронируемость не в характере Магеллана. Как ни мало мы о нем знаем, одно остается бесспорным: этот низкорослый, смуглый, ничем не обращающий на себя внимания молчаливый человек даже в самой малой степени не обладал даром привлекать к себе симпатии. Король — неизвестно почему — всю жизнь питал к нему неприязнь (*sempre teve hum entejo*), и даже верный его спутник Пигафетта должен признать, что офицеры просто ненавидели Магеллана (*li capitani sui lo odiavano*). От Магеллана, так же как это говорила Рахиль Варнхаген о Клейсте, «вевало суровостью». Он не умел улыбаться, расточать любезности, угождать, не умел искусно защищать свои мнения и взгляды. Неразговорчивый, замкнутый, всегда окутанный пеленой одиночества, этот нелюдим, должно быть, распространял вокруг себя атмосферу ледяного холода, стеснения и недоверия, и мало кому удалось узнать его даже поверхностно; во внутреннюю же его сущность так никто и не проник. В молчаливом упорстве, с которым он оставался в тени, его товарищи бессознательно чужали какое-то необычное, непонятное честолюбие, тревожившее их сильнее, чем честолюбие откровенных охотников за выгодными местами, ожесточенно и бесстыдно теснившихся у казенной кормушки. В его глубоких, маленьких, сверлящих глазах, в углах его густо заросшего рта всегда витала какая-то надежно спрятанная тайна, заглянуть в которую он не давал. А человек, прячущий в себе тайну и достаточно стойкий, чтобы много лет молчать о ней, всегда страшит тех, кто от природы доверчив, кому нечего скрывать. Угрюмый нрав Магеллана рождал противодействие. Нелегко было идти с ним в ногу и стоять за него. И, вероятно, самым трудным было для этого

трагического нелюдима наедине с самим собою всегда ощущать себя одиноким.

И в этот раз fidalgo escudeiro Фернандо де Магелан, один, без всяких доброжелателей и покровителей, отправляется на аудиенцию к своему королю, выбрав наилучший из всех путей, которыми можно идти при дворе, то есть честный и прямой. Король Мануэл принимает его в том же зале, может быть, сидя на том же троне, с высоты которого его предшественник Жуан II некогда отказал Колумбу; на том же месте разыгрывается сцена такого же исторического значения. Ибо невзрачный, по-мужицки широкоплечий, коренастый, чернобородый португалец, с пронзительным взглядом исподлобья, сейчас низко склонившийся перед властелином, который мгновение спустя презрительно отошлет его прочь, таит в себе мысль не менее великую, чем тот пришлый генуэзец. Отвагой, решимостью и опытом Магеллан, возможно, даже превосходит своего более знаменитого предшественника. Очевидцев этой решающей минуты не было, однако при чтении сходных между собой хроник того времени сквозь даль веков начинаешь видеть происходящее в тронном зале: припадая на хромую ногу, Магеллан приближается к королю и с поклоном передает документы, неопровержимо доказывающие лживость возведенного на него обвинения. Затем он излагает первую свою просьбу: ввиду вторичного, лишившего его боеспособности ранения он ходатайствует перед королем о повышении его *moradia*, месячного содержания, на полкрузадо (около одного английского шиллинга на нынешние деньги). До смешного ничтожна сумма, которую он просит, и, казалось бы, не пристало гордому, стойкому, честолюбивому воину преклонять колени ради такой безделицы. Но Магеллан предъявляет это требование не ради монеты ценностью в полкрузадо, а во имя своего общественного положения, своего достоинства. Размер *moradia*, оклада, при этом дворе, где каждый тщится оттолкнуть локтем другого, определяет ступень иерархической лестницы, на которой стоит дворянин, ее получающий. Тридцатипятилетний ветеран индийской и марокканской войн, Магеллан не хочет значить при дворе меньше любого безусого юнца из тех, что подают королю блюда или распахи-



вают перед ним дверцу кареты. Из гордости он никогда не старался протиснуться вперед, но из гордости же он не может подчиняться людям, более молодым и менее заслуженным. Он не даст ценить себя ниже, чем сам ценит себя и все им содеянное.

Но король Мануэл глядит на навязчивого просителя, угрюмо нахмурившись. Для него, богатейшего из монархов, дело, разумеется, не в жалкой серебряной монете. Его просто раздражает поведение этого человека, который настойчиво требует, вместо того чтобы смиренно домогаться, и, не желая ждать, покуда он, король, милостиво соблаговолит увеличить ему содержание, упорно, решительно, словно это причитается ему по праву, настаивает на повышении в придворном чине. Что ж? Этого твердолобого молодца научат и просить и дожидаться. Подстрекаемый дурным советчиком — досадой, король Мануэл, обычно *el fortunado* — счастливый, отклоняет ходатайство Магеллана о повышении оклада, не подозревая, сколько тысяч золотых дукатов он уже в ближайшее время будет готов заплатить за этот один сбереженный им полкрузадо.

Собственно, Магеллану следовало бы теперь откланяться, ибо нахмуренное чело короля уже не сулит ему ни проблеска благоволения. Но, вместо того чтобы, верноподданнически поклонившись, выйти из зала, ожесточенный гордостью Магеллан продолжает невозмутимо стоять перед монархом и излагает ему просьбу, которая, в сущности, и привела его сюда. Он спрашивает, не найдется ли на королевской службе для него какого-нибудь места, какого-нибудь достойного занятия. Он еще слишком молод, слишком полон сил, чтобы всю жизнь жить милостыней. Ведь из португальских гаваней в те времена ежемесячно, даже еженедельно отправлялись суда в Индию, в Африку, в Бразилию; нет ничего более естественного, как предоставить командование одним из этих многочисленных судов человеку, лучше чем кто бы то ни было изучившему восточные моря. За исключением старого ветерана Васко да Гамы, в столице и во всем королевстве не найдется никого, кто мог бы сказать, что превосходит Магеллана знаниями. Но королю Мануэлу все невыносимее становится жесткий, вызывающий взгляд этого докучливого просителя. Холодно, даже

не обнадеживая Магеллана на будущие времена, отклоняет он его просьбу: нет, места для него не найдется.

Отказано. Кончено. Но Магеллан обращается к королю еще с третьей просьбой, — вернее, это уже не просьба, а вопрос. Магеллан спрашивает, не прогневется ли король, если он поступит на службу в другой стране, где ему предложат лучшие условия. И король с оскорбительной холодностью дает понять, что ему это безразлично. Магеллан может служить где угодно — где только удастся сыскать службу. Тем самым Магеллану сказано, что португальский двор отказывается от любых его услуг, что за ним, правда, и впредь милостиво сохранят жалкую подачку, но что никого не огорчит, если он покинет и королевский двор и Португалию.

Никто не был свидетелем этой аудиенции; никто не знает, в тот ли, или в другой раз, раньше или позже Магеллан открыл королю свой заветный тайный замысел. Может быть, ему даже не дали возможности развить свою мысль, может быть — равнодушно отклонили ее; как бы там ни было, но во время аудиенции Магеллан еще раз изъявил намерение в дальнейшем, как и прежде, кровью и жизнью служить Португалии. И только резкий отказ вызвал в нем тот внутренний перелом, который неминуемо совершается в жизни каждой творческой личности.

В минуту, когда Магеллан, словно выгнанный нищий, покидает дворец своего короля, он уже понимает: дольше ждать и медлить нельзя. К тридцати пяти годам он узнал и пережил все, чему воин и моряк научаются на поле битвы и на море. Четырежды огибал он мыс Доброй Надежды — два раза с востока и два раза с запада. Несметное число раз был он на волоске от смерти, трижды ощущал холодный металл неприятельского оружия в теплом, истекающем кровью теле. Безмерно много видел он на свете, он знает больше о восточной части земного шара, чем все прославленные географы и картографы его времени. Без малого десятилетний опыт сделал его знатоком всех видов военной техники: он научился владеть мечом и пищалью, рулем и компасом, парусом и пушкой, веслом, заступом и копьем. Он умеет читать портуланы, опускать лот и не менее точно, чем лю-

бой «мастер астрономии», применяет навигационные приборы. Все, о чем другие только с любопытством читают в книгах — томительные штормы и многодневные циклоны, битвы на море и на суше, осады и резня, внезапные налеты и кораблекрушения,— все это он пережил сам. За десять лет он научился и выжидать и мгновенно пользоваться решающей секундой. Он близко узнал всевозможных людей: желтых и белых, черных и темнокожих, индусов и малайцев, китайцев и негров, арабов и турок. В любом деле — на воде и на суше, во все времена года и на всех морях, в мороз и под палящим небом тропиков — служил он своему королю, своей стране. Но служить хорошо в молодости. Теперь, приближаясь к тридцати шести годам, Магеллан решает, что достаточно жертвовал собою чужим интересам, чужой славе. Как всякий творчески одаренный человек, он испытывает *media in vita*<sup>1</sup>, потребность ответить за свои действия, полностью проявить себя. Родина отреклась от него в беде, освободила его от уз службы и долга — тем лучше: теперь он свободен. Ведь часто случается, что удар кулака, вместо того чтобы отшвырнуть человека, направляет его на верный путь.

Однажды принятое решение Магеллан никогда не воплощает в жизнь мгновенно и необдуманно. Как ни скуден свет, проливаемый описаниями современников на его характер, одно, и притом существенное, качество, несомненно, отличает его во все периоды его жизни: Магеллан прекрасно умел молчать. По природе терпеливый и необщительный, даже в суматохе походной жизни державшийся тихо и обособленно, Магеллан все продумывал в одиночестве. Далеко заглядывая вперед, в тиши взвешивая каждую возможность, Магеллан не открывал людям своих планов и решений, покуда не был уверен, что его замысел внутренне созрел, до конца продуман и бесспорен.

И на этот раз Магеллан изумительно проявляет свое искусство молчания. Другой на его месте после оскорбительного отказа короля Мануэла, вероятно, тот-

---

<sup>1</sup> В зрелые годы (лат.).

час покинул бы страну и предложил свои услуги другому монарху. Магеллан же спокойно остается в Португалии еще на год, и никто не догадывается, чем он занят. Разве только замечают — поскольку это вообще может привлечь внимание, когда речь идет о старом, побывавшем в Индии моряке, — что Магеллан долгие часы просиживает с кормчими и капитанами, с теми, кто некогда плавал в южных морях. Но о чем же и болтать охотникам, как не об охоте, мореплавателям — как не о морях и новых землях! Не может вызывать подозрений и то, что в *Tesogaria*, секретном архиве короля Мануэла, он ворошит все хранящиеся там *secretissimas*<sup>1</sup> карты берегов, портуланы, лаговые записи и судовые журналы последних экспедиций в Бразилию. Чем же и заполнять находящемся не у дел капитану свои досуги, как не изучением книг и сообщений о вновь открытых морях и землях?

Скорее уж могла обратить на себя внимание новая дружба, заключенная Магелланом, ибо человек, с которым он все теснее сближается, некий Руй Фалейру, юркий, нервный, вспыльчивый книжник, со своей страстной говорливостью, чрезмерной самонадеянностью и взбалмошным характером менее всего подходит к молчаливому, сдержанному, замкнутому воину и мореходу. Но дарования обоих этих людей, вскоре ставших неразлучными, именно в силу их полного несходства привели к известной, неизбежно кратковременной гармонии. Как для Магеллана сокровеннейшая страсть — путешествия по неведомым морям и практическое исследование земного мира, так для Фалейру — отвлеченное познание земли и неба. Чистейшей воды теоретик, подлинно кабинетный ученый, никогда не ступавший на корабль, никогда не покидавший Португалии, Руй Фалейру знает далекие сферы неба и земли только по вычислениям, книгам, таблицам и картам; зато в этих абстрактных областях, в качестве картографа и астронома, он считается величайшим авторитетом. Он не умеет ставить паруса, но он изобрел собственную систему вычисления долгот, хотя и не лишенную погрешностей, но охватывающую весь земной шар и впоследствии

---

<sup>1</sup> Наисекретнейшие (исп.).

оказавшую Магеллану огромную услугу. Фалейру не умеет обращаться с рулем, но изготовленные им морские карты, портуланы, астролябии и другие инструменты, по-видимому, являлись наиболее совершенными навигационными приборами того времени. Такой знаток, несомненно, принесет огромную пользу Магеллану, идеальному практику, чьим университетом были только война и плавание, кто из астрономии и географии знает лишь то, что он сам непосредственно видел в своих странствиях и благодаря своим странствиям. Как раз благодаря противоположности своих дарований и склонностей оба эти человека необыкновенно счастливо дополняют друг друга, как спекулятивное мышление дополняет опытное знание, как мысль — дело, как дух — материю.

Но к этому, в данном частном случае, присоединяется еще и временная общность судеб. Оба эти, каждый по-своему замечательные, португальца одинаково уязвлены своим королем, обоим прегражден путь к осуществлению дела всей их жизни. Руй Фалейру уже много лет домогается должности королевского астронома и, несомненно, с большим на то правом, чем кто-либо другой. Но так же как Магеллан своей молчаливой гордостью, так, по-видимому, и Руй Фалейру раздражил двор своей резкостью и обидчивостью. Враги называют его шутом и, чтобы предать его в руки инквизиции (и тем самым отделаться от него), распространяют слух, будто он в своих работах прибегает к помощи сверхъестественных сил, будто он заключил союз с дьяволом. Итак, оба они, Магеллан и Руй Фалейру, в своей стране удалены от дел ненавистью и недоверием, и этот внешний гнет ненависти и недоверия внутренне сближает их друг с другом. Фалейру изучает записи и проекты Магеллана. Он снабжает их научной надстройкой, и его вычисления точными, по таблицам проверенными данными подтверждают чисто интуитивные предположения Магеллана. И чем дольше сравнивают теоретик и практик свои наблюдения, тем пламеннее они стремятся осуществить свой проект в таком же тесном сотрудничестве, в каком они его продумали и разработали. Оба они — теоретик и практик — клятвенно обязуются до решающей минуты осуществления таить от всех свой замысел и, в случае необходимости, без содействия родной страны и даже в

ущерб ей совершить дело, которое должно стать достоянием не только одной Португалии, но всего человечества.

Однако пора уже спросить: что, собственно, представляет собой таинственный проект, который Магеллан и Фалейру втихомолку, словно заговорщики, обсуждают вблизи Лисабонского дворца? Что в нем такого нового, доселе небывалого? Что делает его столь важным и заставляет их поклясться друг другу в нерушимости тайны? Что в этом проекте такого опасного, что вынуждает их прятать его, словно отравленное оружие? Ответ на этот вопрос поначалу разочаровывает. Ибо новый проект не что иное, как та самая мысль, с которой Магеллан некогда возвратился из Индии и которую в нем разжигал Серрано: мысль достичь богатейших «Островов пряностей», плывя не в восточном направлении, вокруг Африки, как это делают португальцы, а с запада, то есть огибая Америку. На первый взгляд в этом нет ничего нового. Еще Колумб, как известно, отправился в плавание не для того, чтобы открыть Америку, о существовании которой тогда еще не подозревали, а стремясь достичь Индии. И когда весь мир уже понял, что Колумб находится в заблуждении (сам он так и не осознал этого и всю жизнь был убежден, что высадился в одной из провинций китайского богдыхана), Испания из-за этого случайного открытия отнюдь не отказалась от поисков пути в Индию, ибо за первыми минутами радости последовало досадное разочарование. Заявление пылкого фантаста Колумба, что на Сан-Доминго и Эспаньоле золото пластами лежит под землей, оказалось враньем. Там не нашли ни золота, ни пряностей, ни даже «черной слоновой кости» — тщедушные индейцы не годились в невольники. Покуда Писарро еще не разграбил сокровищниц инков, покуда еще не была начата разработка Потосийских серебряных рудников, открытие Америки не представляло — в коммерческом отношении — никакой ценности, и алкавшие золота кастильцы были меньше заинтересованы в колонизации и покорении Америки, чем в том, чтобы, обогнув ее, как можно скорее попасть в райские края драгоценных камней и пряностей. Согласно распоряжениям короля, непрерывно продолжались

попытки обогнуть вновь открытую terra firma, что бы прежде португальцев ворваться в подлинную сокровищницу Востока, на «Острова пряностей». Одна экспедиция следовала за другой. Но вскоре испанцам при поисках пути в вожделенную Индию довелось пережить то же разочарование, что и некогда португальцам при первых попытках обогнуть Африку. Ибо и эта вновь открытая часть света, Америка, оказалась куда более обширной, чем можно было предположить вначале. Повсюду, на юге и на севере, где бы их суда ни пытались прорваться в Индийский океан, они наталкивались на неодолимую преграду — земную твердь. Повсюду, как широкое бревно поперек дороги, лежит перед ними этот протяженный материк — Америка. Прославленные конкистадоры тщетно пытались счастья, сиюсь найти где-нибудь проход, пролив — *passo, estrecho*. Колумб в четвертое свое плавание поворачивает к западу, чтобы возвратиться через Индию, и наталкивается все на ту же преграду. Экспедиция, в которой участвует Веспуччи, столь же тщетно обследует все побережье Южной Америки «*con proposito di andare e scoprire un isola verso Oriente che si dice Melacha*» — чтобы пробраться к «Островам пряностей», Молуккским островам. Кортес в четвертой своей «реляции» торжественно обещает императору Карлу искать проход у Панамы. Кортесал и Кабот направляют свои суда в глубь Ледовитого океана, чтобы открыть пролив на севере, а Хуан де Солис, думая обнаружить его на юге, поднимается далеко вверх по Ла-Плате. Но тщетно! Везде, на севере, на юге, в полярных зонах и тропиках, все тот же незыблемый вал — земля и камни. Мало-помалу начинает исчезать всякая надежда проникнуть из Атлантического океана в тот, другой, некогда увиденный Нуньесом де Бальбоа с панамских высот. Уже космографы вычерчивают на картах Южную Америку сращенной с Южным полюсом, уже бесчисленные суда потерпели крушение во время этих бесплодных поисков, уже Испания примирилась с мыслью навеки остаться отрезанной от земель и морей богатейшего Индийского океана, ибо нигде, решительно нигде не находится вожделенный *passo* — со страстным упорством разыскиваемый пролив.

Тогда вдруг появляется из неизвестности этот невдомый, невзрачный капитан Магеллан и с пафосом пол-

нейшей уверенности заявляет: «Между Атлантическим и Индийским океаном существует пролив. Я в этом уверен, я знаю его местонахождение. Дайте мне эскадру, я укажу вам его и, плывя с востока на запад, обогну весь земной шар».

Теперь-то мы и оказываемся перед лицом той самой тайны Магеллана, которая в продолжение веков занимает ученых и психологов. Сам по себе, как сказано, проект Магеллана отнюдь не отличался оригинальностью: собственно говоря, Магеллан стремился к тому же, что и Колумб, Веспуччи, Кортереал, Кортес и Кабот. Итак, нов не его проект, но та не допускающая возражений уверенность, с которой Магеллан утверждает существование западного пути в Индию. Ведь с самого начала он не говорит скромно, как те, другие: «Я надеюсь где-нибудь найти *расо* — пролив». Нет, он с железной уверенностью заявляет: «Я найду *расо*. Ибо я, один я знаю, что существует пролив между Атлантическим и Индийским океаном, и знаю, в каком месте его искать».

Но каким образом Магеллан — в этом-то и загадка — мог наперед знать, где расположен этот тщательно разыскиваемый всеми другими мореходами пролив? Сам он во время своих путешествий ни разу даже не приближался к берегам Америки, как и его товарищ Фалейру. Если он с такой определенностью утверждает наличие пролива — значит, о его существовании и географическом положении он мог узнать только от кого-нибудь из своих предшественников, видевших этот пролив собственными глазами. Но раз другой мореплаватель видел его до Магеллана — тогда ситуация весьма щекотлива! Тогда Магеллан вовсе не прославленный герой, каким его увековечила история, а всего-навсего плагиатор, похититель чужой славы. Тогда Магелланов пролив так же несправедливо назван именем Магеллана, как Америка несправедливо названа именем не открывшего ее Америго Веспуччи.

Итак, тайна истории Магеллана, в сущности, исчерпывается одним вопросом: от кого и каким путем скромный португальский капитан получил столь надежные сведения о наличии пролива между двумя океанами, что смог обязать осуществить то, что до того времени счи-



талось неосуществимым, а именно: кругосветное плавание? Первое упоминание о данных, на основании которых Магеллан твердо уверовал в успех своего дела, мы находим у Антонио Пигафетты, преданнейшего его спутника и биографа, который сообщает следующее: даже когда вход в этот пролив уже был у них перед глазами, никто во всей флотилии не верил в существование подобного соединяющего океаны пути. Только уверенность самого Магеллана невозможно было поколебать в ту минуту, ибо он, дескать, точно знал, что такой, никому не известный пролив существует, а знал он об этом благодаря начертанной знаменитым космографом Мартином Бехаймом карте, которую он в свое время разыскал в секретном архиве португальского короля. Это сообщение Пигафетты само по себе вполне заслуживает доверия, ибо мы знаем, что Мартин Бехайм действительно до самой своей смерти (1507) был придворным картографом португальского короля, как знаем и то, что молчаливый искатель Магеллан сумел получить доступ в этот секретный архив.

Но поиски разгадки становятся все более увлекательными: этот Мартин Бехайм лично не принимал участия ни в одной заморской экспедиции и поразительную весть о существовании *расо*, в свою очередь, мог узнать только от других мореплавателей. Значит, и у него были предшественники. Тогда вопрос усложняется. Кто же были эти предшественники, эти безвестные мореходы? Кому же, наконец, принадлежит честь открытия? Возможно ли, чтобы какие-то португальские суда еще до изготовления этих карт и глобусов достигли таинственного пролива, соединяющего Атлантический океан с Тихим? И что же? Неопровержимые документы подтверждают, что действительно в начале века несколько португальских экспедиций (одну из них сопровождал Веспуччи) обследовали побережье Бразилии, а быть может, даже и Аргентины. Только они и могли увидеть *расо*.

Однако этого мало — возникает новый вопрос: как далеко проникли эти таинственные экспедиции? Вправду ли спустились они до самого прохода, до Магелланова пролива? Мнение, что другие мореплаватели, до Магеллана, уже знали о существовании *расо*, долгое время основывалось лишь на упомянутом сообщении Пигафетты

да еще на сохранившемся и поныне глобусе Иоганна Шенера, на котором — как это ни удивительно — уже в 1515 году, следовательно, задолго до отплытия Магеллана, ясно обозначен пролив на юге (правда, совершенно не там, где он находится в действительности). Но все это не помогает нам уяснить, от кого же получили эти сведения Бехайм и немецкий ученый, ибо в ту эпоху великих открытий каждая нация, из коммерческой ревности, неусыпно следила, чтобы результаты экспедиции сохранялись в тайне. Лаговые записи кормчих, судовые журналы капитанов, карты и портуланы немедленно сдавались в Лисабонскую *Tesogaria*. Король Мануэл указом от 13 ноября 1504 года под страхом смертной казни запретил «сообщать какие-либо сведения о судоходстве по ту сторону реки Конго, дабы чужестранцы не могли извлечь выгоды из открытий, сделанных Португалией».

Когда вопрос о приоритете, ввиду совершенной его праздности, уже как будто загдох, неожиданная находка более позднего времени пролила свет на то, кому именно Бехайм и Шенер, а в конечном счете и Магеллан обязаны своими географическими сведениями. Эта находка представляла собой всего только напечатанную на прескверной бумаге немецкую листовку, озаглавленную: «*Copia der Newen Zeytung aus Bresillg Landt*» («Копия новых вестей из Бразильской земли»); эта листовка оказалась донесением, посланным из Португалии в начале шестнадцатого века крупнейшему торговому дому Вельзеров в Аугсбурге одним из его португальских представителей; в нем на отвратительнейшем немецком языке сообщается, что некое португальское судно на приблизительно сороковом градусе южной широты открыло и обогнуло некий *sabo*, то есть мыс, «подобный мысу Добрай Надежды», и что за этим *sabo* по направлению с востока на запад расположен широкий пролив, напоминающий Гибралтар; он тянется от одного моря до другого, так что нет ничего легче, как этим путем достичь Молуккских островов — «Островов пряностей». Итак, это донесение определенно утверждает, что Атлантический и Тихий океаны соединены между собой, *quod erat demonstrandum*<sup>1</sup>.

Тем самым загадка, казалось, была наконец решена,

---

<sup>1</sup> Что и требовалось доказать (лат.).

и Магеллан окончательно изобличен в плагиате, в присвоении открытия, сделанного до него. Ведь, бесспорно, Магеллан был осведомлен о результатах той предшествовавшей португальской экспедиции не хуже, чем неизвестный представитель немецких судовладельцев и проживающий в Лисабоне аугсбургский географ; а в таком случае вся его заслуга перед мировой историей сводится к тому, что он благодаря своей энергии сумел тщательно охраняемую тайну сделать доступной всему человечеству. Итак, ловкость, стремительность, беззащитное использование чужих достижений — вот, видимо, и вся тайна Магеллана.

Но, как ни удивительно, возникает еще один, последний вопрос. Ведь теперь нам известно то, что не было известно Магеллану: участники той португальской экспедиции в действительности не достигли Магелланова пролива, их сообщения, которым доверился Магеллан, так же как Мартин Бехайм и Иоганн Шенер, на самом деле основывались на недоразумении, на легко понятной ошибке. Что именно (здесь мы доходим до самой сути проблемы) видели те мореплаватели на сороковом градусе южной широты? Что, собственно, сообщает нам «*Nëwe-Zeytung*»? Только то, что эти мореплаватели приблизительно на сороковом градусе южной широты открыли морской залив, по которому они плыли двое суток, не видя ему конца, и что, прежде чем они достигли его предела, буря прогнала их назад. Следовательно, то, что они видели, было началом некоего водного пути, который они сочли, но сочли напрасно, тем проливом, что соединяет два океана. Ведь настоящий пролив расположен — это известно со времен Магеллана — на пятьдесят втором градусе южной широты. Что же видели эти безвестные мореплаватели под сороковым градусом? Здесь существует достаточно обоснованное предположение, ибо тому, кто впервые собственными глазами изумленно созерцал необъятный, широкий, как море, простор Ла-Платы при впадении ее в океан, — только тому понятно, что не случайным, а подлинно неизбежным заблуждением было счесть это исполкинское речное устье заливом, морем. Разве не более чем естественно, что мореходы, никогда не встречавшие в Европе столь гигантского водного потока, увидев эту необозримую ширь, преждевременно возликовали, ре-

шив, что это-то и есть вожделенный пролив, соединяющий два океана? Лучшим доказательством, что кормчие, на которых ссылается «*Newe Zeytung*», приняли исполнинскую реку за пролив, служат упомянутые нами карты, начертанные в соответствии с их сообщениями. Ведь если бы они, эти безвестные кормчие, пробравшись дальше на юг, нашли, кроме реки Ла-Платы, и Магелланов пролив — то есть настоящий *passo*, они должны были бы на своих портуланах, а Шенер — на своем глобусе обозначить также и Ла-Плату, этого гиганта среди водных потоков земного шара. Однако на глобусе Шенера, как и на других известных нам картах, Ла-Плата не обозначена, а на ее месте, как раз под тем же градусом широты, нанесен мифический пролив — *passo*. Тем самым вопрос выяснен до конца. Осведомители «*Newe Zeytung*» чисто-сердечно заблуждались. Они стали жертвами очевидной и понятной ошибки, да и Магеллан поступил не менее честно, утверждая, что у него имеются достоверные данные о существовании некоего *passo*. Когда он, руководствуясь этими картами и сообщениями, создавал свой грандиозный проект кругосветного плавания, он попросту был введен в обман самообманом других. Заблуждение, в которое он честно уверовал, — вот что в конечном счете составляло тайну Магеллана.

Но не надо презирать заблуждений! Из безрассуднейшего заблуждения, если гений коснется его, если случай будет руководить им, может произрасти величайшая истина. Сотнями, тысячами насчитываются во всех областях знания великие открытия, возникшие из ложных гипотез. Никогда Колумб не отважился бы выйти в океан, не будь на свете карты Тосканелли, до абсурда неверно определявшей объем земного шара и обманчиво сулившей ему, что он в кратчайший срок достигнет восточного побережья Индии. Никогда Магеллан не сумел бы уговорить монарха предоставить ему флотилию, если бы не верил с таким безрассудным упрямством ошибочной карте Бежайма и фантастическим сообщениям португальских кормчих. Только веря, что он обладает знанием тайны, Магеллан мог разгадать величайшую географическую тайну своего времени. Только всем сердцем отдавшись переходящему заблуждению, он открыл непреходящую истину.

# ИДЕЯ МАГЕЛЛАНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

20 октября 1517 г.—22 марта 1518 г.



Теперь Магеллан стоит перед ответственным решением. У него есть план, равного которому по смелости не вынашивает в сердце ни один моряк его времени, и вдобавок у него есть уверенность — или ему кажется, что она есть, — что благодаря имеющимся у него особым сведениям этот план неминуемо приведет его к цели. Но как осуществить столь дорогостоящее и опасное предприятие? Монарх его родной страны от него отвернулся; на поддержку знакомых португальских судовладельцев вряд ли можно рассчитывать: они не осмелятся доверить свой суда человеку, впавшему в немилость двора. Итак, остается один путь: обратиться к Испании. Там и только там может Магеллан рассчитывать на поддержку, только при том дворе его личность может иметь некоторый вес, ибо он не только привезет с собой драгоценные сведения из Лисабонской Tesoraria, но и представит Испании — что не менее важно для задуманного им дела — доказательства моральной правоты ее пре-

тензий. Его компаньон Фалейру вычислил (так же неправильно, как неправильно был информирован Магеллан), что «Острова пряностей» находятся не в пределах португальского владычества, а в области, отведенной папою Испании, и посему являются собственностью испанской, а не португальской короны. Богатейшие в мире острова и кратчайший путь к ним предлагает безвестный португальский капитан в дар императору Карлу V. Вот почему скорее, чем где-либо, он может рассчитывать на успех при испанском дворе. Там, и только там может он осуществить великое предприятие, замысел всей своей жизни, хоть и знает, что жестоко за это расплатится. Ибо, если Магеллан теперь обратится к Испании, ему придется, как собственную кожу, содрать с себя благородное португальское имя Магельаеш. Португальский король немедленно ввергнет его в опалу, и он веками будет слыть среди своих соотечественников изменником — *traidor*, перебежчиком — *transfuga*; и в самом деле, добровольный отказ Магеллана от португальского подданства и его продиктованный отчаянием переход на службу другой державы несравнимы с поведением Колумба, Кабота, Кадамосты или Веспуччи, также водивших флотилии чужих монархов в заморские экспедиции. Ведь Магеллан не только покидает родину, но — умолчать об этом нельзя — наносит ей ущерб, передавая в руки злейшему сопернику своего короля «Острова пряностей», уже занятые его соотечественниками. Он поступает не только смело — поступает непатриотично, сообщая другому государству морские тайны, овладеть которыми ему удалось лишь благодаря доступу в Лисабонскую *Tesoreria*. В переводе на современный язык это означает, что Магеллан, португальский дворянин и бывший капитан португальского флота, совершил преступление не менее тяжкое, нежели офицер нашего времени, передавший мобилизационные планы и секретные карты генерального штаба соседнему враждебному государству. И единственное обстоятельство, которое придает его неприглядному поведению известный оттенок величия, заключается в том, что он перешел границу не трусливо и опасливо, как контрабандист, а предался противнику с поднятым забралом, в сознании всех ожидающих его поношений.

Но творческая личность подчиняется иному, более высокому закону, чем закон простого долга. Для того, кто призван совершить великое деяние, осуществить открытие или подвиг,двигающий вперед все человечество, для того подлинной родиной является уже не его отечество, а его деяние. Он ощущает себя ответственным в конечном счете только перед одной инстанцией — перед той задачей, которую ему предназначено решить, и он скорее позволит себе презреть государственные и временные интересы, чем то внутреннее обязательство, которое возложили на него его особая судьба, особое дарование. Магеллан осознал свое призвание на середине жизненного пути после многих лет верного служения своему отечеству. И так как его отечество отказало ему в возможности осуществления его замыслов, то он должен был сделать своим отечеством свою идею. Он решительно уничтожает свое преходящее имя и свою гражданскую честь, чтобы воскреснуть и раствориться в своей идее, в своем бессмертном подвиге.

Пора выжидания, терпения и обдумывания для Магеллана кончилась. Осенью 1517 года его дерзновенное решение претворяется в дело. Временно оставив в Португалии своего менее отважного партнера — Фалейру, Магеллан переходит Рубикон своей жизни — испанскую границу; 20 октября 1517 года вместе со своим невольником Энрике, уже долгие годы сопровождающим его как тень, он прибывает в Севилью. Правда, Севилья в этот момент не является резиденцией нового короля Испании, Карлоса I, в качестве властелина Старого и Нового Света, именуемого нами Карлом V. Восемнадцатилетний монарх только что прибыл из Фландрии в Сантандер и находится на пути в Вальядолид, где с середины ноября намерен обосновать свой двор. И все же время ожидания Магеллану нигде не провести лучше, чем в Севилье, ибо эта гавань — порог в новую Индию; большинство кораблей отправляется на запад от берегов Гвадалкивира, и столь велик там наплыв купцов, капитанов, маклеров и агентов, что король приказывает учредить в Севилье особую торговую палату, знаменитую Casa de la Contratacion, которую также называют Индийской палатой, *Domus indica*, или Casa del Oceano. В ней хранятся все донесения, отчетные карты и записи купцов и море-

ходов («Habet rex in ea urbe ad oceana tantum negotia domum erectam ad quam euntes, redeuntesque visitores confluent») <sup>1</sup>.

Индийская палата является одновременно и товарной биржей и судовым агентством, правильнее всего было бы назвать ее управлением морской торговли, бюро справок и консультаций, где под контролем властей договариваются, с одной стороны, дельцы, финансирующие морские экспедиции, с другой — капитаны, желающие возглавить эти экспедиции. Так или иначе, но каждый, кто затевает новую экспедицию под испанским флагом, прежде всего должен обратиться в Casa de la Contratacion за разрешением или поддержкой.

О необычайной выдержке Магеллана, его гениальном умении молчать и выжидать лучше всего свидетельствует уже то, что он не торопится совершить этот неминуемый шаг; чуждый фантазерства, расплывчатого оптимизма или тщеславного самообольщения, всегда все точно рассчитывающий, психолог и реалист, Магеллан заранее взвесил свои шансы и нашел их недостаточными. Он знает, что дверь в Casa de la Contratacion откроется перед ним, только когда другие руки нажмут за него скобу. Сам Магеллан — кому он здесь известен? Что он семь лет плывал в восточных морях, что он сражался под началом Алмейды и Албукерке, не очень-то много значит в городе, таверны и кабаки которого кишат отставными *aventurados* и *desperados* <sup>2</sup>, в городе, где еще живы капитаны, плававшие под командой Колумба, Кортереала и Кабота. Что он прибыл из Португалии, где король не пожелал пристроить его к делу, что он эмигрант, строго говоря, даже перебежчик, тоже не очень его рекомендует. Нет, в Casa de la Contratacion ему, неизвестному, безыменному *fuoroscito* <sup>3</sup>, не окажут доверия; поэтому Магеллан до поры до времени решает и вовсе не переступать ее порога. Он достаточно опытен и знает, что в таких случаях необходимо. Прежде всего, как всякий, кто предлагает новый проект, он должен обзавестись свя-

---

<sup>1</sup> Король учредил в этом городе палату специально для заокееанской торговли, куда стекались посетители как отправлявшиеся в путь, так и возвращавшиеся (*лат.*).

<sup>2</sup> Авантюристы, сорвиголовы (*исп.*).

<sup>3</sup> Выходцу из чужой страны (*исп.*).



зями и «рекомендациями». Должен обеспечить себе поддержку людей влиятельных и имущих, прежде чем вступить в переговоры с теми, кто держит в своих руках власть и деньги.

Одним из этих необходимых знакомств предусмотрительный Магеллан, видимо, заручился еще в Португалии. Так или иначе, он встречает радушный прием в доме Дьего Барбосы, тоже некогда вышедшего из португальского подданства и уже в продолжение четырнадцати лет занимающего на испанской службе видную должность алькайда (начальника) арсенала. Уважаемое лицо в городе, кавалер ордена Сант-Яго, Барбоса является идеальным поручителем для недавнего пришельца. По некоторым сведениям, Барбоса и Магеллан были родственниками. Но теснее любого родства этих людей с первой же минуты сближает то обстоятельство, что Дьего Барбоса за много лет до Магеллана плавал в индийских морях. Сын его, Дуарте Барбоса, унаследовал от отца страсть к приключениям. Он тоже вдоль и поперек избородил индийские, персидские и малайские воды и даже написал весьма ценимую в те времена книгу «*O libro de Duarte Barbosa*»<sup>1</sup>. Эти трое людей тотчас становятся друзьями. Ведь если и в наши дни между колониальными офицерами или солдатами, сражавшимися во время войны на одном участке фронта, устанавливается связь на всю жизнь, то насколько же теснее сплоченными должны были чувствовать себя два-три десятка ветеранов морской службы, чудом уцелевшие в этих убийственных плаваньях и смертельных опасностях! Барбоса гостеприимно предлагает Магеллану поселиться у него в доме. Проходит немного времени, и дочь Барбосы, Барбара, начинает благосклонно относиться к тридцатисемилетнему, энергичному, серьезному Магеллану. Еще до конца года Магеллан назовет себя зятем алькайда и тем самым приобретет в Севилье положение и опору. Утратив права гражданства в Португалии, он вновь обрел их в Испании. Отныне он считается уже не безродным пришельцем, но *vecino de Sevilla* — жителем Севильи. Хорошо зарекомендованный дружбой и предстоящим родством с Барбосой, обеспеченный приданым жены, которое

---

<sup>1</sup> «Книга Дуарте Барбосы» (исп.).

составляет шестьсот тысяч мараведисов, он может теперь, не задумываясь, перешагнуть порог Casa de la Contratación.

О переговорах, которые он там вел, о приеме, который был ему оказан, не сохранилось никаких достоверных сведений. Мы не знаем, в какой мере Магеллан, клятвенным обещанием связанный с Фалейру, раскрыл перед этой комиссией свои планы, и, вероятно, лишь ради грубой аналогии с Колумбом выдумали, что комиссия резко отклонила и даже высмеяла его предложение. Достоверно только, что Casa de la Contratación не захотела или не могла на собственный страх и риск отпустить средства на предприятие безвестного пришельца. Профессионалы обычно с недоверием относятся ко всему из ряда вон выходящему. Вот почему и на этот раз одно из решающих событий в истории совершилось не при поддержке авторитетных учреждений, а помимо них и вопреки им.

Индийская палата — эта важнейшая инстанция — не оказала Магеллану содействия. Даже первая из бесчисленных дверей, ведущих в аудиенц-зал короля, не открылась перед ним. Верно, то был мрачный день для Магеллана. Напрасен приезд сюда, напрасны рекомендации, напрасны представленные им выкладки, напрасны красноречие и горячность, вероятно, проявленные им вопреки внутреннему решению. Все доводы Магеллана не смогли заставить трех членов комиссии, трех профессионалов, с доверием отнестись к его проекту.

Но на войне зачастую, когда полководец уже считает себя побежденным, уже велит трубить отступление, уже готовится очистить поле битвы, вдруг является посланец и медоточивыми устами сообщает, что противник отошел, уступив поле брани, и тем самым признал себя побежденным. Тогда — мгновение, одно только мгновение, и чаша весов из темной бездны отчаяния взлетает к вершинам счастья. Такую минуту впервые пережил Магеллан, неожиданно узнав, что на одного из трех членов комиссии, вместе с другими угрюмо и неодобрительно, как ему казалось, выслушавшего проект, последний произвел огромное впечатление и что Хуан де Аранда, фактор (правитель дел) Casa de la Contratación, очень хотел бы частным образом подробнее узнать об этом чрезвычай-

но интересном и, по его мнению, богатом перспективами плане, почему и просит Магеллана снестись с ним.

То, что восхищенному Магеллану кажется милостью providения, на самом деле имеет весьма земную подоплеку. Хуану де Аранде, как и всем императорам и королям, полководцам и купцам его времени, нет никакого дела (сколь бы трогательно это ни изображалось в наших исторических книгах для юношества) до изучения земного шара, до счастья человечества. Не душевное благородство, не бескорыстное воодушевление делают из Аранды покровителя этого плана: как опытный делец, правитель Casa de la Contratacion просто-напросто почуял в предложении Магеллана выгодное предприятие. Чем-то, видимо, импонировал этому бывалому человеку неизвестный португальский капитан: то ли ясностью доводов, то ли уверенной, исполненной достоинства осанкой, то ли, наконец, столь ощутимой внутренней убежденностью — так или иначе, но Аранда, быть может, разумом, быть может, одним только инстинктом угадал за величиим замысла возможность великих барышей. То, что официально, в качестве королевского чиновника, он отклонил предложение Магеллана как нерентабельное, не помешало Аранде войти с ним в соглашение в качестве частного лица, «от себя», как говорят на деловом жаргоне, взяться за финансирование его предприятия или по крайней мере заработать комиссионные на устройстве этого финансирования. Особо честным или корректным подобный образ действий — в качестве королевского чиновника отклонить проект, а в качестве частного лица из-под полы содействовать его осуществлению — вряд ли можно назвать, и, правда, Casa de la Contratacion впоследствии привлекла Хуана де Аранду к суду за финансовое участие в этом предприятии.

Магеллан, однако, поступил бы весьма глупо, если бы вздумал считаться с соображениями морального порядка. Сейчас ему нужно двигать задуманное дело всеми средствами, без разбора — и в этом своем критическом положении он, вероятно, доверил Хуану де Аранде из своей и Руй Фалейру тайны больше, чем ему позволяло их взаимное клятвенное обязательство. К великой радости Магеллана. Аранда полностью одобряет его план. Разумеется, прежде чем поддержать своими деньгами

и влиянием это рискованное предприятие незнакомого ему человека, он делает то, что любой опытный коммерсант и в наши дни сделал бы на его месте: наводит в Португалии справки, насколько Магеллан и Фалейру заслуживают доверия. Лицо, которому он посылает секретный запрос, не кто иной, как Христофор де Аро, в свое время финансировавший первые экспедиции на юг Бразилии и располагающий обширнейшими сведениями о всякого рода предприятиях и людях. Его отзыв — опять-таки счастливая случайность — оказывается весьма благоприятным: Магеллан — испытанный, сведущий моряк, Фалейру — выдающийся космограф. Таким образом, устранен последний камень преткновения. С этой минуты правитель Индийской палаты, чье мнение в вопросах мореплавания считается при дворе решающим, берется за устройство дел Магеллана, а тем самым и своих собственных. В первоначальное товарищество — Магеллан и Фалейру — входит третий участник; в эту триаду Магеллан в качестве основного капитала вкладывает свой практический опыт, Фалейру — теоретические познания, а Хуан де Аранда — свои связи. С той минуты, как замысел Магеллана стал собственным делом Аранды, тот уже не упускает ни единой возможности. Без промедления пишет он пространное письмо кастильскому канцлеру, в котором излагает важность этого предприятия, и рекомендует Магеллана как человека, «способного оказать вашей светлости великие услуги». Далее он сносится с отдельными членами королевского совета и устраивает Магеллану аудиенцию. Более того, ретивый посредник не только изъявляет готовность лично сопровождать Магеллана в Вальядолид, но ссужает его деньгами на расходы по поездке и пребыванию там. В мгновение ока ветер переменился. Превзойдены самые смелые надежды Магеллана. За один месяц он в Испании добился большего, чем у себя на родине за десять лет самоотверженной службы. И теперь, когда двери королевского дворца перед ним уже раскрылись, он пишет Фалейру, чтобы тот, недолго думая, спешил в Севилью; все идет как нельзя лучше.

С восторгом, казалось бы, должен приветствовать славный астролог беспримерный успех товарища, с бла-

годарностью заключить его в объятия. Но в жизни Магеллана — в будущем это ритмическое чередование останется неизменным — не бывает погожего дня без грозы. Уже то, что вследствие успешной инициативы Магеллана он, Фалейру, оказывается оттесненным на второй план, видимо, озлобляет этого тяжелодумного, желчного, впечатлительного человека. Негодование весьма мало сведущего в житейских делах звездочета достигает предела, когда он узнает, что Аранда берется ввести Магеллана во дворец не из одного человеколюбия, но выговорив себе участие в ожидаемых прибылях.

Происходят бурные сцены: Фалейру обвиняет Магеллана в том, что тот нарушил данное им слово и помимо его, Фалейру, согласия выдал тайну третьему лицу. В порыве истерической злобы он отказывается предпринять вместе с Арандой поездку в Вальядолид, хотя последний и берет на себя все расходы. Из-за нелепого упорства Фалейру предприятию уже грозит серьезная опасность, как вдруг Аранда получает радостную весть из Вальядолида: король согласен дать аудиенцию. Начинаются ожесточенные торги и переговоры из-за комиссионного вознаграждения, и только в последнюю минуту, у самых ворот Вальядолида, три партнера приходят, наконец, к соглашению. Шкуру медведя честно делят еще до начала охоты. Аранде за его посредничество предоставляется восьмая часть будущих прибылей (из которых Аранда, так же как Магеллан и Фалейру, никогда ни гроша не увидит), и это отнюдь не слишком высокая плата за услуги умного, энергичного человека. Он знает, как обстоят дела, и умеет за них приняться. Прежде, чем короля, еще неопытного в пользовании своей огромной властью, нужно привлечь на свою сторону королевский совет.

А дела в совете поначалу складываются скверно для проекта Магеллана. Трое из четырех его членов — кардинал Адриан Утрехтский, друг Эразма и будущий папа, королевский воспитатель престарелый Гийом де Круа и канцлер Соваж — нидерландцы; их взоры устремлены прежде всего на Германию, где испанскому королю Карлосу в ближайшем будущем предстоит получить императорскую корону, благодаря чему Габсбурги сделаются властителями всего мира. Эти феодаль-

ные аристократы и книголюбы-гуманисты мало заинтересованы в проекте заморских поисков, возможные выгоды которого пошли бы на пользу одной Испании. А единственным испанцем в королевском совете и в то же время единственным из его членов, в качестве попечителя Casa de la Contratacion, безусловно, сведущим в вопросах мореплавания, по роковому стечению обстоятельств оказывается не кто иной, как прославленный, или, вернее, пресловутый, кардинал Фонсека, епископ Бургосский. Право же, Магеллан должен был порядком испугаться, когда Аранда впервые назвал ему это имя, ибо всякий моряк знал, что у Колумба в продолжение всей его жизни не было врага более заклятого, чем этот практичный и меркантильный кардинал, с глубоким недоверием противоборствующий каждому фантастическому плану. Но Магеллану нечего терять — он может только выиграть. С исполненным решимости сердцем и высоко поднятой головой является он на заседание королевского совета отстаивать свой замысел и добиваться того, в чем он видит свое предназначение.

О том, что произошло на знаменательном заседании совета, у нас имеются разноречивые и, в силу своей разноречивости, ненадежные сведения. Несомненно только одно: в осанке этого мускулистого, загорелого человека и в его речах было нечто, с первой же минуты производившее впечатление. Королевским советникам тотчас стало ясно: этот португальский капитан — не из числа пустомель и фантазеров, со времени успеха Колумба во множестве обивающих пороги дворца. Этот человек действительно глубже других проник на восток, и, когда он рассказывает об «Островах пряностей», о их географическом положении, их климатических условиях и несметных богатствах, его сведения благодаря знакомству с Вартемой и дружбе с Серрано оказываются достоверней, чем данные всех испанских архивов. Но Магеллан еще не пустил в ход главных козырей. Кивком головы подзывает он своего раба Энрике, вывезенного с Малакки. С нескрываемым изумлением смотрят королевские советники на тонкокостого, стройного малайца: человека этой расы они доселе не видели. Рассказывают, что Ма-

геллан привел с собой еще и рабыню, уроженку острова Суматры,— она говорит и щебечет на непонятном языке так, что кажется, будто в королевский аудиенц-зал залетел многоцветный колибри. Под конец в качестве наиболее веского довода Магеллан зачитывает письмо своего друга Франсишку Серрано, ныне великого визиря Тернате, в котором тот пишет: «Здесь новый мир, обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой».

Только теперь, пробудив интерес высоких господ, Магеллан переходит к своим выводам и требованиям. Как он уже говорил, «Острова пряностей», богатства которых не поддаются исчислению, расположены так далеко на восток от Индии, что пытаться достичь их с востока, как это делают португальцы, сперва огибая Африку, затем весь Индийский залив, а потом еще и Зондское море,— значит делать ненужный крюк. Гораздо вернее плыть с запада, к тому же этот путь предрекан испанцам и его святейшеством папой. Правда, поперек него, словно исполинское бревно, лежит вновь открытый континент — Америка,— который будто бы, как ошибочно считают, нельзя обогнуть с юга. Но у него, Магеллана, имеются точные сведения, что там расположен проход — *passo, estrecho*,— и он обязуется эту открытую ему и Руй Фалейру тайну использовать в интересах испанского правительства, если оно предоставит ему флотилию. Только двигаясь по этому предложенному им пути, Испания сможет опередить португальцев, уже нетерпеливо протягивающих руки к этой сокровищнице мира, и тогда — низкий поклон в сторону щедедушного, бледного юноши с выпяченной «габсбургской» губой — его величество король, уже теперь один из могущественнейших монархов своего времени, станет еще и богатейшим властителем на земле.

Но, быть может, вставляет Магеллан, его величеству покажется непозволительным отправить экспедицию на Молуккские острова и тем самым вторгнуться в сферу, которую его святейшество папа при разделе земного шара отвел португальцам? Эти опасения напрасны. Благодаря своему точному знанию местонахождения островов, а также и математическим расчетам Руй Фалейру он, Магеллан, может наглядно доказать, что «Острова пряностей» расположены в зоне, которую его святейше-

ство папа предоставил Испании; поэтому неразумно, если Испания, невзирая на свое преимущественное право, будет медлить, дожидаясь, покада португальцы утвердятся в этой области испанских королевских владений.

Магеллан умолкает. Теперь, когда доклад из практического становится теоретическим, когда нужно посредством карт и меридианов доказать, что *Islas de la especeria* являются владениями испанской короны, Магеллан отходит в сторону и предоставляет своему партнеру Руй Фалейру космографическое аргументирование. Руй Фалейру приносит большой глобус; из его доказательств явствует, что «Острова пряностей» расположены в другом полушарии, по ту сторону папской линии раздела, и, следовательно, в сфере владычества Испании; и тут же Фалейру пальцем вычерчивает путь, предлагаемый им и Магелланом. Правда, впоследствии все сделанные Фалейру вычисления долгот и широт окажутся фантастическими: этот кабинетный географ не имеет и приблизительного представления о ширине еще не открытого и не пересеченного кораблями Тихого океана. Двадцать лет спустя установят к тому же, что все его выводы неверны и «Острова пряностей» все-таки расположены в сфере владычества Португалии, а не Испании. Все, что, оживленно жестикулируя, рассказывает взволнованный астроном, окажется совершенно ошибочным. Но ведь люди всех званий охотно верят тому, что сулит им выгоду. А так как высокоученый космограф утверждает, что «Острова пряностей» принадлежат Испании, то советникам испанского короля отнюдь не пристало опровергать его приятные выводы. Правда, когда потом некоторые из них, разгоревшись любопытством, пожелают увидеть на глобусе место, где расположен вожаделенный проход через Америку, будущий Магелланов пролив, то окажется, что он нигде не обозначен, и Фалейру заявит, что умышленно не отметил его, дабы великая тайна до последней минуты не была разгадана.

Император и его советники выслушали доклад, может быть, равнодушно, а может быть, уже с интересом. Но тут произошло самое неожиданное. Не гуманисты, не ученые воодушевляются этим проектом кругосветного плавания, которое должно будет окончательно определить объем Земли и доказать негодность всех существую-



щих атласов, но именно скептик Фонсека, епископ Бургосский, столь страшный для всех мореплавателей, высказывается за Магеллана. Возможно, что в душе он сознает свою вину перед мировой историей — преследование Колумба — и не хочет вторично прослыть врагом любой смелой мысли; возможно, что его убедили долгие частные беседы, которыми он удостоил Магеллана; во всяком случае, благодаря его выступлению вопрос решается положительно. В принципе проект одобрен, и Магеллан, как и Фалейру, получает официальное предложение в письменной форме представить совету его королевского величества свои требования и пожелания.

Этой аудиенцией, в сущности, все уже достигнуто. Но «имущему да воздастся», и кто однажды приманил к себе счастье, за тем оно следует по пятам. Эти несколько недель принесли Магеллану больше, нежели долгие предшествующие годы. Он нашел жену, которая его любит, друзей, которые его поддерживают, покровителей, сделавших его замысел как бы своим собственным, короля, который ему доверяет; теперь в разгар игры к нему приходит еще один решающий козырь. В Севилью неожиданно является знаменитый судовладелец Христофор де Аро (богатый фламандский коммерсант, работающий в постоянном контакте с крупным интернациональным капиталом того времени — с Вельзерами, Фуггерами, венецианцами), за свой счет снарядивший уже немало экспедиций. До той поры главная контора Аро находилась в Лисабоне. Но король Мануэл сумел и его озлобить своей скарденностью и неблагодарностью, поэтому все, что может досадить королю Мануэлу, ему как нельзя более на руку. Де Аро знает Магеллана, доверяет ему; вдобавок он считает, что и с коммерческой точки зрения предприятие сулит немалую прибыль, и поэтому обязуется в случае, если испанский двор и Casa de la Contratacion откажутся сами вложить необходимые деньги, снарядить в компании с другими коммерсантами нужную Магеллану флотилию.

Благодаря этому неожиданному предложению шансы Магеллана удваиваются. Стучась в дверь Casa de la Contratacion, он был просителем, ходатайствующим о

предоставлении ему флотилии, и даже после аудиенции там еще пытаются оспаривать его претензии, настаивать на снижении требований. Но теперь, с обязательством де Аро в кармане, он может выступать как капиталист, как человек, диктующий свои условия. Если двор не желает рисковать, на его планах это не отразится,— вправе гордо заявить Магеллан, ибо в деньгах он больше не нуждается и ходатайствует только о чести плыть под испанским флагом, за что и готов великодушно отчислить в пользу испанской короны пятую часть прибылей.

Это новое предложение, избавляющее испанский двор от всякого риска, настолько выгодно, что королевский совет весьма парадоксально, или, вернее, руководствуясь довольно здравыми соображениями, его отклоняет. Ведь если, прикидывает совет, столь прожженный делец, как Христофор де Аро, намерен вложить в это предприятие деньги, значит, оно чрезвычайно доходно. Не лучше ли поэтому финансировать его из королевской казны и таким образом обеспечить себе наибольшую прибыль, а вдобавок и славу. После недолгого торга все требования Магеллана и Руй Фалейру удовлетворяются, и дело с быстрой, отнюдь не свойственной работе испанских государственных канцелярий, проходит все инстанции. 22 марта 1518 года Карл V от имени своей (безумной) матери Хуаны подписывает, а затем и скрепляет собственноручной пышной подписью «Yo el Rey...»<sup>1</sup> «Капитуляцию» — действительный, двусторонний договор с Магелланом и Руй Фалейру.

«Ввиду того,— так начинается этот многословный документ,— что вы, Фернандо де Магелланес, рыцарь, уроженец Португальского королевства, и бакалавр Руй Фалейру, подданный того же королевства, намерены сослужить нам великую службу в пределах, в коих находится предоставленная нам часть океана, повелеваем мы, чтобы с этой целью с вами было заключено нижеследующее соглашение».

Далее идет ряд пунктов; согласно первому из них, Магеллану и Фалейру предоставляется исключительное и

<sup>1</sup> «Я, король...» (исп.).

преимущественное право открывать земли в этих неисследованных морях. «Вам,— дословно говорится витиеватым языком королевской канцелярии,— надлежит действовать успешно, дабы открыть ту часть океана, коя заключена в отведенных нам пределах, а так как было бы несправедливо, ежели бы, в то время как вы туда направляетесь, другие бы вам причиняли убытки, тем же самым делом занимаясь, тогда как вы взяли на себя бремя этого предприятия,— я, по милости и воле своей, повелеваю и обещаю, что на первые десять предстоящих лет мы никому не будем давать разрешения плыть по тому же пути с намерением совершать те открытия, кои вами были задуманы. А ежели кто-либо пожелает таковые плавания предпринять и станет на то наше соизволение испрашивать, то мы, прежде чем таковое соизволение даровать, намерены о том вас известить, дабы вы в продолжение того же времени, с тем же снаряжением и столькими же кораблями, как те другие, подобное открытие замыслившие, сами могли бы такое совершить». В следующих, касающихся денежных вопросов параграфах Магеллану и Фалейру «во внимание к доброй их воле и оказанным ими услугам» обещается двадцатая часть всех доходов, какие будут извлечены из вновь открытых ими земель, а также если им удастся найти более шести новых островов, право владения двумя из них. Кроме того, как и в договоре, заключенном с Колумбом, им обоим, а также их сыновьям и наследникам жалуются титул *adelantado* (наместника) всех этих земель и островов. То, что экспедицию для наблюдения над денежными расчетами будут сопровождать королевский контролер (*veedor*), казначей (*tesorero*) и счетовод (*contador*), отнюдь не ограничивает свободы действий обоих капитанов. Далее, король обязуется снарядить пять судов условленного тоннажа и на два года обеспечить их командой, продовольствием и артиллерией; этот документ всемирно-исторического значения заканчивается торжественными словами: «И касательно всего этого я обещаю и ручаюсь своей честью и королевским своим словом, что мною приказано будет все и каждую статью соблюдать в точности, как они здесь изложены, и с этой целью я повелевал, чтобы означенная капитуляция была составлена и моим именем подписана».

Но это не все. Издаётся ещё особое постановление, предписывающее всем правительственным учреждениям и чиновникам Испании, от высших до низших, отныне и впредь (*en todo y por todo, para agora y para siempre*) ознакомиться с этим договором, дабы оказывать Магеллану и Фалейру содействие во всех делах вообще и в каждом деле в частности, причем приказ об этом надлежит сообщить «...al Ilustrisimo Infante D. Fernando, y à los Infantes, Prelados, Duques, Condes, Marqueses, Ricos-homes, Maestres de las Ordenes, Comendadores y Subcomendadores... Alcaldes, Alguaciles de la nuestra Casa y Corte y Chancillerias, y à todos los Concejos, y Gobernadores, Corregidores y Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Meriones, Prebostes, Regidores y otras cualesquier justicias y oficiales de todas las ciudades, villas y logares de los nuestros Reinos y Señorios», то есть «...светлейшему инфанту дону Фернандо и инфантам, прелатам, герцогам, графам, маркизам, вельможам, магистрам орденов, командорам и вице-командорам, алькайдам, альгвасилам нашего совета и двора и канцелярий и всем советникам, губернаторам, коррегидорам и заседателям, алькайдам, альгвасилам, старшинам, начальникам стражи, рехидорам и прочим лицам, состоящим в судебных и гражданских должностях во всех городах, селениях и местностях наших королевств и владений», то есть всем сословиям, и учреждениям, и отдельным лицам, от наследника престола и до последнего солдата, это постановление черным по белому возвещает, что с данной минуты, в сущности, все испанское государство поставлено на службу двум неизвестным португальским эмигрантам.

На большее Магеллан даже в самых смелых своих мечтах не мог надеяться. Но происходит нечто ещё более чудесное и знаменательное. Карл V, в юношеские свои годы обычно медлительный и сдержанный, выказывает себя наиболее рьяным и пылким поборником этого плавания новых аргонавтов. По-видимому, в исполненном достоинства поведении Магеллана или в смелости самого предприятия было что-то необычайно разжегшее юного монарха, ибо он больше всех торопит снаряжение и отправку экспедиции. Еженедельно запрашивает он о ходе работ, и, где бы ни обнаружилось противодействие, Магеллану стоит только обратиться к нему, и коро-

левская грамота тотчас сокрушает любое препятствие; едва ли не единственный раз за все свое долгое царствование этот обычно нерешительный и поддающийся чужому влиянию монарх с неизменной преданностью служил великой идее. Иметь своим помощником такого монарха, располагать силами целой страны — этот баснословный взлет должен казаться Магеллану чудом. За одну ночь он, безродный нищий, отверженный и презираемый, сделался адмиралом, кавалером ордена Сант-Яго, наместником всех островов и земель, которые будут им открыты, господином над жизнью и смертью, повелителем целой армады и прежде всего, наконец, и впервые — господином своих поступков.

# ВОЛЯ ОДНОГО ПРОТИВ ТЫСЯЧИ ПРЕПЯТСТВИЙ

22 марта 1518 г.— 10 августа 1519 г.



**К**огда речь идет о великих достижениях, то, упрощая наблюдение, мир охотнее всего останавливается на драматических, ярких моментах из жизни своих героев: Цезарь, переходящий Рубикон, Наполеон на Аркольском мосту. Но зато в тени остаются не менее значительные творческие годы подготовки вошедшего в историю подвига, духовное, долготерпеливое, постепенное созидание. Так и в случае с Магелланом для художника, поэта соблазнительно, конечно, изобразить его в момент триумфа плывущим по открытому им водному пути. На деле же его необычайная энергия всего разительнее проявилась в то время, когда еще нужно было добиваться флотилии, создавать ее и вопреки тысяче противодействий ее снаряжать. Бывший sobresaliente, «неизвестный солдат», оказывается поставленным перед геркулесовой задачей, ибо этому человеку, еще неопытному в вопросах организации, предстоит выполнить нечто совершенно новое и беспрецедентное — снарядить флотилию из пяти

судов в еще небывалое плавание, для которого непригодны все прежние представления и масштабы. Никто не может помочь Магеллану советом в его начинаниях, ибо никому неизвестны эти неисхоженные еще земли, не изборозженные моря, в которые он решается проникнуть первым. Никто не может хотя бы приблизительно сказать ему, сколько времени продлится странствие вокруг еще не измеренного земного шара, в какие страны, в какие климатические пояса, к каким народам приведет его этот неизвестный путь. Итак, с учетом всех мыслимых возможностей — полярной стужи и тропического зноя, ураганов и штелей, войны и торговли — на год, а может быть, на два, на три года должна быть снаряжена флотилия; и все эти с трудом поддающиеся учету нужды должен установить он один, во что бы то ни стало добиться их удовлетворения, преодолевая самые неожиданные противодействия. И лишь теперь, когда этому человеку, прежде только выработывавшему свой план, открываются все трудности его выполнения, для всех становится очевидным внутреннее величие того, кто столь долго оставался в тени. Тогда как его соперник по мировой славе, Колумб, этот «Дон Кихот морей», наивный, неопытный в житейских делах фантазер, предоставил все практические хлопоты по снаряжению экспедиции Пинсону и другим кормчим, Магеллан сам занимается всем непосредственно; он — подобно Наполеону — настолько же смел в создании общего плана, насколько точен и педантичен в продумывании, в расчете каждой детали. И в нем гениальная фантазия сочетается с гениальной точностью; как Наполеону за много недель до его молниеносного перехода через Альпы приходилось заранее высчитывать, сколько фунтов пороху, сколько мешков овса должно быть заготовлено на такой-то день, на таком-то этапе наступления, — так и этот завоеватель вселенной, снаряжая флотилию, должен на два-три года вперед предусмотреть все необходимое и по возможности предотвратить все лишения. Исполнительская задача для одного человека — в подготовке такого сложного, необозримо огромного начинания преодолеть все бесчисленные препятствия, неизбежно возникающие при воплощении идеи в жизнь. Месяцы борьбы потребовались на одно только раздобывание кораблей. Правда, император дал

слово принять все необходимые меры и приказал всем правительственным учреждениям оказывать Магеллану безусловное содействие. Но между приказом, даже императорским, и его выполнением остается немалый простор для всевозможных проволочек и задержек; чтобы подлинно творческое начинание было завершено, его должен осуществлять сам творец. И действительно, подготавливая подвиг своей жизни, Магеллан не поручал другим ничего, даже самой ничтожной мелочи. Неустанно ведя переговоры с Индийской палатой, с правительственными учреждениями, с купцами, поставщиками, ремесленниками, он в сознании ответственности перед теми, кто вверит ему свою жизнь, вникает в каждую мелочь. Он сам принимает все товары, проверяет каждый счет, лично обследует все поступающее на борт — каждый канат, каждую доску, оружие и продовольствие; от верхушки мачт до киля он каждое из пяти судов знает так же хорошо, как любой ноготь на собственной руке.

И так же как некогда люди, восстанавливавшие стены Иерусалима, работали с лопатой в одной и с мечом в другой руке, так и Магеллан, готовя свои суда к отплытию в неведомое, одновременно должен обороняться от злопыхательства и вражды тех, кто любой ценой стремится задержать экспедицию. Героическая борьба на три фронта: с внешними врагами, с врагами в самой Испании и с сопротивлением, которое косная земная материя неизменно оказывает любому начинанию, возвышающемуся над обычным уровнем. Но ведь только сумма преодоленных препятствий служит истинно правильным мериллом подвига и человека, его совершившего.

Первая атака против Магеллана исходит от Португалии. Разумеется, король Мануэл тотчас же узнал о заключении договора. Худшей вести ему не могли сообщить. Монополия торговли пряностями доставляет королевской казне двести тысяч дукатов в год, к тому же его флоту только теперь удалось пробраться к подлинно золотосной жиле — к Молуккским островам. Какое страшное бедствие, если испанцы в последнюю минуту с востока подойдут к этим островам и займут их! Опасность, грозящая королевской казне, слишком велика, чтобы ко-



роль Мануэл не попытался любыми средствами воспрепятствовать роковой экспедиции. Поэтому он официально поручает своему послу при испанском дворе Алвару да Кошта задушить зловредный замысел еще до его осуществления.

Алвару да Кошта энергично берется за дело с обоих концов сразу. Прежде всего он отправляется к Магеллану, пытаясь то кнутом, то пряником одновременно и соблазнить и запугать его. Неужели, дескать, Магеллан не сознает, какой грех он принимает на себя перед богом и своим королем, служа чужому монарху? Неужели ему не известно, что законный его государь, дон Мануэл, намерен жениться на сестре Карла V, Элеоноре, и что если королю Мануэлу именно теперь будет причинен ущерб, этот брак расстроится? Не поступит ли Магеллан разумнее, честнее, добропорядочнее, снова отдав себя в распоряжение законного своего государя, который, разумеется, в Лисабоне щедро наградит его? Но Магеллан хорошо знает, как мало расположен к нему его законный государь, и, справедливо полагая, что по возвращении на родину его ожидает не туго набитый мешок золота, а меткий удар кинжала, с учтивым сожалением заявляет: теперь уже поздно; он дал слово испанскому королю — и должен его сдержать.

Маленького человека Магеллана, ничтожную, но все же опасную пешку в разыгрываемой дипломатами шахматной партии, снять не удалось. Тогда Алвару да Кошта решается на дерзкий «шах королю». Об упорстве, с которым он докучал юному монарху, свидетельствует его собственноручное письмо к королю Мануэлу: «Что касается дела Фернана Магеллана, то одному богу известно, сколько я хлопотал и какие прилагал старания. Я весьма решительно говорил об этом деле с королем... указывал ему, сколь это неблагоприятный и предосудительный поступок, когда один король, вопреки ясно выраженной воле другого дружественного короля, принимает на службу его подданных. Просил я его также уразуметь, что не время сейчас уязвлять ваше величество, к тому же делом столь незначительным и ненадежным. Ведь у него достаточно собственных подданных и людей, дабы во всякое время возможно было делать открытия, не прибегая к услугам тех, кто недоволен вашим величеством.

Представлял ему, как сильно ваше величество оскорбится, узнав, что эти люди просили дозволения вернуться на родину и не получили такового от испанского правительства. Наконец, я попросил ради его собственного и вашего величества блага выбрать одно из двух: либо дозволить этим людям вернуться на родину, либо на год отложить их экспедицию».

Восемнадцатилетний монарх, лишь недавно взошедший на престол, еще не очень опытен в дипломатических делах. Поэтому он не может полностью скрыть своего изумления перед наглой ложью Алвару, будто Магеллан и Фалейру жаждут вернуться на родину и только испанское правительство чинит им в этом препятствия. «Он был настолько ошеломлен,— сообщает да Кошта,— что меня самого это поразило».

Во втором предложении португальского посланника — на один год отложить экспедицию — он тоже сразу угадывает подвох. Ведь именно этот один год и нужен Португалии, чтобы на своих кораблях опередить испанцев. Холодно отклоняет молодой король предложения да Кошта: пусть лучше посол переговорит с кардиналом Адрианом Утрехтским. Кардинал, в свою очередь, отправляет посла к королевскому совету, совет — к епископу Бургосскому. Путем таких проволочек, сопровождаемых неизменными заверениями, что король Карл V и в помыслах не имеет причинять хотя бы малейшие затруднения своему «*miu caro é miu amado tio é herman*»<sup>1</sup> королю Мануэлу, дипломатический протест Португалии потихоньку кладется под сукно. Алвару да Кошта ничего не добился, более того: ретивое вмешательство Португалии неожиданно пошло на пользу Магеллану. Станным образом в судьбе вчера еще безвестного идальго скрещиваются капризы двух великих властителей мира. Лишь в ту минуту, когда король Карл доверил Магеллану флотилию, бывший незначительный офицер португальской службы становится важной персоной в глазах короля Мануэла. И опять же — с минуты, когда король Мануэл любой ценой пожелает вернуть себе Магеллана, король Карл уже ни за что его не уступит. И теперь, чем больше Испания будет стараться ускорить отплытие, тем ожесточеннее будет мешать ему Португалия.

<sup>1</sup> Дражайшему и возлюбленному дяде и брату (исп.).

Дальнейшая работа по тайному саботажу экспедиции в основном поручается Лисабоном Себастьяну Алваришу, португальскому консулу в Севилье. Этот чиновный шпион постоянно шныряет вокруг кораблей флотилии, записывает и подсчитывает все принимаемые на борт грузы; кроме того, он завязывает весьма дружеские отношения с испанскими капитанами и при случае с притворным негодованием спрашивает, правда ли, что кастильские дворяне вынуждены будут беспрекословно повиноваться двум безродным португальским искателям приключений? А ведь национализм, как мы знаем по опыту, — струна, звучащая даже под самой неискренней рукой; вскоре уже все севильские моряки бранятся и негодуют. Как? Этим перебежчикам, не совершившим ни одного плавания под испанским флагом, за пустое бахвальство доверили флотилию, произвели их в адмиралы и кавалеры ордена Сант-Яго? Но Алваришу мало глухого перешептывания и ропота за капитанскими пирушками и в тавернах. Он стремится к настоящему восстанию, которое могло бы стоить Магеллану адмиральской должности, а может быть — тем лучше! — и жизни. И такого рода возмущение искусный провокатор инсценирует, надо отдать ему справедливость, с подлинным мастерством.

В любой гавани слоняется бесчисленное множество тунеядцев, не знающих, как убить время. И вот в солнечный октябрьский день — ведь нет ничего приятнее для лодыря, как смотреть на работу других, — толпа празднующихся собралась у «Тринидад», флагманского судна Магеллана, только что пришвартованного к набережной для конопачения и килевания. Заложив руки в карманы, а быть может, и неспешно перетирая зубами новое вест-индское зелье — табак, следят севильцы за тем, как корабельные мастера смолой и паклей тщательно конопачивают все щели. Вдруг кто-то из толпы указывает на прот-мачту «Тринидад» и возмущенно кричит: «Что за наглость! У этого безродного бродяги Магеллана хватает бесстыдства здесь, в Севилье, в гавани королевского испанского флота, на испанском судне поднять португальский флаг! Разве может андалузец стерпеть такую обиду?» В первую минуту зеваки, к которым обращена эта пылкая речь, не замечают, что ярый патри-

от, так страстно негодующий на обиду, нанесенную национальной чести, вовсе не испанец, что это португальский консул Себастьян Алвариш играет роль полицейского провокатора. На всякий случай они усердно вторят его выкрикам. Заслышав шум и гам, со всех сторон сбегаются другие зеваки. А затем уже достаточно кому-то предложить без долгих разговоров попросту сорвать иностранный флаг, и вся орава устремляется на корабль.

Магеллан, с трех часов утра наблюдающий за работой корабельных мастеров, поспешно разъясняет прибежавшему вместе с толпой алькайду, что здесь произошло недоразумение. Только по чистой случайности на грот-мачте не развеивается испанский флаг: как раз сегодня его сняли, чтобы подновить. А тот, другой флаг, — отнюдь не португальский, а его собственный, адмиральский, который он обязан поднимать на флагманском судне. Учтиво разъяснив алькайду суть происшедшего недоразумения, Магеллан просит его убрать с борта всех этих бесчинствующих буянов.

Но разъярить толпу людей или даже целый народ всегда легче, чем уговорить. Толпа требует потехи, и алькайд становится на ее сторону. Прежде всего — долой иностранный флаг, не то они сами распорядятся! Тщетно старается доктор Матьенсо, высшее должностное лицо Индийской палаты, водворить мир на борту. Алькайд тем временем раздобыл патриотическое подкрепление — коменданта гавани с внушительным отрядом полицейских. Комендант обвиняет Магеллана в оскорблении испанской короны и приказывает альгвасилам арестовать капитана, осмелившегося в испанской гавани поднять флаг португальского короля.

Теперь Матьенсо принимает энергичные меры. Он предостерегает коменданта: для королевского чиновника довольно-таки рискованное предприятие арестовать капитана, которого сам король облек высокими полномочиями, скрепив их печатью и собственноручным письмом. Разумнее будет ему не ввязываться в это дело. Но слишком поздно! Между экипажем Магеллана и портовым сбродом уже произошло столкновение. Мечи выхвачены из ножен, и только присутствие духа и невозмутимое спокойствие Магеллана предотвращают кровавое по-

боище, столь искусно подстроенное провокатором, удовлетворенно посматривающим на дело своих рук. Ладно, заявляет Магеллан. Он готов спустить флаг и даже очистить судно; пусть чернь обходится с королевским достоинством, как ей заблагорассудится,— ответственность за возможные убытки, конечно, падет на портовых чиновников. Теперь разгорячившемуся алькайду становится не по себе: оскорбленные в своей национальной чести молодцы расходятся с глухим ворчанием, чтобы уже через несколько дней отведать кнута, ибо Магеллан немедленно написал Карлу V, заявляя, что в его, Магеллана, лице нанесено оскорбление королевской власти, и Карл V, ни минуты не колеблясь, становится на сторону своего адмирала: портовые чиновники несут наказание. Алвариш возликовал слишком рано, и работа беспрепятственно продолжается.

Железным спокойствием Магеллана посрамлена коварная вылазка. Но в таком сложном предприятии едва успеешь зачинить одну прореху, как уже обнаруживается другая. Каждый день приносит новые неприятности. Сначала Casa de la Contratacion оказывает пассивное сопротивление, и лишь после того как над самым ухом чиновников взрывается собственноручно подписанный императором указ, они перестают прикидываться глухими. Но затем, в самый разгар сборов, казначей вдруг заявляет, что касса Casa de la Contratacion пуста, и снова начинает казаться, что отсутствие денег до бесконечности затянет дело. Однако непреклонная воля Магеллана преодолевает и это препятствие: он уговаривает двор принять в долю ряд состоятельных горожан. Из восьми миллионов мараведисов — сумма, в которую должно обойтись снаряжение армады,— два миллиона немедленно доставляет консорциум, наспех организованный Хриstoffором де Аро; в награду за эту услугу он получает право на тех же основаниях участвовать и в последующих экспедициях.

Только теперь, когда денежные дела упорядочены, можно по-настоящему приняться за подготовку кораблей к плаванию и за снабжение их всем необходимым. Не очень-то царственный вид имели эти, согласно дого-

вору, поставленные его величеством пять галионов, когда они впервые появились в Севильском порту. «Корабли,— злорадно доносил в Португалию шпион Алвариш,— ветхи и все в заплатах. Я бы не решился плыть на них даже до Канарских островов, ибо борта у них мягкие, как масло». Но Магеллану, испытанному в дальних плаваниях моряку, хорошо известно, что в пути старая кляча зачастую надежнее молодого коня и что добросовестный ремонт может даже самые поношенные суда снова сделать годными; не теряя времени, покуда корабельные мастера день и ночь по его указаниям чинят и подправляют старые посудины, он приступает к набору опытных моряков для команды.

Но новые трудности уже притаились в тиши! Хотя глашатаи с барабанным боем уже прошли по улицам Севильи, хотя вербовщики добрались до Кадиса и Палоса,— необходимых двухсот пятидесяти человек все же не удастся собрать; видно, распространился слух, что с этой экспедицией не все обстоит благополучно: вербовщики не в состоянии ясно и определенно сказать, куда, в сущности, она направляется; то, что суда — небывалый еще случай! — забирают с собой на целых два года продовольствия, тоже внушает морякам немалые опасения. Вот почему оборванцы, которых в конце концов удастся завербовать, мало походят на заправский экипаж; эта разношерстная ватага скорее напоминает воинов Фальстафа, в ней представлены все племена и народы: испанцы и негры, баски и португальцы, немцы, уроженцы Кипра и Корфу, англичане и итальянцы, но все настоящие *desperados*, согласные продать жизнь хоть самому дьяволу и с одинаковой охотой (или неохотой) готовые плыть на север и на юг, на восток или на запад, были бы деньги да надежда на хорошую поживу.

Не успели сколотить команду, как уже возникает новое осложнение. *Casa de la Contratacion* возражает против произведенного Магелланом набора; ее чиновники находят, что он завербовал в королевскую испанскую армаду слишком много португальцев, и заявляют, что не станут выплачивать чужакам ни одного мараведиса. Но королевская грамота дает Магеллану неограниченное право вербовать людей по своему усмотрению (*que la gente de mar que se tomase fuese a su contento como persona*

que de ella tenía mucha experiencia<sup>1)</sup>), и он на этом праве настаивает; итак, снова письмо к королю, снова просьба о помощи. Но на сей раз Магеллан задел больное место. Якобы из нежелания оскорбить короля Мануэла, на деле же — из опасения, как бы Магеллан со своими португальцами не почувствовал себя слишком самостоятельным, Карл V разрешает оставить на всю флотилию не свыше пяти португальцев. А тем временем уже возникают новые затруднения: то в срок не доставляются товары, экономии ради закупленные в других областях и даже в Германии, то вдруг один из капитанов испанцев отказывает адмиралу в повиновении и в присутствии команды оскорбляет его, — опять приходится обращаться ко двору, опять просить королевского бальзама для врачевания ран. Каждый день несет с собой новые дрязги, из-за всякой мелочи завязывается нескончаемая переписка с соответствующими ведомствами и с королем. Указ следует за указом; десятки раз кажется, что вся армада потерпит крушение, не успев даже покинуть Севильскую гавань.

И снова неуклонной, настойчивой энергией Магеллан преодолевает все препятствия. Ретивый посол короля Мануэла вынужден с тревогой признать, что все его грязные происки, все его надежды расстроить экспедицию разбилась о терпеловое, но неизменно стойкое сопротивление Магеллана. Уже пять кораблей, заново оснащенных, забравших на борт почти весь груз, ожидают приказа выйти в море, уже, уже, кажется, невозможно чем-нибудь повредить Магеллану. Но в колчане Алвариша еще хранится последняя стрела, к тому же отравленная; туго и коварно натягивает он тетиву, чтобы поразить Магеллана в наиболее уязвимое место. «Полагая, что теперь пришло время, — доносит тайный агент своему доверителю, королю Мануэлу, — высказать то, что ваше величество мне поручило, я отправился к Магеллану на дом. Я нашел его занятым укладкой продовольствия и других вещей в ящики и коробки. Из этого я заключил, что он окончательно утвердился в своем зловредном замысле, и, памятуя, что это последняя моя с ним беседа, еще раз напомнил ему, сколь часто я, как добрый португа-

<sup>1</sup> ...чтобы экипаж был составлен согласно его собственным, как лица, имеющего большой опыт, желаниям (исп.).

лец и его друг, пытался его удержать от той великой ошибки, которую он намерен совершить. Я доказывал, что лежащий перед ним путь таит не меньше страданий, чем колесо святой Екатерины, и что не в пример благо-разумнее было бы ему возвратиться на родину, под сень вашего благословения и милостей, на которые он смело может рассчитывать... Я убеждал его, наконец, уяснить себе, что все знатные кастильцы в этом городе отзываются о нем не иначе как о человеке низкого про-исхождения и дурного воспитания и что с тех пор как он противопоставил себя стране вашего величества, его повсюду презирают как предателя».

Но все эти угрозы не производят ни малейшего впечатления на Магеллана. То, что сейчас под личиной дружбы сообщает Алвариш, для него отнюдь не ново. Никто лучше его самого не знает, что Севилья, Испания враждебно к нему настроены, что кастильские капитаны со скрежетом зубным подчиняются ему как адмиралу. Но пусть ненавидят его господ севильские алькайды, пусть брюзжат завистники и ропщут люди «голубой крови» — теперь, когда корабли готовы к отплытию, никто, никакой император, никакой король уже не остановит его, не помешает ему. Выйдя наконец в открытое море, он уже будет вне опасности. Там он властелин над жизнью и смертью, властелин своего пути, властелин своих целей, там ему некому служить, кроме своей великой задачи.

Но Алвариш еще не разыграл последнего, заботливо приберегаемого козыря. Теперь он его выкладывает. В самый последний раз, с лицемерной ласковостью говорит он, хочет он дать Магеллану «дружеский» совет: он «искренне» призывает его не доверять медоточивым речам кардинала и даже обещаниям испанского короля. Правда, король назначил его и Фалейру адмиралами и тем самым, казалось бы, вручил им неограниченную власть над флотилией. Но уверен ли Магеллан, что другим лицам не даны одновременно тайные инструкции, негласно ограничивающие его полномочия? Пусть он себя не обманывает, а главное — не дается в обман другим. Несмотря на грамоты и печати, его безраздельная власть построена на песке; чиновники, сопровождающие экспедицию — больше он не вправе открыть Магеллану,—



снабжены всякого рода секретными инструкциями и постановлениями, «о которых Магеллан узнает, когда будет уже поздно для спасения чести».

«Поздно для спасения чести...» Магеллан невольно вздрагивает. Это движение несокрушимого человека, умеющего железной волей подавлять любое волнение, выдает, что стрела попала в самое уязвимое место, и стрелок с гордостью сообщает: «Он был чрезвычайно изумлен, что мне столь многое известно». Но созидатель всегда лучше других знает как скрытый изъян своего создания, так и степень его опасности: то, о чем намеками говорит Алвариш, давно известно Магеллану. С некоторых пор он замечает известную двойственность в поведении испанского двора, и различные симптомы заставляют его опасаться, что с ним ведут не совсем чистую игру. Разве император однажды уже не нарушил договора, запретив взять на борт свыше пяти португальцев? Неужто при дворе его и вправду считают тайным агентом Португалии? А эти навязанные ему люди — все эти *veedores*, *contadores*, *tesoreros*<sup>1</sup> — только ли они чиновники Счетной палаты? Не назначены ли они сюда, чтобы тайно следить за ним и в конце концов вырвать у него из рук командование? Давно уже ощущает Магеллан на своей спине холодное дыхание ненависти и предательства; доля истины — нельзя не признать этого — заложена в вероломных инсинуациях хорошо осведомленного шпиона, и он, все так точно рассчитавший, оказывается безоружным перед лицом опасности. Подобное чувство испытывает человек, севший за карточный стол в компании незнакомцев и еще прежде, чем взяться за карты, встревоженный подозрением, что это сговорившиеся между собой шулеры.

В эти часы Магеллан переживает столь незабываемо воссозданную Шекспиром трагедию Кориолана, из чувства оскорбленной чести ставшего перебежчиком. Подобно Магеллану, Кориолан — доблестный муж, патриот, долгие годы самоотверженно служивший родине, отвергнутый ею и в ответ на эту несправедливость предоставивший свои еще не исчерпанные силы в распоряжение противника. Но никогда, ни в Риме, ни в Севилье, перебеж-

---

<sup>1</sup> Контролеры, счетоводы, казначеи (исп.).

чика не спасают чистые побуждения. Словно тень, сопутствует ему подозрение: кто покинул одно знамя — может изменить и другому, кто отрекся от одного короля — способен предать и другого. Перебежчик гибнет и победив и потерпев поражение; одинаково ненавистный победителям и побежденным, он всегда один против всех. Но трагедия неизменно начинается лишь тогда, когда ее герой постигает трагизм своего положения. Быть может, в эту секунду Магеллан впервые преодолел все грядущие бедствия.

Но быть героем — значит сражаться и против всемогущей судьбы. Магеллан решительно отстраняет искушителя. Нет, он не вступит в соглашение с королем Мануэлом, даже если Испания плохо отблагодарит его за заслуги. Как честный человек, он останется верен и своему слову, и своим обязательствам, и королю Карлу. Раздосадованный Алвариш уходит ни с чем; поняв, что только смерть может сломить волю этого непреклонного человека, он заканчивает посылаемый в Лисабон рапорт благочестивым пожеланием: «Да будет угодно всевышнему, чтобы их плавание уподобилось плаванью братьев Кортереал», — другими словами: пусть Магеллан и его флотилия так же бесследно исчезнут в неведомых морях, как отважные братья Кортереал, место и причина гибели которых навеки остались тайной. Если это «благочестивое» пожелание сбудется, если Магеллан действительно погибнет в пути, тогда «вашему величеству не о чем больше тревожиться, и ваша мощь будет попрежнему внушать зависть всем монархам мира».

Стрела коварного шептуна не сразила Магеллана и не заставила отступить от своей задачи. Но яд ее, горький яд сомнения, будет отныне разъедать его душу. С этой минуты Магеллан знает или предполагает, что он и на своих собственных судах ежечасно окружен врагами. Но это тревожное чувство не только не ослабляет воли Магеллана, а, напротив, закаляет ее для нового решения. Кто чувствует близость бури, тот знает, что одно лишь может спасти корабль и команду: если капитан железной рукой держит руль, а главное — держит его один.

Итак, прочь все, что препятствует его воле! Кулаками, локтями отталкивает он каждого, кто может стать ему поперек дороги. Именно теперь, почувствовав за своей спиной всех этих «контролеров» и «казначеев», Магеллан решает действовать с предельной самостоятельностью и беспощадностью. Он знает, что в решающую минуту только одна воля должна решать и руководить: недопустимо, чтобы командование флотилией и впредь было разделено между двумя capitán-generales, двумя адмиралами. Один должен стоять над всеми, а если нужно — и против всех. Поэтому он уже не хочет обременять себя в столь опасном плавании таким взбалмошным равноправным начальником, как Руй Фалейру, — прежде чем суда выйдут из гавани, этот балласт должен быть сброшен за борт. Ведь астроном уже давно стал для Магеллана ненужной обузой. Ничем не помог ему теоретик в эти изнурительные, тяжкие месяцы. Не дело звездочета вербовать матросов, конопатить суда, готовить провизию, испытывать мушкеты и писать уставы; взять его с собой — значит навесить себе камень на шею, а у Магеллана должны быть развязаны руки, чтобы бороться, направо и налево отбиваться от опасностей, встающих перед ним, и от заговоров, составленных за его спиной.

Как удалось Магеллану, проявив здесь в полной мере свое дипломатическое мастерство, отделаться от Фалейру, мы не знаем. Говорят, что Фалейру сам составил свой гороскоп и, установив, что ему не вернуться живым из этого плавания, добровольно от него отступился. С внешней стороны — уход деликатно спроваженного Фалейру обставляется чем-то вроде повышения: императорский указ назначает его единоначальным адмиралом второй флотилии (только на бумаге имеющей борта и паруса), взамен чего Фалейру уступает Магеллану свои карты и астрономические таблицы. Таким образом, устранена последняя из бесчисленных трудностей, и предприятие Магеллана снова становится тем, чем оно было вначале: его мыслью, его кровным делом. На него одного падут теперь все тяготы и труды, ответственность и опасности, ему же достанется и высшая духовная радость творческой природы: отвечая только перед самим собой, завершить им самим избранное дело своей жизни.

# ОТПЛЫТИЕ

20 сентября 1519 года



**Д**есятого августа 1519 года, через год и пять месяцев после того, как Карл, будущий властелин Старого и Нового Света, подписал договор, все пять судов покидают наконец сеvilский рейд, чтобы отправиться вниз по течению к Сан-Лукар де Баррамеда, где Гвадалквивир впадает в открытое море; там произойдет последнее испытание флотилии и будут приняты на борт последние запасы продовольствия. Но, в сущности, прощание уже свершилось: в церкви Санта-Мария де ла Виктория Магеллан, в присутствии всего экипажа и благоговейно созерцавшей это зрелище толпы, преклонил колена и, произнеся присягу, принял из рук коррегидора Санчо Мартинес де Лейва королевский штандарт. Быть может, в эту минуту ему вспомнилось, что и перед первым своим отплытием в Индию он так же преклонил колена в соборе и так же принял присягу. Но флаг, на верность которому он тогда присягал, был другой, португальский, и не за Карла Испанского, а за короля Порту-

галии, Мануэла, поклялся он тогда пролить свою кровь. И с таким же благоговением, с каким некогда юный sobresaliente взирал на адмирала Алмейду, когда тот, развернув стяг, поднял его над головами коленопреклоненной толпы, смотрят сейчас двести шестьдесят пять человек экипажа на Магеллана — вершителя их судеб.

Здесь, в Сан-Лукарской гавани, против дворца герцога Медина-Сидониа, Магеллан производит последний смотр перед отплытием в неведомую даль.

Он проверяет снова и снова свою флотилию перед выходом так же заботливо и трепетно-любовно, как музыкант настраивает свой инструмент, хотя эти пять кораблей он уже знает так же досконально, как собственное тело. А как он был напуган, когда впервые увидел эти наспех закупленные суда — запущенные, изношенные. Но с тех пор проделана немалая работа, и все эти ветхие галионы приведены в исправность. Прогнившие брусья и балки заменены новыми, от киля и до верхушек мачт везде все просмолено и навощено, проконопачено и вычищено. Каждую балку, каждую доску Магеллан собственноручно выстукал, чтобы определить, не подгнило ли дерево, не завелась ли в нем червоточина; каждый канат проверил он, каждый болт, каждый гвоздь. Из добротного холста сделаны свежескрашенные паруса, осененные крестом святого Яго, покровителя Испании; новы и прочны якорные цепи и канаты, до блеска начищены металлические части, каждая мелочь заботливо и аккуратно пригнана к месту: никакой шпион, никакой завистник не осмелился бы теперь смеяться над обновленными, помолодевшими кораблями. Правда, быстросходными они не стали, эти толстобрюхие, округлые парусники, и для гонок вряд ли приспособлены, но изрядная ширина и большая осадка делают их довольно вместительными и надежными; даже при сильном волнении, как раз вследствие своей неповоротливости, они, насколько в этом мире можно что-нибудь предвидеть, смогут выдержать жестокие штормы. Самый большой из этой корабельной семьи, «Сан-Антонио», вместимостью в сто двадцать тонн. Но по какой-то причине, нам не известной, Магеллан предоставляет командование им Хуану де Картахене, а флагманским судном, Capitana, избирает «Тринидад», хотя грузоподъемность его на десять

тонн меньше. За ним по ранжиру следуют девяностотонная «Консепсьон», капитаном которой назначен Гаспар Кесада, «Виктория» (судно сделает честь своему имени) под начальством Луиса де Мендоса, вместимостью в восемьдесят пять тонн, и «Сант-Яго» — семьдесят пять тонн — под командой Жуана Серрано. Магеллан настойчиво стремился составить свою флотилию из разнотипных кораблей: менее крупные из них ввиду их небольшой осадки он предполагает использовать в качестве передовых разведчиков. Но, с другой стороны, немало искусства потребуется от мореплавателей, чтобы в открытом море сомкнутым строем вести столь разнородную флотилию.

Магеллан переходит с корабля на корабль, чтобы прежде всего везде проверить грузы. А ведь сколько раз он уже карабкался вверх и вниз по каждому трапу, сколько раз он вновь и вновь составлял подробнейшую опись всего снаряжения и запасов: благодаря уцелевшим архивным документам мы можем убедиться, с какой заботливостью и тщательностью, с каким учетом мельчайших деталей было продумано и подготовлено одно из самых фантастических начинаний в мировой истории. До последнего мараведиса обозначена в этих объемистых реестрах стоимость каждого молотка, каждого каната, каждого мешочка соли, каждой стопы бумаги: и эти сухие, ровные, выведенные равнодушной рукой писца столбцы цифр, со всеми их графами и подразделениями, пожалуй, красноречивей любых патетических слов свидетельствуют о подлинно гениальном терпении этого человека. Магеллан как опытный моряк понимал всю ответственность такой экспедиции в еще никому не ведомые земли. Он знал, что самый ничтожный предмет, забытый по недосмотру или по легкомыслию, забыт уже безвозвратно на все время плавания; в этих особых условиях никакое упущение, никакая ошибка уже не могут быть ни заглажены, ни исправлены, ни искуплены. Любой гвоздь, любая кипа пакли, любой слиток свинца или капля масла, любой листок бумаги в неведомых странах, куда он держит путь, представляют ценность, которой не добыть ни деньгами, ни даже собст-

венной кровью; какая-нибудь одна позабытая запасная часть может вывести судно из строя; из-за одного неверного расчета все предприятие может пойти прахом.

А поэтому самое тщательное, самое заботливое внимание на этом последнем смотре уделяется продовольствию. Сколько съестного нужно запасти на двести шестьдесят пять человек для путешествия, продолжительность которого нельзя определить даже приблизительно? Сложнейшая задача, ибо один из множителей — длительность пребывания в пути — неизвестен. Только Магеллан — он один! — предугадывает (осторожности ради он этого не откроет команде), что пройдут долгие месяцы, даже годы, прежде чем можно будет пополнить взятые с собой запасы; потому лучше захватить провиант в избытке, чем в обрез, и запасы его, принимая во внимание малую вместимость судов, в самом деле внушительны. Альфу и омегу питания составляют сахара; двадцать одну тысячу триста восемьдесят фунтов этого груза принял Магеллан на борт; стоимость его вместе с мешками — триста семьдесят две тысячи пятьсот десять мараведисов; насколько человек способен предвидеть, можно считать, что этого огромного количества хватает на два года. Да и вообще при чтении провиантской описи Магеллана видишь перед собой скорее современный трансокеанский пароход грузоподъемностью в двадцать тысяч тонн, чем пять рыбацких парусников общей вместимостью в пятьсот — шестьсот тонн (десять тогдашних тонн соответствуют одиннадцати тоннам наших дней). Чем только не загромождали тесный, душный трюм! Вместе с мешками муки, риса, фасоли, чечевицы хранятся пять тысяч семьсот фунтов солины; двести бочонков сардин, девятьсот восемьдесят четыре головки сыру, четыреста пятьдесят связок луку и чесноку; кроме того, припасены еще разные вкусные вещи, как, например, тысяча пятьсот двенадцать фунтов меда, три тысячи двести фунтов изюма, коринки и миндаля, много сахара, уксуса и горчицы. В последнюю минуту на борт пригоняют еще семь живых коров (хоть бедным четвероногим осталось уже недолго жить); таким образом, на первое время обеспечено молоко, а на дальнейшее — свежее мясо. Но вино для этих здоровых парней поважнее

молока. Чтобы поддерживать в команде хорошее расположение духа, Магеллан велел закупить в Хересе лучшего, самого что ни на есть лучшего вина, не более и не менее, как четыреста семнадцать мехов и двести пятьдесят три бочонка; и здесь теоретически рассчитано на два года вперед: каждому матросу обеспечено по кружке вина к обеду и ужину.

Со списком в руке Магеллан переходит с корабля на корабль, от предмета к предмету. Какого труда, вспоминает он, стоило все это собрать, проверить, сосчитать, оплатить! Какая борьба велась днем с чиновниками и купцами, какой страх напал на него по ночам: а вдруг что-то забыто, вдруг что-то неверно подсчитано! Но вот наконец, кажется, и все, что потребуется в этом плавании для двухсот шестидесяти пяти едоков. Люди — матросы — всем обеспечены. Но ведь и корабли — живые, бранные существа, и каждый из них в борьбе со стихией расходует немалую долю своей силы сопротивления. Буря рвет паруса, треплет и мочалит канаты, морская вода точит дерево и разъедает железо, солнце выжигает краску, ночной мрак поглощает светильное масло и свечи. Значит, каждая деталь оснастки — якоря и дерево, железо и свинец, мощные стволы для замены мачт, холст для новых парусов — должна иметься в двойном, если не больше, количестве. Не менее сорока возов лесных материалов погружено на суда, чтобы безотлагательно исправить любое повреждение, заменить любую доску, любую планку; и тут же бочки с дегтем, варом, воском и паклей для конопачения щелей. Разумеется, не забыт и арсенал необходимых инструментов: клещи, пилы, буравы, винты, лопаты, молотки, гвозди и кирки. Грудами лежат десятки гарпунов, тысячи рыболовных крючков и неводов, чтобы в пути ловить рыбу, которая наряду с запасом сухарей составит основное питание команды. Освещение обеспечено на долгое время: на борту имеется восемьдесят девять небольших фонарей и четырнадцать тысяч фунтов свечей, не считая массивных восковых свечей для церковной службы. На долгий срок рассчитан и запас необходимых навигационных приборов — компасов и компасных игл, песочных часов, астролябий, квадрантов и планифер, а для чиновников имеется пятнадцать новехоньких бухгалтерских книг (ибо где, кроме



Китая, можно во время этого путешествия раздобыть хоть листок бумаги). Предусмотрены также и неприятные случайности: налицо аптекарские ящики с лекарствами, рожки для щирюльников, кандалы и цепи для бунтовщиков, но в не меньшей мере проявлена и забота о развлечениях: на борту имеется пять больших барабанов и двадцать бубнов, найдется, верно, и несколько скрипок, дудок и вольнюк.

Это лишь небольшое извлечение из поистине гомерической судовой описи Магеллана, только наиболее существенные из тысяч предметов, потребных команде и судам в столь необычном плавании. Но ведь эту флотилию, которая вместе со всем снаряжением обошлась в восемь миллионов мараведисов, будущий властелин Старого и Нового Света отправляет в неведомую даль не из чистой любознательности. Пять судов Магеллана должны привезти из плавания не только космографические наблюдения, но и деньги, как можно больше денег консорциуму предпринимателей. Нужно, значит, тщательно обдумав выбор, взять с собой достаточное количество разных изделий для обмена их на столь желанные чужеземные товары. Что ж, Магеллану еще с индийских времен знаком наивный вкус детей природы. Он знает — два предмета повсюду производят огромный эффект: зеркало, в котором черный, смуглый или желтый туземец впервые изумленно созерцает собственную физиономию, да еще колокольчики и погремушки, эта извечная ребячья радость. Не менее двадцати тысяч таких маленьких шумовых инструментов везут корабли экспедиции да еще девятьсот малых и десять больших зеркал (к сожалению, большая часть их будет разбита в пути), четыреста дюжин ножей *made in Germany*<sup>1</sup> (в описи точно отмечено: «400 docenas de cuchillos de Alemania de los peo-ges» — ножи из Германии самые дешевые), пятьдесят дюжин ножниц, затем неизменные и пестрые платки и красные шапки, медные браслеты, поддельные драгоценности и разноцветные бусы. Для особо важных okazji упаковано несколько турецких нарядов и традиционных ярких тряпок, бархатных и шерстяных, в общем — отчаянный хлам, в Испании стоящий так же мало,

<sup>1</sup> Изготовленных в Германии (англ).

как пряности на Молуккских островах, но как нельзя лучше отвечающий требованиям торговой сделки, при которой обе стороны платят в десять раз больше цены менового товара и все же обе изрядно наживаются.

Все эти гребешки и шапки, зеркала и погремушки пригодятся, однако, лишь при благоприятных обстоятельствах: если туземцы выкажут готовность заняться мирным обменом. Но предусмотрен и другой, воинственный оборот дела. Пятьдесят восемь пушек, семь длинных фальконетов, три массивные мортиры грозно глядят из люков; недра судов отягощены множеством железных и каменных ядер, а также бочками со свинцом для отливания пуль, когда запас их иссякнет. Тысячи копий, две сотни пик и две сотни щитов свидетельствуют о решимости постоять за себя; кроме того, больше половины команды снабжено шлемами и нагрудными латами. Для самого адмирала в Бильбао изготовлены два панциря, с головы до ног облекающие его в железо; подобный сверхъестественному неуязвимому существу, предстанет он в этом одеянии перед чужеземцами. Таким образом, хотя в соответствии со своим замыслом и характером, Магеллан намерен избегать вооруженных столкновений, его экспедиция снаряжена не менее воинственно, чем экспедиция Фернандо Кортеса, который летом того же 1519 года на другом конце света, во главе горсточки воинов завоевал государство с миллионным населением. Для Испании начинается героический год.

Проникновенно, со свойственным ему настороженным, неистощимым терпением Магеллан еще раз — последний раз! — испытывает каждый из пяти кораблей, его оснастку, груз и устойчивость. Теперь пора присмотреться к команде! Нелегко было ее сколотить, немало недель прошло, прежде чем удалось набрать ее по глухим портовым закоулкам и тавернам; оборванных, грязных, недисциплинированных пригнали их на корабли, и сейчас они все еще изъясняются между собой на каком-то диком волапюке: по-испански — один, по-итальянски — другой, по-французски — третий, а также по-португальски, по-гречески и по-немецки. Да, потребуется немало

времени, чтобы весь этот сброд превратился в надежную, спаянную команду. Но нескольких недель на борту достаточно, чтобы он прибрал их к рукам. Тот, кто семь лет прослужил простым *sobresaliente* — матросом и воином, знает, что нужно матросам, что можно с них спрашивать и как с ними следует обращаться. Вопрос о команде не тревожит адмирала.

Зато неприятное, напряженное чувство испытывает он, глядя на трех испанских капитанов, назначенных командирами отдельных судов. Невольно у него пружинятся мышцы, как у борца перед началом состязания, и не удивительно: с каким холодным, надменным видом, с каким плохо, может быть даже нарочито плохо, скрываемым презрением не замечает его этот *veedog*, королевский надсмотрщик, Хуан де Картахена, которому он вынужден был поручить вместо Фалейру командование «Сан-Антонио». Хуан де Картахена, конечно, опытный, заслуженный моряк, и его личная порядочность так же вне сомнения, как и его честолюбие. Но сумеет ли родовитый кастилец укротить свое честолюбие? Подчинится ли Магеллану, согласно данной им присяге, этот двоюродный брат епископа Бургосского, удостоенный королем ранее пожалованного Фалейру титула «*conjuncta persona*»? При виде его Магеллану все время приходят на ум слова, нашептаные Алваришем, что, кроме самого адмирала, еще и другие лица снабжены особыми полномочиями, о которых он узнает, лишь «когда будет уже поздно для спасения чести». Не менее враждебно глядит на Магеллана и командир «Виктории», Луис де Мендоса. Еще в Севилье он однажды дерзко уклонился от повиновения, но Магеллан тогда не посмел уволить этого тайного врага, навязанного ему императором в качестве казначея. Да, видимо, немного значит, что все эти испанские офицеры в соборе Санта-Мария де ла Виктория под сенью распростертого знамени принесли ему клятву верности и повиновения; в душе они остались врагами и завистниками. Придется зорко следить за этими родовитыми испанцами.

Хорошо еще, что Магеллану удалось хоть до известной степени обойти королевский указ и злопыхательские возражения *Casa de la Contratacion* и украдкой взять на борт тридцать португальцев, в том числе несколько на-

дежных друзей и близких родственников. Среди них— прежде всего Дуарте Барбоса, шурин Магеллана, несмотря на свою молодость испытанный в дальних плаваниях моряк, затем Алваро де Мескита, также близкий его родственник, и Эстебан Гомес — лучший кормчий Португалии. Среди них и Жуан Серрано, который хоть и значится в судовых списках испанцем и побывал с испанскими экспедициями, возглавлявшимися Писарро и Педро д'Ариасом в Castilia del Oго<sup>1</sup>, но в качестве родственника названного брата Магеллана Франсишку Серрано все же как-никак приходится ему соотечественником. Немало стоит и Жуан Карвальо, который уже много лет назад посетил Бразилию и теперь даже везет с собой сына, прижитого там со смуглой бразильяжкой. Оба они благодаря знанию языка и местных условий смогут быть отличными проводниками в тех странах; если же экспедиции удастся из Бразилии пробраться в мир малайских языков, на «Острова пряностей» и в Малакку, — ценные услуги в качестве переводчика окажет раб Магеллана Энрике. Итак, среди двухсот шестидесяти пяти спутников Магеллана имеется всего пять — десять человек, на чью преданность он, безусловно, может положиться. Это немного. Но тот, у кого нет выбора, должен дерзать даже вопреки численности противника и неблагоприятным обстоятельствам.

С сосредоточенным видом, мысленно проверяя каждого человека в отдельности, проходит Магеллан перед выстроившимся экипажем, непрерывно втайне обдумывая и прикидывая, кто в решающую минуту станет за него и кто — против. Он не замечает, что на лбу у него от напряжения залегли складки. Но вот они разгладились, Магеллан невольно улыбается. Бог ты мой, одного-то он чуть не забыл, того сверхсметного, лишнего, кто неожиданно, как снег на голову, объявился в самую последнюю минуту! Право же, чистая случайность, что тихий, скромный, совсем еще юный итальянец Антонио Пигафетта из Виченцы, отпрыск древнего дворянского рода, затесался в эту разношерстную компанию искателей

приключений, честолюбцев, охотников до легкой наживы и головорезов. Прибыв в Барселону, ко двору Карла V, в свите папского протонатория, безусый еще кавалер Родосского ордена услышал разговоры о таинственной экспедиции, которая по неисследованным путям двинется в неведомые края и страны. Вероятно, Пигафетта читал напечатанную в его родном городе Виченце в 1507 году книгу Веспуччи «Paese novamente ritrovati»<sup>1</sup>, в которой автор повествует о страстном своем желании «di andare e vedere parte del mondo e le sue meraviglie» — «путешествовать, видеть мир и его чудеса». А может, молодого итальянца воодушевил и пользовавшийся широкой известностью «Itinerario» — «Путеводитель» его соотечественника Лодовико Вартема. Несказанно прельщает его мысль самому, собственными глазами, увидеть хоть что-нибудь из того «великого и страшного, чем изобилуют океаны». Карл V, к которому он обратился за разрешением участвовать в этой таинственной экспедиции, рекомендует его Магеллану — и вот среди профессиональных моряков, охотников до легкой наживы, искателей приключений оказывается чудака-идеалист, идущий навстречу опасности не из честолюбия и не ради денег, а из бескорыстной любви к странствиям; как дилетант в лучшем смысле этого слова, единственно ради своего *diletto*, ради наслаждения видеть, познавать, восхищаться, готовый отдать жизнь в дерзновенном предприятии.

На деле этот незаметный, лишний человек станет для Магеллана важнейшим участником экспедиции. Ибо какое значение имеет подвиг, если он не запечатлен словом; историческое деяние бывает закончено не в момент его свершения, а лишь тогда, когда становится достоянием потомства. То, что мы называем историей, отнюдь не совокупность всех значительных событий, когда-либо происшедших во времени и пространстве: всемирная история, летопись мира охватывает лишь небольшой участок действительности, который случайно был озарен поэтическим или научным отображением. Ничем был бы Ахилл без Гомера, тенью оставалась бы любая личность, быстротечной волной растеклось бы лю-

---

<sup>1</sup> «Вновь открытые недавно страны» (итал.).

бое деяние в безбрежном море событий, если бы оно не превращалось в гранит под пером летописца, если бы художник заново не воссоздавал его в пластических образах. Вот почему мы мало что знали бы о Магеллане и его подвиге, будь в нашем распоряжении только одна «декада» Петра Ангиерского, краткое письмо Максимилиана Трансильванского да несколько сухих заметок и лаговые записи кормчих. Лишь этот скромный рыцарь Родосского ордена, сверхштатный и лишний, увековечил для грядущих поколений подвиг Магеллана. Разумеется, наш добрый Пигафетта не был ни Тацитом, ни Ливием. В литературе, как и в мореплавании, он оставался всего только благодушным дилетантом. Знание людей отнюдь не было его коньком, важнейшие психологические конфликты между адмиралом и его капитанами он, видно, просто-напросто проспал на борту. Но именно потому, что Пигафетта мало интересуется причинными связями, он тщательно наблюдает мелочи и отмечает их с живостью и старательностью школьника, описывающего свою воскресную прогулку. На него не всегда можно положиться: иной раз по наивности он верит любому вздору, который ему рассказывают немедленно раскусившие новичка старые кормчие; но все эти мелкие небывицы и ошибки Пигафетта с лихвой возместил любознательной точностью, с которой он описывает каждую мелочь; а тем, что он не поленился, по методу Берлица, расспрашивать патагонцев, невзрачный Родосский рыцарь неожиданно стяжал себе историческую славу автора первого письменного лексикона американских слов. Он удостоился еще большей чести: сам Шекспир использовал в своей «Буре» эпизод из путевых записок Пигафетты. Что может выпасть на долю посредственного писателя более величественного, чем если из преходящего его творения гений заимствует нечто для своего бессмертного и на своих орлиных крыльях возносит его безвестное имя в сферу вечности?

Магеллан закончил свой обход. Со спокойной совестью может он сказать себе: все, что смертный в состоянии рассчитать и предусмотреть, он рассчитал и продумал. Но дерзновенное плавание конкистадора бросает вызов высшим силам, не поддающимся земным расчетам

и измерениям. Человек, стремящийся наперед точно определить все возможности успеха, должен считаться и с наиболее вероятным финалом такого странствия: с тем, что он из него не возвратится. Поэтому Магеллан, претворив сначала свою волю в земное дело, за два дня до отплытия письменно излагает и свою последнюю волю.

Это завещание нельзя читать без глубокого волнения. Обычно завещатель знает, хотя бы приблизительно, размеры своего достояния. Но как мог Магеллан прикинуть и оценить, какое он оставит наследство, сколько он оставит? Пока одному только небу известно, будет ли он через год нищим или одним из богатейших людей на свете. Ведь все его достояние заключается лишь в договоре с королем. Если задуманное предприятие удастся, если он найдет легендарный разо (пролив), проникнет на Молуккские острова, вывезет оттуда драгоценную кладь, тогда, выехав бедным искателем приключений, он возвратится в Севилью Крезом. Если он откроет в пути новые острова — его сыновьям и внукам в придачу ко всем богатствам достанется еще и наследственный титул наместника, *adelantado*. Если же расчет окажется неверным, если суда пойдут ко дну — его жене и детям, чтобы не умереть с голоду, придется стоять на церковной паперти с протянутой рукой, моля верующих о подаянии. Исход — во власти вышних сил, тех, что правят ветром и волнами. И Магеллан, как благочестивый католик, заранее смиренно покоряется неисповедимой воле господней. Раньше, чем к людям и правительству, это глубоко волнующее завещание обращается ко «всемогущему господу, повелителю нашему, чьей власти нет ни начала, ни конца». Свою последнюю волю Магеллан изъясляет прежде всего как верующий католик, затем — как дворянин и только в самом конце завещания — как супруг и отец.

Но и в дела благочестия человек Магелланова склада никогда не вносит неясности или сумбура. С тем же удивительным искусством все предвидеть обращается он мыслью и к вечной жизни. Все возможности предусмотрены и старательно подразделены. «Когда земное мое существование завершится и начнется для меня жизнь вечная, — пишет он, — я хотел бы быть похороненным в Севилье, в монастыре Санта-Мария де ла Виктория, в

отдельной могиле». Если же смерть постигнет его в пути и нельзя будет доставить тело на родину, то «пусть праху моему уготовят место последнего успокоения в ближайшем храме пресвятой богородицы». Благочестиво и вместе с тем точно распределяет этот набожный христианин суммы, предназначенные на богоугодные дела. Одна десятая часть обеспеченной ему по договору двадцатой доли всех прибылей должна быть разделена поровну между монастырями Санта-Мария де ла Виктория, Санта-Мария Монсерра и Сан-Доминго в Опорто; тысяча мараведисов уделяется севильской часовне, где он причастился перед отплытием и где с помощью божьей (после благополучного возвращения) надеется причаститься снова. Один реал серебром он завещает на крестовый поход, другой — на выкуп христианских пленников из рук неверных, третий — дому призрения прокаженных, четвертый и пятый — госпиталю для чумных больных и приюту святого Себастьяна, дабы те, кто получит эту лепту, «молились господу богу за спасение моей души». Тридцать заупокойных обеден должны быть отслужены у его тела и столько же — через тридцать дней после похорон в церкви Санта-Мария де ла Виктория. Далее он приказывает ежегодно «в день моего погребения выдавать трем беднякам одежду: каждому из них камзол серого сукна, шапку, рубаху и пару башмаков, дабы они молились за спасение моей души. Я хочу, чтобы в сей день не только троих этих бедняков кормили досыта, но еще и двенадцать других, дабы и они молили господу за мою душу, а также прошу жертвовать золотой дукат на раздачу милостыни за души, томящиеся в чистилище».

После того как церкви уделена столь значительная доля его наследства, невольно ждешь, что последние распоряжения коснутся, наконец, жены и детей. Но, оказывается, этот глубоко религиозный человек трогательно озабочен судьбой своего невольника Энрике. Может быть, уже и раньше совесть Магеллана тревожил вопрос, вправе ли настоящий христианин считать своей собственностью, наравне с земельным участком или камзолом, человека, да к тому же еще принявшего крещение и тем самым ставшего ему братом по вере, существом с бессмертной душой? Так или иначе, но Магеллан не хочет предстать



перед господом богом с этим сомнением в душе, поэтому он отдает распоряжение: «Со дня моей смерти пленник мой и невольник Энрике, уроженец города Малакки, двадцати шести лет от роду, освобождается от рабства или подчинения и волен поступать и действовать, как ему заблагорассудится. Далее я хочу, чтобы из моего наследства десять тысяч мараведисов были выданы ему во вспомоществование. Эту сумму я назначаю ему потому, что он стал христианином и будет молиться богу за спасение моей души».

Только теперь, отдав дань заботам о загробной жизни и предуказав «добрые дела, которые даже за величайшего грешника явятся заступниками на Страшном суде», Магеллан в своем завещании обращается к семье. Но и здесь заботам о житейских делах предшествуют распоряжения, касающиеся нематериальных вопросов,— сохранения его герба и дворянского звания. Вплоть до второго и третьего поколения указывает Магеллан, кому быть носителем его герба, его агтас, на тот случай, если его сын не переживет отца (вещее предчувствие). Он стремится к бессмертию не только как христианин, но и как дворянин.

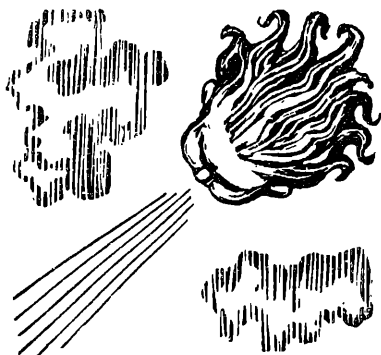
Лишь после этих заветов Магеллан переходит к распределению своего, пока еще носимого ветрами по волнам, наследства между женой и детьми; адмирал подписывает этот документ твердым, крупным, таким же прямым, как и он сам, почерком: Fernando de Magellanes (Фернандо де Магелланес). Но судьбу не подчинить себе росчерком пера, не умиловать обетами, властная ее воля сильнее самого горячего желания человека. Ни одно из сделанных Магелланом распоряжений не будет выполнено: ничтожным клочком бумаги останется его последняя воля. Те, кого он назначил наследниками, ничего не унаследуют; нищие, которых он заботливо оделил, не получают подаяния; тело его не будет покоиться там, где он просил его похоронить; его герб исчезнет. Только подвиг, им совершенный, переживет отважного мореплавателя, только человечество возблагодарит его за оставленное наследие.

Последний долг на родине выполнен. Наступает прощание. Трепеща от волнения, стоит перед ним женщина, с которой он в течение полутора лет был впервые в

жизни по-настоящему счастлив. На руках она держит рожденного ему сына. Рыдания сотрясают ее вторично отяжелевшее тело. Еще один, последний раз он обнимает ее, крепко жмет руку Барбосе— единственного его сына он увлекает за собой в неведомую даль. Затем скорее, чтобы от слез покинутой жены не дрогнуло сердце,— в лодку и вниз по течению, к Сан-Лукару, где его ждет флотилия. Еще раз в скромной Сан-Лукарской церкви Магеллан, предварительно исповедавшись, вместе со своей командой принимает причастие. На рассвете, во вторник 20 сентября 1519 года— эта дата войдет в мировую историю,— с грохотом поднимаются якоря, паруса надуваются ветром, гремят орудийные выстрелы— прощальный привет исчезающей земле; началось великое странствие, дерзновеннейшее плавание во всей истории человечества.

# ТЩЕТНЫЕ ПОИСКИ

20 сентября 1519 г.—1 апреля 1520 г.



**Д**вадцатого сентября 1519 года флотилия Магеллана отчалила от материка. Но в те годы владения Испании уже простираются далеко за пределы Европы; когда через шесть дней после отплытия пять судов флотилии заходят в Тенерифе на Канарских островах, чтобы пополнить запас воды и продовольствия, они все еще находятся в пределах, подвластных императору Карлу V. Еще один-единственный раз, перед тем как продолжать путь в неизвестность, дано отважным мореплавателям ступить на милую им твердую почву родины, еще раз вдохнуть ее воздух, услышать родную речь.

Но вскоре и этот последний роздых приходит к концу. Магеллан уже собирается ставить паруса, как вдруг, издали еще подавая судам знаки, появляется испанская каравелла, несущая секретное послание Магеллану от его тестя, Дьего Барбосы. Тайная весть — обычно дурная весть. Барбоса предупреждает зятя: из достоверных ис-

точников ему удалось узнать о тайном створе испанских капитанов — в пути нарушить долг повиновения Магеллану. Глава заговора — Хуан де Картахена, двоюродный брат епископа Бургосского. У Магеллана нет оснований сомневаться в правдивости и правильности этого предостережения; слишком точно совпадает оно с туманной угрозой шпиона Алвариша: «... другие люди, сверх того, снабжены контринструкциями, а узнает он о них, только когда уже будет поздно для спасения чести». Но жребий брошен, и лишь еще тверже становится решимость Магеллана перед лицом очевидной опасности. Он шлет в Севилью гордый ответ: что бы ни случилось, он неукоснительно будет служить императору, и залог тому — его жизнь. Ни словом не обмолвившись о том, сколь мрачное и в то же время правдивое, слишком правдивое предостережение принесло ему это письмо — последнее в его жизни, он велит выбрать якоря, и через несколько часов очертания tenerифского пика уже расплываются вдали. Большинство моряков в последний раз видит родную землю.

Труднейшая для Магеллана задача среди всех трудностей этого плавания состоит в том, чтобы сплоченным строем вести все суда экспедиции, столь различные по водоизмещению и быстроходности: стоит только одному из них отбиться, и в бескрайнем бездорожном океане оно потеряно для флотилии. Еще до отплытия Магеллан, с ведома и согласия Casa de la Contratacion (Индийской палаты), выработал для поддержания постоянной связи между судами особую систему. Правда, *contromaestres* — капитанам судов и кормчим — известна *derota* — общий курс; но в открытом море для них действует только одно предписание: идти в кильватере «Тринидад» — ведущего флагманского судна. В дневные часы соблюдение этого приказа вполне посильно, даже во время сильного шторма корабли могут не терять друг друга из виду; гораздо труднее поддерживать непрерывную связь между всеми пятью судами ночью, — для этой цели изобретена и тщательно продумана система световой сигнализации. С наступлением темноты на корме «Тринидад» зажигается вставленный в фонарь (*farol*) смоляной факел (*fago*), чтобы идущие вслед корабли не теряли из виду флагманское судно, *Capitana*. Если же

на «Тринидад», кроме смоляного факела, загораются еще два огня, это означает, что остальным судам следует убавить ход или же лавировать из-за неблагоприятного ветра. Три огня возвещают, что надвигается шквал и поэтому надлежит подтянуть лисель, при четырех огнях нужно убирать все паруса. Многочисленные, то вспыхивающие, то гаснущие огни на флагманском судне или же пушечные выстрелы предупреждают, что надо опасаться отмелей или рифов. Итак, для всех возможных счастливых и несчастных случаев разработан язык ночных сигналов.

И на каждый сигнал этого примитивного светового телеграфа каждый корабль обязан каждый раз немедленно отвечать таким же сигналом, дабы адмиралу было известно, что его приказания поняты и выполнены. Кроме того, ежевечерне, незадолго до наступления темноты, каждый из четырех кораблей должен приблизиться к флагманскому судну, приветствуя адмирала словами: «Dios vos salve, señor capitán-general, у maestre, у buena compañía»<sup>1</sup> и выслушать его приказы на время трех ночных вахт. Казалось бы, что этот ежедневный рапорт всех четырех капитанов адмиралу с первого же дня устанавливает определенную дисциплину: флагманское судно ведет флотилию, а остальные следуют за ним, адмирал указывает курс, а капитаны беспрекословно его придерживаются.

Но именно то, что руководство так безоговорочно и решительно сосредоточено в руках одного человека, как и то, что этот молчаливый, ревниво хранящий свои тайны португалец каждый день, словно новобранцев, заставляет их выстраиваться перед ним и после отдачи приказаний немедленно отсылает, как простых подручных, раздражает капитанов остальных судов. Без сомнения, и, надо признать, с некоторым на то правом они полагали, что Магеллан с таким мелочным упорством замалчивал в Испании подлинную цель экспедиции потому, что боялся выдать тайну разо болтунам и шпионам; но в открытом море, надо думать, он наконец откажется от этой осторожности, призовет их на борт флаг-

---

Да хранит господь вас, сеньор капитан-генерал, и кормчих, и всю добрую команду (исп.).

манского корабля и с помощью своей карты изложит им дотоле ревниво охранявшийся замысел. Вместо этого они видят, что Магеллан становится еще более молчаливым, все более сдержанным и недоступным. Он не призывает их к себе на корабль, не спрашивает об их мнении, ни разу не спрашивает совета ни у кого из этих испытанных моряков. Они обязаны следовать днем за флагом, ночью за факелом тупо и покорно, как собака за хозяином. В продолжение нескольких дней испанские офицеры терпеливо сносят молчаливую непреклонность, с которой Магеллан ведет их за собой. Но когда адмирал, вместо того чтобы, держа курс на юго-запад, напрямик плыть к Бразилии, забирает много южнее, уклоняясь от первоначально обусловленного курса, и до самой Сьерра-Леоне следует вдоль берегов Африки, Хуан де Картахена во время вечернего рапорта в упор спрашивает его, почему вопреки данным вначале инструкциям изменен курс.

Этот в упор поставленный Хуаном де Картахеной вопрос отнюдь не является дерзостью с его стороны (и это нужно особо подчеркнуть, так как большинство авторов, чтобы возвысить Магеллана, изображают Хуана де Картахену черным предателем). А между тем нельзя не признать логичным и справедливым, если человек, назначенный королем *conjuncta persona*, если капитан самого большого судна флотилии учтиво спрашивает адмирала, почему, собственно, изменен ранее установленный курс. Кроме того, вопрос Хуана де Картахены законен и с навигационной точки зрения, ибо этот новый курс поведет флотилию окольным путем и заставит ее потратить не менее двух недель. Что принудило Магеллана изменить маршрут, мы не знаем. Быть может, так далеко, до самой Гвинеи, он следовал вдоль побережья Африки потому, что намеревался там — этой технической тайны португальского мореходства испанцы не знали — *tomar barlavento*, словить попутный пассат, а может быть, он отклонился от обычного пути, желая избежать встречи с португальскими судами, по слухам посланными королем Мануэлом в Бразилию перехватить эскадру Магеллана. Так или иначе, адмиралу ничего не стоило честно, по-товарищески изложить капитанам причины, заставившие его переменить курс. Но для него важен не

этот частный случай, а самый принцип. Дело не в двух-трех милях отклонения к юго-западу или юго-юго-западу, а в том, чтобы раз навсегда установить жесткую дисциплину. Если на борту в самом деле имеются заговорщики, как сообщил ему тесть, то он предпочитает сразу столкнуться с ними лицом к лицу. Если действительно существуют двусмысленные инструкции, скрываемые от него, то они должны получить единое толкование в пользу его авторитета. Вот почему Магеллану как нельзя более на руку, что объяснений от него домогается именно Хуан де Картахена, ибо теперь должно выясниться, приравнен ли к нему или же подчинен ему этот испанский идадьго. Этот вопрос служебной иерархии и вправду не так-то ясен. Вначале Хуан де Картахена был послан сопровождать флотилию в качестве *veedor general* — главного контролера, а в этом звании, как и в должности капитана «Сан-Антонио», он всецело подчинен адмиралу, без права совещательного голоса, без права требовать объяснений. Но положение изменилось, когда Магеллан отстранил своего компаньона Фалейру и Хуан де Картахена получил вместо него назначение на пост *conjuncta persona*, а *conjuncta* означает «равноправный». Каждый из них теперь вправе ссылаться на королевскую грамоту. Магеллан — на «договор», по смыслу которого он является верховным и единственным начальником флотилии, Хуан де Картахена на «*cedula*» — на «дополнительный акт», вменяющий ему в обязанность иметь неусыпное наблюдение в случаях, если им будут обнаружены какие-либо упущения, а другие лица не выкажут должной прозорливости и осмотрительности. Но имеет ли право *conjuncta persona* требовать отчета от самого адмирала? Этот вопрос Магеллан не намерен ни на мгновение оставить невыясненным. И поэтому на первый же вопрос Хуана де Картахены он грубо отвечает, что никто не вправе спрашивать у него объяснений и все обязаны следовать за ним (*que le siguisen y no le pidiesen màs cuenta*).

Это грубо; но Магеллан считает, что лучше сразу обрушиться на противника, чем расточать угрозы или искать примирения. Этими словами он прямо в лоб заявляет испанским капитанам (а быть может, и заговорщикам): «Не обольщайтесь, я один буду держать руль, и желез-

ной рукой». Но хотя кулак у Магеллана крепкий, увесистый, беспощадный, его руке не хватает многих ценных качеств, и прежде всего умения, когда нужно, приласкать тех, с кем она слишком круто расправилась. Магеллан никогда не постиг искусства говорить с любезной мимой неприятные вещи, просто и дружелюбно обходиться как с начальниками, так и с подчиненными. Поэтому вокруг этого человека — конденсатора величайшей энергии — с самого начала неминуемо должна была установиться напряженная, враждебная, озлобленная атмосфера. Это скрытое раздражение неизбежно нарастало, по мере того как выяснялось, что перемена курса, против которой возражал Хуан де Картахена, действительно была явной ошибкой Магеллана. Ветер поймать не удалось, суда на две недели застряли в открытом море, среди полного штиля. Затем они скоро попадают в полосу столь сильных бурь, что, по романтическому описанию Пигафетты, их спасает только появление светящихся *Sueños Santos* — «святых тел», покровителей моряков, святого Эльма, святого Николая и святого Клэра (так называемые «огни святого Эльма»). Две недели потеряны из-за своевольного распоряжения Магеллана, и, наконец, Хуан де Картахена уже не может и не хочет больше сдерживаться. Раз Магеллан пренебрегает советом, раз он не терпит критики, так пусть же вся флотилия узнает, как мало он, Хуан де Картахена, чтит этого бездарного морехода. Правда, корабль Хуана де Картахены «Сан-Антонио» и в тот вечер, как всегда, послушно приближается к «Тринидад» отдать рапорт и принять от Магеллана очередные приказания. Но Картахена впервые не выходит на палубу, чтобы произнести установленное приветствие. Вместо себя он посылает боцмана, и тот обращается к адмиралу со словами: «*Dios vos salve, señor capitán y maestro*». Магеллан ни на минуту не обманывает себя мыслью, что это изменение текста приветствия могло быть случайной, невольной обмолвкой. Если именно Хуан де Картахена велит титуловать его не адмиралом (*capitán-general*), а просто капитаном (*capitán*), то этим всей флотилии дается понять, что *conjuncta persona*, Хуан де Картахена, не признает его своим начальником. Он немедленно велит передать Хуану, что впредь надеется быть приветствуемым достойным и по-



добающим образом. Но теперь и Хуан подымает забрало. Он шлет высокомерный ответ: он сожалеет, что на этот раз он еще поручил своему ближайшему помощнику произнести приветствие; в следующий раз это может сделать любой юнга. Три дня подряд «Сан-Антонио» на глазах у всей флотилии не соблюдает церемонии приветствия и рапорта, дабы показать всем остальным, что его капитан не признает неограниченной диктатуры португальского командира. Совершенно открыто — и это делает честь Хуану де Картахене, никогда (сколько бы ни утверждали противное) не действовавшему вероломно, — испанский идалго бросает железную перчатку к ногам португальца.

Характер человека лучше всего познается по его поведению в решительные минуты. Только опасность выявляет скрытые силы и способности человека; все эти потаенные свойства, при средней температуре лежащие ниже уровня измеримости, обретают пластическую форму лишь в подобные критические мгновения. Магеллан всегда одинаково реагирует на опасность. Каждый раз, когда дело касается важных решений, он становится устрашающе молчаливым и непрístupным. Он словно застывает. Какое бы тяжкое оскорбление ему ни было нанесено, его затененные кустистыми бровями глаза не загорятся огнем, ни одна складка не дрогнет вокруг плотно сжатых губ. Он в совершенстве владеет собой, и благодаря этому ледяному спокойствию все вещи становятся для него прозрачными, как хрусталь; замуровавшись в ледяное молчание, он лучше всего продумывает и рассчитывает свои планы. Никогда в жизни Магеллан не нанес удара необдуманно, сгоряча: прежде чем сверкнет молния, грозовой тучей нависает долгое, гнетущее, мрачное молчание. И на этот раз Магеллан молчит; тем, кто его не знает, — а испанцы еще не знают его, — может показаться, что он оставил брошенный Хуаном де Картахеной вызов без внимания. На деле Магеллан уже вооружается для контратаки. Он понимает, что нельзя в открытом море насильственно сместить капитана корабля, более крупного, чем флагманский, и лучше вооруженного. Итак, терпение, терпение: лучше притвориться тупым, равнодушным. И Магеллан в ответ на оскорбление молчит так, как он один умеет молчать:

с одержимостью фанатика, с упорством крестьянина, со страстностью игрока. Все вокруг видят, как он спокойно расхаживает по палубе «Тринидад», внешне всецело поглощенный будничными, ничтожными мелочами корабельной жизни. То, что «Сан-Антонио» перестал соблюдать приказ о вечернем рапорте, словно и не раздражает его, и капитаны с некоторым удивлением замечают, что этот загадочный человек начинает держать себя более доступно: по поводу совершенного одним из матросов тяжкого преступления против нравственности адмирал впервые приглашает к себе на совещание всех четырех капитанов. Значит, думают они, его все же стали тяготить неприязненные отношения с сотоварищами. Видно, после того как избранный им курс оказался ошибочным, он понял, что лучше спрашивать совета у старых, опытных капитанов, чем почитать их *quantité négligeable*<sup>1</sup>. Хуан де Картахена тоже является на борт флагманского судна и, воспользовавшись долго не представлявшей ему возможностью вести с Магелланом деловую беседу, снова спрашивает, почему, собственно, изменен курс. Сообразно своему характеру и тщательно продуманному намерению Магеллан сохраняет полную невозмутимость: ему только на руку, если его спокойствие сильнее распалит Картахену. А последний, считая, что звание верховного королевского чиновника дает ему право критиковать действия Магеллана, по-видимому, изрядно воспользовался этим правом. Дело, вероятно, кончилось бурной вспышкой, чем-то вроде резкого отказа повиноваться. Но превосходный психолог, Магеллан именно такую вспышку открытого неподчинения заранее предусматривал, это ему и нужно. Теперь он может действовать. Он немедленно применяет предоставленное ему Карлом V право вершить правосудие. Со словами: «*Sed preso*» («Вы — мой пленник») — он хватает Хуана де Картахену за грудь и велит своему альгвасилу (капте-нармусу и полицейскому офицеру) заключить мятежника под стражу.

Остальные капитаны растерянно переглядываются. Несколькими минутами раньше они всецело были на стороне Хуана де Картахены, да и сейчас еще в душе стоят

---

Величиной, которой можно пренебречь (*франц.*).

за своего соотечественника и против начальника-чужестранца. Но внезапность нанесенного удара, демоническая энергия, с которой Магеллан схватил своего врага и велел посадить его под арест как преступника, парализовали их волю. Напрасно Хуан зовет их на помощь. Никто не смеет тронуться с места, никто не дерзает даже поднять глаза на низкорослого, коренастого человека, впервые позволившего своей пугающей энергией прорваться сквозь глухую стену молчания. Только когда Хуана уже хотят отвести в каземат, один из них обращается к Магеллану и почтительнейше просит, во внимание к высокому происхождению Картахены, не заключать его в оковы; достаточно, если кто-нибудь из них обязуется честным словом быть его стражем. Магеллан принимает это предложение под условием, что Луис де Мендоса, кому он поручает надзор за Хуаном, клятвенно обязуется по первому же требованию представить его адмиралу. С этим делом покончено. По прошествии часа на «Сан-Антонио» уже распоряжается другой испанский офицер — Антонио де Кока; вечером он со своего корабля четко, без единого упущения, приветствует адмирала. Плавание продолжается без каких-либо инцидентов. 29 ноября возглас с марса возвещает, что виден берег Бразилии; они различают его очертания близ Пернамбуко и, нигде не бросая якорей, продолжают свой путь; наконец, 13 декабря пять судов флотилии, после одиннадцатинедельного плавания, входят в залив Рио-де-Жанейро.

Залив Рио-де-Жанейро, в те далекие времена, вероятно, не менее прекрасный в своей идиллической живописности, чем ныне в своем городском великолепии, должен был показаться усталому экипажу настоящим раем. Нареченный Рио-де-Жанейро по имени святого Января, в день которого он был открыт, и ошибочно названный Рио<sup>1</sup>, ибо предполагалось, что за бесчисленными островами кроется устье многоводной реки, этот залив тогда уже находился в сфере владычества Португалии. Согласно инструкции, Магеллану не следовало стано-

<sup>1</sup> Река (исп.).

виться там на причал. Но португальцы еще не основали здесь поселений, не воздвигли вооруженной пушками крепости; блистающий яркими красками залив — в сущности, все еще «ничья земля»; испанские суда могут безбоязненно пройти среди волшебно прекрасных островков, окаймляющих берег, одетый яркой зеленью, и без помехи бросить здесь якоря. Как только их шлюпки приближаются к берегу, навстречу из хижин и лесов выбегают туземцы и с любопытством, но без недоверия встречают заковананных в латы воинов. Они вполне добродушны и приветливы, хотя позднее Пигафетта не без огорчения узнает, что это завзятые людоеды, которым частенько случается накалывать убитых врагов на вертел и затем разрезать на куски это лакомое жаркое, словно мясо откормленного быка. Но богоподобные белые пришельцы не вызывают у гварани таких воцелений, и солдаты избавлены от необходимости пускать в ход громоздкие мушкеты и увесистые копья.

Несколько часов спустя завязывается оживленная меновая торговля. Теперь Пигафетта в своей стихии. Одинадцатинедельное плавание дало честолюбивому летописцу мало сюжетов: ему удалось сплести разве что несколько побасенок об акулах и диковинных птицах. Арест Хуана де Картахены он, судя по всему, проспал, но зато сейчас ему едва хватает взятого с собой запаса перьев, чтобы перечислять в дневнике все чудеса Нового Света. Правда, он не дает нам представления о прекрасном ландшафте, но этого нельзя поставить ему в вину, — ведь только тремя веками позже описания природы были введены в обиход Жан Жаком Руссо; зато его необычайно занимают ранее неизвестные ему плоды — ананасы, «похожие на большие круглые еловые шишки, но чрезвычайно сладкие и отменно вкусные», далее бататы — их вкус напоминает ему каштаны — и «сладкий» (то есть сахарный) тростник. Добрый малый не может прийти в себя от восхищения, так невероятно дешево эти люди продают чужестранцам съестные припасы. За одну удочку темнокожие дурни дают пять или шесть кур, за гребенку — двух гусей, за маленькое зеркальце — десяток изумительно пестрых попугаев, за ножницы — столько рыбы, что ею могут насытиться двенадцать человек. За одну-единственную погремушку (напомним, что на су-

дах их имелось не менее двадцати тысяч штук) они приносят ему тяжелую, доверху наполненную бататами корзину, за истрепанного короля из старой колоды — пять кур; при этом гварани еще воображают, что надули неопытного Родосского рыцаря. Дешево ценятся и девушки, о которых Пигафетта стыдливо пишет: «Единственное их одеяние — длинные волосы; за топор или нож можно получить сразу двух-трех в пожизненное пользование».

Покуда Пигафетта подвизается в области репортажа, а матросы коротают время, деля его между едой, рыбной ловлей и покладистыми смуглыми девушками, Магеллан думает только о дальнейшем плавании. Разумеется, он доволен, что команда отдыхает и собирается с силами, но в то же время он поддерживает строгую дисциплину. Памятуя данные им испанскому королю обязательства, он запрещает покупку невольников на побережье Бразилии, а также какие бы то ни было насильственные действия, чтобы у португальцев не возникло предлогов для жалоб.

Это лояльное поведение приносит Магеллану еще одну важную выгоду. Убедившись, что белые люди не собираются причинять им ни малейшего зла, туземцы утрачивают былую робость. Этот добродушный, ребячливый народец толпами стекается на берег всякий раз, когда там торжественно отправляют богослужение. С любопытством следят они за непонятными обрядами и, видя, что белые пришельцы, с появлением которых они связывают то, что, наконец, выпал долгожданный дождь, преклоняют колени перед воздетым крестом, в свою очередь, молитвенно сложив руки, опускаются на колени, а благочестивые испанцы принимают это за явный признак неосознанного проникновения таинств христианской религии в души туземцев.

Когда после тридцатидневной стоянки флотилия в конце декабря покидает незабываемую, широко раскинувшуюся бухту, Магеллан может продолжать плавание с более спокойной совестью, чем другие конкистадоры его времени. Ибо если он и не завоевал здесь новых земель для своего государя, то, как добрый христианин, приумножил число подданных небесного владыки. Никому за эти дни не было причинено ни малейшей обиды,

никто из доверчивых туземцев не был насильственно отторгнут от семьи и родины. С миром пришел сюда Магеллан, с миром ушел отсюда.

Неохотно покинули матросы райский залив Рио-де-Жанейро, неохотно плывут они, нигде не причаливая, вдоль манящих берегов Бразилии. Но Магеллан не может позволить им отдыхать дольше. Тайное, жгучее нетерпение влечет этого внешне столь невозмутимого человека вперед, к вожделенному *расо*, который, согласно карте Мартина Бехайма и сообщению «*Newe Zeytung*», он предполагает найти в точно определенном месте. Если сообщения португальских кормчих и нанесенные Бехаймом на карту широты правильны, пролив должен открыться им непосредственно за мысом Санта-Мария. Поэтому Магеллан безостановочно стремится к своей цели. Наконец, 10 января мореплаватели среди беспредельной равнины видят невысокий холм, который они нарекают Монтевиди (нынешнее Монтевидео), и спасаются от жестокого урагана в необъятном заливе, по-видимому, бесконечно тянущемся к западу.

Этот необъятный залив в действительности не что иное, как устье реки Ла-Платы. Но Магеллан об этом не подозревает. Он только с глубоким, едва скрываемым удовлетворением видит на том самом месте, которое было указано в секретных документах, могучие волны, катящиеся на запад. Должно быть, это и есть вожделенный пролив, виденный им на Бехаймовой карте. Местоположение и широта как будто вполне совпадают со сведениями, полученными Магелланом от неизвестных лисабонцев; несомненно, это тот самый пролив, через который, согласно сообщению «*Newe Zeytung*», уже двадцать лет назад португальцы намеревались проникнуть на запад. Пигафетта утверждает, будто все, кто находился на борту, увидев этот величавый водный путь, были твердо убеждены, что им, наконец, открылся вожделенный пролив, который приведет их в Южное море. «*Si era creduto una volta esser questo un canal che metesse nel Mar del Sur*». Ведь в противоположность дремотным устьям Рейна, По, Эбро, Тежу, где всегда и справа и слева можно ясно различить берег, здесь ширина могучего потока необозрима. Этот залив, без сомнения, представляет собой начало некоего второго Гибралтара, или Ламан-

ша, или Геллеспонта, который связывает океан с океаном. И, безусловно доверяя своему вождю, моряки уже мечтают в несколько дней пройти этот новый пролив и достигнуть другого, Южного моря, легендарного *Mar del Sur*, ведущего в Индию, Японию, Китай, ведущего на «Острова пряностей», туда, туда — к сокровищам Голконды и всем богатствам земли.

Упорство, с которым Магеллан в этом, именно в этом месте искал *расо*, свидетельствует о том, что и он, увидев неизбежно широкий водный путь, всецело проникся убеждением: заветный пролив найден. Целых две недели проводит, или, вернее, теряет, он в устье Ла-Платы, предаваясь тщетным поискам. Едва только буря, свирепствовавшая в момент их прибытия, немного стихает, он делит флотилию на две части. Менее крупные суда посылаются им по мнимому проливу на запад (на деле же вверх по течению). Одновременно два больших корабля под личным его водительством, держа курс поперек устья Ла-Платы, направляются к югу, чтобы и в этом направлении обследовать, как далеко ведет давно разыскиваемый им путь. Неторопливо, тщательно измеряет он южную окружность залива, куда меньшие суда плывут на запад. И какое горькое разочарование: после двух недель взволнованного кружения у Монтевиди вдали, наконец, показываются паруса возвращающихся кораблей. Но выпелы не развеваются победно на мачтах, и капитаны приносят убийственную весть: испанская водная ширь, опрометчиво принятая ими за желанный пролив, — всего только необычайно широкая пресноводная река, которую, в память Хуана де Солис, тоже разыскивавшего здесь путь в Малакку и нашедшего смерть, они на первых порах нарекают Рио де Солис (лишь позднее ее переименоуют в Рио де Ла-Плата).

Теперь Магеллану нужно предельно напрячь все силы. Никто из капитанов, никто из команды не должен заметить, сколь грозный удар нанесло это разочарование его безусловной уверенности. Ибо одно адмирал знает уже сейчас: карта Мартина Бехайма неправильна, сообщение португальских кормчих о якобы открытом ими *расо* — опрометчивый вывод. Обманчивы были донесения, на которых он построил весь свой план кругосвет-

ного плаванья, ошибочны все расчеты Фалейру, ложны его, Магеллана, собственные утверждения, ложно все то, что он обещал королю Испании и его советникам. Если этот пролив вообще существует,— впервые приходит на ум прежде не знавшему сомнений Магеллану это «если вообще»,— то он должен быть расположен южнее. Но взять курс на юг — не значит плыть в теплые края, а, напротив, поскольку флотилия уже давно пересекла экватор, снова приближаться к полярной зоне. Февраль и март по ту сторону экватора не являются, как в родных широтах, концом зимы, а, наоборот, ее началом. Итак, если в ближайшее время не сыщется путь в южные моря, не откроется тщетно разыскиваемый здесь разо — время года, благоприятное для того, чтобы обогнуть Южную Америку, будет упущено, и тогда останутся только две возможности: либо вернуться в более теплые края, либо перезимовать где-нибудь в этих местах.

Тревожны, наверно, были мысли, томившие Магеллана с той самой минуты, как посланные на разведку суда вернулись с недоброй вестью.

Подобно духовному его миру, омрачается вокруг и мир внешний. Все неприветливее, все пустынное и угрюмое становятся берега, все больше хмурится небо; померкло сияние южного солнца, тяжелые, темные тучи заволокли синий небосвод.

Нет больше тропических лесов, чей густой, приторный аромат веял навстречу судам с далекого берега. Исчез навсегда живописный ландшафт Бразилии, могучие, отягощенные плодами деревья, пышные пальмы, диковинные животные, приветливые смуглые туземцы. В этих краях по голому песчаному берегу расхаживают одни только пингвины, пугливо, вразвалку удирающие при приближении людей, да на скалах нелепо и лениво ворочаются тюлени. Кажется, что и люди и звери вымерли в этой пнющей пустыне. Один-единственный раз какие-то огромные туземцы, с головы до ног, подобно эскимосам, закутанные в звериные шкуры, увидев флотилию, в смятении укрылись за прибрежные скалы. Ни погрешками, ни пестрыми шапками, которыми им машут с кораблей, приманить их не удастся. Они неприветливы и сразу же убегают, едва к ним пытаются прибли-



виться; напрасными были все попытки найти следы их жилищ.

Все труднее, все медленнее становится плавание. Магеллан неуклонно движется вдоль берегов. Он обследует каждую, даже самую малую бухту и везде производит промеры глубины. Правда, таинственной карте, заманившей его в плавание и затем в пути его предавшей, он давно уже перестал верить. Но, может быть, может быть, все-таки совершится чудо — вдруг там, где никто этого не ждет, глазам откроется *raso*, и они еще до начала зимы проникнут в *Mar del Sur*, в Южное море. Ясно чувствуется, как потерявший уверенность Магеллан цепляется за эту единственную, последнюю надежду: может быть, и карта и португальские кормчие ошиблись только в определении широты и вожделенный пролив расположен на несколько миль ниже места, указанного в их лживых сообщениях. Когда 24 февраля флотилия снова приближается к какому-то необъятно широкому заливу, к бухте Сан-Матиас, эта надежда, словно колеблемая ветром свеча, разгорается вновь. Без промедления Магеллан опять посылает вперед небольшие суда, *viendo si había alguna salida para el Maluco*, дабы установить, не откроется ли здесь свободный проход к Молуккским островам. Но опять — ничего! Опять только закрытая бухта. Так же тщетно обследуют они и два других залива — «*Bahía de los Patos*»<sup>1</sup>, названный так из-за обилия в нем пингвинов, и «*Bahía de los Trabajos*»<sup>2</sup> (это название дано в память о страшных мытарствах, пережитых высадившимися там моряками). Но только туши убитых тюленей приносят оттуда полузамерзшие люди — желанной вести нет и в помине.

Дальше, дальше плывут суда вдоль берега, под мгlistым небом. Все грозней становится пустыня, все короче дни, все длиннее ночи. Суда уже не скользят по синим волнам, подгоняемые попутным бризом; теперь ледяные штормы яростно треплют паруса, снег и град белой крупой осыпают их, грозно вздымаются седые валы. Два месяца потребовалось флотилии, чтобы отвоевать у враждебной стихии небольшое расстояние от устья

---

<sup>1</sup> «Залив уток» (исп.).

<sup>2</sup> «Залив тяжких трудов» (исп.).

Ла-Платы до залива Сан-Хулиан. Почти каждый день команде приходится бороться с ураганами, с пресловутыми *рапругос* этих краев — грозными порывами ветра, расщепляющими мачты и срывающими паруса; день от дня холоднее и сумрачнее становится все кругом, а разо по-прежнему не показывается. Жестоко мстят теперь за себя потерянные недели. Пока флотилия обследовала все закоулки и бухты, зимний холод опередил ее: теперь он встал перед ней, самый лютый, самый опасный из всех врагов, и штормами преградил ей путь. Полгода ушло понапрасну, а Магеллан не ближе к заветной цели, чем в день, когда покинул Севилью.

Мало-помалу команда начинает проявлять нескрываемое беспокойство: инстинкт подсказывает им, что здесь что-то неладно. Разве не уверяли их в Севилье, при вербовке, что флотилия направится к Молуккским островам, на лучезарный юг, в райские земли? Разве невольник Энрике не описывал им свою родину как страну блаженной неги, где люди голыми руками подбирают рассыпанные на земле драгоценные пряности? Разве не сулили им богатство и скорое возвращение? Вместо этого — мрачный молчаливик ведет их по все более холодным и скудным пустыням. Излучая слабый, зыбкий свет, проглядывает иногда сквозь тучи желтое чахлое солнце, но обычно небо сплошь закрыто облаками, воздух насыщен снегом; ветер морозным прикосновением до боли обжигает щеки, насквозь пронизывает изорванную одежду; руки моряков коченеют, когда они пытаются ухватить обледенелые канаты; дыхание белым облачком клубится у рта. И какая пустота вокруг, какое зловещее уныние! Даже людоедов прогнал холод из этих мест. На берегах нет ни зверей, ни растений — одни тюлени да раковины. В этих краях живые существа охотнее ютятся в ледяной воде, чем на исхлестанном бурями, унылом побережье. Куда завлек их этот бесноватый португалец? Куда он гонит их дальше? Уж не хочет ли он привести их в землю вечных льдов или к антарктическому полюсу?

Тщетно пытается Магеллан унять громкий ропот. «Стоит ли бояться такого пустячного холода? — уговаривает он их. — Стоит ли из-за этого утрачивать твердость духа? Ведь берега Исландии и Норвегии лежат в

еще более высоких широтах, а между тем весною плавать в этих водах не труднее, чем в испанских; нужно еще продержаться всего лишь несколько дней. В крайности можно будет перезимовать и продолжать путь уже при более благоприятной погоде». Но команда не дает успокоить себя пустыми словами. Нет, какие тут сравнения! Не может быть, чтобы их король предусматривал плавание в эти ледовые края, а если адмирал болтает про Норвегию и Исландию, то там ведь дело обстоит совсем иначе. Там люди с малолетства привыкли к стуже, а кроме того, они не удаляются больше чем на неделю, на две недели пути от родных мест. А их завлекли в пустыню, куда еще не ступала нога христианина, где не живут даже язычники и людоеды, даже медведи и волки. Что им тут делать? К чему было выбирать этот окольный путь, когда другой, ост-индский, ведет прямо к «Островам пряностей», минуя эти ледяные просторы, эти губительные края? Вот что громко и не таясь отвечает команда на уговоры адмирала. А среди своих, под сенью кубрика, матросы, несомненно, ропщут еще сильнее. Снова оживает старое, еще в Севилье шепотом передававшееся из уст в уста подозрение: не ведет ли проклятый португалец *trato doble* — двойную игру? Не замыслил ли он, с целью снова войти в милость у португальского короля, злодейски погубить пять хороших испанских судов вместе со всем экипажем?

С тайным удовлетворением следят капитаны-испанцы за нарастающим озлоблением команды. Сами они в это дело не вмешиваются, они избегают разговоров с Магелланом и только становятся все более молчаливыми и сдержанными. Но их молчание опаснее многоречивого недовольства команды. Они больше смываются в навигационном деле, и от них не может укрыться, что Магеллан введен в заблуждение неправильными картами и уже давно не уверен в своей «тайне». Ведь если б этот человек действительно в точности знал, на каком градусе долготы и широты расположен пресловутый *расо*, чего ради заставил бы он в таком случае суда целые две недели напрасно плыть по Рио де Ла-Плата? Зачем он теперь вновь и вновь теряет драгоценное время на обследование каждой маленькой бухты? Либо Магеллан обманул короля, либо он сам себя обманывает, утверждая,

что ему известно местонахождение рaso, ибо теперь уже ясно: он только ищет путь, он его еще не знает. С плохо скрываемым злорадством наблюдают они, как у каждой извилины он напряженно вглядывается в разорванные очертания берега. Что же, пусть Магеллан и дальше ведет флотилию во льды и в неизвестность. Им незачем больше спорить с ним, досаждают ему жалобами. Скоро пробьет час, когда он вынужден будет признаться: «Я не могу идти дальше, я не знаю, куда идти». А тогда настанет время для них взять командование в свои руки и сломить могущество высокомерного молчальника.

Невозможно вообразить более ужасное душевное состояние, нежели состояние Магеллана в те дни. Ведь с тех пор как его надежда найти пролив была дважды жестоко обманута, в первый раз —возле устья Ла-Платы, во второй — у залива Сан-Матиас, он уже не может дальше таить от себя, что непоколебимая вера в секретную карту Бехайма и опрометчиво принятые за истину рассказы португальских кормчих ввели его в заблуждение. В наиболее благоприятном случае, если легендарный рaso действительно существует, он может быть расположен только дальше к югу, то есть ближе к антарктической зоне; но и в этом благоприятном случае возможность пройти через него в текущем году уже упущена. Зима опередила Магеллана и опрокинула все его расчеты: до весны флотилия с ее потрепанными судами и недовольной командой не сможет воспользоваться проливом, даже если они теперь и найдут его. Девять месяцев проведено в плавании, а Магеллан еще не бросил якоря у Молуккских островов, как он имел неосторожность пообещать. Его флотилия по-прежнему блуждает и упорно борется за жизнь с жесточайшими бурями.

Самое разумное теперь было бы сказать всю правду. Созвать капитанов, признаться им, что карты и сообщения кормчих ввели его в заблуждение, что возобновить поиски рaso можно будет лишь с наступлением весны, а сейчас лучше повернуть назад, укрыться от бурь, снова направиться вдоль берега вверх, в Бразилию, в привет-

ливую, теплую страну, провести там в благодатном климате зиму, подправить суда и дать отдохнуть команде, прежде чем весной двинуться на юг. Это был бы самый простой путь, самый человечный образ действий. Но Магеллан зашел слишком далеко, чтобы повернуть вспять. Слишком долго он, сам обманутый, обманывал других, уверяя, что знает новый, кратчайший путь к Молуккским островам. Слишком сурово расправился он с теми, кто дернул хоть слегка усомниться в его тайне; он оскорбил испанских офицеров, он в открытом море отрешился от должности знатного королевского чиновника и обошелся с ним, как с преступником. Все это может быть оправдано только огромным, решающим успехом. Ведь и капитаны и экипаж ни одного часа, ни одной минуты дольше не согласились бы ему повиноваться, если бы он не то что признал—об этом не может быть и речи,— а хотя бы намеком дал им понять, что далеко не так уверен в удачном исходе дела, как там, на родине, когда он давал обещания их королю; последний юнга отказался бы снимать перед ним шапку. Для Магеллана уже нет возврата: в минуту, когда он велел бы повернуть руль и взять курс на Бразилию, он из начальника своих офицеров превратился бы в их пленника. Вот почему он принимает отважное решение. Подобно Кортесу, который в том же году сжег все суда своей флотилии, дабы лишить своих воинов возможности вернуться, Магеллан решает задержать корабли и экипаж в столь отдаленном месте, что, даже если бы они и захотели, у них уже не было бы возможности принудить его к возвращению. Если затем, весной, он найдет пролив— дело выиграно. Не найдет — все пропало: среднего пути для Магеллана нет. Только упорство может даровать ему силу, только отвага — спасти его. И снова этот непостижимый, но все учитывающий человек готовится в тиши к решительному удару.

Тем временем бури день ото дня все яростней, уже по-зимнему набрасываются на корабли. Флотилия едва продвигается вперед. Целых два месяца потребовалось на то, чтобы пробиться на каких-нибудь двенадцать градусов дальше к югу.

Наконец 31 марта на пустынном побережье снова открывается залив. Первый взгляд адмирала таит в се-

бе его последнюю надежду. Не ведет ли этот залив вглубь, не он ли и есть заветный *пасо*? Нет, это закрытая бухта. Тем не менее Магеллан велит войти в нее. А так как уже из беглого осмотра явствует, что здесь нет недостатка в ключевой воде и рыбе, он отдает приказ спустить якоря. И к великому своему изумлению, а быть может, и испугу, капитаны и команда узнают, что их адмирал (никого не предупредив, ни с кем не посоветовавшись) решил расположиться на зимовку здесь, в бухте Сан-Хулиан, в этом никому не ведомом, необитаемом заливе, лежащем на сорок девятом градусе южной широты, в одном из самых мрачных и пустынных мест земного шара, где никогда не бывал еще ни один мореплаватель.

# МЯТЕЖ

2 апреля 1520 г.—7 апреля 1520 г.



**В** морозной темнице, в далеком, омраченном низко нависшими тучами заливе Сан-Хулиан, обострившиеся отношения неминуемо должны были привести к еще более резким столкновениям, чем в открытом море. И ничто разительнее не свидетельствует о непоколебимой твердости Магеллана, как то, что он перед лицом столь тревожного настроения команды не устранился мероприятия, которое неизбежно должно было усилить уже существующее недовольство. Магеллан один из всех знает, что в благодатные тропические страны флотилия в лучшем случае попадет через много месяцев; поэтому он отдает приказ экономнее расходовать запасы продовольствия и сократить ежедневный рацион. Фантастически смелый поступок: там, на краю света, в первый же день обозлить и без того уже раздраженный экипаж приказом о сокращении выдачи хлеба и вина.

И действительно, только эта энергичная мера спасла впоследствии флотилию. Никогда бы она не выдержала

знаменитого стодневного плавания по Тихому океану, не будь сохранен в неприкосновенности определенный запас провианта. Но команда, глубоко равнодушная к неизвестному ей замыслу, совсем не расположена покорно принять такое ограничение. Инстинкт — и достаточно здравый — подсказывает изнуренным матросам, что даже если это плавание вознесет до небес их адмирала, то по меньшей мере три четверти из них расплатятся за его торжество бесславной гибелью от морозов и голода, непосильных трудов и лишений. Если не хватает продовольствия, ропщут они, надо повернуть назад; и так уж они продвинулись дальше на юг, чем кто бы то ни было. Никто не сможет упрекнуть их на родине, что они не выполнили своего долга. Несколько человек уже погибли от холода, а ведь они нанимались в экспедицию на Молуккские острова, а не в Ледовитый океан. На эти крамольные слова тогдашние летописи заставляют Магеллана отвечать речью, плохо вяжущейся со сдержанным, лишенным пафоса обликом этого человека и слишком отдающей Плутархом и Фукидидом, чтобы быть достоверной. Он изумлен тем, что они, кастильцы, проявляют такую слабость, забывая, что предприняли это плавание единственно, чтобы послужить своему королю и своей родине. Когда, говорит он далее, ему поручили командование, он рассчитывал найти в своих спутниках дух мужества, издревле вдохновлявший испанский народ. Что касается его самого — он решил лучше умереть, чем с позором вернуться в Испанию. Итак, пусть они терпеливо дождутся, пока пройдет зима; чем большими будут их лишения, тем щедрее отблагодарит их потом король.

Но никогда еще красивые слова не укрощали голодный желудок. Не красноречие спасает Магеллана в тот критический час, а твердость принятого им решения не поддаваться, не идти ни на малейшие уступки. Сознательно вызывает он противодействие, чтобы тотчас железной рукой сломить его: лучше сразу пойти на решающее объяснение, чем томительно долго его откладывать! Лучше ринуться навстречу тайным врагам, чем ждать, пока они прижмут тебя к стене!

Что такое решающее объяснение должно последовать и к тому же в ближайшее время, Магеллан от себя не



скрывает. Слишком усилилось за последние недели напряжение, создаваемое безмолвной, пристальной взаимной слежкой, угрюмым молчанием Магеллана и капитанов; слишком невыносима эта взаимная холодная отчужденность — день за днем, час за часом на борту одного и того же тесного судна. Когда-нибудь это молчание должно, наконец, разрядиться в бурном возмущении или в насилии.

Виноват в этом опасном положении скорее Магеллан, чем испанские капитаны, и слишком уж дешевый обычный прием — изображать непокорных Магеллану офицеров сворой бесчестных предателей, всегдашних завистников и врагов гения. В ту критическую минуту капитаны флотилии были не только вправе, но были обязаны требовать от него раскрытия его дальнейших намерений, ибо дело шло не только об их собственных жизнях, но и о жизнях вверенных им королем людей. Если Карл V назначил Хуана де Картахену, Луиса де Мендоса и Антонио де Кока на должность надзирающих за флотилией чиновников, то вместе с их высоким званием он возложил на них и определенную ответственность. Их дело — следить за сохранностью королевского достояния, пяти судов флотилии, и защищать их, если они подвергнутся опасности. А теперь им действительно грозит опасность, смертельная опасность. Прошли многие месяцы — Магеллан не сыскал обещанного пути, не достиг Молуккских островов. Следовательно, ничего нет оскорбительного, если, перед лицом очевидной беспомощности Магеллана, принявшие присягу и получающие жалованье королевские чиновники требуют, наконец, чтобы он хоть частично доверил им свою великую тайну, раскрыл перед ними свои карты. То, чего требовали капитаны, было в порядке вещей: начальнику экспедиции пора, наконец, покончить с этой игрой в прятки, пора сесть с ними за стол и совместно обсудить вопрос о дальнейшем курсе, как впоследствии резюмирует их требования дель Кано в протоколе: <sup>1</sup> «Que tomase consejo con sus oficiales y que diese la derrota a donde queria ir» <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Речь идет о показаниях, данных дель Кано по возвращении в Севилью.

<sup>2</sup> «Пусть держит со своими офицерами совет, и сообщит им путь, и скажет, куда намерен идти» (исп.).

Но злосчастный Магеллан — в этом и его вина и его страдание — не может раскрыть свои карты, не будучи вполне уверен, что козырь действительно у него в руках. Он не может для своего оправдания представить португалец Мартина Бехайма, потому что там *расо* ошибочно отмечен на сороковом градусе южной широты. Не может, после того как он отрешился от должности Хуана де Картахену, признать: «Я был обманут ложными сообщениями, и я обманул вас». Не может допустить вопросов о местонахождении пресловутого *расо*, потому что сам все еще не знает ответа. Он должен притворяться слепым, глухим, должен закусить губы и только держать наготове крепко стиснутый кулак на случай, если это назойливое любопытство станет для него угрожающим. В общем, положение таково: королевские чиновники решили во что бы то ни стало добиться объяснения от упорно молчащего адмирала и потребовать у него отчета в его дальнейших намерениях. А Магеллан, чьи счета не сойдутся, куда *расо* не будет найден, не может допустить, чтобы его принудили отвечать и объясниться, иначе доверие к нему и его авторитет погибнут.

Итак, совершенно очевидно: на стороне офицеров — право, на стороне Магеллана — необходимость. Если они теперь так настойчиво теснят его, то их напор не праздное любопытство, а долг.

К их чести нужно сказать, что не из-за угла, не предательски напали они на Магеллана. Они в последний раз дают ему понять, что их терпение истощилось, и Магеллану, если бы он захотел, нетрудно было понять этот намек.

Чтобы загладить обиду, нанесенную капитанам его самовластным распоряжением, Магеллан решает сделать учтивый жест: он официально приглашает их прослушать вместе с ним пасхальную заутреню и затем отобедать на флагманском судне. Но испанских дворян такой дешевой ценой не купишь, одним обедом от них не отделаешься. Сеньор Фернандо де Магельяеш, единственно своими рассказами добившийся звания кавалера ордена Сант-Яго, в течение девяти месяцев ни разу не удостоил опытных моряков и королевских чиновников беседы о положении флотилии; теперь они, вежливо поблагодарив, отказываются от этой неожиданной милости —

праздничной трапезы. Вернее, они даже не благодарят, считая и такое более чем сдержанное изъяснение вежливости излишним. Не давая себе труда ответить отказом, три капитана — Гаспар Кесада, Луис де Мендоса, Антонио де Кока — попросту пропускают мимо ушей приглашение адмирала. Незанятыми остаются приготовленные стулья, нетронутыми яства. В мрачном одиночестве сидит Магеллан за накрытым столом вместе со своим двоюродным братом Алваро де Мескита, которого он собственной властью назначил капитаном, и, верно, его не очень тешит эта задуманная как праздник мира пасхальная трапеза. Своим непоявлением все три капитана открыто бросили вызов. Во всеуслышание заявили ему: «Тетива туго натянута! Берегись — или одумайся!»

Магеллан понял предостережение. Но ничто не может смутить этого человека с железными нервами. Спокойно, ничем не выдавая своей обиды, сидит он за столом с Алваро де Мескита, спокойно отдаёт на борту обычные приказы, спокойно распростерши свое крупное, грузное тело, готовится отойти ко сну. Вскоре гаснут все огни; недвижно, словно огромные черные задремавшие звери, стоят пять кораблей в туманном заливе; с борта одного из них лишь с трудом можно различить очертания другого, так глубок мрак этой по-зимнему долгой ночи под затянутым тучами небом. В непроглядной тьме не видно, за шумом прибора не слышно, как около полуночи от одного из кораблей тихо отделяется шлюпка и бесшумными взмахами весел продвигается к «Сан-Антонио». Никто и не подозревает, что в этой осторожно, словно челн контрабандиста, скользящей по волнам шлюпке притаились королевские капитаны — Хуан де Картахена, Гаспар Кесада и Антонио де Кока. План трех действующих сообща офицеров разработан умно и смело. Они знают: чтобы одолеть такого отважного противника, как Магеллан, нужно обеспечить себе значительное превосходство сил. И это численное превосходство предусмотрел Карл V: при отплытии только один из кораблей — флагманское судно Магеллана — был доверен португальцу, а в противовес этому испанский двор мудро поручил командование остальными четырьмя судами испанским капитанам. Правда, Магеллан самовольно опроки-

нул это установленное желанием императора соотношение, отняв под предлогом «ненадежности» сначала у Хуана де Картахены, а затем у Антонио де Кока командование «Сан-Антонио» и передав командование этим судном, первым по значению после флагманского, своему двоюродному брату Алваро де Мескита.

Твердо держа в руках два самых крупных корабля, он при критических обстоятельствах и в военном отношении будет главенствовать над флотилией. Имеется, следовательно, только одна возможность сломить его сопротивление и восстановить предуказанный императором порядок: как можно скорее захватить «Сан-Антонио» и каким-нибудь бескровным способом обезвредить незаконно назначенного капитаном Алваро де Мескита. Тогда соотношение будет восстановлено, и они смогут заградить Магеллану выход из залива, покуда он не соизволит дать королевским чиновникам все нужные им объяснения.

Отлично продуман этот план и не менее тщательно выполнен испанскими капитанами. Бесшумно подбирается шлюпка с тридцатью вооруженными людьми к погруженному в дремоту «Сан-Антонио», на котором — кто здесь в бухте помышляет о неприятеле? — не выставлена ночная вахта.

По веревочным трапам взбираются на борт заговорщики во главе с Хуаном де Картахеной и Антонио де Кока. Бывшие командиры «Сан-Антонио» и в темноте находят дорогу к капитанской каюте; прежде чем Алваро де Мескита успевает вскочить с постели, его со всех сторон обступают вооруженные люди; мгновение — он в кандалах и уже брошен в каморку судового писаря. Только теперь просыпаются несколько человек; один из них — кормчий Хуан де Элорьяга — чует измену. Грубо спрашивает он Кесаду, что ему понадобилось ночью на чужом корабле. Но Кесада отвечает шестью молниеносными ударами кинжала, и Элорьяга падает, обливаясь кровью. Всех португальцев на «Сан-Антонио» заковывают в цепи; тем самым выведены из строя надежнейшие приверженцы Магеллана, а чтобы привлечь на свою сторону остальных, Кесада приказывает отпереть кладовые и позволяет матросам наконец-то вволю наесться и напиться. Итак, если не считать досадного происшествия—

удара кинжалом, придавшего этому налету характер кровавого мятежа,—дерзкая затея испанских капитанов полнотью удалась. Хуан де Картахена, Кесада и де Кока могут спокойно возвратиться на свои суда, чтоб на крайний случай привести их в боевую готовность; командование «Сан-Антонио» поручается человеку, имя которого здесь появляется впервые,—Себастьяну дель Кано. В этот час он призван помешать Магеллану в осуществлении заветной мысли; настанет другой час, когда его, именно его изберет судьба для завершения великого дела Магеллана.

Потом корабли опять недвижно, словно огромные черные дремлющие звери, покоятся в туманном заливе. Ни звука, ни огонька; догадаться о том, что произошло, невозможно.

По-зимнему поздно и неприветно брезжит рассвет в этом угрюмом крае. Все так же недвижно стоят пять судов флотилии на том же месте в морозной темнице залива. Ни по какому внешнему признаку не может догадаться Магеллан, что верный его друг и родственник, что все находящиеся на борту «Сан-Антонио» португальцы закованы в цепи, а вместо Мескиты судном командует мятежный капитан. На мачте развеивается тот же вымпел, что и накануне, издали все выглядит по-прежнему, и Магеллан велит начать обычную работу: как всегда по утрам, он посылает с «Тринидад» лодку к берегу, чтобы доставить оттуда дневной рацион дров и воды для всех кораблей. Как всегда, лодка сначала подходит к «Сан-Антонио», откуда регулярно каждый день отряжают на работу по нескольку матросов. Но странное дело: на этот раз, когда лодка приближается к «Сан-Антонио», с борта не спускают веревочного трапа, ни один матрос не показывается, а когда гребцы сердито кричат, чтобы там, на палубе, пошевелились, им сообщают ошеломляющую весть: на этом корабле не подчиняются приказам Магеллана, а повинуются только капитану Гаспару Кесаде. Ответ слишком необычен, и матросы гребут обратно, чтобы обо всем доложить адмиралу.

Он сразу уясняет себе положение: «Сан-Антонио» в руках мятежников. Магеллана перехитрили. Но даже это

убийственное известие не в состоянии хотя бы на минуту ускорить биение его пульса, затемнить здравость его суждений. Прежде всего необходимо учесть размер опасности: сколько судов еще за него, сколько против? Без промедления посылает он ту же шлюпку от корабля к кораблю. За исключением незначительного «Сант-Яго», все три корабля — «Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория» — оказываются на стороне бунтовщиков. Итак, три против двух, или, вернее, три против одного — «Сант-Яго» не может считаться боевой единицей. Казалось бы, партию надо считать проигранной, всякий другой прекратил бы игру. За одну ночь погибло дело, которому Магеллан посвятил несколько лет своей жизни. С одним только флагманским судном он не в состоянии продолжать плавание в неведомую даль, а от остальных кораблей он не может ни отказаться, ни принудить их к повиновению. В этих водах, которых никогда еще не касался киль европейского судна, помощи ждать неоткуда. Лишь две возможности остаются Магеллану в этом ужасающем положении: первая — логическая и ввиду численного превосходства врага в сущности сама собой разумеющаяся — преодолеть свое упорство и пойти на примирение с испанскими капитанами; и затем вторая — совершенно абсурдная, но героическая: поставить все на одну карту и, несмотря на полную безнадежность, попытаться нанести мощный ответный удар, который принудит бунтовщиков смириться.

Все говорит за первое решение — за то, чтобы пойти на уступки. Ведь мятежные капитаны еще не посягнули на жизнь адмирала, не предъявили ему определенных требований. Недвижно стоят их корабли, пока что от них не приходится ждать вооруженного нападения. Испанские капитаны, несмотря на свое численное превосходство, тоже не хотят за многие тысячи миль от родины начать бессмысленную братоубийственную войну. Слишком памятна им присяга в севильском соборе, слишком хорошо известна позорная кара за мятеж и дезертирство. Облеченные королевским доверием дворяне Хуан де Картахена, Луис де Мендоса, Гаспар Кесада, Антонио де Кока хотят возвратиться в Испанию с по-

четом, а не с клеймом предательства, поэтому они не подчеркивают своего перевеса, а с самого начала заявляют о готовности вступить в переговоры. Не кровавую распря хотят они начать захватом «Сан-Антонио», а только оказать давление на адмирала, принудить упорного молчаливника наконец объявить им дальнейший путь следования королевской флотилии.

Вот почему письмо, которое уполномоченный мятежных капитанов Гаспар Кесада посылает Магеллану, отнюдь не является вызовом, а, напротив, смиренно озаглавлено «Suplicacion», то есть «прошение», составленное в учтивейших выражениях, оно начинается с оправдания совершенного ночью налета. Только дурное обращение Магеллана, гласит это письмо, принудило их захватить корабль, начальниками которого их назначил сам король. Но пусть адмирал не истолковывает этот поступок как отказ признавать пожалованную ему королем верховную власть над флотилией. Они только требуют лучшего обхождения в дальнейшем, и если он согласится выполнить это справедливое пожелание, они будут служить ему не только послушно, как того требует долг, но и с глубочайшим почтением. (Письмо написано таким неимоверно напыщенным слогом, что дать точный перевод его невозможно. «Y si hasta alli le habian llamado de merced, dende en adelante le llamarian de señoria y le besarian pies y manos»<sup>1</sup>.)

При наличии несомненного военного превосходства на стороне испанских капитанов это предложение весьма заманчиво. Но Магеллан уже давно избрал другой, героический путь. От его пронизательного взора не ускользнуло слабое место противника — неуверенность в себе. По тону их послания он чутьем догадался, что в глубине души главари мятежа не решаются довести дело до крайности; в этом колебании, при их численном превосходстве, он увидел единственное слабое место в позиции испанских капитанов. Если использовать этот шанс, нанести молниеносный удар, быть может, дело примет иной оборот. Одним смелым ходом будет выиграна партия, казалось бы, уже потерянная.

---

И как доселе просили его о милости, так и впредь умоляют о покровительстве, лобызая руки и ноги (исп.).

Однако — приходится это снова отметить и подчеркнуть — Магелланову понятию смелости присущ совершенно особый оттенок. Действовать смело — для него не значит рубить сплеча, стремительно бросаться вперед, а напротив: с величайшей осторожностью и обдуманностью браться за беспрецедентное по своей смелости начинание. Дерзновеннейшие замыслы Магеллана всегда, подобно добротной стали, сначала выковываются на огне страстей, а потом закаляются во льду трезвого размышления, и все опасности он преодолевает именно благодаря этому соединению фантазии и рассудочности. Его план готов в одну минуту, остальное время понадобится лишь на то, чтобы точно учесть детали. Магеллану ясно: он должен сделать то же, что сделали его капитаны,— должен завладеть хотя бы одним судном, чтобы снова получить перевес. Но как легко далось это бунтовщикам и как трудно придется Магеллану! Они под покровом ночи напали на ничего не подозревающих людей. Спал капитан, спала команда. Никто не готовился к обороне, ни у кого из матросов не было оружия под руками. Но теперь, среди бела дня... Недоверчиво следят мятежные капитаны за каждым движением на флагманском судне. Пушки и бомбарды приведены в боевую готовность, аркебузы заряжены; мятежникам слишком хорошо известно мужество Магеллана, они считают его способным на самый отчаянный шаг.

Но им известно только его мужество, его изворотливости они не знают. Они не подозревают, что этот молниеносно все учитывающий человек отважится на невероятное — напасть среди бела дня с горстью людей на три превосходно вооруженных судна. Гениальным маневром было уже то, что объектом дерзновенного удара он намечает не «Сан-Антонио», где томится в цепях его двоюродный брат Мескита. Ведь там, разумеется, скорее всего ждут нападения. Но именно потому, что удара ждут справа, Магеллан бьет слева,— не по «Сан-Антонио», а по «Виктории».

Контратака Магеллана блестяще продумана вплоть до мельчайших подробностей. Прежде всего он задерживает шлюпку и матросов, передавших ему составленное Кесадой «прошение», предлагающее вступить в переговоры. Этим он достигает двух целей: во-первых, в слу-



чае вооруженного столкновения ряды бунтовщиков будут ослаблены хотя бы на несколько человек, а во-вторых. благодаря этому мгновенно осуществленному захвату в его распоряжении уже не одна шлюпка, а две, и это на первый взгляд ничтожное преимущество вскоре окажет решающее воздействие на ход событий.

Теперь он, оставив шлюпку «Тринидад» в резерве, может на шлюпке, захваченной у мятежников, отправить беззаветно преданного ему каптенармуса, альгвасила флота Гонсало Гомеса де Эспиноса с пятью матросами на «Викторию» — передать капитану Луису де Мендоса ответное письмо.

Не чуя опасности, следят мятежники со своих превосходно вооруженных судов за приближением крохотной шлюпки. Никаких подозрений у них не возникает. Разве могут шестеро людей, сидящих в этой шлюпке, напасть на «Викторию» с ее шестью десятками вооруженных матросов, множеством заряженных бомбард и опытным капитаном Луисом де Мендоса? Да и как им догадаться, что под камзолами у этих шестерых припрятано оружие и что Гомесу де Эспиноса дано особое задание? Неспешно, совсем неспешно, с нарочитой, тщательно обдуманной медлительностью — каждая секунда рассчитана — взбирается он со своими пятью воинами на борт и вручает капитану Луису де Мендоса письменное приглашение явиться для переговоров на флагманский корабль.

Мендоса читает письмо. Но ему слишком памятна сцена, в свое время разыгравшаяся на «Тринидад», когда Хуан де Картахена внезапно был схвачен как преступник. Нет, Луис де Мендоса не будет таким глупцом, чтобы дать заманить себя в ту же ловушку. «Э, нет, тебе меня не заполучить», *No me, pillarás allá* со смехом говорит он, читая письмо. Но смех переходит в глухое клокотанье — кинжал альгвасила пронзил ему горло.

В эту критическую минуту — можно только поражаться, с какой фантастической точностью Магеллан заранее рассчитал каждый метр, каждый взмах весел, необходимый на то, чтобы добраться с одного корабля до другого, — на борт «Виктории» поднимаются пятнадцать с головы до ног вооруженных воинов под начальством Ду-

арте Барбосы, подплывших на другой шлюпке. Команда в остолбенении глядит на бездыханное тело своего капитана, которого Эспиноса прикончил одним ударом. Не успели они осмыслить происшедшее и принять какое-либо решение, как Дуарте Барбоса уже взял на себя командование, его люди уже заняли важнейшие посты, вот он уже отдает приказания, и оробевшие моряки испуганно повинуются ему. Мгновенно выбран якорь, поставлены паруса — и прежде чем на двух других мятежных судах поняли, что гром грянул с ясного неба, «Виктория», в качестве законной добычи адмирала, уже направилась к флагманскому судну. Три корабля—«Тринидад», «Виктория» и «Сант-Яго» — стоят теперь против «Сан-Антонио» и «Консепсьон» и, заграждая выход в открытое море, лишают бунтовщиков возможности спастись бегством.

Благодаря этому стремительному маневру чаша весов одним рывком взметнулась вверх, партия, уже потерянная, была выиграна. В какие-нибудь пять минут испанские капитаны утратили превосходство; теперь им представляется три возможности: бежать, бороться или сдаться без боя. Бегство адмирал сумел предупредить, запретив своими тремя кораблями выход из залива. Бороться они уже не могут: внезапный удар Магеллана сокрушил мужество его противников. Тщетно старается Гаспар де Кесада, в полном вооружении, с копьём в одной руке и мечом в другой, призвать экипаж к борьбе. Перепуганные матросы не решаются следовать за ним, и стоит только шлюпкам с людьми Магеллана вплотную подойти к борту, как всякое сопротивление на «Сан-Антонио» и «Консепсьон» прекращается. Пробывший несколько часов в заключении Алваро де Мескита вновь получает свободу; в те самые цепи, которыми был унижен верный соратник Магеллана, теперь заковывают мятежных капитанов.

Быстро, как летняя гроза, разрядилось напряжение; первая же вспышка молнии расщепила мятеж до самого корня. Но возможно, что эта открытая борьба была лишь наиболее легкой частью задачи, ибо, согласно морским и военным законам, виновные обязательно должны

понести суровую кару. Мучительные сомнения обуревают Магеллана. Королевский приказ даровал ему безусловное право вершить правосудие, решать вопрос о жизни и смерти. Но ведь главари мятежа облечены, как и он сам, королевским доверием.

Во имя сохранения своего авторитета ему надлежало бы теперь беспощадно расправиться с восставшими. Но в то же время он не может покарать всех мятежников. Ибо как продолжать путь, если, согласно военным законам, пятая часть всёй команды будет вздернута на реи? За тысячи миль от родины, в пустынном краю адмирал флотилии не может лишиться нескольких десятков рабочих рук; следовательно, ему нужно и дальше везти виновных с собой, хорошим обращением снова привлечь их на свою сторону, а вместе с тем запугать их зрелищем примерного наказания.

Магеллан решается для острастки и поддержания неоспоримости своего авторитета пожертвовать одним человеком, и его выбор падает на единственного, кто обнажил оружие,— на капитана Гаспара Кесаду, нанесшего смертельную рану его верному кормчему Элорьяге.

Торжественно начинается этот вынужденный крайней необходимостью процесс: призваны писцы — *escribidos*, показания свидетелей заносятся в протокол; так же пространно и педантично, как если бы это происходило в судебной палате Севильи или Сарагоссы, исписывают они в пустынных просторах Патагонии лист за листом драгоценной здесь бумаги. На «ничьей земле» открывается заседание суда: председатель Мескита предьявляет бывшему капитану королевской армады Гаспару Кесаде обвинение в убийстве и мятежных действиях, а Магеллан выносит приговор: Гаспар Кесада присуждается к смертной казни, и единственная милость, которую адмирал оказывает испанскому дворянину, состоит в том, что орудием казни будет не веревка — *garrottá*, а меч.

Но кому же быть палачом? Вряд ли кто-нибудь из команды пойдет на это добровольно. Наконец палача удается найти, правда, страшной ценой. Слуга Кесады тоже приложил руку к убийству Элорьяги и тоже приговорен к смертной казни. Ему предлагают помилова-

ние, если он согласится обезглавить Кесаду. Вероятно, альтернатива — быть казненным самому или казнить своего господина — причинила Луису де Молино, слуге Кесады, тяжкие душевные муки. Но в конце концов он соглашается. Ударом меча он обезглавливает Кесаду, тем самым спасая собственную голову. По гнусному обыкновению тех времен, труп Кесады, как и труп ранее убитого Мендосы, четвертуют, а изуродованные останки натыкают на шесты; этот страшный обычай Тауэра и других лобных мест Европы впервые переносится на почву Патагонии.

Но еще и другой приговор предстоит вынести Магеллану — и кто может сказать, будет ли он более мягким или более жестоким, чем казнь через обезглавливание? Хуан де Картахена, собственно зачинщик мятежа, и один из священников, все время разжигавший недовольство, тоже признаны виновными. Но тут даже у Магеллана, при всей его отваге, не подымается рука подписать смертный приговор. Не может королевский адмирал передать в руки палача того, кто самим королем приравнен к нему в качестве *conjuncta persona*. К тому же Магеллан, как набожный католик, никогда не возьмет на душу тяжкий грех — пролить кровь пастыря, принявшего помазание священным елеем. Заковать обоих зачинщиков в кандалы и таскать их с собой вокруг света тоже не представляется возможным, и Магеллан уклоняется от решения, присудив Картахену и священника к изгнанию из королевской флотилии. Когда настанет время снова поднять паруса, оба они, снабженные некоторым количеством вина и съестных припасов, будут оставлены на пустынном берегу бухты Сан-Хулиан, а затем — пусть решает господь, жить им или умереть.

Прав ли был Магеллан или неправ, когда он вынес в бухте Сан-Хулиан этот беспощадный приговор? Заслуживают ли безусловного доверия составленные под наблюдением его двоюродного брата Мескиты судебные протоколы, которые ничего не приводят в оправдание виновных? Но, с другой стороны, правдивы ли позднейшие показания испанских капитанов, данные уже в Севилье и утверждающие, будто Магеллан в награду за злодей-

ское убийство Мендосы уплатил альгвасилу и сопровождавшим его матросам двенадцать дукатов и, сверх того, выдал им все имущество обоих умерщвленных дворян? Магеллана к тому времени уже не было в живых, опровергнуть эти показания он не мог. Почти каждое событие уже мгновение спустя после того, как оно свершилось, может быть истолковано по-разному, и если история впоследствии и оправдала Магеллана, то не надо забывать, что она обычно оправдывает победителя и осуждает побежденных. Геббель однажды обмолвился проникновенным словом: «Истории безразлично, как совершаются события. Она становится на сторону тех, кто творит великие дела и достигает великих целей». Не найди Магеллан *raso*, не соверши он своего подвига, умерщвление возражавших против его опасного предприятия капитанов расценивалось бы как обыкновенное убийство. Но так как Магеллан оправдал себя подвигом, стяжавшим ему бессмертие, то бесславно погибшие испанцы были преданы забвению, а суровость и непреклонность Магеллана — если не морально, то исторически — признаны правомерными.

Во всяком случае, кровавый приговор, вынесенный Магелланом, послужил опасным примером для самого гениального из его последователей и продолжателей, для Фрэнсиса Дрейка. Когда пятьдесят семь лет спустя отважному английскому мореплавателю и пирату в столь же опасном плавании угрожает столь же опасный бунт его команды, он, бросив якорь в той же злополучной бухте Сан-Хулиан, отдает мрачную дань своему предшественнику, повторяя его беспощадную расправу. Фрэнсис Дрейк в точности знает все, что произошло во время Магелланова плавания, ему известны протоколы и жестокая расправа адмирала с мятежниками; по преданию, он даже нашел в этой бухте кровавую плаху, на которой пятьдесят семь лет назад был казнен один из главарей мятежа. Имя восставшего против Дрейка капитана — Томас Доути; подобно Хуану де Картахене, он во время плавания был закован в цепи, и — странное совпадение! — на том же побережье, в том же *puerto negro*<sup>1</sup>, бухте Сан-Хулиан, и ему был вынесен приговор.

---

<sup>1</sup> Черная гавань (исп.).

И этот приговор также гласил: смерть. Разница лишь в том, что Фрэнсис Дрейк предоставляет своему бывшему другу мрачный выбор — принять, подобно Гаспару Кесаде, быструю и почетную смерть от меча или же, подобно Хуану де Картахене, быть покинутым в этом заливе. Доути, тоже читавший историю Магелланова плавания, знает, что никто никогда уже не слышал больше о Хуане де Картахене и об оставленном вместе с ним священнике, — по всей вероятности, они погибли мучительной смертью, — и отдает предпочтение верной, но быстрой, достойной мужчины и воина смерти — через обезглавливание. Снова падает на песок отрубленная голова. Извечный рок, тяготеющий над человечеством, — почти все достопамятные деяния обагрены кровью, и совершить великое удастся только самым непреклонным из людей.

# ВЕЛИКОЕ МГНОВЕНИЕ

7 апреля 1520 г.— 28 ноября 1520 г.



**Б**ез малого пять месяцев удерживает холод флотилию в унылой, злосчастной бухте Сан-Хулиан. Томительно долго тянется время в этом страшном уединении, но адмирал, зная, что сильнее всего располагает к недовольству безделье, с самого начала занимает матросов непрерывной, напряженной работой. Он приказывает осмотреть от киля до мачт и починить износившиеся корабли, нарубить леса, напилить досок. Придумывает, быть может, даже ненужную работу, лишь бы поддержать в людях обманчивую надежду, что вскоре возобновится плавание, что, покинув унылую морозную пустыню, они направятся к благодатным островам Южного моря.

Наконец появляются первые признаки весны. Эти долгие, по-зимнему пасмурные, мгlistые дни морякам казалось, что они затеряны в пустыне, не населенной ни людьми, ни животными, и вполне понятное чувство страха — прозябать здесь, вдали от всего человеческого, подобно пещерным жителям, еще больше омрачило

их дух. И вдруг однажды утром на прибрежном холме показывается какая-то странная фигура — человек, в котором они поначалу не признают себе подобного, ибо в первую минуту испуга и изумления он кажется им вдвое выше обычного человеческого роста. «*Diobus humanam superantes staturam*»<sup>1</sup>, — пишет о нем Петр Ангиерский, а Пигафетта подтверждает его свидетельство словами: «Этот человек отличался таким гигантским ростом, что мы едва достигали ему до пояса. Был он хорошо сложен, лицо у него было широкое, размалеванное красными полосами, вокруг глаз нарисованы желтые круги, а на щеках — два пятна в виде сердца. Короткие волосы выбелены, одежда состояла из искусно сшитых шкур какого-то животного». Особенно дивились испанцы невероятно большим ногам этого исполинского человекообразного чудовища, в честь этого «великононогого» (*patagão*) они стали называть туземцев патагонцами, а их страну — Патагонией. Но вскоре страх перед сыном Еноха рассеивается. Облаченное в звериные шкуры существо приветливо ухмыляется, широко расставляя руки, приплясывает и поет и при этом непрерывно посыпает песком волосы. Магеллан, еще по прежнему своим путешествиям несколько знакомый с нравами первобытных народов, правильно истолковывает эти действия как попытки к мирному сближению и велит одному из матросов подобным же образом плясать и также посыпать себе голову песком. На потеху усталым морякам дикарь и вправду принимает эту пантомиму за дружественное приветствие и доверчиво приближается. Теперь, как в «Буре», Тринкуло и его товарищи обрели наконец своего Калибана; впервые за долгий срок бедным истосковавшимся матросам представляется случай развлечься и вволю посмеяться. Ибо когда добродушному великану неожиданно суют под нос металлическое зеркальце, он, впервые увидев в нем собственное лицо, от изумления стремительно отскакивает и сшибает с ног четверых матросов. Аппетит у него такой, что матросы, глядя на него, от изумления забывают о скудости собственного рациона. Вытаращив глаза, наблюдают они, как новоявленный Гаргантюа залпом выпивает ведро воды и съедает на закуску полкорзины су-

---

<sup>1</sup> Рост его вдвое превосходил человеческий (лат.).



харей. А какой шум подымается, когда он на глазах у изумленных и слегка испуганных зрителей живьем, даже не содрав шкуры, съедает нескольких крыс, принесенных матросами в жертву его ненасытному аппетиту. С обеих сторон — между обжорой и матросами — возникает искренняя симпатия, а когда Магеллан вдобавок дарит ему две-три погремушки, тот спешит привести еще нескольких великанов и даже великанш.

Но эта доверчивость окажется губительной для простых детей природы. Магеллан, как и Колумб и все другие конкистадоры, получил от Casa de la Contratacion задание — привезти на родину по нескольку экземпляров не только растений и минералов, но и всех неизвестных человеческих пород, какие ему придется встретить. Поймать живьем такого великана сперва кажется матросам столь же опасным, как схватить за плавник кита. Боязливо ходят они вокруг да около патагонцев, но в последнюю минуту у них каждый раз не хватает смелости. Наконец они пускаются на гнусную уловку. Двум великанам суют в руки такое множество подарков, что им приходится всеми десятью пальцами удерживать добычу. А затем блаженно ухмыляющимся туземцам показывают еще какие-то на диво блестящие, звонко бряцающие предметы — ножные кандалы — и спрашивают, не желают ли они надеть их на ноги. Лица бедных патагонцев расплываются в широчайшую улыбку; они усердно кивают головой, с восторгом представляя себе, как эти диковинные штуки будут звенеть и греметь при каждом шаге. Крепко держа в руках подаренные безделушки, дикари, согнувшись, с любопытством наблюдают, как к их ногам прилаживают блестящие холодные кольца, так весело бренчащие; но вдруг — дзынь, и они в оковах. Теперь великанов можно без страха, словно мешки с песком, повалить наземь, в кандалах они уже не страшны. Обманутые туземцы рычат, катаются по земле, брыкаются и — это название у них позаимствовал Шекспир — призывают на помощь свое божество, чародея Сетевоса. Но Casa de la Contratacion нужны диковинки. И вот, как оглушенных быков, волокут беззащитных великанов на суда, где им, по недостатку пищи, суждено вскоре захиреть и погибнуть. Вероломное нападение «культуртрегеров» одним уда-

ром разрушило доброе согласие между туземцами и моряками. Отныне патагонцы чуждаются обманщиков, а когда испанцы однажды пускаются за ними в погоню с целью не то похитить, не то посетить нескольких великанш,— в этом месте рассказ Пигафетты удивительно сбивчив,— они отчаянно защищаются, и один из матросов расплачивается жизнью за эту затею.

Как туземцам, так и испанцам злополучная бухта Сан-Хулиан приносит одни лишь несчастья. Ничто здесь не удастся Магеллану, ни в чем ему нет счастья, словно проклятие тяготеет над обгаренным кровью берегом. «Только бы скорее отсюда, только бы скорее назад»,— стонет команда. «Дальше, дальше, вперед»,— мечтает Магеллан, и общее нетерпение растет, по мере того как дни становятся длиннее. Едва только стихает ярость зимних бурь, как Магеллан уже делает попытку двинуться вперед. Самое маленькое, самое быстроходное из всех своих судов, «Сант-Яго», управляемое надежным капитаном Серрано, он посылает на разведки, словно голубя Ноева ковчега. Серрано поручено, плывя на юг, обследовать все бухты и по истечении известного срока вернуться с донесением. Быстро проходит время, и Магеллан беспокойно и нетерпеливо начинает всматриваться в водную даль. Но не с моря приходит весть о судьбе корабля, а с суши: однажды с одного из прибрежных холмов, пошатываясь и едва держась на ногах, спускаются какие-то две странные фигуры; сначала моряки принимают их за патагонцев и уже натягивают тетиву арбалетов. Но нагие, полузамерзшие, изнуренные голодом, изможденные, одичалые люди-призраки кричат им что-то по-испански — это два матроса с «Сант-Яго». Они принесли дурную весть: Серрано достиг было большой, изобилующей рыбой реки с широким и удобным устьем, Рио де Санта-Крус, но во время дальнейших разведок судно выбросило штормом на берег. Оно разбилось в щепы. За исключением одного негра, вся команда спаслась и ждет помощи у Рио де Санта-Крус. Они вдвоем решились добраться вдоль берега до залива Сан-Хулиан и в эти одиннадцать страшных дней питались исключительно травой и кореньями.

Магеллан немедленно высылает шлюпку. Потерпевшие крушение возвращаются в залив. Но что проку от

людей — ведь погибло судно, быстроходное, лучше других приспособленное для разведки! Это первая утрата, и как всякая утрата, понесенная здесь, на другом конце света, она невозместима. Наконец 24 августа Магеллан велит готовиться к отплытию и, бросив последний взгляд на двух оставленных на берегу мятежников, покидает бухту Сан-Хулиан, в душе, вероятно, проклиная день, заставивший его бросить здесь якорь. Одно из его судов погибло, три капитана простились тут с жизнью, а главное — целый год ушел безвозвратно, и ничего еще не сделано, ничего не найдено, ничего не достигнуто.

Должно быть, эти дни были самыми мрачными в жизни Магеллана, возможно, единственными, когда он, столь непоколебимо веривший в свое дело, втайне пал духом. Уже одно то, что при отплытии из залива Сан-Хулиан он с деланной твердостью заявляет о своем решении следовать, если понадобится, вдоль Патагонского побережья даже до семьдесят пятого градуса южной широты и, только если и тогда соединяющий два океана пролив не будет найден, избрать обычный путь, мимо мыса Доброй Надежды, — уже одни эти оговорки «если понадобится» и «быть может» выдают его неуверенность. Впервые Магеллан обеспечивает себе возможность отступления, впервые признается своим офицерам, что искомым пролив, быть может, вовсе и не существует или же находится в арктических водах. Он явно утратил внутреннюю убежденность, и вдохновенное предчувствие, заставившее его устремиться на поиски *passo*, теперь, в решающую минуту, оставляет его. Вряд ли история когда-либо измышляла более издевательское, более нелепое положение, чем то, в котором очутился Магеллан, когда после двухдневного плавания ему снова пришлось остановиться, на этот раз у открытого капитаном Серрано устья реки Санта-Крус, и снова предписать судам два месяца зимней спячки. Ибо с точки зрения современных, более точных географических данных решение это совершенно бессмысленно.

Перед нами человек, движимый великим замыслом, но введенный в заблуждение туманными и вдобавок неверными сообщениями, который поставил целью всей своей жизни найти водный путь из Атлантического оке-

ана в Тихий и, таким образом, впервые совершить кругосветное плавание. Благодаря своей демонической воле он сокрушил противодействие материи, он нашел помощников для осуществления своего почти невыполнимого плана; покоряющей силой своего замысла он побудил чужого монарха доверить ему флотилию и благополучно провел эту флотилию вдоль побережья Южной Америки до мест, которых ранее не достигал еще ни один мореплаватель. Он совладал с морской стихией и с мятежом. Никакие препятствия, никакие разочарования не могли сокрушить его фантастическую веру в то, что он находится уже совсем близко от этого *расо*, от этой цели всех своих стремлений. И вот внезапно, перед самой победой, подернулся туманом вещей взор этого вдохновенного человека. Словно боги, невзлюбившие его, намеренно надели ему на глаза повязку. Ибо в тот день — 26 августа 1520 года, когда Магеллан приказывает флотилии снова лечь в дрейф на целых два месяца, он, в сущности, уже у цели. Только на два градуса широты нужно ему еще продвинуться к югу, только два дня пробыть в пути после трехсот с лишним дней плавания, только несколько миль пройти после того, как он уже оставил их за собою тысячи, — и его смятенная душа преисполнилась бы ликования. Но — злая насмешка судьбы! Несчастный не знает и не чувствует, как он близок к цели. В продолжение двух тоскливых месяцев, полных забот и сомнений, ждет он весны, ждет близ устья реки Санта-Крус, у пустынного, забытого людьми берега, уподобляясь человеку, в лютую метель остановившемуся, коченея от холода, у самых дверей своей хижины и не подозревающему, что стоит ему ощупью сделать один только шаг — и он спасен. Два месяца, два долгих месяца проводит Магеллан в этой пустыне, терзаясь мыслью, найдет ли он *расо* или нет, а всего в двух сутках пути его ждет пролив, который будет славить в веках его имя. До последней минуты человека, решившего, подобно Прометею, похитить у Земли ее сокровенную тайну, будет хищными когтями терзать жестокое сомнение.

Но тем прекраснее затем освобождение! Предельных вершин достигает только то блаженство, которое взметнулось вверх из предельных глубин отчаяния. 18 октяб-

ря 1520 года, после двух месяцев унылого и ненужного ожидания, Магеллан отдает приказ сняться с якоря. Отслуживается торжественная обедня, команда причащается, и корабли на всех парусах устремляются к югу. Ветер снова яростно противоборствует им, пядь за пядью отвоевывают они у враждебной стихии.

Мягкая зелень все еще не ласкает взор. Пустынно, плоско, угрюмо и неприветливо простирается перед ними необитаемый берег: песок и голые скалы, голые скалы и песок... На третий день плавания, 21 октября 1520 года, впереди наконец обрисовывается какой-то мыс; у необычайно извилистого берега высятся белые скалы, а за этим выступом, в честь великомучениц, память которых праздновалась в этот день, названным Магелланом «Cabo de las Virgines» — «Мысом Дев», взору открывается глубокая бухта с темными, мрачными водами. Суда подходят ближе. Своеобразный, суровый и величественный ландшафт! Обрывистые холмы с причудливыми, ломаными очертаниями, а вдали — уже более года невиданное зрелище! — горы с покрытыми снегом вершинами. Но как безжизненно все вокруг! Ни одного человеческого существа, кое-где редкие деревья да кусты, и только неумолчный вой и свист ветра нарушает мертвую тишину этой призрачно пустынной бухты. Угрюмо вглядываются матросы в темные глубины. Нелепостью кажется им предположение, что этот стиснутый горами, мрачный, как воды подземного царства, путь может привести к зеленому побережью или даже к Mar del Sur — к светлому, солнечному Южному морю. Кормчие в один голос утверждают, что этот глубокий выем — не что иное, как фьорд, такой же, какими изобилуют северные страны, и что исследовать эту закрытую бухту лотом или бороздить ее во всех направлениях — напрасный труд, бесцельная трата времени. И без того уж слишком много недель потрачено на исследование всех этих патагонских бухт, а ведь ни в одной из них не нашелся выход в желанный пролив. Довольно уже проволочек! Скорее вперед, а если estrecho<sup>1</sup> вскоре не покажется, надо воспользоваться благоприятным временем года и вернуться

---

<sup>1</sup> Пролив (исп.).

на родину или же обычным путем огибая мыс Доброй Надежды, проникнуть в Индийское море.

Но Магеллан, подвластный своей навязчивой идее о существовании неведомого пути, приказывает избородить вдоль и поперек и эту странную бухту. Без усердия выполняется его приказ: куда охотнее они направились бы дальше, ведь все они «думали и говорили, что это замкнутая со всех сторон бухта» («*serrato tuto in tornio*»). Два судна остаются на месте — флагманское и «Виктория», чтобы обследовать прилегающую к открытому морю часть залива. Двум другим — «Сан-Антонио» и «Консепсьон» — дан приказ: как можно дальше проникнуть в глубь бухты, но возвратиться не позднее, чем через пять дней. Время теперь стало дорого, да и провиант подходит к концу. Магеллан уже не в состоянии дать две недели сроку, как раньше, возле устья Ла-Платы. Пять дней на рекогносцировку — последняя ставка, все, чем он еще может рискнуть для этой последней попытки.

И вот наступило великое, драматическое мгновение. Два корабля Магеллана — «Тринидад» и «Виктория» — начинают кружить по передней части бухты, дожидаясь, пока «Сан-Антонио» и «Консепсьон» вернутся с разведки. Но вся природа, словно возмущаясь тем, что у нее хотят вырвать ее последнюю тайну, еще раз оказывает отчаянное сопротивление. Ветер крепчает, переходит в бурю, затем в неистовый ураган, часто свирепствующий в этих краях. На старинных испанских картах можно видеть предостерегающую надпись: «*No hay buenas estaciones*» («Здесь нет хороших стоянок»). В мгновение ока бухта вспенивается в беспорядочном, диком вихре, первым же шквалом все якоря срывает с цепей; беззащитные корабли с убранными парусами преданы во власть стихии. Счастье еще, что неослабевающий вихрь не гонит их на прибрежные скалы. Сутки, двое суток длится это страшное бедствие. Но не о собственной участи тревожится Магеллан: оба его корабля, хотя буря треплет и швыряет их, все же находятся в открытой части залива, где их можно удерживать на некотором расстоянии от берега. Но те два — «Сан-Антонио» и «Консепсьон»! Они захвачены бурей во внутренней части бухты, грозный

ураган налетел на них в теснине, узком проходе, где нет возможности ни лавировать, ни бросить якорь, чтобы укрыться. Если не свершилось чудо, они уж давно выброшены на сушу и на тысячи кусков разбились о прибрежные скалы.

Лихорадочное, страшное, нетерпеливое ожидание заполняет эти дни, роковые дни Магеллана. В первый день — никаких вестей. Второй — они не вернулись. Третий, четвертый — их все нет. А Магеллан знает: если оба они потерпели крушение и погибли вместе с командой, тогда все потеряно. С двумя кораблями он не может продолжать путь. Его дело, его мечта разбились об эти скалы.

Наконец возглас с марса. Но — ужас! — не корабли, возвращающиеся на стоянку, увидел дозорный, а столб дыма вдали. Страшная минута! Этот сигнал может означать только одно: потерпевшие крушение моряки взывают о помощи. Значит, погибли «Сан-Антонио» и «Консепсьон» — его лучшие суда, все его дело погибло в этой еще безымянной бухте. Магеллан уже велит спускать шлюпку, чтобы двинуться в глубь залива на помощь тем людям, которых еще можно спасти. Но тут происходит перелом. Это мгновение такого же торжества, как в «Тристане», когда замирающий, скорбный, жалобный мотив смерти в пастушеском рожке внезапно взмывает кверху и перерождается в окрыленную, ликующую, кружащуюся в избытке счастья плясовую мелодию. Парус! Виден корабль! Корабль! Хвала всевышнему, хоть одно судно спасено! Нет, оба, оба! И «Сан-Антонио» и «Консепсьон», вот они возвращаются, целые и невредимые. Но что это? На бакбортах подплывающих судов вспыхивают огоньки — раз, другой, третий, и горное эхо обычно вторит грому орудий. Что случилось? Почему эти люди, обычно берегущие каждую щепотку пороха, расточают его на многократные салюты? Почему — Магеллан едва верит своим глазам — подняты все вымпелы, все флаги? Почему капитаны и матросы кричат, машут руками? Что их так волнует, о чем они кричат? На расстоянии он еще не может разобрать отдельных слов, никому еще не ясен их смысл. Но все — и прежде всех Магеллан — чувствуют: эти слова возвещают победу.

И правда, корабли несут благословенную весть. С радостно бьющимся сердцем выслушивает Магеллан доносение Серрано. Сначала обоим кораблям пришлось круто. Они зашли уже далеко в глубь бухты, когда разразился этот страшный ураган. Все паруса были тотчас убраны, но бурным течением суда несло все дальше и дальше, гнало в самую глубь залива; уже они готовились к бесславной гибели у скалистых берегов. Но вдруг, в последнюю минуту, заметили, что высшаяся перед ними скалистая гряда не замкнута наглухо, что за одним из утесов, сильно выступающим вперед, открывается узкий проток, подобие канала.

Этим протоком, где буря свирепствовала не так сильно, они прошли в другой залив, как и первый, сначала суживающийся, а затем вновь значительно расширяющийся. Трое суток плыли они, и все не видно было конца этому странному водному пути. Они не достигли выхода из него, но этот необычайный поток ни в коем случае не может быть рекой; вода в нем всюду солоноватая, у берега равномерно чередуются прилив и отлив. Этот таинственный поток не сужается, подобно Ла-Плате, по мере удаления от устья, но, напротив, расширяется. Чем дальше, тем шире стелется полноводный простор, глубина же его остается постоянной. Поэтому более чем вероятно, что этот канал ведет в вождеденное *Mag del Sur*, берега которого несколько лет назад открылись с Панамских высот Нуньесу де Бальбоа, первому европейцу, достигшему этих мест.

Более счастливой вести так много выстрадавший Магеллан не получал за весь последний год. Можно только предполагать, как возликовало его мрачное, ожесточенное сердце при этом обнадеживающем известии! Ведь он уже начал колебаться, уже считался с возможностью возвращения через мыс Доброй Надежды, и никто не знает, какие тайные мольбы и обеты возносил он, преклонив колена, к богу и его святым угодникам. А теперь, именно в ту минуту, когда его вера начала угасать, заветный замысел становится реальностью, мечта претворяется в жизнь! Теперь ни минуты промедления! Поднять якоря! Распустить паруса! Последний залп в честь короля, последняя молитва покровителю моряков! А затем — отважно вперед, в лабиринт! Если из этих



ахеронских вод он найдет выход в другое море — он будет первым, кто нашел путь вокруг земли! И со всеми четырьмя кораблями Магеллан храбро устремляется в этот пролив, в честь праздника, совпавшего с днем его открытия, названный им проливом *Todos los Santos*<sup>1</sup>. Но прядущие поколения благодарно переименоуют его в Магелланов пролив.

Странное, фантастическое это, верно, было зрелище, когда четыре корабля впервые в истории человечества медленно и бесшумно вошли в безмолвный, мрачный пролив, куда испокон веков не проникал человек. Страшное молчание встречает их. Словно магнитные горы, на берегу чернеют холмы, низко нависло покрытое тучами небо, свинцом отливают темные воды; как Харопова ладья на стигийских волнах, тенями среди теней неслышно скользят четыре корабля по этому призрачному миру. Вдали сверкают покрытые снегом вершины, ветер доносит их ледяное дыхание. Ни одного живого существа вокруг, и все же где-то здесь должны быть люди, ибо в ночном мраке полыхают огни, почему Магеллан и назвал этот край *tierra de fuego*—Огненной Землей. Эти никогда не угасающие огни наблюдались и впоследствии, на протяжении веков. Объясняются они тем, что находившимся на самой низкой ступени культуры туземцам стоило большого труда добывать огонь, и они день и ночь жгли в своих хижинах сухую траву и сучья. Но ни разу за все это время тоскливо озирающиеся по сторонам мореплаватели не слышат человеческого голоса, не видят людей; когда Магеллан однажды посылает шлюпку с матросами на берег, они не находят там ни жилья, ни следов жизни, а лишь обиталище мертвых, десятков-другой заброшенных могил. Мертво и единственное обнаруженное ими животное — кит, чью исполинскую тушу волны прибили к берегу; лишь за смертью приплыл он сюда, в царство тлена и вечного запустения. Недоуменно вслушиваются люди в эту зловещую тишину. Они словно попали на другую планету, вымершую, выжженную. Только бы вперед! Скорее вле-

---

<sup>1</sup> Всех святых (исп.).

ред! И снова, подгоняемые бризом, корабли скользят по мрачным, не ведавшим прикосновения кия водам. Опять лот погружается в глубину и опять не достает дна; и опять Магеллан тревожно озирается вокруг: не сомкнутся ли вдали берега, не оборвется ли водная дорога? Однако нет, она тянется дальше и дальше, и все новые признаки возвещают, что этот путь ведет в открытое море. Но еще неведомо, когда этот желанный миг наступит, еще неясен исход. Все дальше и дальше плывут они во тьме киммерийской ночи, напутствуемые непонятным и диким напевом ледяных ветров, завывающих в горах.

Но не только мрачно это плавание — оно и опасно. Открывшийся им путь нимало не похож на тот, воображаемый, прямой, как стрела, пролив, который наивные немецкие космографы — Шенер, а до него Бехайм, — сидя в своих уютных комнатах, наносили на карты. Вообще говоря, называть Магелланов пролив проливом можно только в порядке упрощающего дела эвфемизма. В действительности это запутаннейшее, беспорядочное сплетение излучин и поворотов, бухт, глубоких выемов, фьордов, песчаных банок, отмелей, перекрецивующихся протоков, и только при условии чрезвычайного умения и величайшей удачи суда могут благополучно пройти через этот лабиринт. Причудливо заостряются и снова ширятся эти бухты, неопределима их глубина, непонятно, как среди них лавировать — они усеяны островками, испещрены отмелями; поток зачастую разветвляется на три-четыре рукава, то вправо, то влево, и нельзя угадать, какой из них — западный, северный или южный — приведет к желанной цели. Все время приходится избегать мелей, огибать скалы. Встречный ветер внезапными порывами проносится по беспокойному проливу, взвихривая волны, раздирая паруса. Лишь по многочисленным описаниям позднейших путешественников можно понять, почему Магелланов пролив в продолжение столетий внушал морякам ужас. В нем «всегда со всех четырех концов света дует северный ветер», никогда не бывает тихой, солнечной погоды, благоприятствующей мореплаванию, десятками гибнут корабли последующих экспедиций в угрюмом проливе, берега которого и в наше время мало заселены. И то, что Магел-

лан, первым одолевший этот опасный морской путь, на долгие годы оставался и последним, кому удалось пройти его, не потеряв ни одного из своих кораблей, убедительнее всего доказывает, какого мастерства он достиг в искусстве кораблевождения. Если к тому же учесть, что его неповоротливым кораблям, приводимым в движение только громоздкими парусами да деревянным рулем, приходилось, исследуя сотни артерий и боковых протоков, непрерывно крейсировать туда и обратно и затем снова встречаться в условленном месте, и все это в ненастное время года, с утомленной командой, то счастливое завершение его плавания по этому проливу тем более воспринимается как чудо, которое недаром прославляют все поколения мореходов. Но как во всех областях, так и в искусстве кораблевождения подлинным гением Магеллана было его терпение, его неуклонная осторожность и предусмотрительность. Целый месяц проводит он в кропотливых, напряженных поисках. Он не спешит, не стремится вперед, объятый нетерпением, хотя душа его трепетно жаждет наконец-то сыскать проход, увидеть Южное море. Но вновь и вновь, при каждом разветвлении, он делит свою флотилию на две части: каждый раз, когда два корабля исследуют северный рукав, два других стремятся найти южный путь. Словно зная, что ему, рожденному под несчастливой звездой, нельзя полагаться на удачу, этот человек ни разу не предоставляет на волю случая выбор того или другого из многократно пересекающихся протоков, не гадает, чет или нечет. Он испытывает, обследует все пути, чтобы напасть на тот единственный, верный. Итак, наряду с его гениальной фантазией здесь торжествует победу трезвейшее и наиболее характерное из его качеств — героическое упорство.

Победа. Уже преодолены первые теснины залива, уже позади остались и вторые. Магеллан снова у разветвления; ширящийся в этом месте поток раздваивается — и кто может знать, какой из этих рукавов, правый или левый, впадает в открытое море, а какой окажется бесполезным, никуда не ведущим тупиком? И опять Магеллан разделяет свою маленькую флотилию. «Сан-Антонио» и «Консепсьон» поручается исследовать воды

в юго-восточном направлении, а сам он на флагманском судне, сопровождаемом «Викторией», идет на юго-запад. Местом встречи, не позднее чем через пять дней, назначается устье небольшой реки, названной рекой Сардин из-за обилия в ней этой рыбы; тщательно разработанные инструкции уже даны капитанам; уже пора бы поднять паруса. Но тут происходит нечто неожиданное, никем из моряков не чаянное: Магеллан призывает всех капитанов на борт флагманского судна, чтобы до начала дальнейших поисков получить от них сведения о наличных запасах продовольствия и выслушать их мнение о том, следует ли продолжать путь, или же, по успешном окончании разведки, повернуть назад.

«Выслушать их мнение! Что же такое случилось?» — изумленно спрашивают себя моряки. С чего вдруг этот озадачивающий демократический жест? Почему непреклонный диктатор, до того времени ни за кем из своих капитанов не признававший права предлагать вопросы или критиковать его мероприятия, именно теперь, по поводу незначительного маневра, превращает своих офицеров из подчиненных в равных себе? На самом деле этот резкий поворот как нельзя более логичен. После окончательного триумфа диктатору всегда легче допустить гуманности вступить в свои права и легче допустить свободу слова, тогда, когда его могущество упрочено. Сейчас, поскольку *расо, estrecho* уже найден, Магеллану не приходится больше опасаться вопросов. Козырь в его руках — он может пойти навстречу желанию своих спутников и раскрыть перед ними карты. Действовать справедливо в удаче всегда легче, чем в несчастье. Вот почему этот суровый, угрюмый, замкнутый человек наконец-то, наконец нарушает свое упорное молчание, разжимает крепко стиснутые челюсти. Теперь, когда его тайна перестала быть тайной, когда покров с нее сорван, Магеллан может стать общительным.

Капитаны являются и рапортуяют о состоянии вверенных им судов. Но сведения малоутешительны. Запасы угрожающим образом уменьшились, провианта каждому из судов хватит в лучшем случае на три месяца. Магеллан берет слово. «Теперь уже не подлежит сомнению, — твердо заявляет он, — что первая из целей достигнута, *расо* — проход в Южное море — уже можно считать

открытым». Он просит капитанов с полной откровенностью сказать, следует ли флотилии удовольствоваться этим успехом или же стараться довершить то, что он, Магеллан, обещал императору: достичь «Островов пряностей» и отвоевать их для Испании. Разумеется, он понимает, что провианта осталось немного, а в дальнейшем им еще предстоит великие трудности. Но не менее велики слава и богатства, ожидающие их по счастливом завершении дела. Его мужество непоколебимо. Однако прежде чем принять окончательное решение — возвращаться ли на родину, или доблестно завершить задачу, он хотел бы узнать, какого мнения держатся его офицеры.

Ответы капитанов и кормчих не дошли до нас, но можно с уверенностью предположить, что они не отличались многословием. Слишком памятливы им и бухта Сан-Хулиан и четвертованные трупы их товарищей-испанцев: они по-прежнему остерегаются прекословить суровому португальцу. Только один из них резко и прямо высказывает свои сомнения — кормчий «Сан-Антонио» Эстебан Гомес, португалец и, возможно, даже родственник Магеллана. Гомес прямо заявляет, что теперь, когда *расо*, очевидно, уже найден, разумнее будет вернуться в Испанию, а затем уже на снаряженных заново кораблях вторично следовать по открытому ныне проливу к Молуккским островам, ибо суда флотилии, по его мнению, слишком обветшали, запасов провианта недостаточно, а никому не ведомо, как далеко простирается за открытым ныне проливом новое, неисследованное Южное море. Если они в этих неведомых водах пойдут по неверному пути и будут скитаться, не находя гавани, флотилию ожидает мучительная гибель.

Разум говорит устами Эстебана Гомеса, и Пигафетта, всегда заранее подозревавший в низменных побуждениях каждого, кто был несогласен с Магелланом, вероятно, несправедлив к бывалому моряку, приписывая его сомнения всякого рода неблагоприятным мотивам. Действительно, предложение Гомеса — с честью вернуться на родину, а затем на судах новой флотилии устремиться к намеченной цели — правильно как с логической, так и с объективной точки зрения: оно спасло бы жизнь и самого Магеллана и жизнь почти двух сотен моряков. Но не брэнная жизнь важна Магеллану, а бессмертный под-

виг. Тот, кто мыслит героически, неизбежно должен действовать наперекор рассудку. Магеллан, не колеблясь, берет слово для возражения Гомесу. Разумеется, им предстоят великие трудности, по всей вероятности, им придется претерпевать голод и множество лишений, но — примечательные, пророческие слова! — даже если бы им пришлось глотать кожу, которой обшиты снасти, он считает себя обязанным продолжать плавание к стране, которую обещал открыть.

«Идти вперед и открыть то, что обещал!» (*De pasar adelante y descubrir lo que habia prometido.*) Этим призывом к смелому устремлению в неизвестность, по-видимому, закончилось психологически столь своеобразное совещание, и от корабля к кораблю немедленно передается Магелланов приказ продолжать путь. Втайне, однако, Магеллан предписывает своим капитанам тщательнейшим образом скрывать от команды, что запасы провианта на исходе. Каждый, кто позволит себе хотя бы туманный намек на это обстоятельство, подлежит смертной казни.

Молча выслушали капитаны приказ, и вскоре корабли, которым поручена разведка восточного ответвления пути — «Сан-Антонио» под начальством Альваро де Мескита и «Консепсьон» под водительством Серрано, — исчезают в лабиринте излучин и поворотов. Два других — флагманский корабль Магеллана «Тринидад» и «Виктория» — тем временем остаются на удобной стоянке. Они бросают якоря в устье реки Сардин, и Магеллан, вместо того чтобы самолично исследовать западный рукав, поручает небольшой шлюпке произвести предварительную рекогносцировку. В этой защищенной от бурь части канала суда не подвергаются опасности; Магеллан велит посланным на разведку кораблям вернуться не позднее чем через три дня; таким образом, экипажам двух других судов эти три дня до возвращения «Консепсьон» и «Сан-Антонио» предоставлены для полного отдыха.

И впрямь хороший отдых выпадает на долю Магеллана и его людей в этой уже менее суровой местности. Странное явление — за последние дни, по мере того как они продвигались на запад, ландшафт становился более

приветливым: вместо отвесных голых скал пролив окаймляют луга и леса. Холмы здесь не так обрывисты, покрытые снегом вершины отодвинулись вдаль. Мягче стал воздух; матросы, утолявшие жажду воиной, затхлой водой из бочонков, наслаждаются студеной влагой родников. Они то нежатся на траве, лениво следя глазами за диковинными летучими рыбами, то с увлечением занимаются ловлей сардин, которых здесь неимоверное множество. Вдобавок тут столько вкусных плодов, что они впервые за несколько месяцев наедаются досыта. Так прекрасна, так ласкова окружающая природа, что Пигафетта восторженно восклицает: «Credo che non sia al mondo un più bello e miglior stretto, comè è questo!»<sup>1</sup>.

Но что значит отрада, доставляемая благоприятной местностью, отдыхом, беспечной негой, в сравнении с тем великим, огненным, окрыляющим счастьем, которое предстоит познать Магеллану! Оно уже ощутимо, уже чувствуется его приближение; и вот на третий день, послушная приказу, возвращается отправленная им шляпка, и снова моряки уже издали машут руками, как тогда, в день Всех Святых, когда был открыт вход в пролив. Но теперь — а это в тысячу раз важнее! — они нашли наконец выход из него. Собственными глазами видели они море, в которое впадает этот пролив — *Mar del Sur*, — великое, неведомое море! «*Thalassa! Thalássa!*»<sup>2</sup> — древний клич восторга, которым греки, возвращаясь из бесконечных странствий, приветствовали вечные воды, он раздается здесь вновь, на ином языке, но с тем же восторгом; победоносно возносится он ввысь, никогда еще оглашавшуюся звуками ликующего человеческого голоса.

Этот краткий миг — великая минута в жизни Магеллана, минута подлинного, высшего восторга, только однажды даруемая человеку. Все сбылось. Он сдержал слово, данное императору. Он, он первый и единственный осуществил то, о чем до него мечтали тысячи людей: он нашел путь в другое, неведомое море. Это мгновение оправдывает всю его жизнь и дарует ему бессмертие.

---

<sup>1</sup> Думается мне, что нет на свете более прекрасного и лучшего пролива, чем этот! (итал.)

<sup>2</sup> Море! Море! (греч.)

И тут происходит то, чего никто не осмелился бы предположить в этом мрачном, замкнутом в себе человеке. Внезапно сурового воина, никогда и ни перед кем не выказывавшего своих чувств, одолевает тепло, хлынувшее из недр души. Его глаза туманятся, слезы, горячие, жгучие слезы катятся на темную, всклокоченную бороду. Первый и единственный раз в жизни этот железный человек — Магеллан — плачет от радости («*El capitano generale lacrimò per allegrezza*»).

Одно мгновение, одно-единственное краткое мгновение за всю его мрачную, многострадальную жизнь дано было Магеллану испытать высшее блаженство, даруемое творческому гению: увидеть свой замысел осуществленным. Но судьбой этому человеку назначено за каждую крупицу счастья горестно расплачиваться. Каждая из его побед неизменно сопряжена с разочарованием. Ему дано только взглянуть на счастье, но не дано обнять, удержать его, и даже этот единственный, краткий миг восторга, прекраснейший в его жизни, канет в прошлое, прежде чем Магеллан успеет до конца его прочувствовать. Где же два других корабля? Почему они медлят? Ведь теперь, когда эта шлюпка нашла выход в море, всякие дальнейшие поиски становятся бессмысленной тратой времени. Ах, если б они уже вернулись из разведки, «Сан-Антонио» и «Консепсьон», чтобы услышать эту радостную весть! Если б они наконец вернулись! Все нетерпеливее и тревожнее вглядывается Магеллан в туманную даль залива. Давно уже прошел условленный срок. Вот уже и пятый день миновал, а о них ни слуху ни духу.

Уж не случилось ли несчастье? Не сбились ли они с пути? Магеллан слишком встревожен, чтобы праздно дожидаться в условленном месте. Он велит поставить паруса и идет к проливу, навстречу замешкавшимся судам. Но пустынен, по-прежнему пустынен горизонт, пустыненны мрачные, безжизненные воды.

Наконец, на второй день поисков вдали показывается парус. Это «Консепсьон» под началом верного Серрано. Но где же второй корабль, самый крупный из всех судов флотилии, где «Сан-Антонио»? Серрано ничего не



может сообщить адмиралу. В первый же день «Сан-Антонио» ушел вперед и с тех пор бесследно исчез. В начале Магеллан не предполагает беды. Быть может, «Сан-Антонио» заблудился или же его капитан неправильно понял, где назначена встреча. Он рассылает суда флотилии в разные стороны, чтобы обшарить все закоулки главного протока, «Адмиральского Зунда». Он велит сигнализировать огнями, на высоких столбах водружает флаги, а у подножия их оставляет письма с инструкциями — на всякий случай, если пропавшее судно заблудилось. Но нигде никаких следов «Сан-Антонио». Уже очевидно, что стряслась какая-то беда. Корабль либо потерпел крушение и погиб вместе с командой и грузом, что, однако, маловероятно, так как в эти дни погода стояла на редкость безветренная, либо — предположение более верное — кормчий «Сан-Антонио» Эстебан Гомес, требовавший на военном совете немедленного возвращения на родину, стал мятежником и осуществил свое требование: сообщив с офицерами испанцами сместил преданного капитана и дезертировал, забрав с собой весь провиант.

В тот день Магеллан не может знать, что именно случилось. Он знает только, что случилось нечто страшное. Исчез корабль — самый крупный, лучший из всех, обильнее других снабженный провиантом. Но куда он девался, что с ним произошло, какие события разыгрались на нем? В этой беспредельной мертвой пустыне никто не даст ему ответа, покоится ли судно на дне, или дезертировало, поспешно взяв курс на Испанию. Только неведомое раньше созвездие — Южный Крест, окруженный ярко сияющими спутниками, — свидетель таинственных событий. Только звездам известен путь «Сан-Антонио», только они могли бы дать ответ Магеллану. Вполне естественно поэтому, что Магеллан, как и все люди его времени, считавший астрологию подлинной наукой, призвал к себе сопровождавшего флотилию вместо Фалейру астролога и астронома Андреса де Сан-Мартина, единственного, кто, быть может, по звездам сумеет узнать правду. Он велит Мартину составить гороскоп и при помощи своего искусства выяснить, что произошло с «Сан-Антонио», и в виде исключения астрология дает правильный ответ: браво! звездочет, хорошо помня-

щий независимое поведение Эстебана Гомеса на совете, заявляет — и факты подтвердят его слова, — что «Сан-Антонио» уведен дезертирами, а его капитан заключен в оковы.

Снова, в последний раз, перед Магеллажом встает необходимость безотлагательного решения. Слишком рано возликовал он, слишком легковерно отдался радости. Теперь — удивительный параллелизм первого и второго кругосветного плавания — его постигло то же, что постигнет его продолжателя, Фрэнсиса Дрейка, лучший корабль которого также был тайно уведен мятежным капитаном Уинтером. На полпути к победе соотечественник и родич Магеллана, став врагом, нанес коварный удар из-за угла. Если запасы провианта и прежде были скудны, то сейчас флотилии угрожает голод. Именно на «Сан-Антонио» хранились лучшие припасы, притом в наибольшем количестве. Да и за шесть дней, ушедших на бесплодное ожидание и поиски, тоже было израсходовано немало провианта. Наступление на неведомое Южное море уже неделю назад, при несравненно более благоприятных обстоятельствах, было дерзновеннейшим предприятием. Теперь, после измены «Сан-Антонио», оно становится едва ли не равносильным самоубийству.

С вершин горделивой уверенности Магеллан снова одним ударом низринут в предельные глубины смятения. И не нужно даже показаний Барруша: «*Quedó tan confuso que no sabia lo que habia de determinar*» (Он настолько растерялся, что не знал, на что решиться); внутреннюю тревогу Магеллана мы отчетливо видим из его приказа, в эту минуту смятения объявленного всем офицерам флотилии, — единственному сохранившемуся приказу. На протяжении нескольких дней он вторично опрашивает их: продолжать ли путь, или вернуться? Но на этот раз он велит капитанам ответить письменно. Ибо Магеллан — и это свидетельствует о выдающейся его прозорливости — хочет иметь оправдательный документ. *Scripta manent*<sup>1</sup> — ему нужно запастись на будущее неопровержимым письменным доказательством то-

---

<sup>1</sup> Написанное (пером) остается (лат.).

го, что он советовался со своими капитанами. Он понимает — и это тоже впоследствии подтвердится фактами, — что бунтовщики на «Сан-Антонио» по прибытии в Севилью тотчас поспешат стать обвинителями против него, чтобы самим избежать обвинения в мятеже. Разумеется, они изобразят его тираном, они станут умышленно разжигать национальное чувство испанцев преувеличенными описаниями того, как пришлый португалец велел заключить в оковы назначенных королем чиновников, как по его приказу одни из кастильских дворян были обезглавлены и четвертованы, другие обречены на мучительную голодную смерть, — и все это, чтобы, вопреки королевскому приказу, предать флотилию в руки португальцев. Желая заранее опровергнуть неизбежное обвинение в том, что он во все время плавания жестоким террором подавлял любое свободное высказывание своих офицеров, Магеллан издает теперь свой необычайный приказ, который кажется скорее попыткой обелить себя, нежели товарищеским обращением к капитанам.

«Дано в проливе Всех Святых, насупротив реки, что на островке, 21 ноября, — этими словами начинается приказ, далее гласящий: — Я, Фердинанд Магеллан, кавалер ордена Сант-Яго и адмирал этой армады, осведомлен о том, что всем вам решение продолжать путь представляется весьма рискованным, ибо вы считаете, что время года слишком уже позднее. Я же никогда не пренебрегал мнением и советом других людей, а, напротив, все свои начинания хочу обсуждать и проводить совместно со всеми».

Наверно, офицеры молча усмеваются, читая это странное утверждение. Ведь отличительная черта Магеллана — его непреклонное самовластие в управлении и руководстве. Слишком хорошо все они помнят, как этот человек железной рукой пресек протест своих капитанов. Но Магеллан, зная, насколько им должна быть памятна его нещадная расправа с инакомыслящими, продолжает: «Итак, пусть не внушают никому опасений совершившиеся в бухте Сан-Хулиан события; каждый из вас обязан безбоязненно сказать мне, каково его мнение о способности нашей армады продолжать плавание. Нарушением вашей присяги и вашего долга было бы, если б

вы вознамерились скрыть от меня ваше суждение». Он требует, чтобы каждый в отдельности (*Cada uno de por sí*) ясно, притом в письменной форме (*por escrito*), высказался о том, следует ли продолжать путь, или возвратиться, и изложил бы все свои соображения на этот счет.

Но за один час не вернуть доверие, утраченное уже много месяцев назад. Еще слишком запуганы офицеры, чтобы со всей прямотой требовать возвращения на родину, и единственный дошедший до нас ответ — ответ астролога Сан-Мартина — показывает, как мало они были склонны именно теперь, когда ответственность возросла до гигантских размеров, делить ее с Магелланом. Почтенный астролог, как это и приличествует лицу его профессии, выражается двусмысленно и туманно, искусно жонглируя всякими оговорками: «с одной стороны, надобно», а «с другой стороны, не следует». Он, мол, сомневается в том, чтобы можно было через канал Всех Святых пробраться к Молуккским островам (*aunque yo dudo que haya camino para poder navegar a Maluco por este canal*), но тут же советует продолжать путь, ибо «сердце весны в наших руках». С другой стороны, все же не следует забираться слишком далеко, ведь люди изнурены и обессилены. Быть может, разумнее будет взять курс не на запад, а на восток, но пусть Магеллан действует так, как считает правильным, и да укажет ему господь верный путь. По всей вероятности, остальные офицеры высказались столь же неопределенно.

Но Магеллан опросил своих офицеров отнюдь не за тем, чтобы считаться с их ответами, а только чтобы доказать впоследствии, что такой опрос был произведен. Он знает: слишком далеко он зашел, чтобы повернуть вспять. Только триумфатором может он вернуться — иначе он погиб. И даже если бы велеречивый астролог предсказал ему смерть, он все равно не оборвал бы свое героическое продвижение вперед. 22 ноября 1520 года суда по его приказанию выходят из устья реки Сардин; спустя немного дней Магелланов пролив — ибо так будет он называться в веках — пройден, и в конце его, за мысом, который Магеллан в знак благодарности назвал *Cabo Deseado*, Желанный Мыс, открывается беспредельное новое море, еще неизвестное европейским кораблям. По-

трясающее зрелище! Там, на западе, за нескончаемой линией горизонта должны находиться «Острова пряностей», острова несметных богатств, а за ними исполинские государства Востока — Китай, Япония, Индия, — а еще дальше, в необозримой шире, — родина, Испания, Европа! Поэтому еще раз дается отдых, последний отдых перед вторжением в чуждый, за все время существования мира не пересеченный кораблями океан!

И вот 28 ноября 1520 года выбраны якоря, взвились флаги! Громовым орудийным залпом три маленьких одиноких корабля салютуют неведомому морю. Так рыцарь приветствует доблестного противника, с которым ему предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть.

# МАГЕЛЛАН ОТКРЫВАЕТ СВОЕ КОРОЛЕВСТВО

*28 ноября 1520 г.—7 апреля 1521 г.*



**И**стория первого плавания по безыменному еще океану, «по морю, столь огромному, что ум человеческий не в силах объять его», как говорится в записках Максимилиана Трансильванского,— это история одного из бессмертных подвигов человечества.

Уже отплытие Колумба в безбрежный простор воспринималось в его время, да и во все последующие времена, как беспримерно отважное деяние. Но даже этот подвиг, хотя бы по числу жертв, ему принесенных, нельзя приравнять к победе, которую Магеллан ценою неслыханных лишений одержал над стихией. Ведь Колумб со своими тремя только что спущенными на воду, заново оснащенными, хорошо снабженными продовольствием судами в общей сложности пробыл в пути всего тридцать три дня, и еще за неделю до того, как ступить на землю, носившийся на гребнях волн тростник, плывущие по воде стволы невиданных деревьев и лесные птицы утвердили его в предположении, что вблизи на-

ходится какой-то материк. Экипаж Колумба состоит из здоровых, неутомленных людей, корабли так обильно снабжены провизантом, что в крайности он может, и не достигнув цели, благополучно вернуться на родину. Только *перед* ним расстилается неизвестность, но *позади* него — надежное прибежище и пристанище: родина. Магеллан же устремляется в неведомое, и не из родной Европы, не с насиженного места плывет он туда, а из чужой, суровой Патагонии. Его люди изнурены многими месяцами жестоких бедствий. Голод и лишения оставляют они позади себя, голод и лишения сопутствуют им, голод и лишения грозят им в будущем. Изношена их одежда, в клочья изодраны паруса, истерты канаты. Месяцами не видели они ни одного нового лица, месяцами не видели женщин, вина, свежего мяса, свежего хлеба, и втайне они, пожалуй, завидуют более решительным товарищам, вовремя дезертировавшим и повернувшим домой, вместо того чтобы скитаться по необъятной водной пустыне. Так плывут эти корабли — двадцать дней, тридцать дней, сорок, пятьдесят, шестьдесят дней, — и все еще не видно земли, все еще никаких признаков ее приближения! И снова проходит неделя, за ней еще одна, и еще, и еще — сто дней, срок, трижды более долгий, чем тот, в который Колумб пересек океан! Тысячи и тысячи пустых часов плывет флотилия Магеллана среди беспредельной пустоты. С 28 ноября, дня, когда Cabo Deseado, Желанный Мыс, исчез в тумане, нет больше ни карт, ни измерений. Ошибочными оказались все расчеты постоянный, произведенные там, на родине, Руй Фалейру. Магеллан считает, что давно уже миновал Ципангу — Японию, а на деле пройдена только треть неведомого океана, которому он из-за царящего в нем безветрия навеки нарекает имя «il Pacifico» — «Тихий».

Но как мучительна эта тишина, какая страшная пытка это вечное однообразие среди мертвого молчания! Все та же синяя зеркальная гладь, все тот же безоблачный, знойный небосвод, все то же безмолвие, тот же дремлющий воздух, все тем же ровным полукругом тянется горизонт — металлическая полоска между все тем же небом и все той же водой, мало-помалу больно врезающаяся в сердце. Все та же необъятная синяя пустота вокруг трех утлых суденышек — единственных

движущихся точек среди гнетущей неподвижности, все тот же нестерпимо яркий дневной свет, в сиянье которого неизменно видишь все одно и то же, и каждую ночь все те же холодные, безмолвные, тщетно вопрошаемые звезды. И вокруг все те же предметы в тесном, переполненном людьми помещении — те же паруса, те же мачты, та же палуба, тот же якорь, те же пушки, те же столбы; все тот же приторный, удушливый смрад, источаемый гниющими припасами, поднимается из корабельного чрева. Утром, днем, вечером и ночью — всегда неизбежно встречаются друг друга все те же искаженные тупым отчаянием лица, с тою лишь разницей, что с каждым днем они становятся все более изможденными. Глаза глубже уходят в орбиты, блеск их тускнеет, с каждым безрадостным утром все больше впадают щеки, все более медленной и вялой становится походка. Словно призраки, мертвенно бледные, исхудалые, бродят эти люди, еще несколько месяцев назад бывшие крепкими, здоровыми парнями, которые так проворно взбирались по вантам, в любую непогоду крепили реи. Как тяжело больные, шатаясь, ходят они по палубе или в изнеможении лежат на своих циновках. На каждом из трех кораблей, вышедших в море для свершения одного из величайших подвигов человечества, теперь обитают существа, в которых лишь с трудом можно признать матросов; каждая палуба — плавучий лазарет, кочующая больница.

Катастрофически уменьшаются запасы во время этого непредвиденно долгого плавания, непомерно растет нужда. То, чем баталер ежедневно оделяет команду, давно уже напоминает скорее навоз, чем пищу. Без остатка израсходовано вино, хоть немного освежавшее губы и подбадривавшее дух. А пресная вода, согретая беспощадным солнцем, протухшая в грязных мехах и бочонках, издает такое зловоние, что несчастные вынуждены пальцами зажимать нос, увлажняя пересохшее горло тем единственным глотком, что причитается им на весь день. Сухари — наряду с рыбой, наловленной в пути, единственная их пища — давно уже превратились в кишашую червями серую, прязную труху, вдобавок загаженную испражнениями крыс, которые, обезумев от голода, набросились на эти последние жалкие остатки продо-



вольствия. Тем яростнее охотятся за этими отвратительными животными, и, когда моряки с остервенением преследуют по всем углам и закоулкам этих разбойников, пожирающих остатки их скудной пищи, они стремятся не только истребить их, но и продать затем эту падаль, считающуюся изысканным блюдом: полдуката золотом уплачивают ловкому охотнику, сумевшему поймать одного из отчаянно пищащих грызунов, и счастливый покупатель с жадностью уписывает омерзительное жаркое. Чтобы хоть чем-нибудь наполнить судорожно сжимающийся, требующий пищи желудок, чтобы хоть как-нибудь утолить мучительный голод, матросы пускаются на опасный самообман: собирают опилки и примешивают их к сахарной трухе, мнимо увеличивая таким образом скудный рацион. Наконец голод становится чудовищным: сбывается страшное предсказание Магеллана о том, что придется есть воловью кожу, предохраняющую снасти от перетиранья; у Питафетты мы находим описание способа, к которому в безмерном своем отчаянии прибегали изголодавшиеся люди, чтобы даже эту несъедобную пищу сделать съедобной. «Наконец, дабы не умереть с голоду, мы стали есть куски воловьей кожи, которою, с целью предохранить канаты от перетиранья, была обшита большая рея. Под долгим действием дождя, солнца и ветра эта кожа стала твердой, как камень, и нам приходилось каждый кусок вывешивать за борт на чetyре или пять дней, дабы хоть немного ее размягчить. Лишь после этого мы слегка поджаривали ее на углях и в таком виде поглотили».

Не удивительно, что даже самые выносливые из этих закаленных, привыкших к мытарствам людей не в состоянии долго переносить такие лишения. Из-за отсутствия доброкачественной (мы сказали бы теперь «витаминозной») пищи среди команды распространяется цинга. Десны у заболевших сначала пухнут, потом начинают кровоточить, зубы шатаются и выпадают, во рту образуются нарывы, наконец, зев так болезненно распухает, что несчастные, даже если б у них была пища, уже не могли бы ее проглотить — они погибают мучительной смертью. Но и у тех, кто остается в живых, голод отнимает последние силы. Едва держась на распухших, одеревенелых ногах, как тени, бродят они, опираясь на пал-

ки, или лежат, прикорнув в каком-нибудь углу. Не меньше девятнадцати человек, то есть около десятой части всей оставшейся команды, в муках погибают во время этого голодного плавания. Одним из первых умирает несчастный, прозванный матросами Хуаном-Гигантом, патагонский великан, еще несколько месяцев назад восхищавший всех тем, что за один присест съедал полкорзинки сухарей и залпом, как чарку, опорожнял ведро воды. С каждым днем нескончаемого плавания число работоспособных матросов уменьшается и правильно отмечает Пигафетта, что при столь ослабленной живой силе три судна не могли бы выдержать ни бури, ни ненастья. «И если бы господь и его святая мать не послали нам столь благоприятной погоды, мы все погибли бы от голода среди этого необъятного моря».

Три месяца и двадцать дней блуждает в общей сложности одинокий, состоящий из трех судов караван по водной пустыне, претерпевая все страдания, какие только можно вообразить, и даже самая страшная из всех мук, мука обманутой надежды, и та становится его уделом. Как в пустыне изнывающим от жажды людям мерещится оазис: уже колышутся зеленые пальмы, уже прохладная голубая тень стелется по земле, смягчая яркий ядовитый свет, много дней подряд слепящий их глаза, уже чудится им журчание ручья, но едва только они, напрягая последние силы, шатаясь из стороны в сторону, устремляются вперед, видение исчезает, и вокруг них снова пустыня, еще более враждебная,— так и люди Магеллана становятся жертвами фата-морганы. Однажды утром с марса доносится хриплый возглас: дозорный увидел землю, остров, впервые за томительно долгое время увидел сушу. Как безумные, кидаются на палубу все эти умирающие от голода, погибающие от жажды люди; даже больные, словно брошенные мешки, валявшиеся где попало, и те, едва держась на ногах, выползают из своих нор. Правда, правда, они приближаются к острову. Скорее, скорее в шлюпки! Распаленное воображение рисует им прозрачные родники, им презентуется вода и блаженный отдых в тени деревьев после стольких недель непрерывных скитаний, они алчут наконец

ощутить под ногами землю, а не только зыбкие доски на зыбких волнах. Но страшный обман! Приблизившись к острову, они видят, что он, так же как и расположенный неподалеку второй, — ожесточившиеся моряки дают им название «Las islas Desaventuradas»<sup>1</sup> — оказывается совершенно голым, безлюдным, бесплодным утесом, пустыней, где нет ни людей, ни животных, ни воды, ни растений. Напрасной тратой времени было бы хоть на один день пристать к этой угрюмой скале. И снова продолжают они путь по синей водной пустыне, все вперед и вперед; день за днем, неделю за неделей длится это, быть может, самое страшное и мучительное плавание из всех, отмеченных в извечной летописи человеческих страданий и человеческой стойкости, которую мы именуем историей.

Наконец 6 марта 1521 года — уже более чем сто раз вставало солнце над пустынной, недвижной синевой, более ста раз исчезало оно в той же пустынной, недвижной, беспощадной синеве, сто раз день сменялся ночью, а ночь днем, с тех пор как флотилия из Магелланова пролива вышла в открытое море, — снова раздается возглас с марса: «Земля! Земля!» Пора ему прозвучать, и как порал! Еще двое, еще трое суток среди пустоты — и, верно, никогда бы и следа этого геройского подвига не дошло до потомства. Корабли с погибшим голодной смертью экипажем, плавучее кладбище, блуждали бы по воле ветра, покуда волны не поглотили бы их или не выбросили на скалы. Но этот новый остров — хвала всевышнему! — он населен, на нем найдется вода для погибающих от жажды. Флотилия еще только приближается к заливу, еще паруса не убраны, еще не спущены якоря, а к ней с изумительным проворством уже подплывают «кану» — маленькие, пестро размалеванные челны, паруса которых сшиты из пальмовых листьев. С обезьяньей ловкостью карабкаются на борт голые простодушные дети природы, и настолько чуждо им понятие каких-либо моральных условностей, что они попросту присваивают себе все, что им попадает на глаза. В мгновение ока самые различные вещи исчезают, словно

<sup>1</sup> «Несчастливые острова» (исп.). Какие это острова, точно не установлено.

в шляпе искусного фокусника; даже шляпка «Тринидад» оказывается срезанной с буксирного каната. Беспечно, нисколько не смущаясь моральной стороной своих поступков, радуясь, что им так легко достались такие диковинки, спешат они к берегу со своей бесценной добычей. Этим простодушным язычникам кажется столь же естественным и нормальным засунуть две-три блестящие безделушки себе в волосы — у голых людей карманов не бывает, — как естественным и нормальным кажется испанцам, папе и императору заранее объявить законной собственностью христианнейшего монарха все эти еще не открытые острова вместе с населяющими их людьми и животными.

Магеллану, в его тяжелом положении, трудно было снисходительно отнестись к захвату, произведенному без предъявления каких-либо императорских или папских грамот. Он не может оставить в руках ловких грабителей эту шляпку, которая еще в Севилье (как видно из сохранившегося в архивах счета) стоила три тысячи девятьсот тридцать семь с половиной мараведисов, а здесь, за тысячи миль от родины, представляет собой бесценное сокровище. На следующий же день он отправляет на берег сорок вооруженных матросов отобрать шляпку и основательно проучить вороватых туземцев. Матросы сжигают несколько хижин, но до настоящей битвы дело не доходит, ибо бедные островитяне так невежественны в искусстве убивать, что, даже когда стрелы испанцев вонзаются в их кровоточащие тела, они не понимают, каким образом эти острые, оперенные, издали летающие палочки могут так глубоко войти в тело и причинить такую нестерпимую боль. В ужасе пытаются они вытащить стрелы, тщетно дергая за торчащий наружу конец, а затем в смятении убегают от страшных белых варваров обратно в свои леса. Теперь изголодавшиеся испанцы могут наконец раздобыть воды для истомленных жаждой больных и основательно поживиться съестным. С невероятной поспешностью тащат они из покинутых туземцами хижин все, что попадает под руки: кур, свиней, всевозможные плоды, а после того как они друг друга обокрали — сначала островитяне испанцев, потом испанцы островитян, — цивилизованные грабители в посрамление туземцев на веки вечные присваивают этим ост-

ровам позорное наименование «Разбойничьих» (Ладронских).

Как бы там ни было, этот налет спасает погибающих от голода людей. Три дня отдыха, захваченный в изобилии провиант — плоды и свежее мясо, да еще чистая, живительная ключевая вода подкрепили команду. В дальнейшем плавании от истощения умирает еще несколько человек, среди них единственный бывший на борту англичанин, а несколько десятков матросов по-прежнему лежат, обессиленные болезнью. Но самое страшное миновало, и, набравшись мужества, они снова устремляются на запад. Когда неделю спустя, 17 марта, вдали опять вырисовывается остров, а рядом с ним второй, — Магеллан уже знает, что судьба сжалась над ними. По его расчетам, это должны быть Молуккские острова. Восторг! Ликование! Он у цели! Но даже пламенное нетерпение поскорее удостовериться в своем торжестве не делает этого человека опрометчивым или неосторожным. Он не бросает якорь у Сулуана, большего из двух этих островов, а избирает меньший, Пигафеттой называемый «Хумуну» именно потому, что он необитаем, а Магеллан, ввиду большого количества больных среди команды, предпочитает избегать встреч с туземцами. Сперва надо подправить людей, а потом уже вступать в переговоры или в бой. Больных сносят на берег, поят ключевой водой, для них закалывают одну из свиной, похищенных на Разбойничьих островах. Сначала — полный отдых, никаких рискованных предприятий. На другой же день с большого острова доверчиво приближается лодка с приветливо машущими туземцами; они привозят невиданные плоды, и бравый Пигафетта не может ими нахвалиться: это бананы и кокосовые орехи, молочный сок которых живительно действует на больных. Завязывается оживленный торг. В обмен на две-три побрякушки или яркие бусины изголодавшиеся моряки получают рыбу, кур, пальмовое вино, всевозможные плоды и овощи. Впервые за долгие недели и месяцы все они, больные и здоровые, наедаются досыта.

В первом порыве восторга Магеллан решил, что подлинная цель его путешествия — «Острова пряностей»,

«Islas de la especería» — уже достигнута. Но оказывается, что не у Молуккских островов он бросил якорь, ведь в противном случае невольник Энрике мог бы, должен был бы понять язык туземцев. Но это не его соплеменники, и, значит, в другую страну, на другой архипелаг завел их случай. Опять расчеты Магеллана, побудившие его взять курс по Тихому океану на десять градусов севернее, чем следовало, оказались неправильными, и опять его заблуждение привело к открытию. Именно вследствие своего ошибочного, слишком далеко отклонявшегося к северу курса Магеллан вместо Молуккских достиг группы никому не известных островов, попал на архипелаг, о существовании которого до той поры никогда не упоминал и даже не подозревал ни один европеец. В поисках Молуккских островов Магеллан открыл Филиппинские, а тем самым приобрел для императора Карла новую провинцию, которая, кстати сказать, дольше всех других, открытых и завоеванных Колумбом, Кортесом, Писсарро, останется во владении испанской короны. Но и для себя самого Магеллан этим неожиданным открытием приобрел государство; ибо, согласно договору, в случае если он откроет более шести островов, два из них предоставляются во владение ему и Руй Фалейру. За одну ночь вчерашний нищий, искатель приключений, *desperado*, уже находившийся на краю гибели, превратился в *adelantado* собственной страны, в пожизненного и на веки вечные наследственного участника всех прибылей, какие будут извлекаться из этих новых колоний, а следовательно, и в одного из богатейших людей на свете.

Великий день, чудесный поворот судьбы после сотен мрачных и бесплодных дней! Не менее чем обильная, свежая и здоровая пища, которую туземцы ежедневно привозят с Сулуана в импровизированный лазарет, живит больных и целебный эликсир — сознание безопасности. За девять дней тщательного ухода на этом тихом тропическом острове почти все больные выздоравливают, и Магеллан уже может начать подготовку к обследованию соседнего острова — Массавы. Правда, в последнюю минуту досадная случайность едва не омрачила радости наконец-то осчастливленного судьбой Магеллана. Увлечшись уженьем рыбы, его друг и историограф Пигафетта перенулся и упал за борт, причем никто не за-

метил его падения. Так чуть было не канула в воду история кругосветного плавания, ибо бедняга Пигафетта, по-видимому, не умел плавать и уж совсем было собрался тонуть. По счастью, в последнюю минуту он ухватился за свисавший с корабля канат и поднял отчаянный крик, после чего столь незаменимый для нас летописец был немедленно водворен на борт.

Весело ставят на этот раз паруса. Все знают: страшный огромный океан пересечен, уж больше не удручает, не гнетет его зловещая пустынность; всего несколько часов, несколько дней предстоит им еще пробыть в плавании, ведь уж и теперь они то и дело видят справа и слева туманные очертания неведомых островов. Наконец на четвертый день, 28 марта, в страстной четверг, флотилия бросает якорь у Массавы, чтобы еще раз сделать привал перед последним пробегом, который приведет их к так долго и тщетно разыскиваемой цели.

На Массаве, крохотном безвестном островке Филиппинского архипелага, найти который на обычной карте можно только с помощью увеличительного стекла, Магеллан снова переживает один из великих драматических моментов своей жизни: в мрачном и трудном его существовании всегда вспыхивают, как взрывающиеся к небу пламя, такие, в одной секунде сконцентрированные, мгновения счастья, своей опьяняющей мощью щедро воздающие за упорное, трудное, стойкое долготерпение несметных часов одиночества и тревоги. Внешний повод на этот раз мало заметен.

Едва только три больших чужеземных корабля с раздувающимися парусами приближаются к Массаве, как на берег толпами сбегаются островитяне, с любопытством, дружелюбно ожидающие вновь прибывших. Но прежде чем самому ступить на берег, Магеллан, осторожности ради, посылает в качестве посредника своего раба Энрике, резонно полагая, что туземцы к человеку с темной кожей отнесутся доверчивей, чем к кому-либо из бородатых, диковинно одетых и вооруженных белых людей.

И тут происходит неожиданное. Болтая и крича, окружаят полуголые островитяне сошедшего на берег Энрике, и вдруг невольник-малаец начинает настороженно вслушиваться. Он разобрал отдельные слова. Он понял,

что эти люди говорят ему, понял, о чем они его спрашивают. Много лет назад увезенный с родной земли, он теперь впервые услышал обрывки своего наречия.

Достопамятная, незабываемая минута — одна из самых великих в истории человечества: впервые за то время, что Земля вращается во вселенной, человек, живой человек, обогнув весь шар земной, снова вернулся в родные края! Несущественно, что это ничем не приметный невольник: величие здесь не в человеке, а в его судьбе. Ибо ничтожный раб-малаец, о котором мы знаем только, что в неволе ему дали имя Энрике, тот, кого бичом с острова Суматры погнажи в дальний путь и через Индию и Африку насильно привезли в Лисабон, в Европу, — первым из мириад людей, когда-либо населявших землю, через Бразилию и Патагонию, через все моря и океаны вернулся в края, где говорят на его родном языке; мимо сотен, мимо тысяч народов, рас и племен, которые для каждого понятия по-своему слагают слово, он первый, обогнув вращающийся шар, вернулся к единственному народу с понятной ему речью.

В эту минуту Магеллану становится ясно: его цель достигнута, его дело закончено. Плыв с востока, он снова вступил в круг малайских языков, откуда двенадцать лет назад отплыл на запад; вскоре он сможет невредимым доставить невольника Энрике обратно в Малакку, где он его купил. Безразлично, произойдет ли это завтра или в более позднее время, сам ли он или другой вместо него достигнет заветных островов. Ведь в основном его подвиг уже завершился в минуту, когда впервые на вечные времена было доказано: тот, кто неуклонно плывет по морю — вслед ли за солнцем, навстречу ли солнцу, — неизбежно вернется к месту, откуда он отплыл. То, что в течение тысячелетий предполагали мудрейшие, то, о чем презирали ученые, теперь, благодаря отваге одного человека, стало непреложной истиной: Земля — круглая, ибо человек обогнул ее!

Эти дни в Массаве — самые счастливые за время плавания, дни блаженного отдыха. Звезда Магеллана — в зените. Через три дня, в первый день пасхи, исполнится годовщина злосчастных событий в бухте Сан-Хули-



ан, когда ему пришлось кинжалом и насилием подавлять заговор. А с тех пор — сколько злоключений, сколько страданий, сколько мытарств! Позади остался невыразимый ужас: тяжкие дни голода, лишений, ночные штормы в неведомых водах. Позади злейшая из мук — страшная неуверенность, месяцы и месяцы душившая его, жгучее сомнение, по правильному ли пути он повел свою флотилию. Но жестокая распря в рядах участников экспедиции похоронена навеки — на этот раз глубоко верующий христианин в первый день пасхи может праздновать подлинное воскресение из мертвых. Теперь, когда грозовые тучи несметных опасностей рассеялись, его подвиг воссиял ярким светом. Великое, непреходящее деяние, на которое уже годами были обращены все помыслы, все труды Магеллана, наконец свершено. Магеллан нашел западный путь в Индию, который тщетно искали Колумб, Веспуччи, Кабот, Пинсон и другие мореходы. Он открыл страны и моря, до него никем не виданные. Он — первый европеец, первый человек, за время существования мира благополучно пересекший огромный неведомый океан. Он проник в необъятные земные просторы дальше любого смертного. Сколь ничтожным, сколь легким по сравнению со всем этим доблестно выполненным, победоносно достигнутым кажется ему то немногое, что еще осталось: всего несколько дней пути с надежными лоцманами до Молуккских островов, до богатейшего архипелага в мире, — и тогда исполнена клятва, данная императору. Там он признательно заключит в объятия верного друга Серрано, поддерживавшего в нем бодрость и указавшего ему путь, а затем, до отказа набив чрева судов пряностями, — домой, через Индию и мыс Доброй Надежды, по хорошо знакомому пути, где каждая гавань, каждая бухта запечатлены в его памяти! Домой, через то, другое полушарие Земли, в Испанию — победителем, триумфатором, богачом, наместником, *adelantado*, с неувядаемыми лаврами победы и бессмертия на челе!

А поэтому не нужны поспешность и нетерпение: можно наконец отдохнуть, насладиться чистым счастьем сознания, что после долгих месяцев скитаний цель достигнута. Мирно отдыхают победоносные аргонавты в блаженной гавани. Чудесна природа, благодатен климат,

приветливы туземцы, еще не изжившие золотого века, миролюбивые, беззаботные и праздные. *Questi popoli vivono con giustizia, peso e misura; amano la pace, l'otio e la quiete*<sup>1</sup>. Но, кроме лени и покоя, дети природы любят еще и еду и питье, и вот—как в сказке—изнуренные матросы, совсем еще недавно сидевшиеся утолить голод, наполняя судорожно сжимавшиеся желудки опилками и сырым крысиным мясом, вдруг оказываются в царстве волшебного изобилия. Так необоримо искушение полакомиться вкусной, приготовленной из свежих продуктов пищей, что даже благочестивый Пигафетта, никогда не забывающий благодарно упомянуть богоматерь и всех святых, впадает в тяжкий грех. В пятницу<sup>2</sup>, да еще в страстную пятницу, Магеллан посылает его к царьку острова. Каламбу (так зовут царька) торжественно ведет его к себе под бамбуковый навес, где в большом котле шипит и потрескивает лакомая жирная свинина. Из учтивости, а может быть, и из чревоугодия, Пигафетта совершает тяжкий грех: он не в силах устоять против соблазнительного аромата и в строжайший и святейший из всех постных дней съедает изрядную порцию этого чудесного жаркого, усердно запивая его пальмовым вином. Но едва только кончилась трапеза, едва только изголодавшиеся и непрехотливые посланцы Магеллана успели набить свои желудки, как царек приглашает их на второе пиршество, в свою свайную хижину. Гостям приходится, поджав и скрестив ноги,—«словно портные за работой»,—замечает Пигафетта,—вторично приняться за еду; тотчас появляются блюда, до краев наполненные жареной рыбой и только что собранным имбирем, кувшины с пальмовым вином—и грешник продолжает грешить. Но и этого мало! Не успели Пигафетта и его спутник справиться с великолепными яствами, как сын правителя царства изобилия является приветствовать их, и, чтобы не нарушить долга вежливости, они вынуждены снова—уже в третий раз!—принять участие в трапезе. На этом пиршестве для разнообразия подают разварную рыбу и сильно приправленный пряностями рис; оно сопровождается такими обильными возлияниями, что не

<sup>1</sup> Эти народы живут в справедливости, благоденствии и умеренности, любят мир, отдохновение и покой (итал.).

<sup>2</sup> Постный день у католиков. (Прим. ред.).

в меру угостившегося, пошатывающегося, невнятно что-то допочущего спутника Пигафетты укладывают на циновку, чтобы первый европеец, захмелевший на Филиппинах, как следует проспался. И наверняка можно сказать, что ему снятся райские сны.

Но и островитяне воодушевлены не менее своих изголодавшихся гостей. Какие чудесные люди явились к ним из-за моря, какие великолепные подарки они привезли! Гладкие стекла, в которых собственными глазами видишь собственный нос, сверкающие ножи и увесистые топоры, от одного удара которых могучая пальма валится наземь. А как великолепны огненно-красная шапка и турецкий наряд, в котором теперь щеголяет их вождь; неправдоподобно прекрасен и блестящий панцирь, делающий человека неуязвимым. По приказу адмирала один из матросов облачается в стальную броню, а островитяне осыпают его дождем своих жалких костяных стрел и слышат при этом, как неуязвимый воин в блестящих доспехах хохочет и потешается над ними. Что за чародеи! Хотя бы вот этот самый Пигафетта! В руке он держит палочку или перо какой-то птицы, и когда с ним говоришь, он чертит этим пером на белом листе какие-то черные знаки и может потом совершенно точно повторить человеку, что тот говорил два дня назад! А как чудесно было зрелище, которое они, эти белые боги, устроили в день, называемый ими пасхальным воскресеньем! На взморье они воздвигли странное сооружение, алтарь, как они его называли. Большой крест сверкал на нем в лучах солнца. Потом все они, по двое в ряд, начальник и с ним еще пятьдесят человек, разодетые в лучшие свои одежды, подходят к этому сооружению, и в то время как они преклоняют колена перед крестом, на кораблях внезапно вспыхивают молнии, и при синем ясном небе далеко по морю разносятся раскаты грома.

Веря в чудодейственность того, что совершают здесь эти мудрые и могущественные чужеземцы, островитяне робко и благоговейно подражают каждому их движению, так же становятся на колени и так же прикладываются к кресту. И вчерашние язычники радостно благодарят адмирала, когда он обещает водрузить на их острове крест таких огромных размеров, что с моря его будет видно отовсюду. Двойной успех достигнут за эти не-

сколько дней: царек острова стал не только союзником испанского короля, но и братом его по вере. Не только новые земли приобретены для испанской короны, но и души этих невольных грешников, этих детей природы отныне подвластны католической церкви и Христу.

Чудесное идилическое время, эти дни на острове Массаве. Но довольно отдыхать, Магеллан! Матросы набрались сил, повеселели, позволь им теперь возвратиться на родину! К чему еще мешкать, что значит для тебя открыть еще один островок, когда ты сделал величайшее открытие своей эпохи. Теперь еще зайти на «Острова пряностей» — и ты выполнил свою задачу, сдержал свою клятву; и тогда домой, где тебя ждет жена, мечтающая показать отцу второго сына, родившегося уже в отсутствие отца!

Домой, чтобы изобличить мятежников, трусливо клеветующих на тебя!

Домой, чтобы всему миру показать, что может совершить мужество португальского дворянина, стойкость и самоотверженность испанской команды! Не заставляй твоих друзей дольше ждать, не допускай, чтобы те, кто верит в тебя, заколебались!

Домой, Магеллан! Держи курс домой!

Но гений человека всегда одновременно и его рок. А гением Магеллана было долготерпение, великий дар выжидать и молчать.

Сильнее, чем желание вернуться триумфатором на родину и принять благодарность властелина Старого и Нового Света, в нем говорит чувство долга. Все, за что этот человек ни принимался, он заботливо подготавливал и упорно доводил до конца. Так и на этот раз, прежде чем покинуть открытый им Филиппинский архипелаг, Магеллан хочет хоть сколько-нибудь изучить его и упрочить за испанской короной. Слишком развито в нем чувство долга, чтобы он мог удовлетвориться посещением и присоединением маленького островка: так как из-за недостатка людей он не может оставить в этих краях ни представителей власти, ни торговых агентов, то он хочет и с более могущественными владыками островного царства заключить такой же договор, как с малозначущим Каламбу, а в качестве символов нерушимой власти

повсюду водрузить кастильское знамя и католический крест.

Царек сообщает Магеллану, что самый большой из островов архипелага — это Себу (Зебу). А когда Магеллан просит дать ему надежного лоцмана, чтобы добраться туда, туземный владыка смиренно просит о великой чести самолично вести экспедицию.

Правда, высокая честь иметь на борту царственного лоцмана несколько задерживает отплытие, ибо во время сбора риса бравый Каламбу столь ретиво предался обжорству и пьянству, что только 4 апреля флотилия смогла наконец вверить свою судьбу этому последователю Пантагрюэля. И вот путешественники отчаливают от благословенного берега, где в последнюю минуту нашли спасение от гибели. По тихому морю плывут они мимо ласково манящих островов и островков, направляясь к тому, который Магеллан сам избрал, ибо, с грустью пишет верный Пигафетта, «*così voleva la sua infelice sorte*» — так было угодно злосчастной его судьбе.

# СМЕРТЬ НАКАНУНЕ ПОЛНОГО ТОРЖЕСТВА

*7 апреля 1521 г.—27 апреля 1521 г.*



После трех дней благополучного плавания по морской глади 7 апреля 1521 года флотилия приближается к острову Себу; многочисленные деревушки на побережье свидетельствуют о том, что остров густо населен. Царственный лоцман Каламбу уверенной рукой направляет судно прямо к приморской столице. С первого же взгляда на гавань Магеллан убеждается, что здесь он будет иметь дело с раджей или владыкой более высокого разряда и большей культуры, так как на рейде стоят не только бесчисленные челны туземцев, но и иноземные джонки. Значит, нужно с самого начала произвести надлежащее впечатление, внушить, что чужестранцы повелевают громом и молнией. Магеллан приказывает дать приветственный залп из орудий, и, как всегда, это чудо — внезапная искусственная гроза при ясном небе — приводит детей природы в неописуемый ужас: с дикими воплями разбегаются они во все стороны и прячутся. Но Магеллан немедленно посылает на берег своего толмача

Энрике с дипломатическим поручением: объяснить властителю острова, что страшный удар грома отнюдь не означает вражды, а напротив, этим проявлением волшебной своей власти могущественный адмирал выражает почтение могущественному королю Себу. Повелитель этих кораблей сам только слуга, но слуга могущественнейшего в мире властителя, по повелению которого он, чтобы достичь «Островов пряностей», пересек величайшее море вселенной. Но он пожелал воспользоваться этим случаем также и для того, чтобы нанести дружественный визит королю острова Себу, ибо в Массаве слышал о мудрости и радушии этого правителя. Начальник громоносного корабля готов показать владыке острова никогда им не виданные редкостные товары и вступить с ним в меновую торговлю. Задерживаться здесь он отнюдь не намерен и, засвидетельствовав свою дружбу, немедленно покинет остров, не причинив мудрому и могущественному королю никаких хлопот.

Но король, или, вернее, раджа Себу Хумабон, уже далеко не столь простодушное дитя природы, как голые дикари на Разбойничьих островах или патагонские великаны. Он уже вкусил плодов от древа познания и знает толк в деньгах и их ценности. Этот темнокожий царек на другом конце света — практичный экономист, как явствует из того, что он либо перенял, либо сам придумал и установил высококультурный обычай — взимание пошлин за право торговли в его гавани. Бывалого купца не запугать громом орудий, не обольстить вкрадчивыми речами переводчика. Холодно поясняет он Энрике, что не отказывает чужеземцам в разрешении бросить якорь в гавани и даже склонен вступить с ними в торговые сношения, но каждый корабль обязан уплатить ему налог за право стоянки и торговли. И если великому капитану, начальнику трех больших иноземных судов, угодно вести здесь торговлю, то пусть он уплатит установленный сбор.

Невольнику Энрике ясно, что его господин, адмирал королевской армады и кавалер ордена Сант-Яго, никогда не согласится платить пошлину какому-то ничтожному туземному царьку. Ведь этой данью он признал бы *implicite*<sup>1</sup> независимость и самостоятельность страны, ко-

<sup>1</sup> Косвенно (лат.).

тору ю Испания, в силу папской буллы, уже считает своей собственностью. Поэтому Энрике настойчиво убеждает Хумабона в этом особом случае отказаться от взимания налога, дабы не прогневить повелителя громов и молний. Прижимистый раджа стоит на своем. Сначала деньги — потом дружба. Сначала надо платить, исключений тут не бывает; и в подтверждение своих слов он велит привести магометанского купца, только что прибывшего на своей джонке из Сиама и беспрекословно уплатившего пошлину.

Купец-мавр является незамедлительно и бледнеет от страха. С первого взгляда на большие корабли с крестом святого Яго на раздутых парусах он понял всю опасность положения. Горе, горе! Даже об этом последнем укромном уголке Востока, где еще можно было честно заниматься своим ремеслом, не страшась этих пиратов, пронюхали христиане! Вот они уже здесь, со своими грозными пушками и аркебузами, эти убийцы, эти заклятые враги Магомета! Конец теперь мирным торговым сделкам, конец хорошим прибылям! Торопливо шепчет он королю, что следует быть осторожным и не затевать ссоры с непрошеными гостями. Ведь это те самые люди, которые — здесь он, правда, путает испанцев с португальцами — разграбили и завоевали Каликут, всю Индию и Малакку. Никто не может противостоять белым дьяволам.

Этой встречей снова замкнулся круг: на другом конце света, под другими созвездиями Европа опять соприкоснулась с Европой. До тех пор Магеллан, продвигаясь на запад, почти везде находил земли, куда еще не ступала нога европейца. Никто из туземцев, встречавшихся ему, не слышал о белых людях, никто из них не видел жителя Европы, а ведь даже к Васко да Гаме, когда тот сошел на берег Индии, какой-то араб обратился на португальском наречии. Магеллану за два года ни разу не довелось быть узнанным: словно по пустой, необитаемой планете странствовали испанцы. Патагонцам они казались небожителями; как от бесов или злых духов, прятались от них туземцы на Разбойничьих островах. И вот здесь, на другом краю земного шара, европейцы наконец снова оказались лицом к лицу с человеком, который их знает, который их опознал из их



мира в эти новые миры, через безбрежные просторы океана, переброшен мост. Круг сомкнулся; еще несколько дней, еще несколько сотен миль — и после двух лет разлуки Магеллан снова встретит европейцев, христиан, друзей, единоверцев! Если он мог еще сомневаться, действительно ли так близка цель, то теперь подтверждение получено: одно полушарие сошлось с другим, невозможное совершилось — он обогнул земной шар.

Предостерегающие слова мавританского торговца возымели очевидное действие на короля Себу. Оробев, он тотчас же отказывается от своих требований и в доказательство добрых намерений приглашает посланцев Магеллана на пиршество, во время которого — третье неопровержимое доказательство того, что аргонавты уже совсем близко от Аргоса, — кушанья подаются не в плетенках и не на дощечках, а в фарфоровой посуде, вывезенной из Китая — из сказочного «Катая» Марко Поло. Теперь, следовательно, рукой подать до Ципангу и Индии, испанцы уже коснулись края восточной культуры. Мечта Колумба — западным путем достичь Индии — осуществлена.

После того как дипломатический инцидент улажен, начинается официальный обмен любезностями и товарами. Пигафетта в качестве уполномоченного посылается на берег. Раджа изъявляет готовность вступить на вечные времена в союз с могущественным императором Карлом, и Магеллан честно прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить мир. В противоположность Кортесу и Писарро, немедленно спускавшим своих кровавых псов, варварски истреблявшим и порабошавшим туземное население с единственной мыслью как можно скорее разграбить покоренную страну, более дальновидный и гуманный Магеллан в продолжение всего своего путешествия стремился исключительно к мирному проникновению в открытые им земли; он старается присоединять новые области средствами дружелюбия, заключением договоров, а не принуждением и кровавым насилием. Ничто так не возвышает Магеллана в нравственном отношении над всеми другими конкистадорами его времени, как это неуклонное стремление к гуманности. Ма-

геллан — натура суровая, крутая, об этом свидетельствует его поведение во время мятежа; поддерживая в своей флотилии железную дисциплину, он не ведал ни снисхождения, ни жалости. Но если он был беспощаден, то к чести его следует признать, что жестоким он никогда не был; его память не осквернена такими зверскими расправами, как сожжение кациков, пытка Гватамозина, навеки запятнавшими великие подвиги Кортеса и Писарро. Ни единое нарушение слова, что другие конкистадоры считали вполне законным, когда дело касалось язычников, не бесчестит его торжества. До смертного своего часа Магеллан строго и неукоснительно придерживался любого своего договора с любым туземным князьком. Эта честность была лучшим его оружием и остается вечной его славой.

Между тем, к вящему удовольствию обеих сторон, началась меновая торговля. Больше всего островитяне дивятся железу, этому твердому веществу, как нельзя более пригодному для изготовления мечей, копий, заступов. Малоценным представляется им по сравнению с этим металлом мягкое желтовато-белое золото, и, как в памятный 1914 год мировой войны, они с восторгом меняют его на железо. За четырнадцать фунтов этого в Европе почти не имеющего ценности металла островитяне приносят пятнадцать фунтов золота, и Магеллану приходится строгостью удерживать восхищенных этой безумной щедростью матросов, в чаду восторга готовых променять на золото свою одежду и все пожитки. Он опасается, что вследствие слишком неистового спроса туземцы догадаются о ценности этого металла и тем самым обесценятся привезенные европейцами товары. Магеллан хочет сохранить преимущество, доставляемое невежеством туземцев, но в остальном строго следит, чтобы жителям Себу все отпускалось по точному весу и мере; этого человека, мыслящего в огромных масштабах, не занимает случайная прибыль; ему важно наладить торговые сношения и в то же время привлечь сердца и души жителей этой новой провинции. И снова его расчет оказался правильным: вскоре туземцы исполняются такого доверия к приветливым и могущественным чужеземцам, что раджа, а вместе с ним и большинство его приближенных по доброй воле изъявляют желание принять христианст-

во. Того, чего другие испанские завоеватели годами добивались при помощи пыток и инквизиции, страшных казней и костров, глубоко верующий и все же чуждый фанатизма Магеллан добился за несколько дней без всякого принуждения. Сколь гуманно и терпимо вел он себя при этом обращении туземцев, мы читаем у Пигафетты: «Адмирал сказал им, что не следует становиться христианами из страха перед нами или в угоду нам. Если они действительно хотят принять христианство, то побуждать их к тому должно лишь собственное желание и любовь к богу. Но если они и не пожелают перейти в христианскую веру, им тоже не причинят зла. С теми же, кто примет христианство, будут обходиться еще лучше. Тут все они, как один, воскликнули, что не из страха и не из угодливости хотят они стать христианами, но по собственной воле. Они предают себя в его руки, и пусть он поступает с ними как со своими подначальными. После этого адмирал со слезами на глазах обнял их и, сжимая руки наследного принца и раджи Массавы в своих руках, сказал, что клянется верою своею в бога и верностью своему властелину нерушимо соблюдать вечный мир между ними и королем Испании, а они, в свою очередь, обещали ему то же самое».

В следующее воскресенье, 14 апреля 1521 года, закатным светом блистает счастье Магеллана, — испанцы празднуют величайшее свое торжество. На базарной площади города воздвигнут пышный балдахин; под ним на доставленных с кораблей коврах стоят два обитых бархатом кресла — одно для Магеллана, другое для раджи. Перед балдахином сооружен видный издалика, сияющий огнями алтарь, вокруг которого сгрудились тысячи темнокожих людей в ожидании обещанного зрелища. Магеллан, который до этой минуты, по искусному расчету, ни разу не сходил на берег и все переговоры вел через Пигафетту, инсценирует свое появление с нарочитой, оперной пышностью. Сорок воинов в полном вооружении выступают впереди него, за ними знаменосец, высоко вздымающий шелковое знамя императора Карла, врученное адмиралу в севильском соборе и впервые развернутое здесь, над новой испанской провинцией; затем размеренно, спокойно, величаво шествует Магеллан в сопровождении своих офицеров. Как только он вступа-

ет на берег, с кораблей гремит пушечный залп. Устрашенные салютом зрители пускаются наутек, но так как раджа (которому заранее предусмотрительно сообщили об этом раскате грома) остается невозмутимо сидеть на своем кресле, то они спешат назад и с восторженным изумлением следят за тем, как на площади водружается исполинский крест и их повелитель вместе с наследником престола и многими другими, низко склонив голову, принимает «святое крещение». Магеллан на правах восприемника дает ему взамен его прежнего языческого прозвища Хумабон имя Карлос — в честь его державного повелителя. Королева — она весьма красива и могла бы и в наши дни возвращаться в лучшем обществе, так как на четыреста лет опередила своих европейских и американских сестер: ее губы и ногти выкрашены в ярко-красный цвет, — отныне зовется Хуаной. Принцессы также нарекаются царственными испанскими именами — Изабелла и Катарина. Само собой разумеется, что знать Себу и соседних островов не желает отставать от своих раджей и предводителей: до поздней ночи священник флотилии не покладая рук крестит сотни стекающих к нему людей. Весть о чудесных пришельцах быстро распространяется. На следующий же день обитатели других островов, прослышав о волшебных церемониях пришлого кудесника, толпами устремляются на Себу; еще несколько дней, и на этих островах не останется ни одного царька, который не присягнул бы Испании и не склонил бы голову перед святым кропилом.

Более удачно не могло завершиться предприятие Магеллана. Он достиг всего. Пролив найден, другой конец Земли нащупан. Новые богатейшие острова вручены испанской короне, несметное множество языческих душ — христианскому богу; и все это — торжество из горжеств! — достигнуто без единой капли крови. Господь помог рабу своему. Он вывел его из тягчайших испытаний, горше которых не перенес ни один человек. Беспредельно проникся теперь Магеллан почти религиозным чувством уверенности. Какие мытарства могут еще предстоять ему после мытарств, уже перенесенных, что еще может подорвать его дело после этой чудесной победы? Смиренная и чудодейственная вера в успех все-

го, что он предпримет во славу господа и своего короля, наполняет его.

И эта вера станет его роком.

Все удалось Магеллану так, словно ангелы освещали его путь. Он завладел новой империей для испанской короны, но как сохранить все, что добыто, за королем? Дольше оставаться на Себу он не может, как не может покорить один за другим все острова архипелага. А потому Магеллан, всегда мыслящий последовательно и в широких масштабах, видит лишь один способ упрочить испанское владычество на Филиппинах, а именно: объявить Карлоса-Хумабона, первого католического великого раджу, повелителем над всеми остальными раджами. Союзник испанского короля король Карлос Себуанский должен отныне иметь больший престиж, чем все другие. Поэтому не безрассудством и легкомыслием, а хорошо продуманным политическим ходом было обещание Магеллана оказать вооруженную помощь королю Себуанскому, если кто-либо посмеет противиться его власти.

По чистой случайности именно в эти дни представляется случай продемонстрировать такую помощь. На крохотном островке Мактан, расположенном напротив Себу, правит раджа по имени Силапулапу, издавна выказывавший непокорство властителю Себу. На этот раз он запрещает своим подданным снабжать продовольствием неведомых гостей Карлоса-Хумабона, и такое враждебное поведение, быть может, не лишено оснований: где-то на его островке — должно быть, потому, что матросы после долгого вынужденного воздержания как иступленные гонялись за женщинами — произошла кровавая свалка, во время которой было сожжено несколько хижин. Не удивительно, что Силапулапу хочет как можно скорее избавиться от чужеземцев, но его неприязненное отношение к гостям Хумабона кажется Магеллану отличным поводом показать свою мощь. Не только властитель Себу — все царьки окрестных островов должны воочию увидеть, как разумно поступили те, кто подчинился испанцам, и какое жестокое возмездие ждет всех, кто противоборствует этим громовержцам. И вот Магеллан

предлагает Хумабону дать строптивому царьку суровый урок силою оружия, чтобы раз навсегда внушить уважение остальным. Как ни странно, но раджа Себу встречает этот план без особого восторга: может быть, он боится, что усмиренные племена восстанут против него тотчас же после отплытия чужестранцев. Серрано и Барбоса также отговаривают адмирала от этого ненужного похода.

Но Магеллан и не помышляет о настоящих военных действиях; покорится мятежный правитель добровольно — тем лучше для него и для всех остальных; заклятый враг ненужного кровопролития, антипод воинственных конкистадоров, Магеллан сначала посылает к Силапулапу своего невольника Энрике и купца-мавра с предложением честного мира. Он требует одного: чтобы правитель Мактана признал власть раджи острова Себу и покровительство Испании. Если Силапулапу пойдет на это, — испанцы будут жить с ним в мире и согласии; если он откажется признать эту верховную власть, тогда ему покажут, как больно колют испанские копья.

Но раджа отвечает, что и его люди вооружены копьями. Пусть это бамбуковые и тростниковые копья, но острия их достаточно хорошо закалены на огне, и испанцы могут сами в этом убедиться. После столь надменного ответа у Магеллана, символически представляющего всемогущество Испании, остается лишь один аргумент — оружие.

Во время приготовлений к этому маленькому походу Магеллану впервые изменяют самые характерные для него качества: осмотрительность и дальновидность. Кажется, впервые этот все точно рассчитывающий человек легкомысленно бросается навстречу опасности. Поскольку раджа Себу изъявил готовность дать испанцам для этой экспедиции тысячу своих воинов, а Магеллан, со своей стороны, легко мог бы переправить на островок человек полтораста из своего экипажа, не подлежит сомнению, что раджа этого крохотного острова, который даже нельзя отыскать на нормальной карте, потерпел бы полное поражение. Но Магеллан не хочет бойни. В этой экспедиции для него важно нечто иное и более значи-

тельное: престиж Испании. Адмирал императора Старого и Нового Света считает ниже своего достоинства посылать целое войско против темнокожего нищего царька, в грязной хижине которого нет ни одной незаплатанной циновки, и выставлять превосходящие силы против жалкой оравы островитян. Магеллан преследует обратную цель: наглядно доказать, что один хорошо вооруженный, закованный в латы испанец шутя справится с сотней таких голышей. Единственная задача этой карательной экспедиции — заставить население всех островов архипелага уверовать в миф о неуязвимости и богоподобности испанцев; то, что несколько дней назад на флагманском судне было показано раджам Массавы и Себу в качестве увеселительного зрелища, когда два десятка туземных воинов одновременно со всего размаха ударяли своими жалкими копьями и кинжалами по добротной испанской броне, а закованный в нее человек оставался невредимым, теперь в более крупном масштабе должно подтвердиться на примере строптивного царька. Только по этим, чисто психологическим соображениям обычно столь осторожный Магеллан, вместо того чтобы захватить с собой всю команду, берет всего шестьдесят человек, а радже Себу со вспомогательным отрядом туземцев приказывает остаться в лодках и не вмешиваться в то, что произойдет. Только в качестве свидетелей, в качестве зрителей приглашают их присутствовать при назидательном зрелище, как шесть десятков испанцев смиряют всех предводителей, царьков и раджей этого архипелага.

Неужели многоопытный мастер расчета на этот раз просчитался? Безусловно, нет. В историческом аспекте такое соотношение — шестьдесят закованных в латы европейцев против тысячи нагих туземцев, вооруженных копьями с наконечниками из рыбьей кости, — отнюдь не является абсурдным. Ведь с четырьмя-пятью сотнями воинов Кортес и Писарро, преодолевая сопротивление сотен тысяч мексиканцев и перуанцев, покоряли целые государства; по сравнению с такими начинаниями экспедиция Магеллана на островок величиной с булавочную головку действительно была только военной прогулкой. Что об опасности он думал так же мало, как и другой великий мореплаватель, капитан Кук, лишившийся

жизни в точно такой же ничтожной стычке с островитянами, в достаточной мере явствует из того, что набожный католик Магеллан, обычно перед каждым решительным делом заставлявший команду причаститься, на этот раз не отдал такого распоряжения. Два-три выстрела, два-три основательных удара, и бедные воины Силапулапу, как зайцы, пустятся наутек! И тогда без кровопролития здесь навеки торжественно утвердится нерушимое могущество Испании.

В эту ночь с четверга на пятницу 26 апреля 1521 года, когда Магеллан и шестьдесят его воинов сели в шлюпки, чтобы переплыть узкий пролив, разделяющий острова, по уверению туземцев, на крыше одной из хижин сидела диковинная, неведомая черная птица, похожая на ворона. И правда, вдруг неизвестно почему начали выть все собаки; испанцы, суеверные не меньше простодушных детей природы, боязливо осеняют себя крестным знаменем. Но разве может человек, предпринявший самое дерзновенное в мире плавание, отказаться от стычки с голым царьком и жалкими его приспешниками из-за того, что неподалеку каркает какой-то ворон?

По роковой случайности этот царек находит, однако, надежного союзника в своеобразных очертаниях взморья. Из-за плотной гряды коралловых рифов шлюпки не могут приблизиться к берегу; таким образом, испанцы уже с самого начала лишаются наиболее впечатляющего средства: смертоносного огня мушкетов и аркебуз, гром которых обычно заставляет туземцев обращаться в паническое бегство. Необдуманно лишив себя этого прикрытия, шестьдесят тяжело вооруженных воинов — прочие испанцы остаются в лодках — бросаются в воду с Магелланом во главе, который, по словам Пигафетты, «как добрый пастух не покидал своего стада». По бедра в воде проходят они немалое расстояние до берега, где, неистово крича, завывая и размахивая щитами, их дожидается целое полчище туземцев. Тут противники сталкиваются.

Наиболее достоверным из всех описаний боя, по-видимому, является описание Пигафетты, который, сам тяжело раненный стрелой, до последней минуты не поки-



дал своего возлюбленного адмирала. «Мы прыгнули,— повествует он,— в воду, доходившую нам до бедер, и прошли по ней расстояние вдвое больше того, какое может пролететь стрела, а лодки наши из-за рифов не могли следовать за нами. На берегу нас поджидали тысячи полторы островитян, разделенных на три отряда, и они тотчас с дикими воплями ринулись на нас. Две толпы атаковали нас с флангов, а третья — с фронта. Адмирал разделил команду на два отряда. Наши мушкетеры и арбалетчики в течение получаса палили издали с лодок, но тщетно, ибо их пули, стрелы и копья не могли на таком дальнем расстоянии пробить деревянные щиты дикарей и разве что повреждали им руки. Тогда адмирал громким голосом отдал приказ прекратить стрельбу, очевидно, желая приберечь порох и пули для решающей схватки. Но его приказ не был выполнен. Островитяне же, убедившись, что наши выстрелы почти или даже вовсе не наносят им вреда, перестали отступать. Они только все громче вопили и, прыгая из стороны в сторону, дабы увернуться от наших выстрелов, под прикрытием щитов придвигались все ближе, забрасывая нас стрелами, дротиками, закаленными на огне деревянными копьями, камнями и комьями грязи, так что мы с трудом от них оборонялись. Некоторые даже метали в нашего командира копья с железными наконечниками.

Чтобы напугать на них страху, адмирал послал нескольких воинов поджечь хижины туземцев. Но это только сильнее разъярило их. Часть дикарей кинулась к месту пожара, который уже успел уничтожить двадцать или тридцать хижин, и там они убили двоих из наших людей. Остальные с еще большим ожесточением бросились на нас. Заметив, что туловища наши защищены, но ноги не прикрыты броней, они стали целиться в ноги. Отравленная стрела вонзилась в правую ногу адмирала, после чего он отдал приказ медленно, шаг за шагом, отступать. Но тем временем почти все наши люди обратились в беспорядочное бегство, так что около адмирала (а он, уже много лет хромой, теперь явно замедлял отступление) осталось не более семи или восьми человек. Теперь на нас со всех сторон сыпались дротики и камни, и мы уже не могли сопротивляться. Бомбарды, имевшиеся в наших лодках, были не в состоянии нам

помочь, так как мелководе удерживало лодки вдали от берега. Итак, мы отступали все дальше, стойко обороняясь, и уже были на расстоянии полета стрелы от берега, и вода доходила нам до колен. Но островитяне по пятам преследовали нас, выуживая из воды уже однажды использованные копья, и, таким образом, метали одно и то же копьё пять-шесть раз. Узнав нашего адмирала, они стали целиться преимущественно в него; дважды им уже удалось сбить шлем с его головы; он оставался с горстью людей на своем посту, как подобает храброму рыцарю, не пытаясь продолжать отступление, и так сражались мы более часу, пока одному из туземцев не удалось тростниковым копьем ранить адмирала в лицо. Разъяренный, он тотчас же пронзил грудь нападавшего своим копьем, но оно застряло в теле убитого; тогда адмирал попытался выхватить меч, но уже не смог этого сделать, так как враги дротиком сильно ранили его в правую руку, и она перестала действовать. Заметив это, туземцы толпой ринулись на него, и один из них саблей ранил его в левую ногу, так что он упал навзничь. В тот же миг все островитяне набросились на него и стали колотить копьями и прочим оружием, у них имевшимся. Так умертвили они наше зеркало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя».

Так в мелкой стычке с ордою голых островитян бессмысленно погибает в высшую, прекраснейшую минуту осуществления своей задачи величайший мореплаватель истории. Гений, который, подобно Просперо, укротил стихии, обуздал бури и одолел людей, сражен жалким ничтожеством Силапулапу. Но только жизнь может отнять у него эту нелепая случайность — не победу, ибо великий его подвиг уже почти доведен до конца, и после этого сверхчеловеческого деяния личная судьба уже не имеет большого значения. Но, к сожалению, за трагедией его героической гибели слишком быстро следует сатирическое действие — те самые испанцы, которые несколько часов назад, как небожители, взирали на жалкого царька Мактана, доходят до такого глубокого унижения, что, вместо того, чтобы немедленно послать за подкреплением и отнять от убийцы труп своего вождя, трусливо посылают к

Силапулапу парламентарера с предложением продать им тело: за несколько погребушек и пестрых тряпок рассчитывают они выкупить бранные останки адмирала. Но более гордый, чем малодушные соратники Магеллана, голый триумфатор отклоняет сделку. Ни на зеркальца, ни на стеклянные бусы, ни на яркий бархат не выменяет он тело своего противника. Этот трофей он не продаст. Ибо уже по всем островам разнеслась молва, что великий Силапулапу легко, как птицу или рыбу, сразил иноземного повелителя грома и молний.

Никто не знает, что сделали несчастные дикари с трупом Магеллана, на волю какой стихии — огня, воды, земли или всеразрушающего воздуха — предали они его брнное тело. Ни единого свидетельства нам не осталось, утрачена его могила, таинственно потерялся в неизвестности след человека, который отвоевал у бескрайнего океана, омывающего земной шар, его последнюю тайну.

# ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЗ ВОЖДЯ

26 апреля 1521 г.—6 сентября 1522 г.



**В**осемь человек убитыми потеряли испанцы в жалкой стычке с Силапулапу, цифра сама по себе довольно ничтожная, но гибель вождя превращает этот день в великую катастрофу. Со смертью Магеллана исчезает волшебный ореол, до той поры возносивший белых пришельцев на божественную высоту, а ведь главным образом на представлении об их мнимой непобедимости зиждились успехи и могущество всех конкистадоров. Несмотря на всю храбрость, выносливость, несмотря на все их воинские добродетели и доспехи, ни Кортесу, ни Писарро никогда не удалось бы победить десятки, сотни тысяч противников, если бы им, как ангел-хранитель, не сопутствовал миф о непобедимости и неуязвимости. Невиданные, всеведущие создания, умеющие извергать громы и молнии из своих дубинок, казались смятенным туземцам неуязвимыми, их нельзя было ранить, ибо стрелы отскакивали от их доспехов; от них нельзя было спастись бегством, ибо огромные четвероногие звери, с ко-

торыми они срослись воедино, неминуемо настигали беглеца. Ничто так наглядно не свидетельствует о парализующем воздействии этого страха, как один эпизод эпохи завоеваний, когда какой-то испанец утонул в реке. Три дня лежало его тело в индийской хижине; индийцы смотрели на него, но не решались к нему притронуться из страха, как бы неведомый бог не ожил. Только когда труп начал разлагаться, они набрались храбрости и подняли восстание. Стоило только одному белому богу оказаться тленным, стоило непобедимым только раз потерпеть поражение, и колдовские пути рухнули, — миф об их божественной мощи развеялся в прах.

Так и на этот раз раджа Себу беспрекословно подчинился повелителям грома и молний. Он смиренно принял их веру, полагая, что их бог сильнее деревянных божков, которым он до тех пор поклонялся. Он надеялся, подружившись с этим неведомым сверхъестественным существом, стать в скором времени могущественнейшим властителем всех окрестных островов. Но вот он сам и с ним тысячи его воинов со своих челнов видели, как Силапулапу, ничтожный мелкий предводитель, одержал победу над белыми богами. Собственными глазами видел он, как их грома и молнии стали бессильными, более того — видел, как якобы неуязвимые воины в своих сверкающих доспехах позорно бежали от голых дружинников Силапулапу и, наконец, как они отдали тело своего господина на поругание туземцам.

Может быть, решительные меры были бы еще в состоянии спасти престиж испанцев. Если бы энергичный военачальник немедленно собрал всех моряков, если бы все они тотчас переправились на Мактан, стремительной атакой отбили бы у туземцев тело своего великого начальника и жестоко покарали как самого царька, так и подвластное ему племя, — тогда, быть может, раджу Себу тоже охватил бы спасительный ужас. Но вместо этого дон Карлос-Хумабон (теперь уже ему недолго осталось носить это царственное имя) видит, что побежденные испанцы смиренно отряжают послов к победоносному царьку, чтобы за деньги и вещи выторговать у него тело Магеллана. И что же? Жалкий царек ничтожного острова оказывает неповиновение белым богам и с презрением прогоняет их парламентаров.

Трусливое поведение белых богов не могло не навести короля Карлоса-Хумабона на странные размышления. Быть может, он испытывает нечто сходное с горьким разочарованием Калибана, когда бедный обманутый проstack убедился, что опрометчиво принятый им за бога Тринкуло — всего лишь хвостун и пустомеля. Да и вообще испанцы немало поусердствовали, чтобы разрушить доброе согласие с туземцами. Петр Ангиерский, тотчас по возвращении опросивший матросов о подлинной причине перелома, совершившегося в отношениях с туземцами после смерти Магеллана, получил от очевидца, «*qui omnibus rebus interfuit*»<sup>1</sup>, вполне исчерпывающее объяснение: «*Feminarum stupra causam perturbationis dedisse arbitrantur*»<sup>2</sup>. Несмотря на всю свою строгость, Магеллан не мог воспрепятствовать распаленным долгим воздержанием матросам наброситься на жен гостеприимных хозяев; тщетно пытался он удерживать их от насильственных действий и даже подверг наказанию своего шурина Барбосу за то, что он три ночи провел на берегу; эта разнузданность, вероятно, еще возросла после смерти Магеллана. Во всяком случае, вместе со страхом перед их военной мощью исчезло и всякое уважение к этим пришлым разбойникам. Видимо, испанцы почуяли возрастающее недоверие к ним, ибо внезапно заторопились. Скорей, скорей погрузить товары и прочую поживу — и напрямик к «Островам пряностей»! Идея Магеллана — миром и дружбой упрочить на Филиппинских островах главенство Испании и католической церкви — мало занимает его более корыстных преемников: лишь бы скорей покончить со всем и вернуться на родину. Но для завершения торговых сделок испанцам необходима помощь Магелланова невольника Энрике: ведь он единственный, кто благодаря знанию туземного языка может служить посредником в торговле, — и вот при этом, казалось бы, маловажном обстоятельстве и обнаруживается у них отсутствие того умения обращаться с людьми, благодаря которому более гуманный Магеллан неизменно достигал величайших своих успехов. Верный его раб Энрике до последней минуты не покидал своего хозяина. Ра-

<sup>1</sup> Который сам во всем принимал участие (лат.).

<sup>2</sup> Обесчещение женщин явилось, надо полагать, причиной волнений (лат.).

неным доставили его обратно на корабль, и теперь он лежит недвижно, укутанный своей циновкой, то ли страдающая от полученной раны, то ли тяжело и упорно скорбя о гибели горячо любимого господина, к которому он привязался с безотчетной верностью сторожевого пса. И тут Дуарте Барбоса, после смерти Магеллана избранный вместе с Серрано начальником флотилии, совершает глупость, нанеся смертельное оскорбление верному рабу Магеллана. Грубо заявляет он: пусть Энрике не воображает, что после смерти своего господина может бездельничать, что он уже не невольник. По возвращении на родину его немедленно передадут вдове Магеллана, а пока что он обязан повиноваться. Если он тотчас не встанет и не отправится на берег исполнять свои обязанности толмача, ему придется отведать арапника. Энрике — из опасной расы малайцев, никогда не прощающих оскорбление; потупясь, выслушивает он эту угрозу. Ему не может быть неизвестно, что, согласно завещанию Магеллана, он после смерти своего господина должен быть отпущен на свободу и даже получить известную сумму денег. Он молча стискивает зубы. Эти наглые преемники его великого господина и учителя, надумавшие украсть его свободу и не сочувствующие его горю, расплатятся за то, что назвали его регго<sup>1</sup> и на самом деле обошлись с ним, как с собакой.

Коварный малаец внешне ничем не выдает своих мстительных замыслов. Покорно отправляется он на рынок, покорно выполняет обязанности толмача при купле и продаже, но одновременно использует во зло свое опасное искусство. Он осведомляет раджу Себу, что испанцы уже готовятся погрузить обратно на суда оставшиеся непроданными товары и на следующий день намерены незаметно исчезнуть, увозя с собой все свое добро. Если король теперь проявит должную расторопность, он с легкостью захватит все товары, ничего не отдавая взамен, и даже сможет завладеть при этом тремя великолепными испанскими кораблями.

Скорее всего мстительный совет Энрике вполне отвечал сокровенным желанием раджи Себу; во всяком случае, его речи были выслушаны благосклонно. Вдвоем

---

<sup>1</sup> Собака (исп.).

они вырабатывают план и осторожно готовят его выполнение. Продолжается без видимых внешних изменений оживленная торговля, сердечнее, чем когда-либо, обходится король Себу со своими новыми единоверцами, да и Энрике, с того дня как Барбоса пригрозил ему плеткой, видимо, полностью излечился от лени. Через три дня после смерти Магеллана, 1 мая, он с сияющим лицом приносит капитанам радостную весть: раджа Себу наконец-то получил драгоценности, которые он обещал послать своему повелителю и другу, королю Испании. Желая обставить вручение даров как можно более торжественно, он созвал своих подданных и подвластных ему предводителей племен; пусть же и оба капитана, Барбоса и Серрано, явятся в сопровождении наиболее знатных испанцев, чтобы принять из рук раджи подарки, предназначенные для верховного его повелителя и друга, короля Карлоса Испанского.

Будь Магеллан в живых, он, несомненно, вспомнил бы, из времен индийских своих походов, о столь же любезном приглашении властителя Малакки, когда доверчиво сошедшие на берег капитаны были перебиты и друг его, Франсиску, однофамилец Жуана Серрано, спасся только благодаря личной храбрости Магеллана. Но этот второй Серрано и Дуарте Барбоса, ничего не подозревая, идут в западню, расставленную их новым братом во Христе. Они принимают приглашение — и здесь снова подтверждается старая истина, что звездочеты ничего не знают о собственной судьбе, ибо к ним примкнул и астролог Андрес де Сан-Мартин, по-видимому, забывший предварительно составить себе гороскоп, тогда как обычно столь любопытствующего Пигафетту на сей раз спасает рана, полученная в бою на Мактане. Он остается лежать на циновке, и это сохраняет ему жизнь.

Всего на берег отправляется двадцать девять испанцев, и в числе их, роковым образом, лучшие, опытнейшие мореплаватели и кормчие. Торжественно встреченные, они отправляются в пальмовую рощу, где раджа приготовил им пиршество. Несметные толпы туземцев, привлеченных, вероятно, одним любопытством, со всех сторон окружают испанских гостей в порыве сердечности. Однако настойчивость, с какой раджа старается завлечь испанцев в глубь пальмовой рощи, не по душе кормче-



му, Жуану Карвальо. Он делится своими подозрениями с альгвасилом флотилии Гомесом де Эспиноса; они решают как можно скорее доставить с кораблей на берег весь экипаж, чтобы в случае измены выручить товарищей. Под благовидным предлогом они выбираются из толчей и спешат к кораблям. Но не успевают они взойти на борт, как с берега до них доносятся душераздирающие крики. Совершенно так же, как некогда в Малакке, туземцы напали на беспечно пирующих испанцев, не дав им схватиться за оружие. Одним ударом вероломный раджа Себу избавился от всех своих гостей и завладел всеми товарами и оружием, равно как и неуязвимыми доспехами испанцев.

Люди на кораблях в первую минуту цепенеют от ужаса. Затем Карвальо вследствие гибели всех остальных капитанов в мгновение ока ставший начальником флотилии, отдает приказ приблизиться к берегу и открыть по городу огонь из всех орудий. Залп гремит за залпом. Может быть, Карвальо надеется этими репрессиями спасти жизнь хоть нескольким товарищам, может быть, это только проявление бессильной ярости. Но как раз в минуту, когда первые ядра уже начинают крушить хижины, происходит нечто страшное — одна из тех ужасающих сцен, которые навеки врезаются в память людей, живо их себе представивших. Один из подвергшихся нападению, храбрейший из них, Жуан Серрано, точь-в-точь как некогда Франсишку Серрано на Малаккском побережье — таинственное повторение, — в последнюю минуту вырывается из рук убийц и бежит к взморью. Но враги гонятся за ним, окружают его, связывают по рукам и ногам. И вот он стоит, беззащитный, теснимый толпою убийц, и из последних сил кричит товарищам на кораблях, чтобы они прекратили огонь, иначе мучители убьют его. Он молит их ради всего святого выслать лодку с товарами и выкупить его.

Какое-то одно мгновение кажется, что торг состоится. Цена жизни храбрейшего из капитанов уже установлена: две бомбарды и несколько бочонков меди. Но туземцы требуют, чтобы товары были доставлены на берег, а Карвальо, возможно, опасается, как бы эти уже однажды нарушившие слово негодяи не присвоили себе не только товары, но и шлюпку. Возможно же — Пига-

фетта сам высказывает это подозрение, — что честолюбец уже не хочет расстаться со столь внезапно доставшимся ему званием командира и не склонен более служить простым кормчим под началом выкупленного Серрано. Так или иначе, но чудовищное деяние совершается. На взморье извивается связанный окровавленный человек, окруженный кровожадной толпой, на его лбу холодный пот смертельного ужаса, единственная его надежда — что на расстоянии броска камня находятся три превосходно вооруженных испанских судна с раздутыми парусами, а у борта флагманского корабля стоит его земляк Карвальо, его *compadre*, его побратим, с кем он разделял тысячи опасностей и кто скорее пожертвует последним, чем покинет его в беде. И снова вопит он охрипшим голосом: скорее, скорее пришлите выкуп. Жадно вперяет он глаза в шлюпку, покачивающуюся рядом с кораблем. Почему мешкает Карвальо, почему он так медлит? Но вот мореход Серрано, знающий любое движение на корабле, воспаленными глазами видит, как шлюпку поднимают на борт. Предательство! Измена! Вместо того чтобы послать к нему спасительную шлюпку, суда начинают скользить к открытому морю. Флагманское судно уже обращается вокруг якоря, уже паруса надуваются попутным ветром. В первую минуту несчастный Серрано не может, не хочет понять, что его — начальника, капитана — собственные его товарищи, по приказу его названного брата, трусливо предают в руки убийц. Еще раз сдавленным голосом кричит он вслед беглецам, просит, приказывает, неистовствует в предсмертной тоске и отчаянии. А когда ему уже становится ясно, что все три корабля снялись с якоря и покидают рейд, он еще раз из последних сил набирает воздух в сдавленную путами грудь, и по волнам к Жуану Карвальо доносится ужасное проклятие: в день Страшного суда он будет призван к ответу перед всевышним за подлое свое предательство.

Но слова этого проклятия — последние слова Серрано. Собственными глазами видят предавшие его товарищи, как убивают избранного ими начальника. И еще прежде чем суда успевают выйти из гавани, под торжествующие клики туземцев рушится огромный крест, воздвигнутый испанцами. Все, что за недели кропотливой, тща-

тельной работы было достигнуто Магелланом, пошло прахом из-за легкомыслия и безрассудства его преемников. Покрытые позором, с предсмертным проклятием умирающего капитана, еще звучащим в их ушах, постыдно повернувшись спиной к ликующим дикарям, как преследуемые разбойники, покидают они тот остров, на который, подобно богам, вступили под предводительством Магеллана.

Печален смотр боевых сил, который производят уцелевшие после выхода из злосчастной гавани Себу. Из всех ударов судьбы, перенесенных флотилией с момента отплытия, это пребывание в Себу оказалось наиболее тяжким. Не только незаменимого своего предводителя, Магеллана, потеряли они, но и самых опытных капитанов. Дуарте Барбосу и Жуана Серрано, знатоков Ост-индского побережья, более всего необходимых им теперь, во время обратного плавания. Со смертью Андреса де Сан-Мартин они утратили мастера навигационного дела, бегство Энрике лишило их переводчика. При переключке из взятых на борт в Севилье двухсот шестидесяти пяти человек налицо оказывается всего сто пятнадцать; экипаж так малочислен, что распределить его на три корабля уже не представляется возможным. А потому лучше пожертвовать одним из трех судов и, таким образом, обеспечить два других достаточным числом людей. Жребий добровольного потопления выпадает на долю «Консепсьон», давно уже давшего течь и потому ненадежного в предстоящем трудном плавании. Неподалеку от острова Бохол смертный приговор над ним приводится в исполнение. Все, что только может пригодиться, вплоть до последнего гвоздя, до самого истрепанного каната, переносится на два других корабля; опустошенные деревянные останки предаются огню. Мрачно созерцают матросы, как разгорается едва заметное вначале, чуть тлеющее пламя, как оно затем огненными щупальцами со всех сторон охватывает судно, два года подряд бывшее им домом и родиной, и как, наконец, жалкий, обуглившийся остов погружается в чужие, враждебные воды. Пять кораблей, с весело развевающимися вымпелами, с многолюдной командой, вышли из

Севильской гавани. Первой жертвой стал «Сант-Яго», разбившийся у патагонских берегов. В Магеллановом проливе «Сан-Антонио» трусливо покинул флотилию. Всего два корабля плывут теперь бок о бок по неведомому пути: «Тринидад», бывшее флагманское судно Магеллана, и маленькая невзрачная «Виктория», которой предстоит оправдать свое гордое имя и пронести в бессмертие великий замысел Магеллана.

Отсутствие подлинного вождя, опытного морского начальника, Магеллана, вскоре сказывается в неуверенности курса, взятого уменьшившейся до столь ничтожных размеров флотилией. Точно слепые или ослепленные, ощупью бредут суда среди островов Зондского архипелага. Вместо того чтобы взять курс на юго-запад к Молуккским островам, совсем уже близким, они неуверенными зигзагами, то устремляясь вперед, то снова возвращаясь вспять, блуждают в северо-западном направлении. Целых полгода потрачено в этих бесцельных скитаниях, приводящих суда и к Манданао и к Борнео. Но еще резче, чем в этой неуверенности курса, отсутствие прирожденного вождя сказывается в падении дисциплины. Под суровым управлением Магеллана не было ни грабежа на суше, ни пиратства на море; неуклонно соблюдался строгий порядок и отчетность. Ни на минуту не забывал Магеллан, что звание адмирала королевской флотилии обязывает его даже в самых дальних странах блюсти честь испанского флага. Его жалкий преемник Карвальо, обязанный своим адмиральским званием лишь тому, что раджи Мактана и Себу умертвили всех старшего по чину, не знает нравственных сомнений. Он пиратствует, без зазрения совести забирая все, что попадает на пути. Любую повстречавшуюся джонку грабят. Выкуп, взимаемый при этих оказиях, Карвальо, нимало не стесняясь, кладет в собственный карман, объединив в своем лице и счетовода и казначея. В то время как Магеллан во имя дисциплины не допускал на борт ни единой женщины, Карвальо перевозит с ограбленной им джонки на корабль трех туземок под предлогом принесения их в дар королеве испанской. В конце концов экипажу наскучил этот новоявленный паша. «Vedendo che

non facero cosa che fosse in servitio del re». Убедившись (сообщает дель Кано), что он заботится не о служении королю, а только о собственной выгоде, моряки попросту прогоняют с должности своего обзаведшегося гаремом начальника и заменяют его триумвиратом в составе капитана «Тринидад» Гомеса де Эспиноса, капитана «Виктории» Себастьяна дель Кано и облеченного званием командира армады кормчего Понсеро.

Но суть дела от этого не меняется, оба судна продолжают бессмысленно описывать круги и зигзаги; правда, в этих густонаселенных краях сбившиеся с пути моряки с легкостью пополняют посредством меновой торговли и грабежа запасы продовольствия, но великая задача, во имя которой Магеллан дерзнул предпринять это плавание, как будто и вовсе забыта ими. Наконец счастливая случайность помогает им выбраться из лабиринта Зондских островов. На повстречавшемся им малайском судне, которое они захватывают по своему пиратскому обыкновению, в их руки попадает человек родом из Тернате; он-то должен знать путь на свою родину, путь к вожаемым «Островам пряностей». И действительно, ему известен этот путь, известен и друг Магеллана Франсишку Серрано; наконец-то нашелся проводник, с помощью которого прекратятся их блуждания. Последнее испытание преодолено, теперь они могут напрямик устремиться к цели, к которой за эти недели бессмысленных скитаний уже не раз приближались, но в своем ослеплении обходили стороной. Теперь несколько дней спокойного плавания больше приближают их к ней, чем шесть месяцев нелепых поисков. 6 ноября они видят, как вдали из моря вздымаются горы, вершины Тернате и Тидора. Блаженные острова достигнуты.

«Сопровождавший нас лоцман,— пишет Пигафетта,— сказал нам, что это Молукки. Все мы возблагодарили господа и в ознаменование радостного события дали залп из наших орудий. Пусть не дивятся великому нашему счастью, ведь двадцать семь месяцев без двух дней мы, в общей сложности, провели в поисках этих островов и вдоль и поперек избородили моря, стремясь найти их среди бесчисленных островов».

Но вот 8 ноября 1521 года они бросают якорь у Тидора, одного из пяти благодатных островов, о которых

всю свою жизнь мечтал Магеллан. Как мертвый Сид, посаженный дружинниками на верного боевого коня, одержал еще одну, последнюю победу, так энергия Магеллана и после его смерти приводит к счастливому завершению дела. Его суда, его люди узрели обетованную страну, куда он, подобно Моисею, обещал привести их, но куда ему самому, их предводителю, не суждено было попасть. Но нет в живых и того, кто звал его из-за океана, кто поощрял его замысел и подвиг, — нет более Франсишку Серрано; напрасно Магеллан простер бы объятия, чтобы заключить в них милого друга, в поисках которого он обогнул весь земной шар. Серрано умер за несколько недель до их прибытия, по слухам отравленный, — оба первых творца замысла кругосветного плаванья оплатили бессмертие своей безвременной гибелью. Зато восторженные описания Серрано оказались ничуть не преувеличенными. Не только местность здесь прекрасна и богата дарами природы — не менее приветливы здесь и люди. «Что можно сказать об этих островах? — пишет в знаменитом своем письме Максимилиан Трансильванский. — Здесь все дышит простотой и ничто не ценится, кроме спокойствия, мира и пряностей. И лучшее из этих благ, а быть может, и высшее благо на земле — мир. Слово его изгнала из нашего света злокозненность людей, и он нашел себе убежище здесь».

Король, чьим другом и советником был Серрано, тотчас направляется к ним навстречу в ладье под шелковым балдахином и по-братски принимает гостей. Правда, вступив на борт, король Альмансор, как верующий магометанин, затыкает нос, страшась ненавистного запаха поганой свинины, но с братской любовью заключает христиан в свои объятия. «Гостите здесь, — уговаривает он их, — пользуйтесь всеми утехами этого края после стольких бедствий и долгих морских скитаний. Отдыхайте, считайте, что вы в царстве вашего собственного властителя». Охотно признает он над собой верховную власть испанского короля. Не в пример остальным царькам, с которыми испанцы имели дело и которые старались урвать от них как можно больше, этот совестливый король просит их не засыпать его дарами, так как «у него нет ничего, чем он мог бы достойным образом отдарить гостей».

Благодатные острова! Все, чего только не пожелают испанцы, достается им здесь в избытке — изысканнейшие пряности, съестные припасы и золотая пыль, а все то, что приветливый султан не может доставить им сам, он добывает с соседних островов. Моряки опьянены столь великим счастьем после всех лишений и страданий; они с лихорадочной поспешностью закупают пряности и чудесно оперенных райских птиц; они продают свое белье, мушкеты, плащи, кожаные пояса — ведь возвращение не за горами, — и богатыми людьми, приобретя за бесценок несметные сокровища, они вернутся на родину. Иные из них, правда, всего охотнее последовали бы примеру Серрано и навсегда остались бы в этом земном раю. А потому, когда перед самым отплытием выясняется, что только одно из судов еще достаточно крепко, чтобы выдержать обратный путь, и что пятидесяти из ста с лишним моряков придется ждать на благодатных островах, пока второе будет починено, значительная часть экипажа с радостью принимает эту дурную весть.

Остаться обречено бывшее флагманское судно Магеллана, «Тринидад». Первым вышел адмиральский корабль из Сан-Лукара, первым прошел Магелланов пролив, первым пересек Тихий океан, всегда впереди остальных, — олицетворенная воля их предводителя и великого наставника. Теперь, когда вождя нет в живых, его судно не хочет плыть дальше: как верный пес не дает увести себя с могилы хозяина, так и «Тринидад» отказывается продолжать путь, достигнув цели, поставленной ему Магелланом. Уже погружены бочки с пресной водой, продовольствие и много центнеров пряностей, уже поднят флаг Сант-Яго с надписью: «Сие да будет залогом благополучного нашего возвращения», уже поставлены паруса, как вдруг в недрах старого, изношенного судна раздается громкий стон, зловещий треск. Трюм наполняется водой, но пробоину никак не удается обнаружить, и приходится спешно начинать разгрузку, чтобы успеть еще вытащить судно на берег. Потребуются недели и недели, чтобы исправить повреждение, а второй корабль, единственный уцелевший из всей флотилии, не может так долго ждать; теперь, когда дует попутный восточный муссон, пора, пора наконец на третьем году плавания принести императору весть, что Магеллан ценою жизни

сдержал свое слово и под испанским флагом совершил величайший подвиг в истории мореходства. Единодушно решают, что «Тринидад» после починки попытается пересечь Тихий океан в обратном направлении, с целью у Панамы достичь заокеанских владений Испании, а «Виктория», пользуясь попутными ветрами, немедленно устремится к западу, через Индийский океан, на родину.

Капитаны обоих судов, Гомес де Эспиноса и Себастьян дель Кано, теперь стоящие друг против друга, готовясь после двух с половиной лет совместного плавания проститься навсегда, уже однажды, в решающую минуту, противостояли друг другу. В памятную ночь сан-хулианского мятежа тогдашний капитанармус Гомес де Эспиноса был вернейшим помощником Магеллана. Смелым ударом кинжала вернул он ему «Викторию» и тем самым обеспечил возможность дальнейшего плавания. Юный баск Себастьян дель Кано, тогда еще простым *sobresaliente*, в ту ночь был на стороне мятежников: он принял деятельное участие в захвате «Сан-Антонио». Магеллан щедро наградил верного Гомеса де Эспиноса и милостиво простил изменившего ему дель Кано. Будь судьба справедлива, она избрала бы для славного завершения великого дела Эспиносу, обеспечившего торжество Магелланова замысла. Но более великодушный, нежели справедливый жребий возвышает недостойного. Эспиноса вместе с разделившими его участь моряками «Тринидад» бесславно погибнет после бесконечных мытарств и скитаний и будет забыт неблагоприятной историей, тогда как звезды увенчают своим земным отблеском — бессмертием — как раз того, кто хотел помешать Магеллану совершить подвиг, кто некогда восстал на великого адмирала, — мятежника Себастьяна дель Кано.

Глубоко волнующее прощание на краю света: сорока семи морякам — офицерам и матросам «Виктории» — предстоит отправиться на родину, а пятидесяти одному — остаться с «Тринидад» на Тидоре. До самого отплытия остающиеся пребывают на борту с товарищами, чтобы еще раз обнять их, передать им письма, приветы; два с половиной года совместных тягот давно уже спаяли раз-



ноязычную и разноплеменную команду бывшей армады в единое целое. Никакие раздоры, никакие распри уже не в силах разъединить их. Когда «Виктория», наконец, отдает якоря, остающиеся все еще не хотят, не могут расстаться с товарищами. На шлюпках и малайских челнах плывут они бок о бок с медленно удаляющимся судном, чтобы еще раз взглянуть друг на друга, еще раз обменяться сердечными словами. Лишь с наступлением сумерек, когда руки уже устают грести, они поворачивают лодки, и на прощание гремит орудийный залп — последний братский привет остающимся. А затем «Виктория», последнее уцелевшее судно Магеллановой флотилии, начинает свое незабываемое плавание.

Это обратное, охватившее половину земного шара плавание старого, изношенного за два года и шесть месяцев неустанных странствий, вконец обветшавшего парусника — один из великих подвигов мореплавания. Осуществив волю умершего вождя, дель Кано этим славным деянием загладил свою вину перед Магелланом. На первый взгляд стоящая перед ним задача — довести корабль с Молуккских островов до Испании — кажется не такой уж трудной, ибо с начала шестнадцатого века португальские флотилии регулярно, из года в год плывут с попутными муссонами от Малайского архипелага до Португалии и обратно. Путешествие в Индию лет десять назад, во времена Албукерке и Алмейды, еще было дерзновенным проникновением в неизвестность, — теперь оно требует только знания точно размеченного пути, в крайнем же случае капитан на каждой стоянке, в Индии и Африке, на Малакке и в Мозамбике и на островах Зеленого Мыса, находит португальских представителей, чиновников и кормчих; в каждой гавани приготовлены продовольствие и нужные для починки судов материалы. Но неимоверная трудность, которую должен преодолеть дель Кано, заключается в том, что он не только не может пользоваться этими португальскими базами, но вынужден на большом расстоянии огибать их. Ибо еще на Тидоре спутники Магеллана от некоего беглого португальца узнали, что король Мануэл приказал захватить все суда флотилии, а экипаж взять под стражу как

пиратов, и действительно их злосчастных товарищей с «Тринидад» не минует эта жестокая участь. Итак, дель Кано предстоит на своем ветхом, источенном червями, до отказа нагруженном корабле, о котором почти три года назад еще в Севильской гавани консул Алвариш говорил, что не отважился бы плыть на нем и до Канарских островов, не больше и не меньше как единым духом пересечь весь Индийский океан, а затем еще, миновав мыс Доброй Надежды, обогнуть всю Африку, ни разу не бросив якоря. Нужно взглянуть на карту, чтобы постичь всю грандиозность, всю дерзновенность этой задачи, которая и теперь, через четыреста лет, даже для современного, снабженного усовершенствованными машинами парохода считалась бы большим достижением.

Этот беспримерный львиный прыжок с Малайского архипелага до Севильи начинается — достопамятный день! — 13 февраля 1522 года в одной из гаваней острова Тидор. Еще раз принял там дель Кано запасы продовольствия и пресной воды, еще раз, памятуя осмотрительность покойного начальника, велел основательно проконопатить и починить судно, прежде чем на долгие месяцы предать его на волю ветра и волн. В первые дни «Виктория» еще плывет мимо островов; издали моряки видят тропическую зелень, очертания высоких гор. Но время года уже слишком позднее, чтобы можно было делать остановки, и дель Кано должен пользоваться попутным восточным муссоном; нигде не приставая, плывет «Виктория» мимо этих манящих островов, к великому огорчению неустанно любопытствующего Пигафетты, все еще не насмотревшегося досыта «диковинных вещей». Чтобы убить время, он заставляет взятых на борт островитян (всего девятнадцать человек, в то время как число европейцев в экипаже уменьшилось до сорока семи) описывать мелькающие в тумане острова, и темнокожие попутчики рассказывают ему чудеснейшие сказки «Тысячи и одной ночи». Вот на том острове живут люди ростом не выше локтя, но уши у них такой длины, как они сами, и когда они ложатся спать, одно ухо им служит подстилкой, а другое — одеялом. А на этом островке обитают одни женщины, и мужчина не смеет ступить на него. Но они все же беременеют, от ветра, и всех мальчиков, которых родят, они убивают, а девочек оставляют

в живых и растят. Но мало-помалу последние острова исчезают в голубоватом тумане, малайцам уже нечем больше морочить легковерного Пигафетту, и только бескрайний океан окружает судно своей мучительно неизменной синевою. Недели, долгие недели, покуда они плывут в пустыне Индийского океана, моряки видят только небо и море в их ужасающем, гнетущем однообразии. Ни человека, ни корабля, ни паруса, ни звука; только синева, синева, синева в пустоте, полной пустоте бескрайной глади.

Ни один непривычный звук не доносится до их слуха, ни одно незнакомое лицо не является им за долгие недели. Но вот из тайников корабля выходит старый, хорошо знакомый призрак, тощий, бледный, с глубоко запавшими глазами,— голод. Голод — их верный спутник в плавании по Тихому океану, жестокосердый мучитель и убийца их старых, испытанных товарищей; значит, он снова украдкой пробрался на борт, ибо вот он стоит здесь среди них, алчный и злобный, ехидно ухмыляясь, глядит в их смятенные лица. Непредвиденная катастрофа свела на нет все расчеты дель Кано. Правда, его люди погрузили запас продовольствия, главным образом мяса, рассчитанный на пять месяцев, но на Тидоре не оказалось соли, и под палящим зноем индийского солнца недостаточно проявленное мясо начинает гнить. Чтобы спастись от зловония разлагающихся туш, моряки вынуждены весь запас выбросить в море, и теперь пищей им служит один только рис, рис да вода, вода да рис, рис да вода, вода да рис, и с каждой неделей все меньше становится риса и все меньше затхлои воды. Снова появляется цинга, снова начинается мор среди команды. Так велики становятся в начале мая их бедствия, что часть экипажа требует, чтобы капитан взял курс на близлежащий Мозамбик и выдал корабль португальцам, вместо того чтобы продолжать плавание и погибнуть голодной смертью.

Но вместе с командованием бывшему мятежнику незаметно передалась и железная воля Магеллана. Тот самый дель Кано, который ранее, будучи подчиненным, хотел принудить адмирала к отступлению, теперь, как начальник, требует от людей последнего, величайшего усилия — и ему удается подчинить их своей воле. «Ма

inanti determinamo tutti morir che andar in mano dei portoghesi» (Мы решили лучше умереть, нежели предать себя в руки португальцев),—сможет он впоследствии гордо рапортовать императору. Попытка высадиться на восточном берегу Африки оказывается неудачной: в этом голом, пустынном краю они не находят ни воды, ни плодов; нимало не облегчив своих страданий, они продолжают страшное плавание. У мыса Доброй Надежды — они невольно называют его прежним именем: Cabo Tomentoso, Мыс Бурь — на них налетает бешеный шквал, ломающий переднюю мачту и расщепляющий среднюю. С величайшими усилиями измученные, едва держащиеся на ногах матросы кое-как исправляют повреждения. Медленно, с трудом, тяжело кряхтя, тащится судно вдоль побережья Африки дальше на север. Но ни в бурю, ни в безветрие, ни днем, ни ночью не оставляет их в покое жестокий мучитель; издеваясь, оскаливается серый призрак, голод,— издеваясь, ибо на этот раз он измыслил для них новую, дьявольскую пытку. Корабельные трюмы не пусты, как раньше, когда флотилия плыла по Тихому океану,— нет, на этот раз чрево корабля набито до отказа. Семьсот центнеров пряностей везет «Виктория» — семьсот центнеров, количество, достаточное, чтобы приправить роскошнейшую трапезу сотен тысяч, миллионов людей; пряностей у голодающего экипажа сколько душе угодно. Но разве можно запекшимися губами вкушать зернышки перца, разве можно вместо хлеба питаться пряным мускатным цветом или корицей? И если ужаснейшая ирония — умирать от жажды на море, посреди необъятных вод, то на борту «Виктории» люди претерпевают пытку из пыток, умирая голодной смертью посреди груд пряностей. Каждый день за борт бросают иссохшие трупы. Тридцать один испанец из сорока семи и трое из девятнадцати островитян еще живы, когда после пяти месяцев безостановочного плавания, 9 июля, обессиленный корабль наконец подходит к островам Зеленого Мыса.

Зеленый Мыс — португальская колония, и Сант-Яго — португальская гавань. Стать здесь на якорь, в сущности, значит отдаться беззащитными в руки соперников, врагов, капитулировать в двух шагах от цели. Но пищи хватит самое большее еще на два-три дня; голод не

оставляет им выбора, нужно отважиться на дерзкий обман. Дель Кано решается на смелую попытку — скрыть от португальцев, с кем они имеют дело. Но прежде чем отправить на берег нескольких матросов для закупки съестного, он берет с них торжественную клятву ни словом не обмолвиться португальцам о том, что они — последняя горсть людей, уцелевшая от флотилии Магеллана, и что ими совершено кругосветное плавание. Матросам велено говорить, что бури пригнали их судно из Америки, а следовательно, из сферы владычества Испании. Расщепленная мачта и плачевное состояние истрепанного судна, к счастью, делают эту небылицу правдоподобной. Без особых расспросов, не послав на борт чиновников для досмотра, португальцы, в силу свойственного морякам товарищеского чувства, оказывают шлюпке самый радушный прием. Они немедленно посылают испанцам пресную воду и съестные припасы; дважды, трижды возвращается шлюпка с берега, обильно нагруженная продовольствием. Уже кажется, что хитрость вполне удалась; отдых, а главное, давно не виданная пища — хлеб и мясо — подкрепили моряков, запасы продовольствия уже пополнены настолько, что их хватит до самой Севильи. Еще один, последний раз посылает дель Кано шлюпку — взять рису и плодов, а потом в путь, к победе! К победе! Но странное дело — на этот раз шлюпка не возвращается. Дель Кано мгновенно догадывается о том, что случилось. Кто-нибудь из матросов сболтнул на берегу лишнее или же попытался обменять щепотку другой пряностей на водку, которой все они так долго были лишены; по этим признакам португальцы узнали корабль Магеллана, своего заклятого врага. Дель Кано уже видит, как на берегу готовят корабль для захвата «Виктории». Только отчаянная решимость может теперь спасти их. Уж лучше покинуть тех, кто на берегу, только не дать захватить себя в двух шагах от цели! Только сохранить мужество для завершения отважнейшего плавания в истории! И хотя на «Виктории» всего восемнадцать человек — слишком мало, чтобы довести ветхое судно до Испании, — дель Кано велит поспешно сняться с якоря и распустить паруса. Это — бегство. Но бегство к великой, к решающей победе.

Как ни кратковременно и опасно было пребывание у Зеленого Мыса, однако именно там усердному летописцу Пигафетте удалось наконец пережить в последнюю минуту одно из тех чудес, ради которых он отправился в путь, ибо на Зеленом Мысе он первый наблюдает явление, новизна и знаменательность которого будут волновать и занимать внимание всего столетия.

Моряки, отправленные на берег для покупки съестных припасов, возвращаются с поразившей их вестью: на суше четверг, тогда как на корабле их уверяли, что сегодня среда.

Пигафетта чрезвычайно удивлен, ибо в течение всего длившегося без малого три года странствия он день за днем вел свои записи. Без единого пропуска отсчитывал он понедельник, вторник, среду, и так всю неделю, все годы подряд,—неужели же он пропустил один день?

Он спрашивает кормчего Альво, также отмечавшего каждый день в своем судовом журнале. И что же? По записям Альво тоже еще среда. Неуклонно плывшие на запад моряки каким-то непонятным образом выронили из календаря один день, и рассказ Пигафетты о столь странном явлении ошеломляет всех образованных людей. Обнаружена тайна, о существовании которой не подозревали ни греческие мудрецы, ни Птолемей, ни Аристотель, раскрыть которую удалось только благодаря плаванию Магеллана: подтвердилось точным наблюдением то, что Гераклит Понтийский за четыреста лет до начала христианской эры высказал как гипотезу; доказано, что земной шар не покоится недвижно в мировом пространстве, а равномерным движением вращается вокруг собственной оси и что тот, кто, плывя к западу, следует за ним в его вращении, может урвать у бесконечности крупицу времени.

Эта вновь познанная истина — что в различных частях света время и час не совпадают — волнует гуманистов шестнадцатого века примерно так же, как наших современников — теория относительности. Петр Английский немедленно заставляет некоего «мудрого человека» объяснить ему это удивительное явление и затем сообщает о нем императору и папе. Так, в отличие от других,

привезших на родину одни только вороха пряностей, Пигафетта, скромный рыцарь Родосского ордена, привез из долгого плавания драгоценнейшее из всего, что есть на свете,— новую истину!

Но еще судно не возвратилось на родину. Еще ветхая «Виктория», напрягая последние силы, тяжело кряхтя, медленно, устало тащится по морю. Из всех, кто отплыл на ней с Молуккских островов, на борту осталось только восемнадцать человек, вместо ста двадцати рук работают всего тридцать шесть, а крепкие кулаки были бы нынче к месту, ибо почти у самой цели судну вновь угрожает авария. Ветхие доски вышли из пазов, вода неустанно просачивается во все расширяющиеся щели. Сначала пытаются откачивать ее насосом, но этого недостаточно. Самым целесообразным было бы теперь выбросить за борт, как лишний балласт, хотя бы часть из семисот центнеров пряностей, тем самым уменьшив осадку, но дель Кано не хочет расточать достояние императора. День и ночь чередуются изнуренные моряки у двух насосов — это каторжный труд, а ведь надо еще и зарифлять паруса, и стоять у руля, и дежурить на марсе, и выполнять множество других повседневных работ. Люди изнемогают; подобно лунатикам, шатаясь из стороны в сторону, бредут к своим постам уже много ночей не знавшие сна матросы, «*tanto debili quanto mai uomini furono*» — «ослабевшие до такой степени, как никогда еще не слабевали люди», — докладывает дель Кано императору. И несмотря на это, каждому из них приходится работать за двоих и за троих. Они работают из последних сил, уже изменяющих им, ибо все ближе, все ближе желанная цель. 13 июля они отчалили, эти семнадцать героев, от Зеленого Мыса; наконец 4 сентября 1522 года (вскоре исполнится три года, как они расстались с родиной) с марса раздастся хриплый возглас радости: дозорный увидел мыс Сан-Висенти. У этого мыса для нас кончается материк Европы, но для них, участников кругосветного плавания, здесь начинается Европа, начинается родная земля. Медленно вырастает из волн отвесная скала, и вместе с ней растет их мужество. Вперед! Вперед! Еще только два дня, две ночи оста-

лось терпеть! Еще одну ночь и один день. Еще только одну ночь, одну только ночь! И — наконец! — все они выбегают на палубу и, дрожа от счастья, теснятся друг к другу — вдали серебристая полоса, зажатая твердой землей, — Гвадалкивир, впадающий в море здесь, у Сан-Лукар де Баррамеда! Отсюда три года назад они отплыли под предводительством Магеллана, пять судов и двести шестьдесят пять человек. А сейчас — одно-единственное невзрачное суденышко приближается к берегу, бросает якорь у той же пристани, и восемнадцать человек, пошатываясь, сходят с него, тяжело опускаются на колени и целуют твердую, добрую, надежную землю родины. Величайший мореходный подвиг всех времен завершился в день 6 сентября 1522 года.

Первой обязанностью дель Кано, едва он вступил на берег, было послать императору письмо с великой вестью. А тем временем его моряки жадно поедают свежий, сейчас только испеченный хлеб, которым их здесь щедро потчуют. Годами их пальцы не прикасались к милому теплomu караваю, годами не вкушали они ни вина, ни мяса, ни плодов родной земли. Потрясенный, вглядывается в их лица сбежавшийся народ, словно они возвратились из царства теней, и хочет и не может поверить чуду. А истомленные моряки, едва утолив голод и жажду, уже валяются на циновки и спят, спят всю ночь, спят впервые за все эти годы безмятежным сном, впервые опять прильнув сердцем к сердцу родины.

На следующее утро другое судно буксирует победоносный корабль вверх по Гвадалкивиру, до Севильи. Совершившая кругосветное плавание «Виктория» уже не в силах идти против течения. Удивленно окликают их с встречных барж и лодок. Никто не помнит этого корабля, три года назад отплывшего за океан; давным-давно Севилья, Испания, весь мир считали флотилию Магеллана погибшей — и что же? Вот он, победоносный корабль. С трудом, но все же гордо плывет он навстречу торжеству! Наконец вдали блеснула хиральда — белая колокольня — Севилья! Севилья! Уже видна гавань Жерновов, откуда они отплыли. «К бомбардам!» — приказывает дель Кано; это последняя команда в этом плаваньи. И уже грохочут над рекой орудийные залпы. Так



моряки три года назад рыком чугунных жерл прощались с родиной. Так они торжественно приветствовали пролив, открытый Магелланом, так они салютовали неведомому Тихому океану. Так они провозгласили победу, увидев неизвестные Филиппинские острова, так громовым ликованием возвестили, достигнув цели, поставленной Магелланом, что долг ими выполнен. Так они отдали прощальный салют товарищам, оставшимся на Тидоре, когда пришлось покинуть братское судно в пибельной дали. Но никогда еще их медные голоса не звучали так победно, так ликующе, как ныне, когда они возвещают: «Мы вернулись! Мы свершили то, чего никто не свершил до нас! Мы — первые люди, обогнувшие земной шар!»

# МЕРТВЫЕ НЕПРАВЫ



**Т**олпами устремляется в Севилье народ на берег; все хотят, как пишет Овьедо, «поглазеть на это единственное, достославное судно, чье плавание является удивительнейшим и величайшим событием, когда-либо совершившимся с тех пор, как господь сотворил мир и первого человека». Потрясенные, смотрят горожане, как восемнадцать моряков покидают борт «Виктории», как они, эти пошатывающиеся, едва бредущие скелеты, один за другим колеблющимся шагом сходят на сушу, как слабы, измождены, истомлены, больны и обессилены эти неверной поступью идущие безыменные герои, каждый из которых за три бесконечных года плаванья состарился на добрый десяток лет. Ликование и сочувствие окружают их. Им предлагают еду, их при-

глашают в дома, обступают их, требуя, чтобы они рассказывали, без передышки, без устали рассказывали о своих приключениях и мытарствах. Но моряки отвечают отказом. Потом, потом, после! Прежде всего — выполнить неотложный долг, сдержать обет, данный в час смертельной опасности: совершить искупительное паломничество в церковь Санта-Мария де ла Виктория и Санта-Мария Антигуа! В благоговейном молчании шпалерами теснится народ вдоль дороги, стремясь увидеть, как восемнадцать оставшихся в живых моряков босиком, в белых саванах, с зажженными свечами в руках, шествуют в церковь, чтобы на месте, где они простились с отечеством, возблагодарить господина за то, что он сохранил им жизнь среди столь великих опасностей и допустил возвратиться на родину. Снова гремит орган, снова священник в полумраке собора вздымает над головами преклонивших колена людей дароносицу, похожую на маленькое сияющее солнце. Возблагодарив всевышнего и его святых угодников за собственное избавление, моряки, быть может, еще творят молитву за упокой души своих братьев и товарищей, три года назад вместе с ними преклонявших здесь колена. Ибо где те, что взирали тогда на Магеллана, их адмирала, в минуту, когда он развертывал шелковое знамя, пожалованное ему королем и благословленное священником? Они утонули, погибли от рук туземцев, умерли от голода и жажды, пропали без вести, остались в плену. Только на этих пал неисповедимый выбор судьбы, только их избрала она для торжества, только им даровала милость. И восемнадцать моряков едва слышно, трепетными устами читают молитву за упокой души убитого предводителя и двухсот павших из экипажа армады.

На огненных крыльях разносится тем временем по всей Европе весть о благополучном их возвращении, сперва возбуждая безмерное изумление, а затем столь же безмерный восторг. После плаванья Колумба ни одно событие не вызывало у современников подобного воодушевления. Пришел конец всякой неуверенности. Сомнение, этот злейший враг человеческого знания, побеждено. С тех пор как судно, отплыв из Севильской гавани, все время следовало в одном направлении

и снова вернулось в Севилью, неопровержимо доказано, что Земля — вращающийся шар, а все моря — единое, нераздельное водное пространство. Бесповоротно отмечена космография греков и римлян, раз навсегда покончено с доводами церкви и нелепой басней о ходящих на голове антиподах. Навеки установлен объем земного шара и тем самым наконец определены размеры той части вселенной, которая именуется Землей; другие смелые путешественники в будущем еще восполнят детали нашей планеты, но в основном ее форма определена Магелланом, и неизменным осталось это определение по сей день и на все грядущие дни. Земля отныне имеет свои границы, и человечество завоевало ее. Великой гордости преисполнился с этого исторического дня испанский народ. Под испанским флагом начал Колумб открытие мира, под испанским флагом завершил его Магеллан. За четверть века человечество больше узнало о своем обиталище, чем за много тысячелетий. И поколение, счастливое и опьяненное этим переворотом представления о мире, свершившимся в пределах одной человеческой жизни, бессознательно чувствует: началась новая эра — новое время.

Всеобщим было восхищение великой победой человеческого духа в этом плавании. Даже снарядившие экспедицию купцы-предприниматели, Casa de Contratacion и Христофор де Аро, имеют все основания быть довольными. Они уже собирались списать в убыток восемь миллионов мараведисов, потраченных на снаряжение пяти судов, когда внезапно возвратившееся судно не только сразу окупило все расходы, но и принесло неожиданный барыш. Продажа пятисот двадцати квинталов (около двадцати шести тонн) пряностей, доставленных «Викторией» с Молуккских островов, дает за покрытие всех расходов еще около пятисот золотых дукатов чистой прибыли; груз одного-единственного корабля полностью возместил утрату четырех остальных — правда, при этом подсчете ценность двухсот с лишним человеческих жизней признана равной нулю.

Только горсть людей во всей вселенной цепенеет от ужаса при вести, что один из кораблей Магеллановой

армады, завершив кругосветное плавание, благополучно возвратился на родину. Это мятежные капитаны и их кормчий, дезертировавшие на «Сан-Антонио» и год назад высадившиеся в Севилье; погребальным звоном звучит радостная весть в их ушах. Давно уже тешили они себя надеждой, что опасный свидетель и обвинитель никогда не вернется в Испанию, и, нимало не колеблясь, выдали смелым аргонавтам в судебных протоколах свидетельство о смерти («Al juicio y parecer que han venido por volverá a Castilla el dicho Magellanes») <sup>1</sup>. Настолько были они убеждены, что корабли и команда гниют на дне морском, что беззастенчиво похвалялись перед королевской следственной комиссией своим мятежом как патриотическим актом, тщательно при этом умалчивая, что в ту критическую минуту, когда они покинули Магеллана, пролив был им уже найден. Они лишь вскользь упомянули о какой-то «бухте», куда вошли корабли (*entraron en una bahia*), и о том, что предпринятые Магелланом поиски были бесцельны и бесполезны (*inutil e sin provecho*). Тем более тяжки обвинения, возводимые ими на отсутствующего Магеллана. Он, мол, вероломно умертвил королевских чиновников, чтобы предать флотилию в руки португальцев, а свой корабль они сумели спасти лишь благодаря тому, что лишили свободы Мескиту, двоюродного брата Магеллана, украдкой взятого им на борт.

Правда, королевские судьи не придали безусловной веры показаниям мятежников и с похвальным беспристрастием признали подозрительными действия обеих сторон. Мятежные капитаны, равно как и верный Мескита, были заключены в тюрьму, а жене Магеллана (еще не знавшей, что она вдова) было запрещено отлучаться из города. Следует выждать, решил королевский суд, пока вернутся свидетели — остальные корабли, а с ними и адмирал. Но когда миновал целый год, затем второй и от Магеллана все не было вестей — мятежники приободрились. И вот теперь гремит орудийный салют, возвещающий о возвращении одного из судов Магеллана, и гром его убийственно отдается в их совести.

---

<sup>1</sup> По мнению и суждению, к которому они пришли, не вернется в Кастилию означенный Магеллан (*исп.*).

Теперь они погибли; Магеллану удалось совершить свое великое дело, и он жестоко отомстит тем, кто, вопреки присяге и морским законам, трусливо его покинул и предательски заковал в цепи своего капитана.

Зато как легко стало у них на сердце, когда они услышали, что Магеллан мертв. Главный обвинитель безмолвен. И еще увереннее чувствуют они себя, узнав, что «Викторию» привел на родину дель Кано. Дель Кано — ведь он был их сообщником; вместе с ними поднял он той ночью мятеж в бухте Сан-Хулиан. Уж он-то не сможет, не станет обвинять их в преступлении, в котором сам был замешан. Не против них будет он свидетельствовать, а за них. Итак, благословенна смерть Магеллана, благословенны показания дель Кано! И расчеты их оказались правильными. Правда, Мескиту отпускают на свободу и даже возмещают ему понесенные убытки. Но сами они благодаря содействию дель Кано остаются безнаказанными, и мятеж их среди всеобщего ликования предается забвению: в тяжбе с мертвыми живые всегда правы.

Тем временем посланный дель Кано гонец принес в Вальядолидский замок весть о благополучном возвращении «Виктории». Император Карл только что вернулся из Германии — одно за другим переживает он два великих мгновения мировой истории. На сейме в Вормсе он воочию видел, как Лютер решительным ударом навеки разрушил духовное единство церкви; здесь он узнает, что одновременно другой человек перевернул представление о вселенной и ценою жизни доказал пространственное единство морей. Желая поскорее узнать подробности славного деяния, — ибо он лично содействовал его осуществлению, и это, быть может, величайшее и долговечнейшее торжество, выпавшее ему на долю, — император в тот же день, 13 сентября, посылает дель Кано приказ как можно скорее явиться ко двору с двумя наиболее испытанными и разумными людьми из числа своих спутников (*las mas cuerdas y de mejor razon*) и представить ему все относящиеся к плаванию бумаги.

Те двое, кого Себастьян дель Кано взял с собой в Вальядолид — Пигафетта и кормчий Альваро, — по-видимому, действительно были наиболее испытанными из

всех; менее безупречным представляется поведение дель Кано при исполнении второго желания императора — относительно передачи всех касающихся плаванья документов. Здесь его образ действий внушает некоторые подозрения, ибо ни одной строчки, писанной рукою Магеллана, не вручил он монарху (единственный документ, написанный самим Магелланом, уцелел лишь потому, что вместе с «Тринидад» попал в руки португальцев). Вряд ли можно усомниться в том, что Магеллан, человек исключительной точности и фанатик долга, сознававший всю важность своего дела, вел регулярный дневник; только рука завистника могла тайно его уничтожить. По всей вероятности, все те, кто восстал в пути против своего начальника, сочли слишком опасным, чтобы император получил беспристрастные сведения об их неблагоприятных действиях; вот почему каким-то таинственным образом после смерти Магеллана исчезает все до единой строчки, что было написано его рукою. Не менее странно и исчезновение объемистых записок Пигафетты, им самим в подлиннике врученных императору при этой аудиенции («*Fra le altre cose li detti uno libro, scritto de mia mano, de tutte le cose passate de giorno in giorno nel viaggio nostro*») <sup>1</sup>. Эти подлинные записки никоим образом нельзя отождествлять с дошедшим до нас более поздним описанием путешествия, которое, несомненно, является лишь кратким сводом извлечений из них; то, что мы здесь имеем дело с двумя различными трудами, подтверждается донесением мантуанского посла, который сообщает 21 октября о записях Пигафетты, которые тот вел изо дня в день («*Libro molto bello che de giorno in giorno li e scritto el viaggio e paese che hano ricercato*» <sup>2</sup>), чтобы три недели спустя обещать всего лишь краткое из них извлечение («*Un brevè extracto o sommario del libro che hano portato quelli de le Indie*») <sup>3</sup>, то есть именно то, что в настоящее время известно под названием путевых записок Пи-

---

<sup>1</sup> Среди других предметов я вручил ему пь нную моей рукою книгу, изложение всего того, что происходило день за днем во время нашего путешествия (*итал.*).

<sup>2</sup> Отменно прекрасная книга, где день за днем описано путешествие и страны, кои они посетили (*итал.*).

<sup>3</sup> Краткое изложение книги, или извлечение из книги, представленной прибывшими из Индии людьми (*итал.*).

гафетты, лишь скудно восполняемых заметками кормчих, а также сообщениями Петра Ангиерского и Максимилиана Трансильванского. Мы можем только строить догадки о причинах, вызвавших бесследное исчезновение собственноручных записей Пигафетты; очевидно, задним числом, с целью придать больший блеск торжеству баскского дворянина дель Кано, было сочтено за благо как можно меньше распространяться о противодействии, оказанном испанскими офицерами португальцу Магеллану. Здесь, как это часто бывает в истории, национальное тщеславие взяло верх над справедливостью.

Это сознательное умаление Магеллана, видимо, сильно огорчало верного Пигафетту. Он чувствует, что заслуги взвешиваются здесь фальшивыми гирями. Ведь мир всегда награждает лишь завершителя — того, кому выпало счастье довести великое дело до конца, — и забывает всех тех, кто своим духом и кровью сделал этот подвиг возможным, мыслимым. Но на сей раз присуждение наград особенно несправедливо и возмутительно. Всю славу, все почести, все милости пожинает именно тот, кто в решающую минуту пытался помешать Магеллану совершить его подвиг, недавний предатель Магеллана — Себастьян дель Кано. Ранее совершенное им преступление (из-за которого он, в сущности говоря, и решил укрыться во флотилии Магеллана) — продажа корабля иностранцу — торжественно объявляется искупленным; ему пожалована пожизненная годовая пенсия в пятьсот золотых дукатов. Император возводит его в рыцари и присваивает ему герб, символически увековечивающий дель Кано как свершителя бессмертного подвига. Две скрещенные палочки корицы, обрамленные мускатными орехами и пвздижкой, заполняют внутреннее поле; их венчает шлем, над которым высится земной шар с гордой надписью: «Primus circumdedisti me» — «Ты первый совершил плавание вокруг меня». Но еще более чудовищной становится несправедливость, когда награды удостоивается и Эстебан Гомес — тот, кто дезертировал в самом Магеллановом проливе, кто на суде в Севилье показал, будто найден был не пролив, а всего лишь открытая бухта. Да, именно он, Эстебан Гомес, столь нагло отряцавший сделанное Магелланом открытие, полу-



чает дворянство за ту заслугу, что он «в качестве начальника и старшего кормчего открыл пролив». Вся слава, весь успех Магеллана волею злокозненной судьбы достаются именно тем, кто во время плавания всех ожесточеннее старался подорвать дело его жизни.

Пигафетта молчит и размышляет. Впервые этот ранее трогательно-доверчивый, беззаветно преданный юноша начинает догадываться об извечной несправедливости, которой исполнен мир. Он бесшумно удаляется. «*Me ne partii de li al meglio potei*» (Я уехал как можно скорее). Пусть придворные льстецы умышленно молчат о Магеллане, пусть те, кто не имеет на то права, протискиваются вперед и присваивают себе почести, причитающиеся Магеллану, — он знает, чьим замыслом, чьим творением, чьей заслугой является этот бессмертный подвиг. Здесь, при дворе, он должен молчать, но во имя справедливости он дает себе слово прославить забытого героя перед лицом потомства. Ни единого раза не упоминает он в описании возвратного пути имени дель Кано; «мы плыли», «мы решили» — пишет он всюду, чтобы дать понять, что дель Кано сделал не более остальных. Пусть двор осыпает милостями того, кому случайно выпала удача, — подлинной славы достоин лишь Магеллан, тот, кому уже нельзя воздать достойных его почестей. С бескорыстной преданностью Пигафетта становится на сторону побежденного и красноречиво защищает права того, кто умолк навеки. «Я надеюсь, — пишет он, обращаясь к магистру Родосского ордена, которому посвящена его книга, — что слава столь благородного капитана уже никогда не угаснет. Среди множества добродетелей, его украшавших, особенно примечательно то, что он и в величайших бедствиях был неизменно всех более стоек. Более терпеливо, чем кто-либо, переносил он и голод. Во всем мире не было никого, кто мог бы превзойти его в знании карт и мореходства. Истинность сказанного явствует из того, что он совершил дело, которое никто до него не дерзнул ни задумать, ни предпринять».

Всегда только смерть до конца раскрывает сокровенную тайну личности; только в последнее мгновение, когда победоносно осуществляется его идея, становится

очевидным внутренним трагизмом этого одинокого человека, которому суждено было всегда нести бремя своей задачи и никогда не порадоваться ее разрешению. Только для свершения подвига избрала судьба из несметных миллионов людей этого сумрачного, молчаливого, замкнутого в себе человека, всегда неуклонно готового пожертвовать ради своего замысла всем, чем он владел на земле, а в придачу и своей жизнью. Лишь для тяжелой работы призвала она его и без благодарности и награды, как поденщика, прогнала по свершении дела. Другие пожинают славу его подвига, другим достается барыш, другие пируют на пышных празднествах, ибо судьба, столь же суровая, каким был он во всем и со всеми, враждебно отнеслась к этому строгому воину. Лишь то, чего он желал всеми силами своей души, даровала она ему: найти путь вокруг земного шара. Но торжества возвращения, блаженнейшей части его подвига, она его лишила. Только взглянуть, только коснуться венца победы дозволено ему, но когда он хочет возложить его на чело, судьба говорит: «Довольно» — и заставляет опуститься руку, протянутую к вожденной награде.

Только одно суждено Магеллану, только самый подвиг, но не золотая тень его — слава. А потому нет ничего более волнующего, как теперь, в мгновение, когда мечта всей его жизни сбылась, перечитать завещание Магеллана. Во всем, чего он только не просил тогда, в час отплытия, судьба ему отказала. Ничто из всего, что он отвоёвывал для себя и своих близких в пресловутом «Договоре», не досталось ему. Ни одно, буквально ни одно распоряжение, столь предусмотрительно и благо разумно изложенное в последней его воле, не было осуществлено после геройской смерти Магеллана: судьба беспощадно препятствует исполнению любой, даже самой бескорыстной, самой благочестивой его просьбы. Магеллан указывал, чтобы его похоронили в севильском соборе, — но его тело гниет на чужом берегу. Тридцать месс должны были быть прочитаны у его гроба — вместо этого вокруг позорно изувеченного тела ликует орда Силапулапу. Трех бедняков надлежало одевать одеждой и пищей в день его погребения — но ни один не получил ни башмаков, ни серого камзола, ни обеда. Никого, даже

последнего нищего, не позовут «молиться за упокой его души». Серебряные реалы, завещанные им на крестовый поход, милостыня, предназначенная узникам, лепты монастырям и больницам не будут выплачены. Ибо некому и нечем обеспечить выполнение его последней воли, и если бы товарищи привезли его тело на родину, то не нашлось бы ни одного мараведиса, чтобы купить ему саван.

Но разве потомки Магеллана не стали богатыми людьми? Разве по договору его наследникам не причитается пятая доля всех прибылей? Разве его вдова — не одна из состоятельнейших женщин Севильи? А его сыновья, внуки, правнуки — разве они не *adelantados*, не наследственные наместники открытых им островов? Нет, никто не наследует Магеллану, ибо нет в живых никого, кто мог бы потребовать его наследство. За эти три года умерли его жена Беатриса и оба младенца-сына; пресекая весь род Магеллана. Ни брата, ни племянника, ни родича, кто мог бы унаследовать его герб, — никого, никого, никого. Тщетны были заботы дворянина, тщетны заботы супруга и отца, тщетны благочестивые пожелания верующего христианина. Только Барбоса, его тесть, пережил Магеллана, но как же должен он проклинать день, когда этот мрачный гость, этот «моряк-скиталец» переступил порог его дома! Он взял у него дочь — и она умерла, сманил с собой в плавание его единственного сына — и тот не вернулся. Зловещей атмосферой несчастья окружен этот человек! Того, кто был ему другом и соратником, он увлек за собой во мрак своей судьбы; тот, кто ему доверился, тяжко за это поплатился. У всех, кто был близок ему, у всех, кто стоял за него, его подвиг, как вампир, высосал счастье и жизнь. Фалейру, его бывшего компаньона, заточают в тюрьму тотчас по возвращении в Португалию. Аранда, расчистивший ему путь, оказывается втянутым в постыдный процесс и теряет все деньги, вложенные им в предприятие Магеллана. С Энрике, которому он обещал свободу, тотчас после его смерти обращаются как с рабом. Двоюродный его брат Мескита был трижды закован в цепи и лишен свободы за то, что хранил ему верность. Барбосу и Серрано через три дня после гибели Магеллана настигает тот же рок, и только тот, кто восстал против него — Себастьян дель

Кано,— присваивает себе всю славу верных, погибших соратников и всю прибыль.

Но самое трагическое: подвиг, которому Магеллан принес в жертву все и даже самого себя, видимо, совершен понапрасну. Магеллан стремился завладеть для Испании «Островами пряностей» и завоевал их ценой своей жизни; но то, что началось, как героическое предприятие, закончилось жалкой торговой сделкой — за триста пятьдесят тысяч дукатов император Карл снова продает Молуккские острова Португалии. Западным путем, который открыл Магеллан, почти не пользуются; пролив, найденный им, не приносит ни доходов, ни выгод. Даже после его смерти несчастье преследовало тех, кто доверялся Магеллану: почти все испанские флотилии, пытавшиеся повторить дерзновенный подвиг морехода, терпят крушение в Магеллановом проливе; боязливо начинают обходить его моряки, а испанцы предпочитают волоком перетаскивать свои товары по Панамскому перешейку, чем углубляться в мрачные фьорды Патагонии. И, наконец, из-за того, что этот пролив, открытие которого весь мир приветствовал бурным ликованием, оказался таким опасным, еще современники Магеллана полностью о нем забывают, и он снова становится мифом.

Через тридцать восемь лет после того, как Магеллан прошел его, в знаменитой поэме «Араукана» открыто говорится, что Магелланова пролива более не существует, что он непроходим: то ли гора преградила его, то ли какой-то остров встал между ним и океаном:

Esta secreta senda descubierta  
Quedó para nosotros escondida  
Ora sea yerro de la altura cieftta,  
Ora que alguna isleta removida  
Del temestuofo mar y viento airado  
Encallando en la boca la ha cerrado.

Так мало уделяют внимания этому проливу, таким легендарным становится он, что отважный пират Фрэнсис Дрейк спустя столетия пользуется им как надежным убежищем, словно ястреб налетает оттуда на безмятежные испанские колонии западного побережья и грабит груженные серебром флотилии; лишь много позднее испанцы вспоминают о существовании Магелла-

нова пролива и поспешно строят там крепость, чтобы преградить доступ в него другим флибустьерам. Но несчастье сопутствует каждому, кто следует по пути Магеллана. Королевская флотилия, под предводительством Сармьенто вступившая в пролив, терпит крушение; сооруженная тем же Сармьенто крепость обращается в жалкие развалины, и название Puerto hambre — Голодная гавань — злоеще напоминает о голодной смерти поселенных в ней людей. Лишь время от времени китобойное судно или какой-нибудь отважный парусник пользуется проливом, о котором Магеллан мечтал, что он станет великим торговым путем из Европы на Восток. А когда в осенний день 1913 года президент Вильсон в Вашингтоне нажатием электрической кнопки открывает шлюзы Панамского канала и тем самым навсегда соединяет два океана — Атлантический и Тихий, Магелланов пролив становится и вовсе лишним. Бесповоротно решена его судьба, он низводится до степени только исторического и географического понятия. Заветный расо не стал дорогой для тысяч и тысяч судов, не сделался ближайшим и кратчайшим путем в Индию; открытие его не обогатило Испанию, не усилило мощи Европы; и поныне еще побережье Америки от Патагонии до Огненной Земли слывет одним из самых пустынных, самых бесплодных мест земного шара.

Но в истории духовное значение подвига никогда не определяется его практической полезностью. Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание. И в этом смысле подвиг, совершенный Магелланом, превосходит все подвиги его времени. Подвиг Магеллана кажется нам особенно славным еще и потому, что он не принес в жертву своей идее, подобно большинству вождей, тысячи и сотни тысяч жизней, а лишь свою собственную. Незабываемо в силу этого подлинно героического самопожертвования великолепное дерзновение пяти крохотных, ветхих, одиноких судов, отправившихся на священную войну человечества против неведомого; забываем он сам, у кого впервые зародился отважнейший замысел кругосветного плавания, осуществленный последним из его кораблей. Ибо, узнав после тщетных тысячелетних исканий объем земного шара, человечество впервые уяснило себе

меру своей мощи; только величие преодоленного пространства помогло ему с новой радостью и новой отвагой осознать собственное свое величие. Наивысшего человек достигает тогда, когда подает пример потомству, и полузабытое деяние Магеллана убедительней чего-либо другого доказывает в веках, что идея, если гений ее окрыляет, если страсть неуклонно движет ее вперед, превосходит своей мощью все стихии и что вновь и вновь человек за малый срок своей преходящей жизни претворяет в действительность, в непреходящую истину недостижимую, казалось бы, мечту сотен поколений.

# А М Е Р И Г О

*Повесть об одной  
исторической ошибке*







честь кого Америка названа Америкой?

На этот вопрос каждый школьник ответит быстро и не задумываясь: в честь Америго Веспуччи.

Но уже второй вопрос вызовет сомнение и колебания даже у взрослых: почему, собственно, эту часть света окрестили именем Америго Веспуччи? Потому, что Америку открыл Вес-

луччи? Он никогда ее не открывал! Или, быть может, потому, что он первым ступил уже не на прибрежные острова, а на самый материк? Нет! Первыми ступили на материк Колумб и Себастьян Кабот. Тогда, может быть, потому, что Веспуччи ложно утверждал, будто он высадился здесь первым? Веспуччи никогда и нигде не заявлял о своем праве первооткрывателя. Но, возможно, он как ученый и картограф предложил назвать эту землю своим именем просто из честолюбия? Нет, он никогда этого не делал и, вероятно, пока был жив, даже не подозревал, что эта новая земля названа его именем. Почему же как раз ему, который ничего не совершил, выпала такая честь, почему увековечено его имя? Почему Америка называется не Колумбией, а Америкой?

Это произошло из-за сумбурного переплетения случайностей, заблуждений и недоразумений, это история человека, который на основании никогда не совершенного путешествия — причем он сам никогда и не утверждал, что совершил его, — стяжал столь безмерную славу, что его имя стало наименованием четвертой части света. Вот уже четыре столетия название это удивляет и злит весь мир. И каждый раз Америго Веспуччи вновь обвиняют в том, что он вероломно добился подобной чести путем грязных и темных махинаций; каждый раз все новые научные инстанции рассматривают дело по обвинению Америго Веспуччи в «обмане, построенном на вымышленных или искаженных фактах». Одни оправдали Веспуччи, другие приговорили его к вечному позору, и чем неоспоримее защитники Веспуччи доказывают его невиновность, тем более страстно противники уличают его во лжи, подлогах и краже. Ныне эти споры со всеми их гипотезами, доказательствами и опровержениями составляют целую библиотеку; некоторые считают крестного отца Америки *amplificator mundi*<sup>1</sup>, одним из великих людей, раздвинувших границы Земли, первооткрывателем, мореходом и большим ученым, а другие — самым отъявленным мошенником и лгуном, какого только знала история географии.

На чьей стороне правда или, выразимся осторожнее, наибольшая вероятность правды?

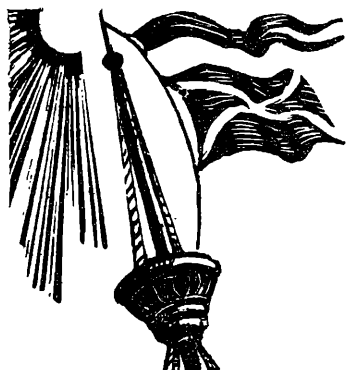
---

<sup>1</sup> Расширившим мир (лат.).

В наши дни дело Веспуччи давно уже перестало быть вопросом, интересующим узких специалистов-географов, или проблемой филологии. Это задача на сообразительность, игра, в которой каждый любопытствующий может испытать свои силы; к тому же условия игры легко понять: в ней мало фигур, потому что весь известный нам литературный труд Веспуччи, включая все документы, занимает в целом не более сорока — пятидесяти страниц. Поэтому и я счел возможным еще раз расставить фигуры и вновь, ход за ходом, разыграть эту знаменитую шахматную партию истории со всеми ее ошеломляющими и ошибочными построениями.

Единственное требование географического характера, которое моя работа предъявляет читателю, — это забыть все, что он знает о географии из наших больших атласов, и целиком выключить из своего сознания всякое представление о форме, образе, даже о самом существовании Америки. Лишь тот, кто в состоянии вполне представить себе мрак и сомнения той эпохи, сможет понять изумление и энтузиазм, охватившие целое поколение, когда в безбрежном дотоле пространстве начали обрисовываться первые контуры неведомой земли. Но если человечество обнаруживает нечто Новое, оно желает дать ему имя. И когда человечество испытывает восхищение, оно стремится выразить его в ликующем возгласе. Это был счастливый день — ветер случайности неожиданно принес новое имя; и человечество, не спрашивая, справедливо то или нет, в нетерпении приняло звонкое, легкокрылое слово и приветствовало новый мир новым и навечно данным ему именем «Америка».

# ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА



**А**ппо<sup>1</sup> 1000. Тяжелый, гнетущий сон сковал Западный мир. Глаза слишком устали, чтобы зорко смотреть вокруг, чувства слишком притуплены, чтобы проявлять любопытство. Дух человечества парализован, как после смертельно опасной болезни, человечество больше ничего не желает знать о мире, который оно населяет. И самое удивительное: все, что люди знали ранее, непонятным образом ими забыто. Разучились читать, писать, считать; даже короли и императоры Запада не в состоянии поставить свою подпись на пергаменте. Науки заостенели, стали мумиями богословия, рука смертного больше не способна изобразить в рисунке и изваять собственное тело. Непроницаемый туман заты-

---

<sup>1</sup> Год (лат.).

нул все горизонты. Никто больше не путешествует, никто ничего не знает о чужих краях; люди укрываются в замках и городах от диких племен, которые то и дело вторгаются с Востока. Живут в тесноте, живут в темноте, живут без дерзаний — тяжелый, гнетущий сон сковал Западный мир.

Иногда в этой тяжелой, гнетущей дремоте блеснет смутное воспоминание о том, что мир когда-то был другим — шире, красочнее, светлее, окрыленное, был полон событиями и приключениями. Разве все эти страны не были прорезаны дорогами, разве не проходили по ним римские легионы, за которыми следовали ликторы, охранители порядка, мужи закона? Разве не существовал когда-то человек по имени Цезарь, завоевавший и Египет и Британию, разве не пересекали триремы Средиземное море, достигая тех стран, куда уже давно из страха перед пиратами не отваживается плыть ни один корабль? Разве не добрался однажды некий царь Александр до Индии — этой легендарной страны — и не возвратился через Персию? Разве не было в прошлом мудрецов, умевших читать по звездам, мудрецов, которые знали, какую форму имеет Земля, и владели тайной человечества? Об этом следовало бы прочесть в книгах. Но книг нет. Нужно было бы попутешествовать, повидать чужие края. Но дорог нет. Все миновало. Может быть, все и было только сном.

Да и к чему стараться? К чему еще раз напрягать силы, когда все идет к концу. Возвещено, что в году 1000 наступит конец света. Бог наказал человечество за то, что оно слишком много грешило, проповедают священники с амвонов, и первый день нового тысячелетия будет днем Страшного суда. Обезумевшие люди в разодранных одеждах, с горящими свечами в руках стекаются в огромные процессии. Крестьяне покидают поля, богатые продают и расточают свое имущество. Ведь завтра появятся они — всадники Апокалипсиса на своих бледных конях; день Страшного суда близится. Тысячи и тысячи верующих, преклонив колена, проводят эту последнюю ночь в церквах — они ждут, что их поглотит вечная тьма.

Аппо 1100. Нет, мир не погиб. Бог снова смилостивился над человечеством. Оно может существовать и далее,

чтобы свидетельствовать о божьем милосердии и величии. Надо благодарить бога за его милость. Надо, чтобы эта благодарность возносилась к небесам, как молитвенно воздетые руки. И вот вырастают соборы и храмы, эти каменные опоры молитвы. Надо доказать свою любовь к Христу, воплощению божьего милосердия. Можно ли долее терпеть, чтобы место его земных страданий и гроб господень оставались в нечестивых руках язычников? Вставайте, рыцари Запада, вставайте, верующие — все на Восток! Разве вы не слышали зова: «Так велит господь!» Выходите из замков, деревень, городов! Вперед и вперед! В крестовый поход через моря и земли.

Аппо 1200. Святой гроб господень отвоеван и вновь потерян. Напрасным был крестовый поход и все же не совсем напрасным. Потому что в этом походе Европа пробудилась. Она ощутила собственные силы, она измерила свое мужество, она вновь поняла, как много нового и неизвестного ей существует в просторах божьего мира; иные края, иные плоды, иные ткани, и люди, и звери, и нравы под иными небесами. Изумленные, пристыженные рыцари, их крестьяне и слуги, побывав на Востоке, увидели, как тесно, как душно живут они сами в своем западном захолустье и как богато, как утонченно, как пышно живут сарадины. У этих язычников, которых жители Запада презирали из своего далека, есть блестящие, мягкие, легкие ткани из индийского шелка и пушистые, сверкающие всеми красками бухарские ковры; у них есть пряности, и коренья, и благовония, которые возбуждают и окрыляют чувства; их корабли достигают отдаленнейших стран и привозят оттуда рабов, и жемчуг, и драгоценные руды; их караваны бредут по нескончаемым дорогам. Их не назовешь грубыми неучами, этих людей Востока, — говорят, что они постигли тайну Земли; у них есть карты и таблицы, где все записано и обозначено; у них есть мудрецы, которым ведомы пути небесных светил и законы их движения. Люди эти завоевали земли и моря, присвоили себе все богатства, всю торговлю, все наслаждения жизни, а ведь как воины они не лучше немецких и французских рыцарей.

Как же они добились этого? Они учились. У них есть школы, а в школах — рукописи, в которых повествуется

обо всем и все объяснено; они постигли мудрость древних ученых Запада и приумножили ее новыми познаниями. Значит, чтобы завоевать мир, надо учиться. Не растрачивать свои силы в турнирах и беспутных кутежах, но отточить свой ум, сделать его гибким и быстрым, как толедский клинок. Итак, надо учиться, наблюдать, изучать, размышлять! В нетерпеливом соперничестве один за другим открываются университеты — в Сиене и Саламанке, в Оксфорде и Тулузе, каждая страна в Европе хочет быть первой в овладении наукой; после столетий равнодушия человек Запада снова пытается проникнуть в тайны Земли, неба и человечества.

1300. Европа сорвала богословский капюшон, который заслонял от нее мир. Нет никакого смысла вечно размышлять лишь о боге, нет смысла в том, чтобы вновь и вновь схоластически истолковывать и обсуждать старые тексты. Бог — творец всего и, создав человека по образу и подобию своему, хочет, чтобы человек был существом творческим. Во всех искусствах, во всех науках еще живы образцы, оставленные в наследство греками и римлянами; может быть, удастся сравняться с ними и снова научиться тому, что некогда умели древние, может быть, даже превзойти древних. И Запад снова охвачен дерзанием. Вновь начинают слагать стихи, рисовать, философствовать, и посмотрите-ка — получается. Чудесно получается. Появились и Данте, и Джотто, и Роджер Бэкон, и зодчие, воздвигающие храмы. Едва взмахнув крыльями, давно отвыкшими от полета, освобожденный дух человека уносится в беспредельные дали.

Но почему земля по-прежнему так тесна? Почему земной географический простор так ограничен? Со всех сторон море, и море, и море, омывающее все берега, неизвестное, неприступное, — этот необозримый океан, «*Ultima peto scit quid contineatur*»<sup>1</sup>, о котором никто не знает, что он таит. Единственный путь в сказочные страны Индии ведет на юг, через Египет, но путь этот закрыли язычники. А за столпы Геркулеса, через Гибралтарский пролив, никто из смертных пройти не смеет. Вечно будет

---

<sup>1</sup> Никто не ведает, что лежит за ним (лат.).

этот пролив, по словам Данте, пределом для всех исканий:

...quella foce stretta  
Ov'Ercole segnó li suoi riguardi  
Acciocchè l'uom più oltre non si metta<sup>1</sup>.

Увы, нет никакого пути туда, в «mare tenebrosum»<sup>2</sup>, ни один корабль, устремивший свой бег в эту таинственную пустыню, не возвратится из нее. Человек принужден жить в неведомом ему пространстве; он замкнут в мире, пределы и облик которого ему, пожалуй, никогда не познать.

1298. Два старых, бородатых человека, сопровождаемые юношей, вероятно, сыном одного из них, сошли с корабля в Венеции. На них странная одежда, какой никогда еще не видывали на Риаьто,— длинные камзолы из толстого сукна, отороченные мехом, редкостные украшения. Но еще удивительнее: эти трое чужеземцев говорят на чистейшем венецианском наречии и утверждают, что они венецианцы; зовут их Поло, младшего же — Марко Поло. Конечно, нельзя верить тому, что они рассказывают. Свыше двух десятилетий назад они якобы уехали из Венеции и через Московские владения, через Армению и Туркестан доехали до Манги — до Китая, где жили при дворе могущественного из властителей мира — Кубла-хана. Они якобы прошли через все его огромное государство, по сравнению с которым Италия — словно цветок гвоздики рядом с деревом. Они дошли до края света, где снова увидели океан. И когда великий хан после долгих лет службы, богато одарив венецианцев, отпустил их домой, они отправились по этому океану на родину, прошли сперва мимо Зипангу и «Островов пряностей», затем мимо большого острова Тапробан (Цейлон), проплыли вдоль побережья Персидского залива и через Трапезунд благополучно вернулись в Венецию.

Венецианцы слушают и смеются. Презабавно врут все трое! Еще ни об одном христианине нельзя было с уверенностью сказать, что он достиг океана на другом

---

<sup>1</sup> [Войдя в] пролив, в том дальнем месте света,

Где Геркулес воздвиг свои межи,

Чтобы пловец не преступал запрета (итал.).

(Данте. Ад, песня XXVI, перев. М. Л. Лозинского).

<sup>2</sup> Море тьмы (лат.).



конце Земли и побывал на островах Зипангу и Тапробан! Невероятно. Но братья Поло приглашают в свой дом гостей и показывают им подарки и драгоценные камни; и те, кто раньше так необдуманно сомневался, с изумлением убеждаются, что их соотечественники совершили самое смелое открытие своего времени. Шумная слава братьев Поло разносится по всему Западу. Она вновь окрыляет надежду: значит, можно все-таки добраться до Индии. Можно достичь этих богатейших областей Земли и оттуда стремиться дальше, на другой конец света.

1400. Добраться до Индии — это стало мечтой столетия. И мечтой всей жизни одного человека — принца Энрике Португальского, известного в истории под именем Генриха Мореплавателя, хоть сам он никогда не бывал в дальних океанских плаваниях. Но вся жизнь и стремление Энрике подчинены этой единственной мечте — *passar a donde nascen las especerias* — достичь индийских островов, достичь Молукков, где растут драгоценные пряности: корица, и перец, и инбирь, что ценятся итальянскими и фландрскими купцами на вес золота. Но оттоманы заперли Красное море — этот ближайший путь, — не пропуская «руми» — неверных, и захватили монополию на доходную торговлю. Разве не было бы выгодным и вместе с тем христианским, крестоносным делом нанести врагам Запада удар в спину? Нельзя ли объехать Африку, чтобы добраться до «Островов пряностей»? Ведь в старых книгах содержатся любопытные сведения о финикийском корабле, который сотни лет назад, выйдя из Красного моря, обогнул Африку и после двухгодичного плавания вернулся в Карфаген, на родину. Не удастся ли это еще раз?

Принц Энрике собирает вокруг себя ученых. В самой западной точке Португалии, на мысе Сагриш, там, где у скалистых берегов пенится прибоем беспредельный Атлантический океан, Энрике построил дом и собирает у себя географические карты и различные сведения по навигации; он призвал к себе астрономов и кормчих. Старые ученые утверждают, что морской путь через экватор невозможен. Они ссылаются на мудрецов древности, на Аристотеля и Страбона, на Птолея. Вблизи экватора, уверяют они, море сгущается, становится *mare*

*pigum*<sup>1</sup>, и корабли могут сгореть в отвесных солнечных лучах. Никто не в состоянии жить в тех местах, там не растут ни деревья, ни травы; мореплавателям суждено погибнуть от жары в море и от голода на суше.

Но есть и другие ученые — еврейские и арабские, — они возражают. Надо бы отважиться. Эти небылицы распускают мавританские купцы, чтобы запугать христиан. Великий географ Идриси уже давно установил, что на юге лежит плодоносная земля Билад Гана (Гвинея), откуда караваны мавров, пересекая пустыню, привозят черных рабов. Ученые утверждают, что видели карты, арабские карты, на которых был обозначен путь вокруг Африки. Теперь, когда новые приборы позволяют определять широты, а завезенная из Китая магнитная игла указывает направление к полюсу, можно попытаться пройти вдоль побережья. Можно отважиться, если построить корабли покрупнее и понадежнее. Принц Энрике отдает приказ. И великое дерзание начинается.

1450. Началось великое дерзание, бессмертный португальский подвиг. В 1419 году открыта, или, вернее, открыта вновь, Мадейра, а в 1435-м находят давно разыскиваемые «*Insulae Fortunatae*» — «Счастливые острова» древних. Почти каждый год приносит новые успехи. Обогнули мыс Верду — Зеленый Мыс, в 1445-м достигли Сенегала, и посмотрите-ка — всюду пальмы, и плоды, и люди. Теперь новое время уже знает больше, чем мудрецы древности, и Нунью Триштан может торжествующе сообщить, что он в своем плавании «с дозволения его милости Птолемея» открыл плодородный край там, где великий грек начисто отвергал всякую возможность жизни. Впервые за тысячелетие мореплаватель осмеливается с насмешкой говорить о всеведущем мудреце-географе. Новые герои превосходят один другого — Дьогу Кам и Диниш Диаш, Кадамосто и Нунью Триштан, каждый из них высаживается на дотоле неприступном берегу и водружает горделивый мемориальный камень с португальским крестом в знак присоединения этой земли к Португалии. Мир с изумлением следит за успехами маленького народа, продвигающегося в неведомых просто-

---

<sup>1</sup> Медленно текущим морем (лат.).

рах,— народа, который собственными силами совершает то, «чего никто еще не совершал»,— «feito nunca feito».

1486. Победа! Обогнули Африку! Бартоломеу Диаш обошел мыс Торментозо (мыс Доброй Надежды). Дальше путь идет не на юг. Теперь необходимо править только на восток, через океан, с попутным муссоном, в направлении, уже известном по картам, которые привезли португальскому королю два еврея, посланных им к христианскому царю Абиссинии, пресвитеру Иоанну, и тогда можно достигнуть Индии. Но команда Бартоломеу Диаша изнурена и лишает его возможности совершить подвиг, который впоследствии прославит Васко да Гаму. На сей раз довольно! Путь найден. Никому больше не опередить Португалии.

1492. И все же Португалию опередили! Произошло нечто невероятное. Некий Колон, или Колом, или Коломбо, «Christophorus quidam Colonus vir Ligurus»<sup>1</sup>, как сообщает Петр Мартир, по другому же сообщению, «совершенно неизвестный человек» — «und persona qui pingua persona сопосcia» — отправился под испанским флагом в открытый океан — на запад, вместо того чтобы идти восточным путем вокруг Африки, и — чудо из чудес! — «этим кратчайшим путем» — «brevissimo cammino» — достиг, по его свидетельству, Индии. Правда, ему не довелось повидать Кубла-хана, о котором рассказывал Марко Поло, но, по его словам, он дошел сперва до острова Зипангу (Япония), а затем высадился в Манги (Китай). Еще несколько дней плавания — и он достиг бы Ганга.

Европа удивлена: Колумб вернулся с дижовинными краснокожими индейцами, попугаями, редкостными животными и с бесконечными рассказами о золоте. Странно, странно: значит, земной шар все же меньше, чем думали, значит, Тосканелли говорил правду. Из Испании и Португалии надо плыть на запад всего лишь три недели, чтобы достичь Китая или Японии, а там до «Островов пряностей» рукой подать; значит, просто глупо странствовать по полугоду вокруг Африки, как это делают португальцы, раз Индия со всеми ее сокровищами лежит так близко от Испании. И вот Испания прежде

---

<sup>1</sup> Некто Христофор Колон, лигуриец, то есть генуэзец (лат.).

всего обеспечивает себя папской буллой, которая закрепляет за нею не только путь на Запад, но и все открытые на этом пути земли.

1493. Колумб — теперь уже не «некто» — «quidam», — он великий адмирал ее королевского величества и вице-король вновь открытых провинций. Колумб вторично отправляется в Индию. Он везет с собой письма королевы Испании великому хану, которого на сей раз твердо надеется застать в Китае; его сопровождает тысяча пятьсот человек — воины, матросы, поселенцы и даже музыканты, «чтобы развлекать туземцев». Он везет с собой окованные железом сундуки для золота и драгоценных камней, которые собирается привезти домой из Зипангу и Каликута.

1497. Другой мореплаватель, Себастьян Кабот, отправился через океан от берегов Англии. И удивительно, он тоже достиг материка. Неужели это древний «Винланд», который знали викинги? Или Китай? Во всяком случае, чудесно, что океан, это «mare tenebrosum»<sup>1</sup>, покорен и вынужден теперь раскрывать отважным свои тайны одну за другой.

1499. Торжество в Португалии, сенсация в Европе! Васко да Гама возвратился из Индии, обогнув опасный мыс Доброй Надежды. Он выбрал другой путь, более далекий и трудный, но высадился на берег около Каликута, посетил сказочно богатых «заморинов», и — не в пример Колумбу, побывавшему только на мелких островах и в наиболее уединенных местах материка, — видел самое сердце Индии и ее сокровищницы. И вот уже снаряжают другую экспедицию, ее возглавит Кабрал. Испания и Португалия соперничают, кто раньше окажется в Индии.

1500. Новое событие. Кабрал на своем пути вокруг Африки слишком далеко отклонился на запад и снова столкнулся с материком на юге, так же как Кабот на севере. Что же это — Антилия, легендарный остров старых карт? Или это опять Индия?

1502. Происходит столько событий, что их не обозреть и не постичь; за десять лет открыто больше, чем за тысячелетие. Один за другим корабли выходят из гаваней

ней, и каждый привозит домой новые вести. Словно прорвали вдруг заколдованную пелену; всюду — на севере, на юге — открываются земли. Каждый корабль, плывущий на запад, находит новый остров. В календаре со всеми его святыми уже не хватает имен, чтобы дать названия всем открытиям. Тысячи таких островов, по уверению адмирала Колумба, открыл он сам, своими глазами видел реки, берущие начало в раю. Но странно, странно! Почему же все эти острова, все эти диковинные страны индийского побережья были неведомы ни древним, ни арабам? Почему об этих странах не упоминает Марко Поло, а то, что он сообщает о Зипангу и Зайтуне, совсем непохоже на то, что видел адмирал? Все так сумбурно, так противоречиво, все полно тайны — и, право, не знаешь, чему верить об этих островах на Западе. Неужели и впрямь уже объехали вокруг света, неужели Колумб действительно был так близок от Ганга, как он уверяет, и мог бы, продолжая путь на запад, встретиться с Васко да Гамой, если бы тот шел на восток? Земной шар! Меньше он или больше, чем считали раньше?.. Благодаря немецким печатникам книги теперь так легко достать. Хоть бы кто-нибудь объяснил все эти чудеса! С нетерпением ждут ученые, мореплаватели, купцы, князья, ждет вся Европа. Человечество хочет, наконец, после этих всех открытий знать, что же оно открыло. Решающее деяние века — это чувствует каждый — совершенно, но люди еще не понимают его смысла и значения.

# ЗА ТРИДЦАТЬ ДВЕ СТРАНИЦЫ — БЕССМЕРТИЕ



**1503.** В самых различных городах — в Париже, во Флоренции, неизвестно где раньше, но почти повсюду одновременно — замелькало пять-шесть отпечатанных листов, озаглавленных: «Mundus Novus»<sup>1</sup>. Автором этого трактата, написанного по-латыни, называют некоего Альберика Веспучия, или Веспутия, который в форме письма к Лаврентию Петру Франциску Медичи сообщает об одном путешествии, предпринятом им по поручению короля Португалии в дотоле неизвестные страны. Такие письменные сообщения о новых открытиях были в те времена нередки. Все крупные торговые дома Германии, Голландии, Италии — Вельзеры, Фуггеры, Медичи — и, кроме того, Синьория Венеции имеют своих корреспондентов в Лисабоне и Севилье, которые в целях деловой информации шлют сведения о каждой успешной экспедиции в

<sup>1</sup> Новый Свет (лат.).

Индию. Письма этих торговых агентов, сообщающих, по сути, о коммерческих тайнах, весьма ценятся, и копии этих писем, так же как и карты-портуланы вновь открытых берегов, считаются дорогим товаром. Иной раз одна из таких копий попадает в руки предприимчивого книгоиздателя, и он ее немедленно размножает. Эти листы, заменявшие широкой публике еще неизвестные в те времена газеты, сообщают интересные новости. Их продают на ярмарках так же, как медицинские рецепты и индульгенции. Друг вкладывает эти листы в письмо или посылку к другу, и, таким образом, то, что первоначально было частным письмом маклера к своему шефу, становится достоянием гласности, как напечатанная книга.

Из всех этих листов того времени, начиная с первого письма Колумба от 1493 года, в котором он сообщал о своем прибытии на острова «близ Ганга», ни один не вызвал такого всеобщего интереса, таких серьезных последствий, как четыре листа дотоле совершенно неизвестного Альберика. Уже самый текст сообщал нечто из ряда вон выходящее. Письмо это было переведено *ex italica in latinam linguam*, то есть с итальянского на латинский язык, «дабы все образованные люди знали, сколько замечательных открытий совершено в эти дни» (*quam multa miranda in dies gereriantur*), сколько неизвестных миров обнаружено и чем они богаты (*quanto a tanto tempore quo mundus cepit ignota sit vastitas terrae et quod continetur in ea*). Уже одно это крикливое, зазывающее заглавие служит лакомой приманкой для всех жадно ожидающих новостей. Маленькую книжонку бойко раскупают. Ее многократно перепечатывают в самых отдаленных городах, переводят на немецкий, голландский, французский, итальянский языки и сразу же включают в сборники отчетов о путешествиях, которые выходят теперь на всех языках; она становится межевым и даже, пожалуй, краеугольным камнем новой географии, о которой мир еще ничего не знает.

Большой успех маленькой книжонки совершенно понятен. Ведь неизвестный Веспутий, первый из всех этих мореплавателей, умеет так хорошо и увлекательно рассказывать. Обычно на кораблях искателей приключений собираются неграмотные морские бродяги, солдаты и матросы, не умеющие даже поставить собственной подписи,

и только изредка попадаетея «эскривано» — сухой юрист-грамотей, равнодушно нанизывающий факты, или кормчий, отмечающий градусы широты и долготы. Поэтому большинство людей на рубеже XV—XVI веков еще ничего не знает о том, что же, собственно говоря, скрыто в этих далеких краях. Но вот появляется заслуживающий доверия и даже ученый человек, который не преувеличивает, не сочиняет, а честно рассказывает, как 14 мая 1501 года по поручению португальского короля он прршел океан и два месяца и два дня находился под небом, таким черным и грозовым, что не было видно ни солнца, ни луны. Он дает возможность читателю живо представить себе все ужасы и страхи, описывая, как он и его спутники потеряли всякую надежду благополучно достичь берега на своих дырявых, источенных червями кораблях, но благодаря его опыту космографа 7 августа 1501 года — в других сообщениях приводится другая дата, однако к таким неточностям у этого ученого человека надо привыкнуть — они наконец увидели землю, и что это была за благословенная земля! Тяжкий труд местным жителям неведом. Деревья не требуют ухода и приносят обильные плоды; реки и источники полны прозрачной, вкусной воды; море богато рыбой; исключительно плодородная земля родит сочные и совершенно неизвестные фрукты; прохладные бризы овевают эту щедрую землю, а густые леса делают приятными даже самые знойные дни. Здесь водятся тысячи разных животных и птиц, о существовании которых Птолемей не имел и понятия. Люди живут в первобытной невинности; у них красноватый цвет кожи, потому что, объясняет путешественник, они с рождения и до самой смерти ходят нагими и загорели на солнце; у них нет ни одежды, ни украшений, ни вообще какого-либо имущества. Всем, что у них есть, они владеют сообща; также и женщиныами, о доступности и страстности которых ученый господин рассказывает довольно пикантные анекдоты. Стыд и законы морали совершенно чужды этим детям природы; отец спит с дочерью, брат — с сестрой, сын — с матерью; никаких эдиповых комплексов, никаких стеснений, и все же эти люди могут дожить до ста пятидесяти лет, если — единственная их неблагоприятная особенность — не будут по-каннибальски съедены. Короче говоря, «еже-



ли где-либо существует земной рай, то, видимо, недалеко отсюда». Прежде чем распространиться с Бразилией, ибо это и есть описываемый им рай, Веспутий подробно рассказывает о красоте звезд, которые в иных образах и в иных созвездиях светят на этом благословенном южном небе, и обещает позже сообщить в книге еще многое как о данном, так и о других своих путешествиях, «дабы память о нем дошла до потомков» (*ut mei recordatio apud posteros vivat*), «дабы и в этой доселе неизвестной части созданной богом земли познать дивные деянья господни».

Можно понять интерес, вызванный у современников таким живым и красочным рассказом. Потому что он не только возбуждал и одновременно удовлетворял любопытство, вызываемое этими незнакомыми землями, но одной своей фразой о том, что «земной рай, ежели он где-либо существует, то, видимо, недалеко отсюда», этот Веспутий невольно коснулся самой сокровенной надежды своей эпохи. Уже давно отцы церкви, особенно греческие богословы, выдвинули тезис, что бог после грехопадения Адама отнюдь не разрушил рай. Он только перенес его на «противоположную землю», в недостижимое для людей пространство. Эта «противоположная земля», согласно богословской мифологии, должна находиться за океаном, то есть за пределами, недоступными для смертных. Но теперь, когда благодаря отваге первооткрывателей пересечен этот доселе непреодолимый океан и достигнуто полушарие, над которым светят иные звезды, теперь, быть может, осуществится наконец давнишняя мечта человечества и рай будет обретен снова?

Естественно, что описание безгрешного мира, который видел Веспутий, так удивительно совпадающее с представлением о мире до грехопадения, волнует людей того времени, живущих, подобно нам, под вечной угрозой катастроф. В Германии начинают объединяться крестьяне, не желающие больше терпеть барщину, в Испании свирепствует инквизиция и не оставляет в покое даже самых благонамеренных, в Италии и Франции бушуют войны. Тысячи и сотни тысяч людей, устав от ежедневных тягот, из одного отвращения к этому мятущему-

ся миру бегут в монастыри; нигде нет покоя, отдыха, нет мира для «простого человека», который не ищет ничего другого, кроме неприметного, ничем не тревожимого существования. Но вот внезапно из города в город перелетают несколько узких листков бумаги и приносят весть о том, что надежный человек — не мошенник, не проходимец, не лгун, а ученый, посланный португальским королем, — открыл где-то далеко, за пределами досягаемости, новую страну, в которой еще можно обрести мир для людей. Страну, где жизнь человека не омрачена борьбой за деньги, за собственность, за власть. Страну, где нет ни князей, ни королей, ни кровососов-крепостников, страну, где не надо работать до кровавых мозолей, чтобы добыть хлеб насущный, где земля щедра и кормит людей, где человек человеку не извечный враг. Эту древнюю религиозную мессианскую надежду разжег своим рассказом какой-то неизвестный Веспутий, он затронул одно из самых глубоких стремлений человечества — мечту об освобождении от власти традиций, денег, законов и собственности, извечную, неутолимую жажду к не отягощенной трудом и ответственностью жизни, мечту, которая брезжит в каждой человеческой душе, подобно смутному воспоминанию о рае.

Именно это обстоятельство, видимо, придало нескольким плохо отпечатанным листкам такую значительность и действенность, что они во много раз превзошли все другие сообщения, в том числе и донесения Колумба; но и слава и всемирно-историческая роль этих маленьких листков основаны не на их содержании, не на воодушевлении, вызванном ими у современников. Главным событием, как это ни странно, было даже не само письмо, а его заголовок, два слова, четыре слога «Mundus Novus», которые произвели ни с чем не сравнимую революцию в представлении человека о Земле. До этого часа Европа считала самым крупным географическим событием эпохи то, что Индии, страны сокровищ и пряхностей, достигли в течение одного десятилетия, следуя двумя различными маршрутами: Васко да Гама — двигаясь на восток, вокруг Африки, и Христофор Колумб — двигаясь на запад, через никем дотоле не пересеченный

океан. В Европе с изумлением рассматривали сокровища, которые Васко да Гама привез домой из дворцов Каликута, с любопытством слушали рассказы о многочисленных островах, открытых великим адмиралом испанской королевы Христофором Колумбом у побережья, которое он считал побережьем Китая. Значит, Колумб, судя по его восторженному сообщению, тоже побывал в стране великого хана, описанной Марко Поло; теперь, казалось, обошли вокруг света и с двух сторон добрались до Индии, которая была недостижима в течение тысячелетия.

Но вот появляется другой мореплаватель, какой-то удивительный Альберик, и сообщает нечто еще более поразительное. Оказывается, земля, которой он достиг по пути на запад, вовсе не Индия, а совершенно неизвестная страна между Азией и Европой и, следовательно, новая часть света. Веспутий так и пишет, что области, открытые им по поручению португальского короля, можно с уверенностью назвать Новым Светом, «*Novum Mundum appellare licet*» — и подробно обосновывает свое мнение: «Никто из наших предков не имел ни малейшего понятия о странах, которые мы видели, и о том, что в них находится; наши знания далеко превосходили знания предков. Большинство из них полагало, что южнее экватора нет материка, а только беспредельный океан, который они называли Атлантическим; и даже те, кто считал возможным наличие здесь материка, по разным причинам придерживались мнения, что он не может быть обитаем. Теперь мое плавание доказало, что такой взгляд неверен и резко противоречит действительности, ибо южнее экватора я обнаружил материк, где некоторые долины гораздо гуще населены людьми и животными, нежели в нашей Европе, Азии и Африке, к тому же там более приятный и мягкий климат, чем в других знакомых нам частях света».

Эти скупые, но полные уверенности строки делают «*Mundus Novus*» памятным документом человечества; в них заключена первая Декларация о независимости Америки, написанная за двести семьдесят лет до второй. Колумб до своего смертного часа был слепо уверен в том, что, высадившись на островах Гуанакани и Кубу, ступил на землю Индии, и этим своим заблуждением он,

по существу, сузил для своих современников вселенную; и лишь Веспуччи, опровергая предположение, будто бы новый материк является Индией, и с уверенностью утверждая, что это — новый мир, дает другие, действительные и донныне масштабы вселенной. Веспуччи снимает пелену, заслонявшую от взора ее великого открывателя Колумба все значение его собственного подвига, и хоть сам Веспуччи даже отдаленно не подозревал, каковы действительные размеры этого материка, он по крайней мере понял самостоятельное значение его южной части. В этом смысле Веспуччи действительно завершил открытие Америки, ибо каждое открытие, каждое изобретение становится ценным не только благодаря тому, кто его совершил, но еще больше благодаря тому, кто раскрыл его истинный смысл и действенную силу; если Колумбу принадлежит заслуга подвига, то Веспуччи благодаря этому его высказыванию принадлежит историческая заслуга осмысливания подвига. Подобно толкователю снов, он сделал зримым то, что его предшественник открыл, блуждая во сне.

Велико радостное изумление, вызванное сообщением этого дотоле неизвестного Веспучтия, оно поражает воображение людей того времени даже глубже и устойчивее, чем самое открытие гемуэзца. Весть о том, что найден новый путь в Индию и что можно, отправившись из Испании, достичь стран, давно описанных Марко Поло, увлекла более широкими торговыми возможностями лишь небольшой круг непосредственно заинтересованных людей: купцов и торговцев Антверпена, Аугсбурга, Венеции, которые уже усердно высчитали, по какому пути — на восток ли, как Васко да Гама, или на запад, как Колумб,— выгоднее посылать корабли за пряностями, перцем и корицей. Сообщение этого Альберика о том, что среди океана найдена новая часть света, действует на воображение широких масс с непреборимой силой. Не легендарный ли то остров древних, Атлантида? А может быть, это блаженные острова Алкионы? У людей того времени удивительно возросла уверенность в своих силах благодаря сознанию, что Земля куда более обширна и богата неожиданностями, чем предполагали даже самые мудрые мужи древности, и что именно они, их поколение, призваны раскрыть последние тайны нашей

планеты. Понятно, с каким нетерпением ученые, географы, космографы, печатники, а за ними вся огромная масса читателей ждут, когда же этот никому не ведомый Альберик выполнит свое обещание и подробнее расскажет о своих исследованиях и путешествиях, которые впервые дадут человечеству правильное представление о размерах земного шара.

Нетерпеливым не пришлось долго ждать. Двумя-тремя годами позже один флорентийский печатник, предусмотрительно скрывший свое имя — впоследствии нам станет ясно, по каким причинам, — выпустил в свет тоненькую брошюрку в шестнадцать страниц на итальянском языке. Она озаглавлена: «Lettera di Amérgo Vespucci delle isole nuovamente trovate in quattro suoi viaggi» (Письмо Америго Веспуччи об островах, открытых им во время его четырех путешествий), и в конце сказано: «Data in Lisbona a di 4 settembre 1504, Servitore Amérgo Vespucci in Lisbona»<sup>1</sup>.

Уже из одного заглавия мир наконец узнает побольше об этом таинственном человеке. Во-первых, его зовут Америго, а не Альберик, и Веспуччи, а не Веспутий. Из предисловия, адресованного некоему влиятельному лицу, явствуют другие подробности жизни автора. Веспуччи сообщает, что родился во Флоренции и направился в Испанию в качестве торговца (*per tractare mercantie*). Четыре года занимался он торговлей и за это время убедился, что счастье изменчиво, «что свои преходящие и непрочные блага оно дарит неравномерно и возносит человека на вершину лишь для того, чтобы тут же низвергнуть его оттуда и лишить всех, так сказать, временно одолженных ему благ». Но так как он вместе с тем увидел, с какими опасностями и трудностями сопряжена охота за прибылями, то он решил отказаться от торговли и посвятить себя более высокой и благородной цели, а именно посмотреть на мир и его чудеса (*mi disposi d'andare a vedere parte del mondo e le sue maraviglie*<sup>2</sup>). Для

---

<sup>1</sup> Написано в Лисабоне, 4 сентября 1504, Америго Веспуччи, служащим в Лисабоне (итал.).

<sup>2</sup> Мне захотелось путешествовать, чтобы повидать часть мира и его чудеса (лат.).

этого представилась благоприятная возможность. Король Кастилии снарядил для открытия новой земли на западе четыре корабля, и ему, Веспуччи, разрешили ехать с этой флотилией, чтобы «содействовать открытию» (*per aiutare a discoprire*). Но Веспуччи сообщает не только об этом первом своем путешествии, но и о трех других (уже описанных в «*Mundus Novus*»). Он предпринял следующие путешествия—важна хронология:

первое—с 10 мая 1497 по 15 октября 1498 под испанским флагом;

второе—с 16 мая 1499 по 8 сентября 1500, тоже по повелению короля Кастилии;

третье (*Mundus Novus*)—с 10 мая 1501 по 15 октября 1502 под португальским флагом;

четвертое—с 10 мая 1503 по 18 июня 1504, тоже по заданию португальцев<sup>1</sup>.

Эти четыре путешествия ввели неизвестного купца в ряды великих мореходов и первооткрывателей своего времени.

Кому адресовано «*Léttera*», письмо о четырех путешествиях, в первом издании не указано; лишь в более поздних сообщается, что оно было послано гонфалоньеру—правителю Флоренции Пьетро Содерини, чему, однако, до сегодняшнего дня нет точного доказательства: в литературной продукции Веспуччи впоследствии обнаружится много неясностей. Впрочем, за исключением нескольких риторических упражнений в вежливости, которыми начинается письмо, его форма так же легка и увлекательна, а содержание так же многообразно, как и в «*Mundus Novus*».

Веспуччи не только приводит новые подробности об «эпикурейской жизни» неизвестных народов, но ярко описывает битвы, кораблекрушения, драматические столкновения с каннибалами и гигантскими змеями; сведения о многих животных и предметах обихода (например, о гамаке) впервые вошли в историю культуры по его описаниям. Географы, астрономы, купцы находят у него ценные сведения, ученые—ряд тезисов, которые они

---

<sup>1</sup> Следует отметить, что эта хронология дается в одном из изданий письма Веспуччи и не соответствует другим изданиям и сохранившимся документам.

могут обсуждать и истолковывать, не остается в накладе и широкая масса просто любопытных. В заключение Веспуччи обещает, что когда заживет на покое в своем родном городе, то закончит большой и, собственно, свой основной труд о новых частях света.

Но Веспуччи так и не приступил к этому большому сочинению или, может быть, оно до нас не дошло, так же как и его дневники. Таким образом, тридцать две страницы (из которых описание третьего путешествия представляет собой лишь вариант «Mundus Novus») — вот все литературное наследие Америго Веспуччи, крохотный и не слишком ценный багаж для дороги в бессмертие. Можно без преувеличения сказать: никогда еще человек, написавший так мало, не становился так знаменит; надо было нагромоздиться случайности на случайность, ошибке на ошибку, дабы поднять это произведение столь высоко над его эпохой, чтобы и наш век сохранил это имя, которое вместе со звездным знаменем взлетает к звездам.

Первая случайность и одновременно первая же ошибка вскоре приходят на помощь этим не имеющим особого значения тридцати двум страницам. Предприимчивый итальянский печатник еще в 1504 году правильно почуял, что время благоприятствует выпуску сборника рассказов о путешествиях. Венецианец Альбертино Верчеллезе впервые собирает в один томик все отчеты о путешествиях, попадающихся ему на глаза. Эта *Libretto de tutta la navigazione del Rè de Spagna e terreni nuovamente trovati*<sup>1</sup>, включающая рассказы о плаваниях Кадамосто и Васко да Гамы, а также о первом плавании Колумба, находит такой хороший сбыт, что в 1507 году другой печатник решается издать в Виченце более объемистую (в 126 страниц) антологию (под редакцией Дзордзи и Монтальбодо), которая содержит описание португальских экспедиций Кадамосто, Васко да Гамы, Кабрала, первых трех плаваний Колумба и «Mundus Novus» Веспуччи. Роковым образом издатель антологии не находит

---

<sup>1</sup> Книжица обо всех плаваниях короля Испании и вновь открытых землях (итал.).

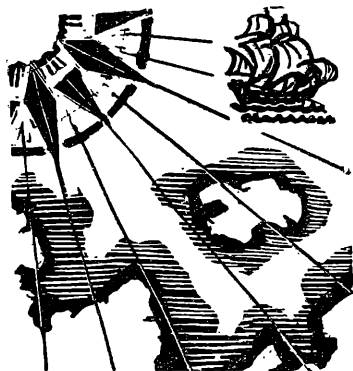
для нее лучшего заглавия, чем «Mondo novo e paesi nuovamente ritrovati da Alberico Vesputio florentino» («Новый Свет и новые страны, открытые Альберико Веспуччи из Флоренции»).

С этого и начинается великая «Комедия ошибок». В заглавии антологии кроется опасная двусмысленность: оно позволяет думать, будто Веспуччи не только назвал Новым Светом все новые страны, но и сам все эти новые страны открыл; всякий, кто лишь бегло взглянет на титульный лист антологии, невольно впадет в такую ошибку. И вот эта книга, многократно переиздаваемая, проходит через тысячи рук и с опасной быстротой разносит все дальше ложное сообщение, будто бы Веспуччи и есть первооткрыватель этих новых стран. Маленькая глупая случайность, происшедшая по вине ничего не подозревающего печатника из Виченцы, поставившего на титульном листе антологии вместо имени Колумба имя Веспуччи, приносит славу также ничего не подозревавшему Веспуччи, который, вовсе о ней не зная, без своего ведома и желания становится узурпатором чужого подвига.

Безусловно, одной этой ошибки было бы недостаточно для создания огромной, веками упроченной славы. Но пока это только первый акт и даже пролог к нашей «Комедии ошибок». Понадобится сцепление все новых и новых случайностей, прежде чем будет соткана паутина великого заблуждения. И странным образом именно теперь — поскольку литературный труд всей жизни Веспуччи, ограничивающийся скромными тридцатью двумя страничками, уже закончен — начинается увековечивание Веспуччи, быть может, самое гротескное, какое только знает история человеческой славы. И слава эта зарождается в местечке, где Веспуччи никогда не бывал и о существовании которого купец-мореход из Севильи не имел ни малейшего представления: в городке Сен-Дье.



## НОВАЯ ЧАСТЬ СВЕТА ПОЛУЧАЕТ ИМЯ



**Т**от, кто никогда не слышал названия городка Сен-Дье, не должен упрекать себя в незнании географии: даже ученым понадобилось больше двухсот лет, чтобы отыскать, где же, собственно, расположен этот богоданный город «*Sancti Deodati oppidum*»<sup>1</sup>, оказавший столь решающее влияние на возникновение названия Америки. Затерянный в глубине Вогезов, входивший в состав давно исчезнувшего герцогства Лотарингии, этот городок не имел никаких заслуг, которые могли бы привлечь к нему внимание мира. Правивший в то время Рене II, так же как и его знаменитый предок «Добрый король Рене», носил, правда, титулы короля Иерусалима и Сицилии и графа Прованса, однако в действительности являлся герцогом одной лишь этой маленькой части лотарингской земли, которой он честно управлял, питая любовь к наукам и искусствам. Стран-

<sup>1</sup> «Город Святого Деодата» (лат.).

ным образом — история любит игру малых совпадений — именно в этом городке однажды уже вышла книга, оказавшая влияние на открытие Америки: это здесь епископ д'Айи издал свою работу «Imago mundi»<sup>1</sup>, которая одновременно с письмом Тосканелли решительно побудила Колумба отправиться в поисках Индии на запад. До самой своей смерти адмирал всюду возил с собой как руководство эту книгу, хорошо сохранившийся экземпляр пестрит пометками, сделанными на полях его рукой. Таким образом, нельзя отрицать некоего еще доколумбовского соотношения между Америкой и Сен-Дье. Но лишь при герцоге Рене в этом городке происходит то диковинное происшествие — или ошибка, — которой Америка навеки обязана своим наименованием. Под покровительством Рене II и, вероятно, при его денежной поддержке в маленьком городке Сен-Дье собирается несколько гуманистов; они создают своеобразную коллегию, которая называется *Gymnasium Vosgianum*<sup>2</sup>, и этот гимнасий ставит себе целью распространять науку путем преподавания или печатания ценных книг. В этой крошечной академии для общей работы на благо культуры объединяются светские и духовные деятели; может быть, никто и никогда не узнал бы об их ученых спорах, если бы — около 1507 года — некий печатник Готье Люд не решил установить там печатный станок и начать печатать книги. Место было выбрано удачно, потому что в этой маленькой академии Готье Люд находит необходимых ему людей, которые могут быть издателями, переводчиками, корректорами, художниками-иллюстраторами. К тому же недалеко и до Страсбурга с его университетами и ценными помощниками. И так как герцог взял академию под свое покровительство, то в маленьком захолустном городке могут решиться и на более серьезное дело.

Какое же это дело? С тех пор как новые открытия год за годом расширяют познания мира, любознательность века устремлена к географии. До того времени была издана лишь одна-единственная классическая книга по географии — «*Cosmographia*»<sup>3</sup> Птолемея, чьи текст и кар-

<sup>1</sup> Картина мира (лат.).

<sup>2</sup> Вогезский гимнасий (лат.).

<sup>3</sup> Космография (лат.).

ты в течение веков считались учеными Европы непревзойденными и непогрешимыми. С 1475 года она в латинском переводе стала доступна всем образованным людям и рассматривалась как незаменимый всеобщий Свод знаний о мире; то, что утверждал или изображал на своих картах Птолемей, считалось неоспоримым уже в силу его авторитета, его имени. Но именно в эту последнюю четверть пятнадцатого столетия познание Вселенной расширилось больше, чем за все предыдущие столетия. И Птолемя, который в течение тысячелетий знал больше, чем все космографы и географы после него, внезапно опровергло и перегнало несколько отважных мореплавателей и искателей приключений. Тот, кто захочет теперь вновь издать книгу «*Cosmographia*», должен исправить ее и дополнить; ему нужно нанести на старые карты новые берега и острова, обнаруженные на западе. Опыт должен подправить традицию, а скромная поправка еще более укрепит доверие к классическому труду — если желать, чтобы Птолемей и впредь считался всемудрым, а его книга непререкаемой. До сих пор никому, кроме Готье Люда, не приходила в голову мысль вновь довести до совершенства эту уже несовершенную книгу. Ответственная и в то же время многообещающая задача, а следовательно, самая подходящая для ученого общества, собравшегося в Сен-Дье для общего дела.

Готье Люд не простой печатник, он также секретарь герцога и капеллан, образованный и к тому же богатый человек; присмотревшись к небольшому кружку, он признает, что трудно подобрать более подходящих людей. Рисованием и гравированием карт готов заняться молодой математик и географ Мартин Вальдземюллер, который в соответствии с обычаями того времени подписывает свои научные труды на греческий лад: «Хилакомил». Двадцати семи лет от роду, воспитанник университета в Брейсгау, он сочетает в себе свежесть и отвагу молодости с хорошими знаниями и незаурядными способностями к рисованию, что на десятилетия обеспечит ему превосходство над другими картографами. Здесь же находится молодой поэт Маттиас Рингманн, назвавший себя Филезием, — весьма подходящий для того, чтобы снабжать ученое произведение поэтическими введениями и со вкусом отшлифовывать латинские тексты. Нет

недостатка и в хорошем переводчике: он найден в лице Жана Базена, подлинного гуманиста, владеющего не только древними, но и современными языками. С такой ученой командой можно уверенно приступить к пересмотру прославленного труда Птолемея. Но где найти материалы для описания вновь открытых стран? Не был ли чехий Веспуччи первым, кто привлек внимание к Новому Свету? Маттиас Рингманн еще в 1505 году опубликовал в Страсбурге «Mundus Novus» под заглавием: «De Ora Antartica»<sup>1</sup>. И он дает совет органически дополнить птолемеевский труд, приложив к нему итальянское «Lettera» в переводе на латинский язык, которое до тех пор еще не было известно в Германии.

Само по себе это было добросовестным и весьма похвальным начинанием, но честолюбие издателей сыграло с Веспуччи плохую шутку, и, таким образом, затягивается второй узел той веревки, которую потомки слают для ничего не подозревающего Веспуччи. Вместо того чтобы сказать чистую правду, что они просто перевели «Lettera» — сообщение Веспуччи о его четырех путешествиях в той форме, в какой оно появилось во Флоренции, с итальянского на латынь, — гуманисты из Сен-Дье отчасти для того, чтобы придать большую значительность своим публикациям, а отчасти для того, чтобы прославить перед всем миром своего покровителя герцога Рене, придумали романтическую историю. Они постарались создать у читателя впечатление, что Америго Веспуччи, первооткрыватель этих новых миров и знаменитый географ, будучи особым другом и почитателем их герцога, якобы прислал ему непосредственно в Лотарингию свое «Lettera», и, таким образом, предлагаемое издание является первой публикацией. Какая честь для их герцога! Величайший и знаменитейший ученый эпохи посылает описание своего путешествия только королю Испании и еще одному лицу, а именно правителю этого карликового княжества. Чтобы как-то подкрепить эту скромную мистификацию, изменяется посвящение: вместо итальянского «Magnificenza»<sup>2</sup> подставлено: «Illustrissimus rex Renatus»<sup>3</sup>, а, кроме того, чтобы как

<sup>1</sup> Об Антарктическом поясе (лат.).

<sup>2</sup> Величество (итал.).

<sup>3</sup> Светлейший король Рене (лат.).

можно лучше скрыть, что налицо простой перевод с итальянского подлинника, добавлено примечание: «Веспуччи де прислал свое произведение на французском языке и лишь insignis poëta<sup>1</sup> Иоанн Базин (Жан Базен) перевел его ex gallico, с французского на благородную латынь (qua pollet elegantia latina interpretavit).»

При более близком рассмотрении этот честолюбивый обман оказывается весьма прозрачным, так как «insignis poëta» работал слишком поспешно и не скрыл тех мест, которые совершенно ясно говорили об итальянском происхождении текста. Базен по оплошности позволяет Веспуччи рассказывать лотарингскому «королю Ренату» такие вещи, которые могли иметь значение только для Медичи или Содерини, например, что оба они одновременно учились у дяди Америго — Антонио Веспуччи — во Флоренции. Либо Веспуччи, например, говорит о Данте как о «poëta nostro», то есть «нашем поэте», что, конечно, имеет смысл, лишь когда итальянец пишет итальянцу. Но должны пройти столетия, прежде чем вскрыется этот обман, в котором Веспуччи так же неповиновен, как и во всех других. В сотнях произведений (вплоть до новейшего времени) письма Веспуччи о его четырех путешествиях рассматриваются как адресованное действительно герцогу Лотарингии; так вся слава и весь позор Веспуччи нагромождаются на фундамент, созданный одной лишь книгой, напечатанной без его ведома в глухом уголке Богезов.

Однако обо всем, что совершилось на заднем плане и в коммерческих приемах, люди того времени и не подозревали. Книгопродавцы, ученые, князья, купцы просто обнаружили однажды, 25 апреля 1507 года, на книжном рынке небольшую книжку в пятьдесят две страницы, озаглавленную: «Cosmographiae. Introductio. Cum quibusdam geometriæ ac astronomiæ principijs ad eam rem necessarijs. Inscribet quatuor Americi Vesputii navigationes. Universalis cosmographiæ descriptio tam in solido quam plano eis etiam insertis quæ in Ptolemeo ignota a nuperis reperta sunt». (Введение в космографию с необходимыми

<sup>1</sup> Знаменитый поэт (лат.).

для оной основами геометрии и астрономии. К сему четыре плавания Америго Веспуччи и, кроме того, описание (карта) Вселенной как на глобусе тех частей света, о которых не знал Птолемей и которые открыты в новейшее время.)

На каждого, раскрывающего эту маленькую книжонку, прежде всего низвергается тщеславие издателей, жаждущих выставить напоказ свои поэтические таланты: короткое посвящение императору Максимилиану в латинских стихах, написанное Маттиасом Рингманном, и предисловие Вальдземюллера-Хилакомила, также обращенное к императору, к стопам которого он кладет эту книгу; лишь после того, как честолюбие обоих гуманистов удовлетворено, начинается научный текст Птолемея, а к нему после краткого вводного сообщения прилагается описание четырех плаваний Веспуччи.

Благодаря публикации в Сен-Дье имя Америго Веспуччи поднято еще на одну значительную ступень, но, разумеется, вершина еще не достигнута. В итальянской антологии «*Raesi nuovamente ritrovati*»<sup>1</sup> имя Веспуччи на титульном листе получает довольно двусмысленное значение: он назван открывателем Нового Света, однако в тексте книги его путешествия отмечаются еще в одном ряду с путешествиями Колумба и других мореплавателей. Но в «*Cosmographiae Introductio*» имя Колумба уже вовсе не упоминается; возможно, это случайность, в которой повинно невежество вогезских гуманистов, но какая роковая случайность! Ибо вся честь и слава великого открытия достаются в таком случае Веспуччи, и только одному Веспуччи. Во второй главе при описании мира, каким его знал еще Птолемей, сказано, что хотя границы этого мира были расширены и другими людьми, но человечество узнало об этом впервые лишь благодаря Америго Веспуччию (*purè vero ab Americo Vesputio latius illustratiam*)<sup>2</sup>. В пятой главе Веспуччи уже определенно назван первооткрывателем этих новых областей, «*et maxima pars Terrae semper incognitae*

---

<sup>1</sup> «Вновь открытые страны» (итал.).

<sup>2</sup> Недавно Америк Веспучтий, по истине говоря, шире оповестил об этом человечество (лат.).

nuper ab Americo Vesputio repertae»<sup>1</sup>. И вот в седьмой главе внезапно впервые мелькает предложение, которое примут последующие века; говоря о четвертой части земли, «*quarta orbis pars*», Вальдземюллер высказывает свое личное предложение — «*quam quia Americus invenit Amerigem quasi Americi terram, sive Americam nuncupare licet*» (поскольку эту четвертую часть света нашел Америко, ее следовало бы с этого дня называть Землей Америко, или Америкой).

Эти строки и являются, собственно, свидетельством о крещении, выданном Америке. Впервые это имя появляется на книжном листе, впервые, отлитое в буквы, размножено печатным станком. И если день 12 октября 1492 года, когда Колумб увидел с палубы «Святой Марии» окутанное туманом побережье острова Гуанахани, можно считать днем рождения нового континента, то 25 апреля 1507 года, день, когда с печатного станка сошла «*Cosmographiae Introductio*», можно назвать днем именин континента. Правда, это всего лишь предложение, высказанное в тихом городке пока еще никому не известным двадцатисемилетним гуманистом, но оно так восхищает его самого, что он повторяет свое предложение уже более настойчиво. В девятой главе Вальдземюллер отводит ему целый абзац. «Сегодня,— пишет он,— эти части света (Европа, Африка и Азия) уже полностью исследованы, а четвертая часть света открыта Америком Веспутием. И так как Европа и Азия названы именами женщин, то я не вижу препятствий к тому, чтобы назвать эту новую область Америкой, или Америкой, по имени мудрого мужа, открывшего ее». Вот как это звучит по-латыни: «*Nunc vero et hae partes sunt latius lustratae et alia quarta pars per Americum Vesputium (ut in sequentibus audietur) inventa est, quam non video cur quis iure vetet ab Americo inventore sagacis ingenii viro Amerigem quasi Americi terram sive Americam dicendam: cum et Europa et Asia a mulieribus sua sortita sunt nomina*».

Вместе с тем Вальдземюллер печатает слово «Америка» на полях страницы и, кроме того, вписывает его в приложенную к книге карту мира. С этого часа, сам то-

<sup>1</sup> «И большая часть Земли дотоле неведомая, недавно открыта Америком Веспутием» (лат.).

го не подозревая, смертный Америго Веспуччи предстает в ореоле бессмертия; с этого часа Америка, впервые названная Америкой, сохранит это наименование навечно.

Но ведь это же нелепость, возмутится иной взволнованный читатель. Как смеет какой-то двадцатисемилетний провинциальный географ оказывать столь великий почет человеку, который никогда не открывал Америки и вообще-то опубликовал всего тридцать две страницы довольно сомнительных сообщений; как может он назвать его именем огромный континент? Однако такое возмущение — анахронизм; оно исходит не из понимания реальной исторической обстановки, а из суждения с точки зрения сегодняшнего дня. Мы, люди современности, бессознательно впадаем в ошибку, когда, прозвучав слово «Америка», невольно думаем об огромной части земного шара, простирающейся от Аляски до Патагонии. О такой протяженности только что открытого «Mundus Novus» тогда, в 1507 году, не имел никакого представления ни добрый Вальдземюллер, ни другой смертный. Достаточно беглого взгляда на географические карты начала шестнадцатого века, чтобы понять, каким представляла себе тогдашняя космография этот «Mundus Novus». В мутной похлебке Мирового океана плавают бесформенные ломти суши, только по краям слегка надкусанные любопытством первооткрывателей. Крохотную часть Северной Америки, где высадились Кабот и Кортериал, еще относят к Азии, так что поездка из Бостона в Пекин в тогдашнем представлении требует лишь нескольких часов. Флорида считается большим островом, расположенным неподалеку от Кубы и Гаити, а вместо Панамского перешейка, связующего Северную Америку с Южной, раскинулось широкое море. А еще южнее — новая, незнакомая земля (нынешняя Бразилия) нарисована в виде большого круглого острова, вроде Австралии; эту землю на картах называют: «Terra Sancta Crucis»<sup>1</sup>, или «Mundus Novus», или «Terra dos Papagaios»<sup>2</sup>, — все какие-то неудобопроизносимые, неблагозвуч-

---

<sup>1</sup> Земля Святого Креста (лат.).

<sup>2</sup> Земля Попугаев (португальск.).



ные имена. И хотя Веспуччи не был первым, кто открыл эти берега, а лишь первым описал их и познакомил с ними Европу,— Вальдземюллер, которому это неизвестно, только следует принятому обычаю, предлагая присвоить этой земле имя Америго. Бермуды называются по имени Хуана Бермудеса, Тасмания — по имени Тасмана, Фернандо-По — по имени Фернандо По, почему же не назвать еще одну новую землю именем человека, впервые описавшего ее? Это всего лишь дружественный жест признательности по отношению к ученому, который первым — и в этом историческая заслуга Веспуччи — установил, что новооткрытая земля не относится к Азии, а является «*quarta pars mundi*»<sup>1</sup>, то есть представляет собой новую часть света. Добрый Вальдземюллер и понятия не имел о том, что его благожелательное предложение — присвоить имя Веспуччи одному лишь предполагаемому острову, «Земле Святого Креста», — станет наименованием целой части света от Лабрадора до Патагонии, и тем самым будет обокраден Колумб, подлинный первооткрыватель этого континента. Но как мог знать об этом Вальдземюллер, если этого не знал сам Колумб, который так горячо и взволнованно доказывал, что Куба — это Китай, а Гаити — Япония? Так этим названием «Америка» была добавлена еще одна нить ошибки в и без того запутанный клубок; каждый, кто даже с самыми добрыми намерениями занимался проблемой Веспуччи, — пока лишь завязывал новый узелок и еще больше все запутывал.

Следовательно, Америка зовется Америкой только по недоразумению, и к тому же благодаря двойному совпадению случайностей. Если бы *insignis poëta* Жан Базен предпочел, переводя на латинский язык имя Америго, назвать его не Америком, а Альбериком, как это сделали до него другие, то Нью-Йорк и Вашингтон были бы сегодня городами не Америки, а Альберики. Но вот имя «Америка» впервые отлито в буквы, эти семь букв навечно соединены в одно слово, и оно переходит из книги в книгу, из уст в уста неудержимо, незабываемо. Оно су-

---

<sup>1</sup> «Четвертая часть света» (лат.).

ществует, оно укореняется, это новое слово, и не только благодаря случайному предложению Вальдземюллера, не в силу логики или нелогичности, не по праву или по несправедливости, но из-за присущего этому слову внутреннего благозвучия. «Америка» — это слово начинается и заканчивается самым полнозвучным гласным звуком нашего языка, сочетая его с разнообразным чередованием других звуков. Оно подходит для вдохновенного зова и хорошо запоминается, крепкое, полноценное, мужественное слово, такое подходящее для молодой страны, для сильного, пробуждающегося народа; сам того не сознавая, маленький географ, ошибившись в истории, совершил нечто обладающее глубоким смыслом, когда назвал подымающуюся из мрака страну словом, роднящим ее с Азией, Европой и Африкой.

Это завоевывающее слово. В нем властная сила, которая неудержимо оттесняет все другие обозначения; прошло лишь несколько лет с тех пор, как появилась «Cosmographiae Introductio», а слово «Америка» вытеснило из книг и географических карт мира названия: «Terra dos Papagaios», «Isla de Santa Cruz», «Brazzil», «Indias Occidentales»<sup>1</sup>. Завоевывающее слово. Из года в год оно захватывает в тысячу, в сто тысяч раз большее пространство, чем когда-либо мог мечтать добрейший Мартин Вальдземюллер. В 1507 году под «Америкой» подразумевается только северное побережье Бразилии, а юг с Аргентиной еще зовется «Brasilia Inferior»<sup>2</sup>. Если бы так и осталось (в духе пожелания Вальдземюллера), если бы имя Америго было присвоено одному только побережью, впервые описанному Веспуччи, или даже всей Бразилии, никто не посмел бы обвинить Вальдземюллера в ошибке. Но проходит еще несколько лет, и вот уже наименование «Америка» включает в себя все Бразильское побережье, и Аргентину, и Чили, то есть земли, до которых флорентиец никогда не добирался, которых никогда не видел. Все, что открывают вправо и влево, кверху и книзу, южнее экватора,— все превращается в страну Веспуччи, и, наконец, спустя почти пятнадцать лет после выхода книги Вальдземюл-

<sup>1</sup> «Земля Попугаев», «Остров Святого Креста», «Бразил» (португ.), «Западные Индии» (испан.).

<sup>2</sup> Нижняя Бразилия (лат.).

лера, всю Южную Америку называют «Америка». Все великие картографы капитулировали пред волею скромного школьного учителя из Сен-Дье — и Симон Гриней в своем атласе «Orbis Novus»<sup>1</sup> и Себастьян Мюнстер в своих географических картах мира. Но это еще не окончательная победа. Грандиозная «Комедия ошибок» все еще продолжается. На картах Северная Америка, словно другая часть света, все еще отделена от Южной, и, по неведению современников, ее то относят к Азии, то отделяют от материка Америка воображаемым проливом. Но вот наконец наука устанавливает, что этот континент составляет единое целое, что он тянется от одного Ледовитого моря до другого и что его должно объединять одно-единственное название. И тогда-то мощно вырастает гордое, непобедимое слово — плод смешения ошибки с правдой, заблуждения с истиной — и заглаживает добычей. Уже в 1515 году нюрнбергский географ Иоганнес Шёнер в маленькой брошюрке, приложенной к его глобусу, широковещательно провозглашает *Americam sive Amerigem...*<sup>2</sup> четвертой частью света — *...novum Mundum et quartam orbis partem...*<sup>3</sup>, а в 1538 году король картографов Меркатор составляет карту мира, на которую наносит как единое целое весь континент, каким мы его знаем сегодня, обе его части, обозначая все вместе названием «Америка»: А М Е — стоит над Севером и Р И К А — над Югом. С тех пор другого слова, кроме этого, не существует. За тридцать лет Веспуччи завоевал для себя, для своей грядущей славы четвертую часть мира.

Это крещение без ведома и согласия крестного отца — беспримерный случай в истории земной славы. Два слова «Mundus Novus» прославили, а три строки скромного географа обессмертили человека; никогда еще, пожалуй, случайность и заблуждение не порождали столь дерзкой комедии. Но история, которая столь же величественна в трагедии, сколь изобретательна в коме-

---

<sup>1</sup> «Новый мир» (лат.).

<sup>2</sup> Америку, или Америгу (лат.).

<sup>3</sup> Новым миром и четвертой частью света (лат.).

диях, придумывает для этой «Комедии ошибок» особенно изящное заострение. Предложение Вальдземюллера, едва став известным, с восторгом принимается. Одно издание следует за другим, каждое новое географическое сочинение вводит новое название «Америка» в честь ее *inventoris*<sup>1</sup> Америго Веспуччи, и прежде всего рисовальщики беспрекословно вписывают его в карты. Всюду можно найти теперь слово «Америка», на каждом глобусе, на каждой гравюре, в каждой книге, в каждом письме. Этого имени нет только на одной-единственной карте, которая появилась в 1513 году, через шесть лет после выхода первой карты Вальдземюллера. Кто же этот упрямый географ, который не согласен с этим новым названием и отвергает его? Станным образом этим человеком оказывается тот, кто его придумал: сам Вальдземюллер. Испугался ли он, подобно ученику колдуна из гетевского стихотворения, который одним словом превратил метлу в неистово деятельное существо, но не знал другого слова, способного укротить вызванный заклятием дух? То ли ему указали, — быть может, даже сам Веспуччи, — что он допустил несправедливость по отношению к Колумбу, приписав его подвиг тому, кто лишь понял значение этого подвига? Ничего не известно! И никогда не выяснится, почему именно Вальдземюллер пожелал отобрать у нового континента им же самим придуманное наименование. Но теперь уже поздно вносить какие бы то ни было исправления! Редко способна истина угнаться за легендой. Слово, выпущенное в мир, черпает силу из этого мира и живет свободно, не завися от того, кто дал ему жизнь. Тщетно пытается одинокий маленький человек стыдливо подавить и замолчать слово, которое он же сам впервые произнес. «Америка» — слово это уже носится в воздухе, оно перескакивает из одного шрифта в другой, из книги в книгу, из уст в уста, оно преодолевает пространство и время, оно неудержимо и бессмертно, потому что сочетает в себе действительность и мечту.

---

<sup>1</sup> Открывателя (лат.).

# ВЕЛИКИЙ СПОР НАЧИНАЕТСЯ



**1512.** В Севилье несколько человек следуют за гробом, который выносят из церкви на кладбище. Незаметные, скромные похороны, не так хоронят человека богатого или знатного. К месту последнего упокоения несут какого-то королевского служащего, *piloto mayor de Casa de Contratación*<sup>1</sup>, какого-то Деспучи или Веспуче. И никто в чужом городе не подозревает, что это и есть тот самый человек, чье имя будет носить четвертая часть света. Историографы и летописцы ни единым словом не упоминают об этой безвестной кончине, и тридцать лет спустя в исторических трудах можно будет прочесть, что Америго Веспуччи якобы умер в 1534 году на Азорских островах. Незамеченным скончался крестный отец Америки. И так же тихо похоронили в 1506 году в Вальядолиде самого *Adelantado*<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Главного кормчего торговой палаты (исп.).

<sup>2</sup> Губернатора захваченных или открытых земель (исп.).

великого адмирала Новой Индии, Кристофоро Колумбо. Ни король, ни герцог не провожали его гроба, и равным образом ни один летописец того времени не счел эту смерть достаточно значительным событием, чтобы оповестить о ней мир.

Две тихие могилы в Севилье и Вальядолиде. Могилы двух людей, часто встречавшихся при жизни, не избегавших друг друга и не питавших друг к другу неприязни. Два человека, воодушевленных одной и той же творческой любознательностью, честно и искренне помогавших друг другу, но над их могилами возникает ожесточенный спор. Без их вехи слава одного вступит в борьбу со славой другого; ошибки, непонимание, страсти и споры исследователей будут вновь и вновь разжигать соперничество между этими двумя великими мореплавателями, соперничество, которого никогда не было при их жизни. Но они сами не услышат этих споров и пересудов, как не слышат невнятной речи ветра, который проносится над их могилами.

В этой гротескной борьбе одной славы против другой сперва потерпел поражение Колумб. Он умер побежденным, униженным, почти забытым. Человек одной-единственной мечты и одного лишь подвига, он пережил свое бессмертное мгновение в тот час, когда его мечта осуществилась, когда «Санта-Мария» пристала к берегу Гуанакани и впервые был пересечен дотоле недоступный Атлантический океан. Еще и до этого момента великого генуэзца считали безумцем, фантазером, путаником и беспочвенным мечтателем, а уж после этого — тем более, потому что Колумб не мог освободиться от той мечты, которая с самого начала увлекала его. Когда он впервые сообщает, что «проник в самые богатые царства на земле», когда он сулит золото, жемчуга и пряности из «Индии», которой он достиг, ему еще верят. снаряжается могучая флотилия, полторы тысячи человек оспаривают друг у друга честь участия в плавании в страны Офир и Эльдорадо, которые, по уверению Колумба, он видел собственными глазами; королева вручает ему возвращенные в шелк письма к «великому хану» в Кинсае. Но вот Колумб возвращается из своего большого плавания и привозит лишь несколько сот полуголодных рабов, которых благочестивая королева отказывается прода-

вать. Несколько сот рабов и свое давнишнее заблуждение — уверенность, что он побывал в Китае и Японии; и это заблуждение становится тем безрассуднее, тем фантастичнее, чем меньше Колумб может подтвердить его фактами. На Кубе Колумб созывает свой экипаж и, угрожая непокорным сотней палочных ударов, заставляет их присягнуть перед escribano — нотариусом — в том, что Куба не остров, а материк — Китай. Беззащитные моряки, пожимая плечами за спиной безумца, подписывают присягу, не принимая ее всерьез, а один из них, Хуан де ла Коса, нисколько не задумываясь над вынужденной клятвой, спокойно наносит в составляемую им карту остров Кубу. Невзирая ни на что, Колумб снова пишет королеве, что «только канал отделяет его от золотого Херсонеса Птолемея» (полуострова Малакка), что «от Панамы до Ганга не дальше, чем от Пизы до Генуи». Вначале при испанском дворе улыбаются этим безумным обещаниям, но постепенно они начинают вызывать недовольство. Экспедиции стоят огромных денег, а что привозят? Вместо обещанного золота — полумертвых рабов, вместо пряностей — сифилис. Острова, которые корона отдает Колумбу в управление, превращаются в страшные бойни, в опустошенные, усеянные трупами поля. За одно десятилетие на Гаити погиб миллион туземцев, переселенцы нищают и бунтуют, каждое письмо и каждый из разочарованных колонистов, бегущих из этого «земного рая», приносят ужасные вести о жестоких страданиях. Вскоре в Испании убеждаются: этот фантазер умеет только мечтать, но не управлять; первое, что увидел со своего корабля новый правитель Бобадилья, посланный на смену Колумбу, были виселицы и на них, раскачиваемые ветром, трупы соотечественников. Колумба и двух его братьев отправляют в Испанию закованными в цепи, но даже после того, как Колумбу была возвращена свобода и восстановлены его честь и титул, ореол, окружавший его имя, окончательно потускнел.

Теперь, когда Колумб сходит на берег, его корабль уже не встречают с нетерпением. Напрасно просит он аудиенции при дворе — ему не дают никакого ответа, и этот старик, открывший Америку, вынужден униженно просить разрешения пользоваться в пути мулом. Но Колумб все продолжает обещать и с каждым разом все бо-

лее фантастические вещи. Он сулит королеве, а затем и папе найти в следующем путешествии «рай», обещает совершить новый крестовый поход по кратчайшему пути и «освободить Иерусалим». В своей «Книге пророчеств» он предрекает грешному человечеству через полтора года светопреставление. В конце концов никто уже больше не слушает этого fallador'a (болтуна) и его imaginacões com su Ilha Cipangu (бредней об острове Зипангу). Купцы, потерявшие из-за него деньги, ученые, презирующие его географические бредни, переселенцы, которых он разочаровал несбывшимися посулами, чиновники, завидующие его высокой должности, начинают создавать единый фронт против «адмирала москитных земель»; старика все больше загоняют в угол, и сам он покаянно признается: «Я говорил, что побывал в самых богатых царствах, я рассказывал о золоте, жемчуге, драгоценных камнях и пряностях, и когда ничего из этого не подтвердилось, я был опозорен». В 1500 году Христофор Колумбо — конченный человек, а в году 1506-м — год его смерти — в Испании его уже почти забыли.

И в последующие десятилетия о нем почти не вспоминают — слишком быстро мчится время. Каждый год приносит вести о новых героических подвигах, о новых открытиях, новых названиях, новых победах, и в такие времена легко забыть вчерашние достижения. Вернулись из Индии и Васко да Гама и Кабрал; они привезли с собой не только нагих рабов и туманные обещания, но и все сокровища Востока. Португальский король Мануэл эл Фортунату благодаря добыче, доставленной из Каликута и Малакки, становится самым богатым монархом Европы. Открыта Бразилия, Нуньес де Бальбоа впервые видит Тихий океан с высот Панамы. Кортес завоевывает Мексику. Писарро — Перу. Вот когда наконец потекло в европейские сокровищницы настоящее золото. Магеллан обогнул Америку, и после трехлетнего плавания — величайшего морского подвига всех времен — один из его кораблей, «Виктория», совершив кругосветное путешествие, возвратился в Севилью. В 1545 году открыты серебряные копи в Потоси, откуда теперь каждый год плывут в Европу тяжело нагруженные флотилии. Мореплаватели пересекли все океаны, обошли за полвека вокруг всех или почти всех частей света — какое же значение может



иметь в этой гомеровской поэме единственный подвиг одного человека? Еще не вышли книги, описывающие жизнь Колумба, объясняющие его одинокое предвидение, и плавание Колумба считается просто одним из многочисленных путешествий, совершенных прославленными новыми аргонавтами. А так как ему досталась добыча наиболее скромная, то его эпоха, которая, как и всякая другая, мерит собственной меркой, а не меркой истории, судит о нем несправедливо и предает его забвению.

Тем временем возрастает слава Америго Веспуччи. Когда все еще заблуждались, когда всех еще ослепляла иллюзия, будто бы на западе открыли Индию, один Веспуччи понял правду: это Новый Свет и другой континент. Веспуччи всегда говорил лишь правду: он не сулил ни золота, ни драгоценных камней, а скромно рассказывал, что хотя туземцы и уверяют, будто в этих краях можно найти золото, но он, как святой Фома, осторожен и не слишком доверчив: время покажет. Он путешествовал не ради денег и золота, как другие, а только из бескорыстного стремления к открытиям. Америго не мучил людей и не разрушал государства, подобно всем другим преступным конкистадорам: как гуманист, как ученый, наблюдал он и описывал жизнь чужих народов, их нравы и обычаи, не хваля и не порицая. Он, мудрый ученик Птолемея и великих философов, изучал движение новых звезд, исследовал океан, чужие моря и земли, стремясь постигнуть их тайны и чудеса. Им руководил не слепой случай, а строгая математическая и астрономическая наука; да, он один из наших, хвалят его ученые, homo humanus, настоящий гуманист! Он владеет пером и знает латынь (единственный язык, который они признают подходящим для научных трудов). Он, Веспуччи, спас честь науки, служа лишь ей, а не прибылям и деньгам. Каждый из современных ему историков, прежде чем назвать имя Веспуччи, воздает ему хвалу: и Петр Мартир, и Рамузио, и Овьедо. И так как в ту эпоху было не больше десятка ученых, к которым прислушивались современники, то Веспуччи начинают считать крупнейшим мореплавателем своего времени.

Этой необычайной славой в среде ученых Веспуччи обязан в конечном счете случайному обстоятельству, то-

му, что обе его — увы, такие тоненькие и сомнительные — книжицы напечатаны на латинском языке, на языке ученых. Прежде всего неоспоримый авторитет его трудам придает издание «Cosmographiae Introductio». И лишь потому, что он первым описал Новый Свет, ученые, для которых слово значит больше, чем дело, не задумываясь, воздают хвалу Веспуччи как первооткрывателю этого Нового Света. Демаркационную линию впервые проводит географ Шёнер: он считает, что Колумб открыл лишь несколько островов, а Веспуччи — Новый Свет. А еще лет через десять благодаря словесным и письменным повторениям это утверждение станет непреложной истиной: Веспуччи открыл новую часть света, и Америка по праву называется Америкой.

В течение всего шестнадцатого столетия ярко сияет ничем не омраченная, незаслуженная слава Веспуччи, первооткрывателя Нового Света. Лишь один-единственный раз раздается возражение, да и то очень робкое. Оно исходит от весьма своеобразного человека, от Мигеля Сервета, посмертно стяжавшего себе трагическую славу первой жертвы протестантской инквизиции — Кальвин отправил его на костер в Женеве. Сервет — любопытный образ в истории мысли, полугений, полубезумец, мятущийся, во всем дерзко сомневающийся дух, который не знает удовлетворения и считает необходимым защищать свое личное мнение в любой из областей науки. Но этому, ничего собственно не создавшему человеку присуще замечательное чутье — всегда и во всем он затрагивает решающие проблемы. В медицине он уже почти четко формулирует теорию кровообращения, созданную позднее Гарвеем, в богословии нащупывает самое слабое место Кальвина, и всегда ему помогает какая-то таинственная способность если и не разгадывать, то во всяком случае обнаруживать тайны; в географии он также затрагивает самую жгучую проблему. Отлученный от церкви, он бежит в Лион, где занимается под вымышленным именем врачебной практикой, и тогда же, в 1535 году, выпускает новое издание Птолемея, снабженное своими примечаниями. К этому изданию приложены те же карты, которые были в книге Птолемея, изданной Лаврен-

тием. Фризием в 1522 году, и в которых, согласно предложению Вальдземюллера, южная часть нового континента названа «Америкой». И в то время как в 1522 году издатель Птолемея Томас Анкупарий превозносит в своем предисловии Веспуччи, даже не упоминая имени Колумба, Сервет первым решается выступить с некоторыми возражениями против всеобщего преувеличения роли Веспуччи и против предложенного наименования новой части света. Ведь, собственно говоря, пишет Сервет, Веспуччи отправился в плавание только как купец «ut merces suas comutaret» и «multo post Columbum», много позднее Колумба. Поначалу это еще очень осторожное высказывание, можно сказать, легкое покашливание протеста. Сервет вовсе и не помышляет лишить Веспуччи славы первооткрывателя, ему не хочется только, чтобы совсем позабыли Колумба. Это еще ни в коем случае не выдвижение антитезы Колумб или Веспуччи, спор о приоритете еще не начат. Сервет указывает лишь на то, что следовало бы говорить: Веспуччи и Колумб. Не имея ни веских доказательств, ни точного знания исторической обстановки, а исходя единственно из своей инстинктивной подозрительности, заставлявшей его чутко ошибки и подходить к любому вопросу с совершенно новой стороны, Сервет оказался первым, кто указал на то, что не все обстоит ладно с этой славой Веспуччи, словно лавина, обрушившейся на мир.

Решающее возражение должно было исходить, конечно, не от такого человека, как Сервет, который, находясь в Лионе, узнает обо всем лишь из книг и маловероятных сообщений, но от того, кто владеет точными сведениями о подлинных исторических событиях. И вот раздался авторитетный голос, возражавший против чрезмерной славы Веспуччи, голос человека, перед которым склонялись короли и императоры, чье слово спасло миллионы замученных, истерзанных пыткой людей. То был голос великого епископа Лас Касаса, с такой потрясающей силой обличавшего зверскую расправу конкистадоров с туземцами, что и по сей день его записки читаются с содроганием сердца. Лас Касас, доживший до девяноста лет, был живым свидетелем великой эпохи открытий и благодаря

своему правдолюбию и беспристрастию священника — свидетелем, не вызывавшим сомнения. Написанная им большая история Америки, «*Historia general de las Indias*»<sup>1</sup>, начатая в 1559 году, на восемьдесят пятом году его жизни, в вальядолидском монастыре, еще и сегодня может считаться самым солидным документом по истории той эпохи. Родившийся в 1474 году Лас Касас приехал в Эспаньолу (Гаити) в 1502 году, следовательно, еще при жизни Колумба, и вначале как священник, а впоследствии как епископ, если не считать его многочисленных поездок в Испанию, прожил в новой части света до семидесяти трех лет. И поэтому никто не мог в большей мере, чем он, быть пригодным к тому, чтобы компетентно и достоверно свидетельствовать о событиях той эпохи открытий.

Однажды в пути, возвращаясь из *Nuevas Indias*<sup>2</sup> в Испанию, Лас Касас, видимо, натолкнулся на одну из тех карт или заграничных книг, в которых новая страна была обозначена именем «Америка». И, вероятно, столь же изумленный, как и мы, спросил: «Почему же Америка?» Ответ — потому что ее открыл Америго Веспуччи, — естественно, должен был вызвать у епископа гнев и внушить ему подозрения. Ведь никто не знал всего так, как он. Его отец сопровождал Колумба во втором плавании, да и сам он мог засвидетельствовать, что Колумб «первым открыл ворота того океана, что был замкнут в течение стольких столетий». Как же смеет Веспуччи приписывать себе или как смеют другие приписывать ему славу первооткрывателя Нового Света? Вероятно, и Лас Касас столкнулся с распространенным в то время аргументом, что Колумб открыл только Антилы — острова, лежащие на пути в Америку, а Веспуччи — собственно материк, и это, мол, дает ему право называться открывателем континента.

Тут уж Лас Касас, человек вообще-то мягкосердечный, приходит в ярость. Если Веспуччи утверждает подобное — он лжец. Ни один человек, за исключением адмирала во время его второго плавания в 1498 году, не ступал на землю «Париас»: это, кроме всего прочего, за-

---

<sup>1</sup> Всеобщая история Индий (исп.).

<sup>2</sup> Новых Индий (исп.).

свидетельствовано торжественной клятвой Алонсо де Охеда в судебном процессе, затеянном в 1516 году государственной казной против наследников Колумба. Среди доброй сотни свидетелей, выступавших в этом процессе, тоже не было ни одного человека, который посмел бы оспаривать этот факт. Эта страна должна с полным правом называться «Колумбией». Как смеет Веспуччи «узурпировать славу и честь, которые принадлежат адмиралу-губернатору, и приписывать себе его заслуги»? Где, когда, с какой экспедицией побывал Веспуччи на материке Америки до адмирала?

Лас Касас изучает сообщение Веспуччи в том виде, в каком оно было напечатано в «Cosmographiae Introductio», дабы разоблачить его мнимое притязание на приоритет. И тут в «Комедии ошибок» наступает новый гротескный поворот, который толкает и без того запутанный клубок в совершенно ложном направлении. В первом издании на итальянском языке, где описано путешествие Веспуччи 1497 года, сказано, что он высадился в каком-то месте, которое называется «Лариаб». В результате опечатки или произвольного исправления в латинском издании, вышедшем в Сен-дье, вместо слова «Лариаб» напечатано слово «Париас», отчего создается впечатление, будто бы Веспуччи и сам утверждал, что посетил землю «Париас» еще в 1497 году, то есть ровно за год до Колумба. Поэтому для Лас Касаса совершенно ясно — Веспуччи обманщик, воспользовавшийся после смерти адмирала удобным случаем, чтобы приписать себе открытие нового материка с помощью публикации в «заграничных книгах» (ведь в Испании его сразу же изобличили бы). Лас Касас доказывает, что в действительности Веспуччи отправился в Америку в 1499, а не в 1497 году, но предусмотрительно замолчал имя своего спутника Охеды. «То, что писал Америго, — возмущается честный Лас Касас, — с целью прославить себя и молчаливо узурпировать честь открытия материка», было сделано с дурным умыслом, и, следовательно, Веспуччи — обманщик.

Собственно говоря, только опечатка в латинском издании — замена слова «Лариаб», существующего в под-

линнике, словом «Париас» — вызвала гнев Лас Касаса по поводу злонамеренного обмана. Но, сам того не желая, Лас Касас затронул наиболее щекотливое обстоятельство, а именно то, что во всех письмах и сообщениях Веспуччи чрезвычайно туманно говорится о задачах и действительных результатах его путешествий. Веспуччи никогда не называет достаточно внятно имена командующих флотилиями, приводимые им даты в разных изданиях различны, его определения долгот неправильны. С того момента, как ученые начали изучать подлинные исторические материалы его плаваний, не могло не зародиться подозрение, что по каким-то причинам — с которыми мы столкнемся позже — простые и ясные обстоятельства им умышленно затемнялись. Здесь мы впервые приближаемся к самой сути тайны Веспуччи, уже сотни лет занимающей умы ученых всех наций, — сколько же в письмах Веспуччи, где рассказано о совершенных им путешествиях, правды и сколько выдумки (скажем резко — обмана)?

Вызывает сомнение прежде всего первое из четырех путешествий Веспуччи (то самое от 10 мая 1497 года), в котором усомнился уже Лас Касас и которое могло бы во всяком случае утвердить за Веспуччи несомненный приоритет в открытии нового континента. Это плавание не упомянуто ни в одном историческом документе, а некоторые его подробности, без сомнения, заимствованы из второго плавания, совершенного Веспуччи вместе с Охедой. Даже самые ярые защитники Веспуччи не сумели доказать его алиби, того, что он действительно совершил плавание в названном году, и, чтобы придать этому сообщению тень правдоподобия, вынуждены были довольствоваться гипотезами. Если бы мы стали подробно приводить доказательства обеих сторон в этих нескончаемых и резко противоречивых спорах ученых-географов, то получилась бы целая книга. Достаточно сказать, что три четверти высказавшихся по этому вопросу не признают первого плавания Веспуччи, считая его придуманным, в то время как остальные, выступая в качестве присяжных защитников Веспуччи, утверждают, что именно во время этого плавания он первым открыл по одной версии — Амазонку, а по другой — Флориду. Но поскольку необычайная слава Веспуччи основывается главным

образом на этом первом — весьма сомнительном — плавании, то Вавилонская башня, целиком построенная из ошибок, совпадений и невежественной болтовни, зашаталась, как только ее фундамента коснулся топор филологии.

Решающий удар наносит в 1601 году Эррера своей работой «Historia de las Indias Occidentales»<sup>1</sup>. Испанскому историку не пришлось тратить много времени, чтобы вооружиться необходимым аргументом, так как он ознакомился с рукописью не изданной еще в то время книги Лас Касаса, и, собственно, это все еще Лас Касас ратует против Веспуччи. Эррера, пользуясь аргументами Лас Касаса, доказывает, что даты в «Quatuor Navigationes»<sup>2</sup> неверны, что Веспуччи вышел в море с Охедой в 1499, а не в 1497 году, и делает вывод — при невозможности для обвиняемого получить слово, — что Америго Веспуччи «коварно и злонамеренно извратил свои сообщения, стремясь украсть у Колумба честь считаться первооткрывателем Америки».

Это разоблачение вызвало мощный отклик. Как? — заволновались ученые, значит, открыл Америку вовсе не Веспуччи? Значит, этот мудрый человек, чьей безмерной скромностью мы все восхищались, оказался лгуном, мошенником, каким-то Мендишем Пинту — одним из этих отвратительных проходимцев, которые хвастались якобы совершенными ими путешествиями? Ведь если Веспуччи сказал неправду об одном из своих плаваний, можно ли верить тому, что он рассказывает о других? Какой позор! Новый Птолемей, оказывается, был подлым Геростратом, который коварно пробрался в храм славы, дабы ценой преступного мошенничества приобрести бессмертие. Какой стыд для всего ученого мира, для тех, кто, дав одурочить себя хвастливой болтовней, назвал новую часть света именем обманщика! Не пора ли исправить постыдную ошибку? И брат Педро Си-

---

<sup>1</sup> «История Западных Индий».

<sup>2</sup> «Четыре плавания».

мон самым серьезным образом предлагает в 1627 году «запретить пользование любым географическим сочинением, любой картой, в которых содержится имя «Америка».

Маятник качнулся в другую сторону. Веспуччи — конченный человек, и в семнадцатом веке слава снова возносит полузабытое имя Колумба. Великим, как сама новая земля, предстает его образ. Из всех подвигов остался лишь подвиг, совершенный им, потому что дворцы Монтесумы ограблены и разрушены, сокровищницы Перу опустошены, все доблестные и постыдные деяния отдельных конкистадоров забыты. И только Америка — реальность, украшение Земли, прибежище для всех гонимых, страна будущего. Какая несправедливость постигла этого человека при жизни и после его смерти тяготела над ним более столетия! Колумб становится непризнанным в свое время героем, все теневые стороны его образа скрадываются, о дурном правлении великого адмирала, о его религиозных бреднях не говорится ни слова, и его жизнь начинают всячески идеализировать. Все пережитые им трудности драматически преувеличиваются; оказывается, его матросы подняли мятеж, и он силой заставил их плыть дальше; рассказывают, как низкий негодяй привез его в кандалах на родину и как он со своим полумертвым от голода ребенком нашел пристанище в монастыре Рабиды. И если раньше было сделано слишком мало для прославления его подвига, то теперь благодаря неиссякаемой потребности в героизации делается, пожалуй, даже слишком много.

Но по старинному закону драмы и мелодрамы каждому героизированному образу должен противостоять образ отрицательный, как свету — тень, богу — дьявол, Ахиллу — Терсит, безумному мечтателю Дон Кихоту — здравомыслящий практик Санчо Панса. Чтобы изобразить гения, нужно заклеить его противоположность, все, что противостояло ему на земле, — низменные силы непонимания, зависти, предательства. Исходя из этого, враги Колумба — честный, добросовестный, незначительный чиновник Бобадилья и кардинал Фонсека — дельный и мыслящий человек — очернены как последние негодяи. Но самый главный противник счастливо найден



в лице Америго Веспуччи, и легенде о Колумбе противопоставлена легенда о Веспуччи. Сидит в Севилье этакая раздувшаяся от зависти ядовитая жаба, ничтожный купчишка, которому очень хочется прослыть ученым и исследователем. Но он слишком труслив, чтобы решиться взойти на корабль. Из своего забранного решеткой окошка он, скрежеща зубами, видит, как чествуют вернувшегося на родину великого Колумба. Украсть славу у Колумба! Украсть ее для себя! И в то время как благородного адмирала влекут закованного в цепи, этот купчишка ловко наскребает из чужих книг описания путешествий, которых он никогда не совершал. И едва успевают похоронить Колумба, который уже не может защищаться, как этот жаждущий славы шакал сообщает в своих подобо-страстных письмах всем властителям мира о том, что якобы он является первым и подлинным открывателем Нового Света, и из предосторожности печатает эти письма за границей, на латинском языке. Он заискивает перед ничем не подозревающими учеными, что живут где-то на другом конце земли, и умоляет их назвать Новый Свет его именем — Америкой. Он пробирается к заклятому врагу Колумба, разделяющему его ненависть, к епископу Фонсеке, и при помощи хитрости добивается, чтобы его, который ничего не смыслит в мореплавании и лишь торчит в своей конторе, назначили *piloto mayor* и начальником *Casa de la Contratación*<sup>1</sup>, и все это для того, чтобы он мог, добравшись до карт, приложить к ним свою руку. Таким путем он, наконец, получил возможность — все это действительно приписывают Веспуччи — осуществить свой великий обман. В качестве *piloto mayor*, в чьи обязанности входит заказывать географические карты, он может бесконтрольно требовать, чтобы всюду, во все карты и глобусы было внесено его проклятое имя — Америка, Америка, Америка, чтобы оно присутствовало повсюду как название Нового Света. Так покойник, которого при жизни заковали в цепи, был еще раз обворован и обманут этим подлым гением лжи. Не имя Колумба, а имя этого вора украшает теперь новую часть света.

Таков образ Веспуччи в семнадцатом столетии — клеветник, фальсификатор, лжец. Так орел, смелым взором

---

<sup>1</sup> Главным кормчим правления торговой палаты (исп.).

обозревавший мир, превратился внезапно в отвратительного, роющегося в земле крота, в осквернителя трупов и вора. Этот образ несправедлив, но он прочно укореняется. На десятки, на сотни лет имя Веспуччи втоптанно в грязь. И Бейль и Вольтер топчут его могилу, и в каждом школьном учебнике рассказывается о том, как подло стяжал себе славу Веспуччи. И даже такой мудрый и рассудительный человек, как Ралф Уолдо Эмерсон, спустя триста лет (1856) под влиянием этой легенды напишет: «Странно, что обширная Америка должна носить имя вора. Америго Веспуччи, торговец маринадом из Севильи, чей высший морской ранг был равен чину младшего штурмана экспедиции, так и не вышедшей в море, сумел занять в этом лживом мире место Колумба и окрестил половину земного шара своим бесчестным именем».

# ДОКУМЕНТЫ НАКАПЛИВАЮТСЯ



**В** семнадцатом столетии Америго Веспуччи — конченный человек. Спор вокруг его имени, его подвига или его подлости, казалось бы, раз и навсегда закончен. Веспуччи развенчан, уличен в обмане и — не носи Америка его имени — был бы обречен на позорное забвение. Но начинается другое столетие, которое не хочет верить ни рассказам современников, ни традиционным сплетням. Историография постепенно превращается из простого летописания в критическую науку, которая ставит своей задачей проверить все факты, пересмотреть все свидетельства. Из всех архивов вытаскивают документы, их изучают, начинают сличать, и неизбежно вновь всплывает старое, казалось бы, давно решенное, судебное дело — Колумб против Веспуччи.

Начинают соотечественники Веспуччи. Они не хотят мириться с тем, чтобы имя этого флорентийца, чья слава столько лет разносила по миру славу их родного города, оставалось пригвожденным к позорному столбу.

Флорентийцы требуют прежде всего глубокой и беспристрастной проверки. Аббат Анджело Мариа Бандини публикует в 1745 году первую биографию флорентийского мореплавателя — «*Vita e lettere di Amerigo Vesputici*»<sup>1</sup>. Бандини удается обнаружить ряд документов. В 1789 году Франческо Бартолоцци присоединяется к Бандини, издавая новое «*Ricerche storico-critiche*»<sup>2</sup>, и результаты его исследования представляются флорентийцам столь обнадеживающими для реабилитации их земляка, что падре Станислав Кановаи произносит в одной из академий «*Elogio d'Amerigo Vesputici*»<sup>3</sup> — торжественную хвалебную речь в пользу оклеветанного *celebro navigator*, знаменитого мореплавателя. Одновременно начинаются поиски в испанских и португальских архивах, и чем больше роются в этом деле, поднимая столбы туманной пыли, тем оно становится туманнее.

Португальские архивы оказались самыми бедными. В них нет ничего ни об одной из двух экспедиций, в которых якобы участвовал Веспуччи. Не упомянуто его имя и в расходных книгах. Никакого намека на тот «*zibaldone*»<sup>4</sup>, дневник путешествий, который Веспуччи, по его словам, вручил королю Мануэлу Португальскому. Ничего. Ни строки, ни слова. И один из наиболее ожесточенных противников Веспуччи немедленно объявляет такое умолчание лучшим доказательством того, что Америго просто лгал, рассказывая об обоих путешествиях как о совершенных им при «*auspiciis et stipendio Portugallensium*», — «поощрении и материальной помощи Португалии». Однако то обстоятельство, что об отдельном человеке, который сам не снаряжал и не отправлял экспедиций, через триста лет не сохранилось документов, разумеется, еще ничего не доказывает. Великий португалец, прославивший свою нацию, Луиш Камоэнс шестнадцать лет отдал служению португальскому королю и, находясь на королевской службе, был ранен, однако о нем тоже ни-

<sup>1</sup> «Жизнь и письма Америго Веспуччи» (итал.).

<sup>2</sup> «Историко-критическое исследование» (итал.).

<sup>3</sup> «Похвала Америго Веспуччи» (итал.).

<sup>4</sup> Литературная смесь (итал.).

где официально не упоминается. Камоэнс был арестован и заключен в тюрьму в Индии; но где же документы или хотя бы факты судебного процесса? О его путешествиях тоже нельзя найти ни строчки. Исчез дневник Пигафетты о еще более достопамятном плавании Магеллана. И если в архивах Лисабона документальные данные о самом значительном периоде жизни Веспуччи равны нулю, то можно только напомнить, что ровно столько же сведений почерпнули мы из архивов об африканских приключениях Сервантеса, о годах странствий Данте, о театральной деятельности Шекспира. И все-таки Сервантес боролся, Данте странствовал из края в край, и Шекспир сотни раз выходил на сцену. Даже наличие документов не всегда является достаточным доказательством, а их отсутствие — и того менее.

Флорентийские документы оказались полнее. Бандини и Бертолоцци нашли в государственном архиве три письма Веспуччи к Лоренцо Медичи. Это не оригиналы, а более поздние копии из коллекции, собранной неким Вальенти, который сам переписывал или поручал переписывать все сообщения, письма и публикации о новых путешествиях и открытиях и располагал их в хронологическом порядке. Одно из этих писем Веспуччи написал непосредственно по возвращении из третьего плавания к мысу Верду — первого плавания, предпринятого им по заданию португальского короля. Второе письмо содержит подробное сообщение об этом так называемом третьем плавании, таким образом включает, по существу, все то, что было впоследствии опубликовано в «Mundus Novus», однако без характерной для последнего очень сомнительной по качеству литературной отделки. Все это кажется блестящим доказательством правдивости Веспуччи: по крайней мере факт так называемого третьего плавания — того самого, которое благодаря «Mundus Novus» сделало его знаменитым, — теперь бесспорно подтвердился, и Веспуччи уже можно прославлять как невинную жертву необоснованной клеветы. Но вот обнаруживают еще и третье письмо к Лоренцо Медичи, в котором Веспуччи — чертовски неудачливый человек! — описывает свое первое плавание 1497 года, выдавая его за плавание, совершенное в 1499 году, и таким образом подтверждается именно то, в чем его упрекают против-

ники, то есть что в печатном издании он датировал свое плавание двумя годами раньше. Этим его собственно-ручным письмом неопровержимо доказано, что он или кто-то другой сфабриковал из одного путешествия два и что притязание Веспуччи на то, что он будто бы первым ступил на американскую землю, — наглое и вдобавок неуклюжее мошенничество. Теперь мрачное подозрение Лас Касаса неопровержимо подтверждено. И те, кто хочет спасти репутацию Веспуччи как правдивого человека, — его самые ревностные защитники и земляки, выступившие в «*Raccolta Columbiana*»<sup>1</sup> — не видят другого выхода, кроме последнего и самого отчаянного: объявить это письмо Веспуччи подложным.

Таким образом, мы находим во флорентийских документах уже знакомый нам образ вечно двуликого Веспуччи: с одной стороны, это человек, который в частных письмах к своему патрону Лоренцо Медичи честно и скромно сообщает о действительном положении вещей; с другой стороны, это Веспуччи печатных книг, герой великой славы и великого скандала, лживо похвалявшийся никогда не совершенными им открытиями и путешествиями и благодаря этой хвастливой болтовне добившийся того, что целая часть света была названа его именем. Чем дольше катится клубок ошибок, тем все больше он запутывается.

И странно, такое же противоречие обнаруживают испанские документы. Из них узнаешь, что Веспуччи приехал в Севилью в 1492 году совсем не как крупный ученый и бывалый мореход, а как мелкий служащий, маклер торгового дома Хуаното Беральди, являвшегося своего рода отделением флорентийского банка Медичи, и занимался главным образом снаряжением кораблей и финансированием экспедиций. Уже одно это обстоятельство не слишком-то вяжется с представлением о руководителе отважной экспедиции, будто бы отплывшей от берегов Испании в 1497 году. Более того, об этом так называемом первом плавании, совершая которое Веспуччи якобы опередил Колумба и открыл материк, нет

---

<sup>1</sup>«Колумбово собрание» (итал.).

следов ни в одном из документов, и тем самым почти неопровержимо доказано, что в 1497 году Веспуччи действительно сидел в своей севильской конторе и усердно занимался торговлей, а вовсе не исследовал берега Америки, как рассказывается в его «*Quatuor Navigationes*».

Снова документы как будто подтверждают все обвинения, выдвинутые против Веспуччи. Однако странно: именно в испанских документах содержатся одновременно и данные, которые столь же убедительно свидетельствуют о честности Веспуччи, сколь другие данные, несомненно обличают его в наглой, хвастливой болтовне. Вот акт о принятии им испанского подданства, из которого явствует, что 24 апреля 1505 года Америго де Веспуччи становится испанским подданным «за усердие, которое он уже доказал и еще докажет на службе испанской короне». Вот документ от 22 марта 1508 года о назначении Веспуччи «*piloto mayor*» в *Casa de Contratación* и руководителем всей навигационной службы в Испании. В его обязанность входит «обучать штурманов пользоваться измерительными приборами, астролябией и квадрантами, а также проверять их знания и умение сочетать теорию с практикой». Вот королевский приказ составлять *padrón real*<sup>1</sup>, то есть карту мира, которая включала бы все новооткрытые побережья, причем карту эту Веспуччи обязан постоянно дополнять и улучшать. Мыслимо ли, чтобы испанская корона, имевшая в своем подчинении самых выдающихся мореплавателей тех времен, поручила столь ответственную должность человеку, чье лживое хвастовство и книги о выдуманных путешествиях не внушали никакого доверия? Правдоподобно ли, чтобы король соседней Португалии самолично призвал в свою страну именно этого человека и поручил ему сопровождать две флотилии, отправлявшиеся в Южную Америку, не будь Веспуччи уже прославленным специалистом по навигации? И разве то обстоятельство, что купец Хуаното Беральди, у кого долгие годы работал Веспуччи и который, следовательно, лучше всех других знал, заслуживал ли Веспуччи доверия, назначил, умирая, именно его своим душеприказчиком и ликвидатором фирмы,— разве все это не является доказательством честности

---

<sup>1</sup> Королевская опись (исп.).

Америго Веспуччи? Снова мы сталкиваемся с одним и тем же противоречием: любой документ о жизни Веспуччи превозносит его как честного, добросовестного, очень знающего человека. Но стоит взять в руки напечатанные работы самого Веспуччи, как мы обнаруживаем хвастовство, небылицы, неправдоподобие.

Однако разве нельзя быть превосходным мореплавателем и в то же время безудержно хвастать и преувеличивать? Разве нельзя быть великолепным составителем географических карт и в то же время мелким завистником? Разве не считаются истари фантастические рассказы слабостью мореходов, а зависть к достижениям коллег — профессиональной болезнью ученых? Таким образом, все документы о Веспуччи отнюдь не снимают с него обвинения в том, что он мошенническими подделками присвоил себе честь открытия Америки, принадлежащую по праву великому адмиралу.

Но вот из могилы раздается голос, доказывающий честность Веспуччи. В великом судебном процессе «Колумб против Веспуччи» свидетелем в пользу Веспуччи выступает именно тот, от кого, казалось, он менее всего мог ожидать поддержки: сам Христофор Колумб. Незадолго до своей смерти, 5 февраля 1505 года, то есть тогда, когда «Mundus Novus» уже давно должен был бы стать известным в Испании, адмирал, в одном из ранних писем называвший Веспуччи своим другом, шлет своему сыну Дьего письмо следующего содержания:

«5 февраля 1505.

Мой дорогой сын,

Дьего Мендес выехал отсюда в понедельник, 3 сего месяца. После его отъезда я беседовал с Америго Веспуччи, который направляется ко двору, куда его призвали, чтобы посоветоваться с ним относительно некоторых вопросов мореплавания. Он всегда выражал желание быть мне полезным (*él siempre tuvo deseo de me hacer placer*), это честный человек (*mucho hombre de bien*). Счастье было к нему неблагоприятно, как и ко многим другим. Его труды не принесли ему тех выгод, на которые он был вправе рассчитывать. Он едет туда (ко двору) с горячим желанием добиться для меня при удобном случае (*si a sus manos está*) чего-нибудь благоприятного (*que redonde a*



mi bien). Я не имею возможности, находясь здесь, подробнее объяснить ему, чем он мог бы быть нам полезен, потому что не знаю, чего от него хотят. Но он полон решимости сделать для меня все, что в его силах».

Это письмо — одна из самых неожиданных сцен в нашей «Комедии ошибок». Два человека, в течение трехсот лет являвшиеся в ложном представлении людей непримиримыми соперниками, которые ожесточенно враждовали из-за права увидеть свое имя присвоенным новой земле, были на самом деле сердечными друзьями! Колумб, который из-за свойственной ему подозрительности рассорился почти со всеми своими современниками, хвалит Веспуччи как своего давнишнего помощника и делает его своим заступником при дворе! Значит, они оба — и это бесспорный исторический факт — не имели ни малейшего представления о том, что десять поколений ученых и географов станут натравливать друг на друга их тени в жаркой схватке вокруг пустого звука одного из имен, что в «Комедии ошибок» они станут противниками, и один будет играть роль светлого гения, которого обкрадывает другой, подлый негодяй. Разумеется, обоим неведомо слово «Америка», вокруг которого предстояло разгореться этому спору. Колумб и не подозревал, что за открытыми им островами находится гигантский материк, так же как Веспуччи не знал, что именно к нему относится побережье Бразилии. Люди одной профессии, оба не избалованные судьбой и не создававшие своей безмерной славы, они понимали друг друга лучше, чем большинство их биографов, которые вопреки психологической правде приписывали им совершенно невозможное в то время понимание масштабов собственных достижений. И снова, как это часто случается, правда разбила легенду.

Заговорили первые документы. Но именно после их обнаружения и истолкования великий спор вокруг имени Веспуччи разгорается с еще большей силой; никогда еще тридцать две страницы печатного текста не исследовались в поисках достоверности с таким усердием со всех сторон — психологической, географической, карто-

графической, исторической и полиграфической,— как исследовались сообщения Веспуччи о его путешествиях. Но в результате спорящие географы защищают лишь свои собственные утверждения и отрицания: да или нет, черное или белое, первооткрыватель или лжец — твердят они с одинаковой уверенностью и, казалось бы, с одинаково непреложными доказательствами. Бегло, шутки ради, я хочу сопоставить здесь все, что за последнее столетие утверждали различные авторитеты по поводу Веспуччи. Он совершил свое первое плавание вместе с Пинсоном. Он совершил свое первое плавание с Лепе. Он совершил свое первое плавание в составе неизвестной экспедиции. Он вообще не совершал первого плавания, все это выдумки и ложь. Он открыл в первом плавании Флориду. Он ничего не открывал, потому что вообще не участвовал в плавании. Он первым увидел реку Амазонку. Он увидел ее лишь во время своего третьего плавания, а раньше спутал ее с рекой Ориноко. Он обошел и дал названия всем частям побережья Бразилии вплоть до Магелланова пролива. Он обошел лишь самую малую часть побережья, названия же были даны задолго до него. Он был великим мореплавателем. Нет, он никогда не командовал ни кораблем, ни экспедицией. Он был великим астрономом. Ни в коем случае! Все, что он писал о звездах,—чепуха. Приводимые им даты достоверны. Эти даты ложны. Он был замечательным кормчим. Он был всего лишь подрядчиком по поставке мяса да к тому же еще и невеждой. Его сообщения заслуживают доверия. Он профессиональный мошенник, обманщик и лгун. Веспуччи первый после Колумба мореплаватель и открыватель своей эпохи. Он гордость, нет, он позор науки. Все это утверждает в книгах, написанных за и против Веспуччи, подкрепляется множеством так называемых доказательств, объясняется и обосновывается одинаковой страстностью. И так же, как триста лет тому назад, нет ответа на все тот же давнишний вопрос: «Кем же был Америго Веспуччи? Что он совершил и чего не совершал?» Можно ли найти ответ на этот вопрос? Можно ли решить великую загадку?

# КЕМ БЫЛ ВЕСПУЧЧИ



**М**ы попытались рассказать здесь в хронологическом порядке о той великой «Комедии ошибок», которая разыгрывалась вокруг жизни Америго Веспуччи на протяжении трех столетий и привела в конце концов к тому, что новая часть света была названа его именем. Человек становится знаменитым, но, собственно, неизвестно почему. Можно об этом говорить что угодно: он прославился по праву или без такового, благодаря своим заслугам или с помощью мошенничества. Ведь слава Веспуччи — это вовсе не слава, а нимб, возникший вокруг его имени не столько из-за того, что он совершил, сколько из-за ошибочной оценки совершенного им.

Первая ошибка, первый акт нашей «Комедии» — это появление имени Веспуччи на титульном листе книги «*Paesi ritrovati*». Вследствие чего читатели могли подумать, что новые страны были открыты не Колумбом, а Веспуччи. Второй ошибкой, вторым актом была опечатка: «Париас» вместо «Лариаб», допущенная в ла-

тинском издании, в силу чего стали утверждать, что не Колумб, а Веспуччи первым ступил на материк Америки. Третьей ошибкой, третьим актом была ошибка скромного провинциального географа, предложившего на основании тридцати двух страниц, написанных Веспуччи, назвать Америку его именем. До конца третьего акта, как и полагается в настоящей плутовской комедии, Америго Веспуччи представляется героем, он царит на сцене как благороднейший рыцарь без страха и упрека. В четвертом акте рождаются подозрения, и уже непонятно, кто он — герой или обманщик? Пятый, заключительный акт, который разыгрывается уже в наш век, должен привнести еще один, неожиданный подъем, чтобы остроумно завязанный узел начал распутываться и в финале все разрешилось бы ко всеобщему удовлетворению.

Но, по счастью, история — великолепный драматург; она умеет находить как для своих трагедий, так и для своих комедий блестящую развязку. Начиная с четвертого акта нам известно, что Веспуччи не открывал Америки, не ступал первым на материк и вообще никогда не совершал того первого плавания, которое надолго сделало его соперником Колумба. Но в то время как на сцене ученые еще спорят о том, сколько плаваний, описанных Веспуччи в его книге, он действительно совершил и скольких не совершал, появляется новое лицо с ошеломляющим известием, что якобы даже эти тридцать две страницы, в том виде, в каком они до нас дошли, написаны не Веспуччи, что эти тексты, взволновавшие весь свет, не что иное, как чья-то безответственная и произвольная компиляция, которая самым грубым образом искажает рукопись Веспуччи. Этот *deus ex machina*,<sup>1</sup> которого зовут профессором Маньяги, совсем по-новому ставит вопрос и, для того чтобы поставить его правильно, сперва переворачивает его вниз головой. Если некоторые и признавали, что Веспуччи, во всяком случае, сам написал книги, распространяемые под его именем, и лишь сомневались в том, действительно ли он совершил описанные в этих книгах путешествия, то Маньяги утверждает, что хотя Веспуччи и совершал плавания, но

---

<sup>1</sup> «Бог из машины» (лат.) — в античных пьесах бог, внезапно появившийся и разрешавший все противоречия.

весьма сомнительно, чтобы он сам написал свои книги в том виде, в каком они существуют в настоящее время. Следовательно, не Веспуччи похвалялся ложными достижениями, а под прикрытием его имени было учинено и написано много безобразного. Поэтому, если мы хотим справедливо судить о Веспуччи, мы должны — и это самое правильное, — отложив в сторону обе его знаменитые напечатанные работы: «Mundus Novus» и «Quatuor Navigationes», — опираться лишь на три оригинала его писем, которые защитники Веспуччи без всякого на то основания объявили поддельными.

Утверждение, что Веспуччи нельзя считать в полной мере ответственным за распространяемые под его именем тексты, вначале озадачивает. Что же тогда остается от славы Веспуччи, если даже эти книги написаны не им? Но при более внимательном рассмотрении тезис Маньяги оказывается не таким уж новым. В действительности подозрение о том, что фальсифицировал отчет о первом плавании Веспуччи вовсе не он сам, а кто-то неизвестный, воспользовавшийся его именем, так же старо, как и первое обвинение, выдвинутое против него. Припоминают, что епископ Лас Касас был первым, обвинившим Веспуччи в том, что он своим лживым сообщением о никогда не совершенном плавании добился наименования Америки своим именем. Лас Касас обвинял Веспуччи в «хитрейшем обмане» и грубой несправедливости. Но если повнимательнее вчитаться в текст Лас Касаса, то при всех этих резких упреках постоянно обнаруживается определенная *reservatio mentalis*<sup>1</sup>. Лас Касас хоть и клеймит обман, но всегда осторожно пишет об обмане, к которому прибег Веспуччи «или те, кто опубликовал его «Quatuor Navigationes». Следовательно, Лас Касас не исключал возможности, что незаслуженное возвеличение Веспуччи произошло без его ведома и участия. Так же и Гумбольдт, в отличие от профессиональных теоретиков не считающий любую напечатанную книгу непогрешимым евангелием, явственно выражает сомнение, не попал ли Веспуччи в эту передрагу, как Понтий Пилат в «Верую». «Не совершили ли этого подлога без ведома Америго собирателя рассказов о пу-

---

<sup>1</sup> Мысленная оговорка (лат.).

тешествиях? — спрашивает Гумбольдт.— Или, может быть, это всего лишь следствие путаного изложения событий и неточных сведений?»

Итак, ключ был уже изготовлен, и Маньяги с его помощью только открыл дверь для новых наблюдений. Объяснение Маньяги кажется мне логически наиболее убедительным, так как оно совершенно естественно и просто разрешает все противоречия, занимавшие собой три столетия. С самого начала психологически неправдоподобно было уже то, что один и тот же человек описывал в своей книге плавание, совершенное им якобы в 1497 году, а в своем частном письме датировал это же путешествие 1499 годом; или то, что он якобы послал описания своих плаваний во Флоренцию двум разным людям, принадлежавшим к тому узкому кругу, где письма передавались из рук в руки, причем эти описания, помеченные разными датами, содержали противоречивые подробности. Маловероятным было и то, что человек, проживавший в Лисабоне, якобы переслал эти письма именно какому-то захолустному князьку в Лотарингию и что его труд был напечатан в таком оторванном от мира городке, как Сен-Дье. Если бы Веспуччи сам издал или собирался издать свои «произведения», то он по меньшей мере дал бы себе труд устранить до *imprimatur*<sup>1</sup> наиболее грубые, бросающиеся в глаза противоречия. Мыслимо ли, например, чтобы сам Веспуччи, с совершенно несвойственной ему высокопарностью, полностью противоречащей тону писем, написанных его собственной рукой, лично сообщал Лоренцо Медичи, почему он свое путешествие в «*Mundus Novus*» называет третьим,— «потому что до него я уже совершил два плавания на запад по поручению светлейшего короля Испании» (*Vestra Magnificenza saprà come per commissione de de questo Rè d'Ispagna mi parti*)<sup>2</sup>.

Кому же сообщает Веспуччи удивительную новость о том, что он уже совершил ранее два плавания? Своему хозяину, которому он прослужил в качестве корреспондента почти десять лет и кто, следовательно, должен был с точностью до дня и часа знать, предпринимал ли его

<sup>1</sup> Напечатания (лат.).

<sup>2</sup> «Ваше величество узнает, как я ездил по поручению этого короля Испании» (итал.).

фактор длительные путешествия и когда именно: ведь понесенные расходы, равно как и полученные от этих путешествий прибыли, должны быть внесены в расходные книги. Это столь же бессмысленно, как если бы некий автор, посылая новую книгу своему издателю, который уже в течение десяти лет неизменно публиковал его произведения и производил с ним расчет, заявил бы ему, что это, дескать, не первая его книга и он уже и прежде печатался. Подобные нелепости и противоречия пеэтрят на страницах печатного текста книги Веспуччи — нелепости и противоречия, которые никак нельзя приписывать самому Веспуччи. Вот почему наиболее правдоподобным является предположение Маньяги о том, что три письма Веспуччи, найденные в архивах и до сего времени отвергавшиеся его защитниками как поддельные, в действительности, будучи написаны рукой самого Веспуччи, являются единственными достоверными документами, а прославленные произведения «Mundus Novus» и «Четыре плавания» следует считать недостоверными публикациями, в которых содержатся всевозможные добавления, изменения и искажения.

Однако было бы грубым преувеличением, исходя из этого, безоговорочно называть «Четыре плавания» подделкой, так как в них все же, несомненно, использованы подлинные материалы, написанные рукой Веспуччи. Неизвестный издатель проделал примерно то, что делают владельцы антикварных лавок, когда они из подлинного ларца эпохи Возрождения, умело используя настоящие и поддельные материалы, мастерят два-три ларца, а то и целый гарнитур, вследствие чего тот, кто отстаивает подлинность этих вещей, так же неправ, как и тот, кто называет их поддельными. Флорентийский издатель, из осторожности скрывший свое имя, безусловно, имел в руках письма Веспуччи, адресованные торговому дому Медичи, — те три известных нам письма да, вероятно, и другие, которые нам неизвестны. Издатель, разумеется, знал о том огромном успехе, который имело письмо Веспуччи о его третьем путешествии, о «Mundus Novus», вышедшем в течение нескольких лет в двадцати трех изданиях на многих языках! Поэтому нет ничего удивительного, что для издателя, знавшего и о других сообщениях — будь то подлинники или копии, — было

очень соблазнительно выпустить новую книжку Веспуччи: «Собрание отчетов о путешествиях». Но так как имевшегося материала не хватало для того, чтобы противопоставить четыре плавания Веспуччи четырем плаваниям Колумба, анонимный издатель решил «растянуть» материал. Прежде всего он разделил знакомое нам сообщение о плавании 1499 года на два сообщения: одно о плавании, якобы совершенном в 1497 году, и другое — в 1499 году, нимало не подозревая, что из-за этого обмана Веспуччи будет на целых три столетия заклеямен как лгун и мошенник. Кроме того, издатель добавил в свою книгу различные подробности, взятые из писем и отчетов других мореплавателей, и благополучно получил своего рода *mixtum compositum* — сложную смесь из правды и лжи, которая на сотни лет стала головомолкой для ученых и дала Америке ее название «Америка».

Пожалуй, тот, у кого эта догадка вызовет сомнения, может возразить: да мыслимо ли вообще такое дерзкое вмешательство, чтобы, не испрашивая согласия автора, дополняли его произведение, произвольно вводя в него всяческие выдумки? Но вот случай, позволяющий доказать возможность такого беззастенчивого вмешательства именно в отношении Веспуччи. Годом позже — в 1508 году — один голландский печатник издает поддельный отчет о пятом путешествии Веспуччи, прибегая к самой грубой фальсификации. Точно так же, как письма Веспуччи послужили неизвестному флорентийскому издателю материалом для книги «Четыре путешествия», так и голландский издатель использовал для своей фальсификации описание путешествия одного тирольца, Балтасара Шпренгера, ходившее в рукописи по рукам. Издатель попросту заменяет повсюду слова оригинала: «Ego, Balthasar Sprenger»<sup>1</sup> словами: «Ick, Alberigus»<sup>2</sup>, дабы заставить публику поверить, что это описание путешествия принадлежит самому Веспуччи. И действительно, столь наглая подделка даже четыреста лет спустя ввела в заблуждение председателя Географического общества в Лондоне, в 1892 году с великой тор-

---

<sup>1</sup> Я, Бальтазар Шпренгер (лат.).

<sup>2</sup> Я, Альбериг (старонем.).



жественностью объявившего, что им обнаружено пятое путешествие Веспуччи.

Почти нет сомнения — и это проясняет запутанную дотоле ситуацию, — что выдуманное сообщение о первом плавании, равно как и все другие противоречия, из-за которых Веспуччи столь длительное время обвиняли в злом обмане, вовсе не следует приписывать ему, а должно отнести за счет беззастенчивости издателей и печатников, которые, не спрашивая разрешения автора, сдабривали частные письма Веспуччи всевозможными приправами собственного изготовления и в таком виде пускали в печать. Но против такого толкования вопроса, которое вносит в него полную ясность, противники Веспуччи выдвигают еще одно — последнее — возражение. Почему же, спрашивают они, Веспуччи, который умер в 1512 году и, следовательно, не мог не знать об этих книгах, где ему приписывали путешествия, которых он никогда не совершал, ни разу открыто не выступил против этого? Разве не должен был он ясно и во всеулышание заявить: «Нет, не я являюсь первооткрывателем Америки, этой страны, которую несправедливо назвали моим именем»? Разве не повинен в обмане тот, кто не протестует против лжи, идущей ему на пользу?

На первый взгляд это возражение кажется убедительным. Но зададимся и другим вопросом: где же мог возражать Веспуччи? В какую инстанцию мог он направить свой протест? В те времена еще не знали, что такое литературная собственность; все, что было напечатано или распространялось в рукописи, было общим достоянием, и каждый мог пользоваться чужим именем и чужим произведением, как ему заблагорассудится. Где мог протестовать Альбрехт Дюрер против того, что десятки гравиров ставили его столь популярную подпись «А. Д.» на своих собственных изделиях; куда могли заявить протест авторы первого варианта «Короля Лира» или «Гамлета», когда Шекспир брал и произвольно переделывал их пьесы? Где, в свою очередь, мог возражать Шекспир против того, что чужие пьесы выходили под его именем? А Вольтер — против тех, кто, желая заставить публику читать свои посредственные атеистические или философские памфлеты, издавал их под его всемирно известным именем? Как мог бороться Веспуччи про-

тив множества сборников, которые всякий раз поновому искажая тексты, разносили по свету его незаслуженную славу? Единственно, что мог сделать Веспуччи, это объяснять свою непричастность ко всему этому тем людям, с которыми он встречался в своем кругу.

А в том, что он так и поступал, нет никакого сомнения. В 1508 или 1509 годах по крайней мере единичные экземпляры книг Веспуччи должны были, безусловно, попасть и в Испанию. И немыслимо, чтобы король назначил кого-либо, опубликовавшего ложные сообщения о не совершенных им открытиях, на столь ответственную должность, занимая которую человек обязан прежде всего обучать штурманов составлению точных и достоверных донесений. Несомненно, что избранный королем человек должен был быть чист от всяких подозрений. Более того, как уже точно установлено, одним из первых владельцев книги «*Cosmographiae Introductio*» был Фернандо Колумбо, сын адмирала. Экземпляр с его пометками сохранился и до нашего времени. Он не только читал эту книгу, в которой вопреки истине утверждалось, что Веспуччи ступил на материк раньше Колумба, но и сделал на полях книги свои замечания,—на полях той самой книги, где впервые предлагалось называть новую страну Америкой. И странно, что в написанной им биографии отца Эрнандо Колон, обвиняющий кого угодно в зависти к великому адмиралу, ни единым дурным словом не отзывается о Веспуччи. Уже Лас Касас удивлялся этому умолчанию. «Я изумлен,— пишет он,— что дон Эрнандо Колон, сын адмирала, человек правильных суждений, имеющий, насколько мне известно, книгу Веспуччи «*Navigaciones*»<sup>1</sup>, обошел полным молчанием несправедливость и узурпирование, содеянные Америго Веспуччи в отношении его сиятельного отца». И ничто не говорит о невинности Веспуччи яснее, чем молчание сына о том злосчастном искажении текста, из-за которого его отец был лишен заслуженной славы и не дал своего имени открытому им Новому Свету: сын Колумба знал, это произошло без ведома и желания Веспуччи.

---

<sup>1</sup> «Плаваная» (лат.) (то есть «Четыре плаваная»).

Здесь была сделана попытка рассказать о «Сауса Vespucci»<sup>1</sup>, прошедшем столько инстанций,— рассказать о нем с возможно большей объективностью и хронологической точностью, начиная с момента самого возникновения этого вопроса. Основная трудность заключалась в том, что предстояло разрешить необычайное противоречие между человеком и его славой, человеком и его репутацией. Ибо совершенное Веспуччи деяние, как теперь известно, не соответствует его славе, а слава — его деянию. Между человеком, каким он был на самом деле и каким он предстал пред всем светом, существовала столь резкая разница, что оба портрета — биографический и литературный — оказались несовместимыми. И лишь после того как мы уясним себе, что слава Веспуччи явилась плодом постороннего вмешательства и запутанных случайностей, станет возможным рассмотреть его действительные достижения и его жизнь как нечто цельное и рассказать о них в их естественной взаимосвязи.

И тогда оказывается, что с безмерной славой связаны скромные заслуги и что жизнь этого человека, возбуждавшего, как немногие другие, и восхищение и неприязнь всего мира, в действительности не была ни великой, ни драматичной. Это ли не «Комедия случайностей», в которую, сам того не ведая, был вовлечен Веспуччи?

Америго Веспуччи — третий сын нотариуса Чернастазо Веспуччи — родился во Флоренции 9 мая 1451 года, то есть через сто тридцать лет после смерти Данте. Веспуччи происходил из почтенного, хотя и обедневшего семейства и получил обычное для его круга гуманистическое образование, характерное для раннего Возрождения. Он изучал латынь, но не владел ею настолько свободно, чтобы писать по-латыни; его дядя, фра Джорджо Веспуччи, доминиканский монах из Сан-Марко, передает ему некоторые научные познания по математике и астрономии. Ничто не говорит о выдающихся способностях или чрезмерном честолюбии молодого человека. В то время как его братья посещают университет, он довольствуется службой в банке Медичи, возглавляемом

---

<sup>1</sup> Деле Веспуччи (лат.).

Лоренцо Пьеро Медичи (не смешивать с его отцом, Лоренцо Великолепным). Таким образом, во Флоренции Америго Веспуччи не считался выдающимся человеком и тем более крупным ученым. Его письма к друзьям свидетельствуют, что он был занят своими личными делами и скромными интересами. При ведении коммерческих операций в банке Медичи он тоже как будто не выдвинулся, и только случайность приводит его в Испанию. Подобно Вельзерам, Фуггерам и другим немецким и фламандским купцам, Медичи имели свои отделения в Испании и в Лисабоне. Они финансировали экспедиции в новые страны, стараясь получить необходимые сведения и прежде всего вкладывать свои капиталы туда, где они приносят больше всего прибыли. Но вот у хозяев явилось подозрение, что один из служащих их севильской конторы совершил растрату. А поскольку хозяева считают Веспуччи, так же как и все, с кем он имел когда-либо дело, человеком исключительно добросовестным и надежным, то 14 мая 1491 года этого мелкого служащего и посылают в Испанию, где он поступает в филиал фирмы Медичи — торговый дом Хуаното Беральди. И здесь, у Беральди, занятого главным образом снаряжением кораблей, положение Веспуччи также остается скромным. Веспуччи отнюдь не самостоятельный купец с капиталом и собственной клиентурой, хотя он и называет себя в письмах «Mercante florentino»<sup>1</sup>, а всего лишь «фактор» конторы Беральди, который, в свою очередь, подчинен Медичи. Не занимая высокого положения, Веспуччи, однако, приобретает личное доверие и даже дружбу своего начальника. В 1495 году, чувствуя приближение смерти, Беральди назначает в завещании своим душеприказчиком Америго Веспуччи, которому после смерти Беральди и приходится заняться ликвидацией фирмы.

Таким образом, Веспуччи, которому уже почти пятьдесят лет, снова остается с пустыми руками. Видимо, ему не хватает капитала или желания самостоятельно и на свой риск продолжать дела Беральди. Чем занимался Веспуччи в Севилье в последующие 1497 и 1498 годы, в настоящее время установить нельзя, так как об этом не

---

<sup>1</sup> Флорентийским купцом (итал.).

сохранилось никаких документов. Но, во всяком случае,— и это подтверждается более поздним письмом Колумба— Веспуччи жилось несладко, ибо только неудачами можно объяснить внезапную перемену в его жизни. Почти тридцать лет проработал умный работяга-флорентиец мелким служащим, всегда занятым чужими делами. Он не обзавелся собственным домом, у него нет ни жены, ни ребенка. На склоне лет он оказался одиноким, необеспеченным человеком. Но эпоха открытий дает смельчаку, способному рискнуть своей жизнью, единственную в своем роде возможность — одним рывком завоевать и богатство и славу. Это эпоха дерзких смельчаков и любителей приключений, с тех пор, пожалуй, более неведомых миру. И, подобно сотням и тысячам других неудачников, этот дотоле мелкий и, вероятно, даже обанкротившийся купец Америго Веспуччи пытается найти свое счастье, отправившись на корабле в Новую Индию. Когда в мае 1499 года Алонсо Охеда снаряжает по поручению кардинала Фонсеки заморскую экспедицию, Америго принимает в ней участие.

В качестве кого взял его с собой Алонсо Охеда, не совсем ясно. Несомненно лишь то, что фактор фирмы Беральди, занимавшийся снаряжением морских кораблей, постоянно имел дело с капитанами, кораблестроителями, поставщиками разных товаров и приобрел в силу этого некоторые профессиональные познания. Он досконально изучил корабль — от киля до кончика мачты. Как образованный флорентиец Веспуччи намного культурнее своих товарищей по плаванию; кроме того, он, по-видимому, заранее приобрел навигационные знания. Он учится пользоваться астролябией и применять новые методы вычисления долготы, занимается астрономией, упражняется в составлении географических карт; поэтому можно предположить, что он участвовал в экспедиции Охеды в качестве кормчего или астронома, а не как простой маклер.

Но даже если предположить, что Америго Веспуччи участвовал в этой экспедиции не как кормчий, а как простой делец, то, во всяком случае, из многомесячного плавания он возвратился опытным специалистом. Не лишенный сообразительности и тонкой наблюдательности, обладавая большой любознательностью, Веспуччи, понато-

ревший в математических расчетах и рисовании карт, приобрел, видимо, за долгие месяцы плавания те особые качества, которые заметно выделяют его в кругу мореплавателей. И поскольку в Португалии готовится новая экспедиция в недавно открытые Кабралом области Бразилии, вдоль северного побережья которой проходил и Веспуччи в плавании с Охедой, то именно к нему обращается король с предложением сопровождать эту новую экспедицию в качестве кормчего, астронома или составителя карт. То обстоятельство, что король соседнего государства, где, право же, не было недостатка в собственных отличных кормчих и мореходах, пригласил именно Веспуччи, непреложно свидетельствует о высокой репутации этого дотоле неизвестного человека.

Веспуччи колеблется не слишком долго. Плавание с Охедой не принесло ему никакой прибыли. После всех опасностей и трудностей многомесячного путешествия он возвратился в Севилью таким же бедняком, каким уехал; у него нет должности, нет профессии, нет занятия, нет состояния, следовательно, ни в коей мере не является изменой Испании то, что он принял почетное предложение португальского короля.

Но и новое плавание не приносит Веспуччи ни выгоды, ни почета. Его имя столь же редко упоминается в документах, где говорится об этой экспедиции, как и имя командующего флотилией. Задача этого разведывательного плавания состояла в том, чтобы возможно дальше пройти вдоль побережья на юг и открыть уже давно разыскиваемый путь к «Островам пряностей». Ибо люди все еще одержимы иллюзией, что Земля Святого Креста, на которую наткнулся Кабрал, является не чем иным, как островом средней величины, и тот, кому посчастливится обогнуть его, сможет очутиться у Моллуков — этой сокровищницы пряностей и источника всех богатств. Историческая заслуга экспедиции, в которой участвовал Веспуччи, заключается в том, что она позволила впервые опровергнуть это заблуждение. Португальцы достигают тридцатого, сорокового, пятидесятого градуса южной широты, но все еще плывут вдоль берега. Ему нет ни конца, ни края. Давно остались позади жаркие края,

становится все холоднее и холоднее, и вот уже морякам приходится отказаться от надежды обогнуть этот огромный новый материк, который, словно гигантская поперечная балка, преграждает им путь в Индию. Однако, приняв участие в неудавшемся, но тем не менее одном из самых смелых и значительных плаваний эпохи, о котором Веспуччи имеет полное право с гордостью сказать, что оно измерило четвертую часть света, этот дотоле никому не известный человек делает огромный вклад в географическую науку: Веспуччи привозит Европе сознание того, что новонайденная земля не есть Индия или какой-то остров, а что это «Mundus Novus» — новый материк, Новый Свет.

Не более успешно и следующее плавание, которое Веспуччи предпринимает опять-таки по поручению короля Португалии; цель плавания та же — найти восточный путь в Индию, то есть попытаться осуществить тот подвиг, который лишь впоследствии удалось свершить Магеллану. Правда, на сей раз флотилия спускается еще дальше на юг, оставив позади себя Рио де Ла-Плата, однако, гонимая бурями, она вынуждена вернуться. И еще раз Веспуччи, теперь уже на пятьдесят четвертом году жизни, возвращается в Лисабон таким же бедным, разочарованным — и как сам он считает — совершенно безвестным человеком, одним из многих, кто искал свое счастье в Новой Индии и так и не нашел его.

Но тем временем происходит нечто невероятное, чего Веспуччи, находясь под другим небом, на другом полушарии, не мог предвидеть, о чем не мог и мечтать: оказывается, именно он, скромный, безвестный и нищий мореход, взволновал умы всех ученых Европы. Каждый раз, возвратившись из плавания, он писал своему бывшему хозяину и личному другу Лоренцо Медичи письма, в которых правдиво и честно описывал все, что довелось ему увидеть в пути. Кроме того, он вел дневники и вручил их королю Португалии; как письма, так и дневники были исключительно личными документами и предназначались только для политической или торговой информации. Веспуччи никогда не приходила в голову мысль выдавать себя за ученого или писателя и считать свои частные письма литературными или научными произведе-

ниями. Веспуччи выразительно говорит, что во всем им написанном, как он сам считает *di tanto mal sapore*<sup>1</sup>, что не может решиться опубликовать это в столь незаконченном виде. Если же он один раз упоминает о плане задуманной им книги, то тут же прибавляет, что хочет издать ее лишь «при помощи ученых людей». И только тогда, когда он «уйдет на покой», *quando saro de riposo*<sup>2</sup>, чтобы после смерти снискать некоторую славу — *qualche fama*. Но, сам того не ведая и уж, конечно, ничего для этого не предпринимая, он, странствующий в эти дни в чужих морях, неожиданно и словно с черного хода приобрел славу великого писателя и самого ученого географа своей эпохи. То письмо к Лоренцо Медичи, в котором Веспуччи описывал свое третье плавание, было переведено на латинский язык, затем весьма вольно отредактировано, стилизовано под научный отчет и, появившись в печати под заглавием «*Mundus Novus*», произвело невероятную сенсацию. С того момента, как эти четыре печатных листа выпорхнули в свет, во всех городах и гаванях знают, что вновь открытые земли совсем не Индия, как предполагал Колумб, а Новый Свет и что именно Альберик Веспутий первым поведал миру эту чудесную истину. Но человек, которого вся Европа считает образованнейшим ученым и наиболее отважным из всех мореплавателей, ничего не ведает о своей славе и старается найти такое место, которое обеспечило бы ему наконец скромное спокойное существование. Уже будучи в годах, Веспуччи женится и окончательно отказывается от столь утомительных приключений и плаваний. Наконец на пятьдесят седьмом году жизни осуществляется его заветное желание. Он достиг того, к чему стремился всю свою жизнь: получив должность главного кормчего *Casa de Contratación* с окладом в пятьдесят тысяч, а позже в семьдесят пять тысяч мараведисов, он зажил мирной жизнью обывателя. С этого времени новоявленный Птолемей не больше и не меньше как обыкновенный чиновник короля — один из многих почтенных королевских чиновников в Севилье.

---

<sup>1</sup> Так мало вкуса (итал.).

<sup>2</sup> Когда буду отдыхать (итал.).



Было ли Веспуччи в последние годы его жизни известно о той славе, которая выросла вокруг его имени вследствие недоразумений и ошибок? Подозревал ли он когда-нибудь, что новую землю, лежащую по ту сторону океана, хотят назвать его именем? Возражал ли он против этой незаслуженной славы, высмеивал ли ее, или только тихо и скромно сказал своим ближайшим друзьям, что не все происходило так, как печатают в книгах? Мы знаем лишь одно, а именно, что эта невероятная слава, которая, подобно урагану, пронеслась через моря и горы, прокатилась через многие страны и, прозвучав на разных языках, докатилась даже до Нового Света, не принесла самому Веспуччи никакой, даже самой ничтожной, осязаемой выгоды. Он остается таким же бедняком, каким был и в первый день своего приезда в Испанию; и когда 22 февраля 1512 года Веспуччи скончался, его вдове пришлось униженно просить о назначении ей минимальной годовой пенсии в десять тысяч мараведисов. Единственно, что осталось ценного после Веспуччи, это дневники его путешествий. Лишь они могли бы открыть нам всю правду, но дневники эти попали к племяннику Веспуччи, хранившему их так небрежно, что они навсегда для нас потеряны, как и многие другие драгоценные документы эпохи открытий. Ничего не осталось от трудов этого скромного, сдержанного человека, кроме сомнительной и не по праву присвоенной ему славы. Одно ясно — человек, заставивший ученых в течение четырех столетий решать одну из самых сложных проблем, сам, по существу, прожил весьма несложную, бесхитростную жизнь. Решимся же утверждать следующее: Веспуччи был не более как человеком посредственным. Он не был первооткрывателем Америки, не был *amplificator orbis terrarum*<sup>1</sup>, но не был равным образом и обманщиком, каким его ославили. Он не был великим писателем, но и не воображал, что является таковым. Веспуччи не выдающийся ученый, он не глубокомысленный философ, и не астроном Коперник, и не Тихо де Браге; и, пожалуй, даже слишком смело ставить его в первый ряд великих мореплавателей, потому что нигде его печальная судьба не позволила ему проявить собст-

---

<sup>1</sup> Тем, кто расширил земной круг (лат.).

венную инициативу. Ему не доверили флотилии, как Колумбу и Магеллану; занимая различные должности, Веспуччи всегда был лицом подчиненным и не имел возможности самостоятельно что-либо исследовать, открывать, приказывать или руководить. Он всегда был во втором ряду, заслоненный чужой тенью. И если, не смотря ни на что, сверкающий луч славы пал именно на него, то это произошло не в силу его особых заслуг или особой вины, а из-за своеобразного стечения обстоятельств, ошибок, случайностей, недоразумений. То же самое могло произойти с любым другим участником того же плавания, рассказывавшим о нем в своих письмах, или со штурманом какого-нибудь соседнего корабля. Но история не позволяет спорить, она выбрала именно его, и ее решение, пусть даже ошибочное, пусть несправедливое, — бесповоротно. Два слова «Mundus Novus», которыми сам Веспуччи или неизвестный издатель озаглавил его письма и «Четыре путешествия», — причем даже не установлено, во всех ли плаваниях он принимал участие, — ввели Веспуччи в гавань бессмертия. Никогда уже его имя не будет вычеркнуто из книги человеческой славы, и, пожалуй, всего точнее можно определить его заслуги в истории мировых открытий парадоксом: Колумб открыл Америку, но не знал этого, Веспуччи ее не открывал, но первым понял, что Америка — новый континент. Это единственное достижение Веспуччи связано со всей его жизнью, с его именем. Ибо никогда сам по себе подвиг не является определяющим, а решающее значение имеют осознание подвига и его последствия. Человек, который рассказывает о подвиге и поясняет его, может стать для потомков более значительным, чем тот, кто его совершил. И в не поддающейся расчетам игре исторических сил малейший толчок может зачастую вызывать сильнейшие последствия. Кто ждет от истории справедливости, тот требует от нее большего, чем она намерена дать: она часто дарует среднему человеку славу подвига и бессмертие, отбрасывая самых лучших, храбрых и мудрых во тьму безвестности.

И все же Америке не следует стыдиться своего имени. Это имя человека честного и смелого, который уже в пятидесятилетнем возрасте трижды пускался в плавание на маленьком суденышке через неведомый океан, как

один из тех «безвестных матросов», сотни которых в ту пору рисковали своей жизнью в опасных приключениях. И, быть может, имя такого среднего человека, одного из безымянной горстки смельчаков, более подходит для обозначения демократической страны, нежели имя какого-нибудь короля или конкистадора, и, конечно же, это более справедливо, чем если бы Америку называли Вест-Индией, или Новой Англией, или Новой Испанией, или Землей Святого Креста.

Это смертное имя перенесено в бессмертие не по воле одного человека; то была воля судьбы, которая всегда права, даже если нам кажется, что она поступает несправедливо. Там, где приказывает эта высшая воля, мы должны подчиниться. И мы пользуемся сегодня этим словом, которое придумано по воле слепого случая, в веселой игре, как само собой разумеющимся, единственно мыслимым и единственно правильным — звучным, легкокрылым словом «Америка».

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

#### *Исторические миниатюры*

#### ПОБЕГ В БЕССМЕРТИЕ

Стр. 33. *Офир* — упоминаемая в Библии легендарная земля золота.

Стр. 34. *Идальго* — мелкое и среднее испанское дворянство.

Стр. 39. *Кацик* — так именовали индейцы вождей и старейшин своих племен в эпоху колонизации Америки.

#### НЕВОЗВРАТИМОЕ МГНОВЕНИЕ

Стр. 70. *Шварценберг Карл Филипп (1771—1820)* — австрийский фельдмаршал, главнокомандующий соединенными войсками союзников в последний период войны против Наполеона.

Стр. 72. *Дезе при Маренго*. — В битве при Маренго 14 июня 1800 г. Наполеон Бонапарт разгромил австрийскую армию, которой командовал генерал Мелас. Решающую роль в победоносном для французов исходе этой битвы сыграла инициатива генерала Дезе, дивизия которого в результате смелого маневра нанесла внезапный удар по австрийским боевым порядкам.

...*Клебера в Каире*. — Клебер Жан Батист (1753—1800) — французский полководец, служивший последовательно Конвенту, Директории и Наполеону. После провала египетской экспедиции Бонапарта и его отъезда в Париж Клебер, назначенный главнокомандующим, сумел выправить почти безнадежное положение французского экспедиционного корпуса, но был убит в Каире во время переговоров об эвакуации.

...*Ланна при Ваграме*. — Ланн Жан, герцог де Монтебелло (1769—1809) — маршал наполеоновской армии. Был смертельно ранен в сражении при Эслинге (у Цвейга неточность — при Ваграме) 5 июня 1809 г.

## МАРИЕНБАДСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Стр. 84. *Шенеман* Лили (Анна Элизабет Шенеман) (1753—1817) — невеста молодого Гете, воспетая им в ряде стихотворений, впоследствии жена страсбургского бургомистра фон Тюркгейма.

Стр. 89. *Цельтер* Карл Фридрих (1758—1832) — немецкий композитор и музыкальный деятель, учитель Мендельсона. С 1796 г. был в тесной дружбе с Гете,

## ОТКРЫТИЕ ЭЛЬДОРАДО

Стр. 96. ...он, как царь *Мидас*, захлебнулся своим собственным золотом.— По античному мифу, царю древней Фригии *Мидасу* бог *Дионис* даровал способность превращать в золото все, к чему бы он ни прикоснулся. В золото стала превращаться и пища, и царь, спасаясь от голодной смерти, должен был вымалывать избавления от своего волшебного дара.

Стр. 99. *Сендрар* Блэз (род. 1887) — французский литератор и путешественник. Его роман «Золото» (1925) восстановил историю *Зутера*.

## ПЕРВОЕ СЛОВО ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Стр. 101. ...галеры *финикийцев*.— Имеются в виду жители древнефиникийских городов-государств — *Тира*, *Сидона*, *Библа* и *Арвада*, — унаследовавшие обширную торговлю древнего Египта. ...*Овидий* на пути в *понтийскую ссылку*.— Римский поэт *Публий Овидий Назон* (43 до н. э.— 17 н. э.), выразивший недовольство политикой императора *Августа*, был сослан в 8 г. н. э. в местечко *Томы* близ устья *Дуная* в *Причерноморье* («*Понт Эвксинский*» — античное название *Черного моря*).

Стр. 103. *Блерио* Луи (1872—1936) — один из пионеров французской авиации, пилот и конструктор самолетов. В 1909 г. впервые перелетел *Ла-Манш*.

Стр. 105. *Стивенсон* Роберт (1772—1850) — английский инженер, шотландец по происхождению, крупный специалист по строительству маяков.

*Брюнель* *Изабар-Кингдом* (1806—1859) — талантливый английский инженер, спроектировавший большое количество туннелей, железных дорог и доков, конструктор винтовых пароходов, самый крупный из которых, «*Левиафан*», был переименован впоследствии в «*Грейт Истерн*».

Стр. 114. *Франклин* Вениамин (1706—1790) — известный американский ученый и политический деятель, сыгравший видную роль в борьбе североамериканских колоний за независимость.

## БОРЬБА ЗА ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

Стр. 122. *Шеклтон* Эрнест (1874—1922) — английский мореплаватель, известный исследователь *Антарктиды*.

## МАГЕЛЛАН

### Человек и его деяние

Книга «Магеллан. Человек и его деяние» выпущена в свет издательством Рейхнер в 1938 г. Как указывает в предисловии автор, работу над этим произведением он начал во время поездки в Бразилию (август 1936 г.).

Стр. 147. *Тидор* — один из небольших островов Молуккского архипелага. Расположен западнее острова Хальмахера.

*Амбоина* — южный молуккский остров. Находится в море Банда, у южной оконечности острова Серам.

*Острова Банда* — группа островов в северо-восточной части моря Банда.

*Малабарское побережье* — юго-западное побережье Индии.

*Камбай* — до XVII в. крупный торговый центр на западном берегу Индии. Славился своей кустарной промышленностью, изделия которой находили широкий спрос не только в Азии, но и в Европе. Потерял свое значение из-за обмеления Камбайского залива.

*Ормуз (Хормуз)* — важнейший средневековый порт, который находился недалеко от входа в Персидский залив, возле теперешнего Бендер-Аббаса. В 1622 г. город подвергся разрушению.

Стр. 148. *Риальто* — торговый район Венеции, расположенный на одноименном острове. Около Риальто проходит упоминаемый далее самый большой канал Венеции — Канале Гранде.

*Бехайм Мартин (1459—1506)* — немецкий географ и путешественник. Вместе с Дьюго Камом плавал к берегам Западной Африки. Встречался в Лисабоне с Колумбом. Построил в Нюрнберге большой глобус («Земное яблоко»).

Стр. 149. *Фуггеры* — немецкие торговцы и банкиры, заимодавцы королей и пап.

*Вельзеры* — немецкие торговцы и банкиры. Получили от Карла V право на колонизацию Венесуэлы, предоставив ему взамен большой заем.

Стр. 150. *Диаш Бартоломеу* (ок. 1450—1500) — португальский мореплаватель, обогнувший южную оконечность Африки, которую он назвал мысом Бурь (Торментозо). Жуан II переименовал его в мыс Доброй Надежды. Позднее Диаш командовал судном в экспедиции Кабрала. Погиб во время бури.

*Кабот Джон (Кабото Джованни)* (ок. 1450—1498) — итальянский мореплаватель; с 1490 г. состоял на службе у английского короля. В 1497 г. в поисках северо-западного пути в Азию достиг острова Ньюфаундленда. Его сын, Себастьян Кабот, также был опытным мореплавателем.

Стр. 151. *Птолемей Клавдий* — древнегреческий астроном и географ II века н. э. Им написан труд «География», в котором обобщены географические познания тех времен. Птолемей долго считался непогрешимым авторитетом.

Стр. 152. *Генрих Мореплаватель (1394—1460)* — португальский принц, сын Жуана I. Снаряженные им экспедиции совершили ряд важнейших географических открытий.

**Сеута** — город на берегу Испанского Марокко. В 1415 г. Сеута была захвачена португальцами и находилась в их руках до 1580 г.

**Сагриш** — выступ на мысе Сан-Висенти, крайней юго-западной оконечности Португалии. В 1418 г. Генрих Мореплаватель построил здесь навигационную школу и обсерваторию.

Стр. 153. **Геродот** (ок. 484—425 до н. э.) — древнегреческий ученый, которого Цицерон называет «отцом истории». Его «История греко-персидских войн» имеет также большое значение для географии.

**Страбон** (ок. 63 до н. э.—ок. 20 н. э.) — древнегреческий географ и историк, автор «Географии» (в 17 книгах) и «Истории» (в 43 книгах).

**Ливия** — древнегреческое название Северной Африки (кроме Египта).

**Роджер II (1101—1154)** — сицилийский король, сын норманского завоевателя Роджера I. Совершал разбойничьи набеги на берега Греции и Африки.

**Гвинея**. — Обычно это название производят от города Дженне в верхнем бассейне Нигера. Реже считают, что оно произошло от Гхана, столицы одноименного древнего государства в Судане.

**Ибн-Батута Абу Абдулла (1304—1377)** — арабский путешественник, проведший в странствиях более четверти века своей жизни. Побывал на юге России. Его путешествия дают богатый материал для изучения истории народов различных стран.

Стр. 154. **Вифиния** — древнее государство, расположенное на северо-западе Малой Азии. В 74 г. до н. э. стала римской провинцией.

**Дрейк Фрэнсис** (ок. 1545—1590) — английский мореплаватель и пират, позднее был произведен в вице-адмиралы королевского флота. Второй европеец, совершивший кругосветное путешествие. Участник разгрома «Непобедимой армады».

Стр. 155. **Портуланы** (компасные карты) — морские навигационные карты, которые были в употреблении до XVIII в.

**Азорские острова**. — Достаточно убедительных доказательств того, что Азорские острова были уже известны европейцам, не существует. В 1432 г. на берег одного из островов был выброшен Ван дер Берг. В том же году Генрих Мореплаватель послал туда Гонзало Велью Кабрала. К 1457 г. все острова были открыты.

**Мадейра** — остров (и архипелаг) в Атлантическом океане. О Мадейре, вероятно, знали еще римляне. В 1419 г. Мадейра была вновь открыта экспедицией Жуана Гонсалвиша Зарку и Триштана Важ Тексейры.

**Мыс Нан** — расположен на западном побережье Африки (29°15' с. ш.—10°18' з. д.). Около 1416 г. его обогнул португальский мореплаватель Гомеш.

Стр. 156. **Эанниш Жил** — португальский мореплаватель, который в 1434 г. обогнул мыс Боядор (Бохадор), расположенный на 26°7' с. ш.—14°29' з. д. В средние века мыс Боядор считался крайней точкой мореплавания.

**Жуан II (1455—1495)** — португальский король. Осуществлял широкую колониальную экспансию.

*Зеленый Мыс* (Верде) — западная оконечность Африки (15°45' с. ш.—17°33' з. д.).

Стр. 157. *Кам* (Кан) Дьогу — португальский мореплаватель, исследовавший африканский берег до 22-й параллели. Первый европеец, достигший устья Конго (1484 г.).

*Камюэнс Луис* (1524—1580) — великий португальский поэт. В своей поэме «Лузиады» (1572) воспел важнейшие события португальской истории. Видное место в поэме занимает описание путешествия Васко да Гамы.

Стр. 158. *Албукерке* Алфонсу де (1453—1515) — португальский военачальник, второй вице-король Индии. Стремился создавать опорные пункты для закрепления португальского владычества. Им были захвачены Гоа (1510), Малакка (1511), Ормуз (1515).

*Барруш Жуан де* (1496—1570) — португальский летописец и чиновник. Его работы особенно интересны тем, что он использовал в них секретные материалы Лисабонского архива. Известно его сочинение «Азия» в четырех декадах.

Стр. 159. *Полициано* Анджело (1454—1494) — итальянский поэт-гуманист, живший при дворе Лоренцо Медичи. Его произведения отличались изысканностью формы.

Стр. 160. *Тифис* (Тифий) — кормчий корабля, на котором аргонавты отправились за Золотым Руном.

*Фула* (Фуле) — неизвестный нам остров, который древние считали северным пределом мира.

Стр. 161. *Эспаньола* (Гаити) — один из Больших Антильских островов, где в 1492 г. высадился Колумб. С конца XVII века западная часть острова принадлежала французам (Сан-Доминго), а восточная часть — испанцам (Сэнто-Доминго). Сейчас этот остров занимают Гаити и Доминиканская республика.

*Мараны* — испанские и португальские евреи, принимавшие христианство (или мусульманство), чтобы избавиться от преследований.

Стр. 163. *Палос* (Палос де ла Фронтера) — порт на Рио Тинто (юго-западная Испания), откуда Колумб отправился в свое первое плавание.

*Каликут* — город на Малабарском побережье, в средние века важный торговый центр. Васко да Гама безуспешно пытался основать здесь факторию. В 1510 г. Албукерке захватил город, но затем был из него изгнан. В 1511 г. с одним из властителей Каликута, которые назывались заморинами, был заключен мир.

*Пинсон* Мартин Алонсо (ок. 1440 — ок. 1493) — капитан «Пинты» в первом путешествии Колумба. Его брат Висенте Янес (ок. 1460—1524) командовал в этом плавании «Ниньей». В 1500 г. Висенте Янес достиг восточной оконечности Южной Америки.

*Кабрал* Педру Алвариш (ок. 1467—1526) — португальский мореплаватель. Командовал флотом из тринадцати кораблей, направлявшимся в Индию. Течением и ветром был отнесен к берегам Бразилии.

*Кортереал* Гаспар (ок. 1450—1501) — португальский мореплаватель. В 1500 г. исследовал берег Лабрадора и Ньюфаундленд-



да. Из второго плавания не возвратился. В 1502 г. на его поиски отправился брат Мигел, который также пропал без вести. Младший из братьев, Васканиш, также предпринял попытку найти пропавших мореплавателей, но и она не увенчалась успехом.

Стр. 164. *Понсе де Леон* Хуан (ок. 1460—1521) — испанский конкистадор. Участвовал во втором плавании Колумба. В 1513 г. им была обнаружена Флорида. В 1521 г. он попытался завоевать ее, но погиб от раны, полученной в схватке с индейцами.

*Бальбоа* Васко Нуньес де (1475—1517) — испанский мореплаватель и конкистадор. В 1513 г. пересек Панамский перешеек и открыл Тихий океан, который он назвал «Южным морем».

Стр. 168. *Алмейда* Франсишку (ок. 1450—1510) — первый вице-король Индии. После трехлетнего правления был отозван королевским двором и погиб на обратном пути в Португалию.

Стр. 170. *Каннанор* — город на Малабарском побережье. До сражения при Каннаноре Магеллан участвовал в захвате Килоа и Момбасы. Взятие этих городов сопровождалось грабежом и беспощадной резней.

Стр. 171. *Варгема* Лодовико — венецианский искатель приключений и путешественник. Побывал во многих краях, в том числе на Молукках и на островах Банда. Первый из европейцев, проникший в Мекку. Написанный им «Путеводитель» был очень популярен в средние века.

Стр. 172. *Софала* — населенный пункт на берегу Мозамбикского пролива около Бейры. В 1502 г. в нем побывал Васко да Гама. В 1508 г. в Софале была построена португальская крепость.

Стр. 173. *Золотой Херсонес* — старинное название Малаккского полуострова.

Стр. 175. *Крис* — кинжал с изогнутым лезвием, которое нередко смазывалось ядом (малайск.).

Стр. 177. *Падуанская банка* — находится в Аравийском море, близ берегов Индии (между 12—14° с. ш. и 72—73° в. д.).

*Гоа* — город на берегу Индии, который позже сделался центром португальской колонии. Овладев городом, Албукерке вырезал всех мусульман, не щадя ни женщины, ни детей. Оставшиеся в живых были сожжены в мечети. Жестокое правление колонизаторов впоследствии вызвало ряд восстаний в Гоа.

Стр. 178. *Тристан да Кунья* (ок. 1460 — ок. 1540) — португальский мореплаватель и дипломат. Открыл много островов в южной части Атлантического океана, среди которых три острова названы его именем. Сопровождал Албукерке в Индию. В 1514 г. был направлен послом ко двору папы Льва X.

Стр. 179. *Тернате* — небольшой вулканический остров к востоку от Целебеса.

Стр. 183. *Белем* — населенный пункт на реке Тежу (Тахо). В Белеме находится собор, постройка которого была начата в 1502 г. В этом соборе похоронены Васко да Гама, Камознс и некоторые из португальских королей.

Стр. 184. *Мануэл* (по прозвищу Счастливый) (1469—1521) — португальский король, двоюродный брат Жуана II. Всемерно добивался укрепления королевской власти. При нем португальская колониальная империя достигла своего расцвета.

Стр. 185. *Писарро* Франсиско (ок. 1471—1541) — испанский конкистадор, покоритель государства инков, которое находилось на территории современного Перу.

*Монтесума* (Монтецума) (ок. 1466—1520) — вождь индейских племен Мексики. Был взят в плен и казнен испанскими завоевателями.

Стр. 188. *Азамор* (Аземмур) — город на марокканском побережье. В 1513 г. король Мануэл направил в Азамор свой флот, чтобы наказать местного султана, отказавшегося платить ему дань.

Стр. 189. *Пигафетта* Антонио (ок. 1491 — ок. 1534) — спутник Магеллана в его кругосветном путешествии. Его записки являются наиболее полным документом об этом плавании (см. Антонио Пигафетта, Путешествие Магеллана, Государственное издательство географической литературы, 1950).

Стр. 197. *Солис* Хуан де (1470—1516) — испанский мореплаватель. После смерти Веспуччи — главный кормчий Испании. Открыл Ла-Плату, на берегах которой был убит в стычке с индейцами.

Стр. 200. *Шенер* Иоганн (1477—1547) — немецкий математик и географ. Соорудил два глобуса (1515 и 1520 гг.). Вторым глобус известен только по копиям.

Стр. 202. *Тосканелли* Паоло (1397—1482) — итальянский ученый, убежденный сторонник учения о шарообразности земли. Прислал Колумбу копию своего письма (с картой), предназначенного для португальского короля, в котором высказывал мысль о возможности достичь Индии западным путем. Одобрил проект Колумба.

Стр. 204. *Кадамосто* (Када Мосто) Луиджи (ок. 1432—1480) — венецианский моряк, состоявший на службе у Генриха Мореплавателя. Обнаружил восточную группу островов Зеленого Мыса.

Стр. 211. *Адриан VI* (1459—1523) — кардинал, сын утрехтского ремесленника. Великий инквизитор. За год до своей смерти (1522) был избран папой.

*Гийом де Круа*, синьор де Шьевр (1458—1521) — приближенный Карла V, наживший огромное состояние.

Стр. 212. *Фонсека* Хуан Родригес де (1451—1524) — архиепископ Бургосский, первый председатель Индийского совета. Беззастенчиво использовал свой пост для личного обогащения. Проявил себя ярким противником Колумба, Лас Касаса и Кортеса.

Стр. 218. *Альвасил* — полицейский комиссар.

*Алькайд* — старшина общины, судья.

*Коррехидор* — лицо, следившее за порядком в городе или в сельском округе.

*Рехидор* — член городского самоуправления.

Стр. 227. *Консорциум* — форма монополии, при которой капиталисты временно объединяются для осуществления какого-нибудь предприятия.

Стр. 228. *Галион* — испанский трех-четырепалубный военный корабль, иногда просто военный корабль. В дальнейшем это название перешло и на торговые суда.

Стр. 230. *Святая Екатерина* Александрийская — по преданию, была колесована. Колесо св. Екатерины служит символом тяжких мучений.

Стр. 234. *Сан-Лукар де Баррамеда* — город в устье Гвадалкивира, основанный еще римлянами. Приобрел большое значение в эпоху великих географических открытий.

Стр. 235. *Дворец Медина Сидониа* — был построен испанским военачальником Алонсо Пересом Гусманом (1258—1305).

Стр. 238. *Астролябия* — прибор, служивший для определения широты и долготы.

*Квадрант* — прибор, который применялся для определения высоты небесных светил.

*Планисфера* (изображение сферы на плоскости) — прибор, употреблявшийся для определения времени восхода и захода планет.

Стр. 240. *Фальконет* — артиллерийское орудие, стрелявшее свинцовыми ядрами.

Стр. 242. *Педро д'Ариас* (Педрарнас) (ок. 1440—1531) — испанский чиновник, губернатор Дарьена. Судил и казнил Бальбоа. Им основан город Панама.

Стр. 244. *Петр Анжирский* (Пьетро Мартире д'Ангиера) (ок. 1455—1526) — испанский историк, родом итальянец. Воспитатель королевских детей. В своих сочинениях описал открытие новых земель.

*Максимилиан Трансильванский* — секретарь Карла V. Его письмо к епископу Зальцбургскому является одним из немногих документов, проливающих свет на историю первого кругосветного путешествия.

*Берлиц* Максимилян (1852—1921) — американский лингвист и педагог, применял метод изучения языков без словаря: при помощи демонстрации различных предметов, наглядного показа действий, жестикюляции и т. д. Школы Берлица были широко распространены во многих странах.

Стр. 249. *Тенерифе* — вулканический остров, входящий в группу Канарских островов.

Стр. 251. *Лисель* — дополнительный парус, который прикрепляется к основному.

Стр. 258. *Гварани* — индейское племя, которое проживало в Америке, южнее Ориноко.

Стр. 260. *Санта-Мария* — мыс, за которым начинается Ла-Плата. Находится к юго-востоку от Ла-Паломы.

Стр. 261. *Геллеспонт* — древнее название Дарданелл.

*Голконда* — старинное название Хайдарабада, который славился своими алмазами. Употребляется в значении «несметное богатство».

Стр. 263. *Сан-Матиас* — бухта на побережье Южной Америки, южнее 40-й параллели.

Стр. 264. *Сан-Хулиан* — залив в Южной Америке, находящийся севернее 50-й параллели. Фрэнсис Дрейк также провел в этом заливе два месяца.

Стр. 270. *Фукидид* (ок. 460—395 до н. э.) — древнегреческий историк. Его важнейшее произведение «История Пелопоннесской войны» отличается тщательным изложением фактов.

Стр. 287. *Сетебос* — предполагаемый патагонский бог. Шекспир вкладывает в уста Калибану призыв к Сетебосу.

Стр. 288. *Рио де Санта Крус* (Река Святого Креста) — река в Аргентине. Ее устье находится около 50-й параллели.

Стр. 291. *Мыс (Одиннадцать тысяч) Дев (Вирхинес)* — находится на северном берегу восточного входа в Магелланов пролив (52°20' ю. ш.—68°21' з. д.).

Стр. 306. *Река Сардин* — предполагают, что это одна из бухт в Магеллановом проливе.

*Желанный Мыс* (Дезеадо) — северо-западная оконечность острова Дезоласьон, лежащего у западного входа в Магелланов пролив.

Стр. 315. *Ладронские острова*. — Магеллан назвал их Островами Латинских Парусов. У Пигафетты — это Ладронские (Разбойничьи) острова. В 1668 г. они были переименованы в Марианские (в честь вдовы Филиппа IV — Марии Анны). Впрочем, название «Ладронские острова» сохранилось до наших дней.

*Сулуан* — маленький островок у южной оконечности острова Самар (Филиппины).

*Хумуну*. — Сейчас этот остров называется Хомонхон. Он расположен между островами Лейте и Сулуаном (ближе к последнему).

Стр. 316. *Филиппинские острова*. — Магеллан назвал их Лазаревыми. В 1542 г. были переименованы в Филиппинские (в честь Филиппа II, тогда еще инфанта).

Стр. 323. *Себу* — один из крупных островов Филиппинского архипелага (хотя и не самый большой). У Пигафетты он именуется Субу.

Стр. 328. *Гватамозин* (ок. 1495—1525) — последний вождь мексиканских племен, племянник Монтесумы. Несмотря на пытки, которым его подвергли испанцы, не выдал местонахождения спрятанных сокровищ.

*Малоценным представляется им по сравнению с этим металлом мягкое желтовато-белое золото, и, как в памятные 1914 год мировой войны, они с восторгом меняют его на железо.* — Подразумевается обмен золота на железо — широко пропагандируемое средство «патриотических» пожертвований в Германии в годы первой мировой войны.

Стр 331. *Мактан* — остров в Бохольском проливе, напротив острова Себу. На его северо-восточном берегу сооружен памятник Магеллану.

Стр. 345. *Бохол* — остров Филиппинского архипелага, юго-восточнее Себу.

Стр. 354. *Сант-Яго* — один из островов около Зеленого Мыса.

Стр. 356. *Гераклит Понтийский* (IV в. до н. э.) — афинский ученый, ученик Платона; первый высказал мысль о том, что земля вращается вокруг своей оси.

Стр. 357. *Сан-Висенти* — юго-западная оконечность Португалии (древний Сакрум).

Стр. 360. *Овьедо-и-Вальдес Гонсалес* (1478—1557) — испанский летописец. Губернатор Санто-Доминго. Карл V назначил его историографом Америки. Большой интерес представляет его рабо-

та «Всеобщая и естественная история Западной Индии» (то есть Америки).

Стр. 364. *Сейм в Вормсе* — состоялся в 1521 г. На этот сейм был призван Лютер, который отказался отречься от своего вероучения. Карл V издал так называемый «Вормский эдикт», направленный против Лютера, которым объявлял его вне закона. Однако осуществление этого эдикта натолкнулось на растущие успехи Реформации.

Стр. 370. «*Араукана*» — героическая поэма Алонсо Эрсилья-и-Сунига (1533 — 1596), в которой описывается борьба с араукадцами — индейским племенем Южной Америки.

Стр. 371. *Сармьенто де Гамбоа* Педро (ок. 1530 — после 1589) — испанский мореплаватель. Пытался построить форт в Магеллановом проливе, но был захвачен в плен англичанами,

## АМЕРИГО

### *Повесть об одной исторической ошибке*

Книга «Америго. Повесть об одной исторической ошибке» была напечатана в издательстве Берман-Фишер в 1944 г. Работу над ней Цвейг завершил незадолго до смерти.

Стр. 379. *Трирема* — древнее гребное судно с тремя ярусами весел.

Стр. 381. *Сиена* — город в Италии. Сиенский университет был основан в XIII в.

Стр. 382. *Кубла-хан* (Хубилай) (1216—1294) — внук Чингис-хана, монгольский император, с которого начинается в Китае монгольская династия Юань. Марко Поло пробыл при дворе Кубла-хана с 1275 по 1292 г.

*Тапробан* (Тапробана) — под таким именем был известен древним грекам Цейлон.

Стр. 383. *Оттоманы* (османы) — старое название анатолийских турок (по имени султана Османа I).

*Руми* — то есть люди из Рума, как арабы называли Византийскую империю. Впоследствии это название распространилось на всех христиан.

Стр. 384. *Идриси* (Едриси) (ок. 1100 — ок. 1166) — арабский географ при дворе Роджера II. Его основная работа — описание мира, известная под различными заглавиями, представляет большой интерес для истории географии. До нас также дошли две его карты.

*Счастливые острова* (Блаженные острова и т. д.) — Этим названием греки, очевидно, обозначали Канарские острова.

*Нунью Триштан* (ум. 1447) — португальский мореплаватель. В 1443 г. обогнул мыс Бланко (Белый Мыс). В 1447 г. высадился на африканском материке напротив островов Бисагуш. Был убит во время охоты на негров.

*Диаш Диниш* — в 1445 г. открыл Зеленый Мыс (мыс Верде). Вошел в устье Сенегала, который считал западным притоком Нила,

Стр. 387. *Зайтун* — средневековое название китайского города Цюаньчжоу, где побывал Марко Поло. Находится в Тайваньском проливе, северо-восточнее Амоя.

Стр. 388. *Медичи Пьетро* (1471—1503) — флорентийский торговец и политический деятель, сын Лоренцо Медичи.

*Синьория* — совет при венецианском доже, который возглавлялся гонфалоньером (знаменосцем).

Стр. 390. *Эдипов комплекс* — по теории Фрейда, сексуальное влечение ребенка к родителю противоположного пола.

Стр. 391. *В Германии начинают объединяться крестьяне...* — Конец XV и начало XVI века были ознаменованы усилением борьбы немецкого крестьянства против феодального гнета. Под руководством союза «Башмак» было организовано несколько восстаний. Это освободительное движение вылилось в крестьянскую войну 1525 г.

Стр. 393. *Гуанахани* — остров, где впервые высадился Колумб, который назвал его Сан-Саальвадор (Св. Спаситель). Полагают, что это был остров Уотлингс.

Стр. 396. *Содерини Пьетро* (1452—1522) — гонфалоньер Флоренции, фаворит Медичи.

Стр. 399. *Рене II* (1451—1508) — лотарингский герцог, внук Рене I. Числился владельцем больших территорий, которыми в действительности никогда не управлял.

Стр. 400. *Д'Айи Пьер* (1350—1420) — французский кардинал, яростный гонитель еретиков. В одном из своих многочисленных произведений, «Зерцале мира», доказывал, что земля является шаром. Один из экземпляров книги имелся у Колумба, который сделал на ее полях многочисленные пометки.

Стр. 401. *Вальдземюллер Мартин* (псевд. Хилагомилус — перевод фамилии на греческий и латинский языки) (р. между 1470—75 — ум. 1522) — немецкий математик и географ. Экземпляр его «Введения в космографию» был обнаружен в 1900 г. в Вюртемберге.

*Рингманн Маттиас* (Филезиус) (1482—1511) — поэт и грамматист. Им выпущена «Образная грамматика», в которой различные части речи были представлены в виде образов.

Стр. 402. *Базен Жан* (ум. ок. 1522) — лотарингский литератор и священник.

Стр. 404. *Максимилиан I Габсбург* (1459—1519) — император так называемой «Священной Римской империи» в период 1493—1519 гг.

Стр. 407. *Бермудес Хуан* (ум. 1570) — португальский мореплаватель, открывший в начале XVI столетия острова, названные в его честь Бермудскими. Был патриархом при дворе абиссинского негуса Давида III.

*Тасман Абель Янсон* (1603—1659) — нидерландский мореплаватель. Обнаружил в Тихом океане остров, который назвал землей Ван-Димена (позднее Тасмания).

Стр. 409. *Гринеи Симон* (1493—1541) — немецко-швейцарский филолог и богослов. Отыскал последние пять книг Тита Ливия.

*Мюнстер Себастьян* (1489—1522) — немецкий географ, фило-

лог и математик. Издал «Всеобщую космографию», в которой содержится описание мира.

*Меркатор Герхард* (1512 — 1594) — фламандский географ. По заданию Карла V изготовил глобусы земли и неба. В карте 1568 г. применил проекцию, которую мы знаем как «проекцию Меркатора». Им был приготовлен большой атлас.

Стр. 412. *Эльдорадо* — легендарная страна, изобилующая золотом, которую испанские завоеватели пытались найти в Южной Америке.

*Кинсай* — один из крупнейших городов средневекового Китая. Его посетил Марко Поло, которому принадлежит это искаженное название Ханчжоу.

Стр. 413. *Де Коса Хуан* (ок. 1460—1510) — испанский мореплаватель, кормчий Колумба в путешествиях 1492 и 1493 гг. Совершил несколько плаваний к берегам Южной Америки с Охедой и Бастидасом. Его карта Америки — одна из старейших.

*Бобадилья Франсиско де* (ум. 1502) — чиновник, посланный в 1500 г. на Эспаньолу для расследования обвинений против Колумба. Руководствуясь тайными инструкциями короля, заковал Колумба в кандалы и отправил в Испанию.

Стр. 415. *Рамувио* (Рамусио) Джованни Батиста (1485—1557) — итальянский историк и географ. Опубликовал книгу «Морские и сухопутные путешествия».

Стр. 416. *Сервет Мигель* (р. между 1509—1511—ум. 1553) — испанский врач и философ. Им описан легочный (малый) круг кровообращения. За критику религиозных догм был сожжен по настоянию Кальвина на костре.

*Гарвей* (прав. Харви) Уильям (1578—1657) — английский врач-анатом, открывший и исследовавший процессы кровообращения.

Стр. 417. *Лас Касас* Бартоломе (1474—1566) — испанский священник, биограф Колумба. Горячо вступался за индейцев, варварски истреблявшихся колонизаторами. Его «Всеобщая история Индии» была впервые напечатана в 1875 г.

Стр. 418. «*Париас*» — залив между островом Тринидад и южноамериканским материком, открытый Колумбом в его третьем плавании. Это название иногда употреблялось по отношению ко всей Америке.

Стр. 419. *Охеда* Алонсо (ок. 1462 — ок. 1515) — испанский мореплаватель, участвовал во втором путешествии Колумба. Вместе с Веслуччи и Де Коса обследовал в 1499 г. берега Гвинеи и Венесуэлы.

Стр. 421. *Эррера* Антоньо де (ок. 1559—1625) — испанский летописец. Филипп II назначил его главным историографом Индии. Его история Америки в восьми декадах представляет значительную ценность.

*Пинту Мендиш* (ок. 1509 — 1583) — португальский путешественник. За свою книгу о поездке в Китай и Японию был прозван «принцем лжи». Однако в дальнейшем исследователи установили несправедливость возведенного против него обвинения. В настоящее время его добросовестность считается установленной.

Стр. 422. *Монастырь Рабида* — испанский монастырь близ Паласа. Колумб несколько раз бывал в этом монастыре.

Стр. 424. *Бейль Пьер* (1647—1706) — французский философ, предшественник просветителей. В своем «Историческом и критическом словаре» выступил убежденным сторонником атеизма.

Стр. 426. *Бандини Аньоло Мария* (1726—1803) — ученый и библиограф. Автор работы «Жизнь и письма Америго Веспуччи, флорентийского дворянина» (1745 г.).

*Бартолоуци Франческо* (1727—1813) — итальянский гравер. С 1802 г. — президент Португальской академии. Среди его работ выделяется серия гравюр к произведениям Гверцино.

*Канова Станислав* (1740—1811) — итальянский священник, занимавшийся математикой и историей.

Стр. 430. *Сын Дьего* (ок. 1480—1526) — сын Христофора Колумба. В 1509 г. — губернатор Эспаньолы. Был отозван Индийским советом для защиты от выдвинутых против него обвинений. Был оправдан, но в должности не восстановлен.

*Мендес Дьего* — участник четвертого путешествия Колумба, горячий приверженец адмирала.

Стр. 432. *Лепа Дьего* — испанский мореплаватель. В 1500 г. достиг восточной оконечности Южной Америки.

Стр. 434. *Маньяги Альберто* (1874—1945) — итальянский географ. Им написано несколько монографий о великих мореплавателях, в том числе и «Америго Веспуччи» (Рим, 1926).

Стр. 435. *Гумбольдт Александр* (1769—1859) — выдающийся немецкий путешественник и естествоиспытатель. Путешествовал по Южной и Средней Америке. Побывал на Алтае и Урале. Результаты своих исследований изложил в тридцати трех томах. Внес много ценного в разработку вопроса о Веспуччи.

Стр. 440. *Коломбо Фернандо* (Эрнандо Колон) (1488—1539) — незаконнорожденный сын Колумба. Ездил вместе со своим отцом в четвертое путешествие. Собрал библиотеку в двадцать тысяч томов («Колумбиана»). Написанные им история Индии и биография его отца утеряны. Отрывки из них Лас Касас включил в свою книгу.

Стр. 447. *Браге Тихо де* (1546—1601) — датский астроном. Его исключительные по своей точности астрономические наблюдения позволили Кеплеру вывести законы движения планет.

*Ю. Шейнин,  
А. Ибрагимов*



## СОДЕРЖАНИЕ

### ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

#### ИСТОРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Завоевание Византии. Перевод <i>В. Станевич</i>	7
Побег в бессмертие. Перевод <i>Е. Гнедина</i>	32
Гений одной ночи. Перевод <i>Г. Еременко</i>	55
Невозвратимое мгновение. Перевод <i>П. Бернштейн</i>	69
Мариенбадская элегия. Перевод <i>Е. Лях</i>	82
Стихи в переводе <i>В. Левика</i>	82
Открытие Эльдorado. Перевод <i>М. Тютюник</i>	91
Первое слово из-за океана. Перевод <i>Л. Засецкого</i>	100
Борьба за Южный полюс. Перевод <i>П. Бернштейн</i>	120
МАГЕЛЛАН. Перевод <i>А. Кулишер</i>	137
АМЕРИГО. Перевод <i>Л. Лежневой</i>	373
Примечания	450

С т е ф а н Ц в е й г.  
Собрание сочинений в 7 томах.  
Том III.

Технический редактор  
А. Шагарина.

---

Подп. к печ. 19/IV 1963 г. Тираж 385 000 экз.  
Изд. № 544. Зак. 383. Форм. бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Физ. печ. л. 7,25. Условн. печ. л. 23,78.  
Уч.-изд. л. 23,79. Цена 90 коп.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,  
улица «Правды», 24.

